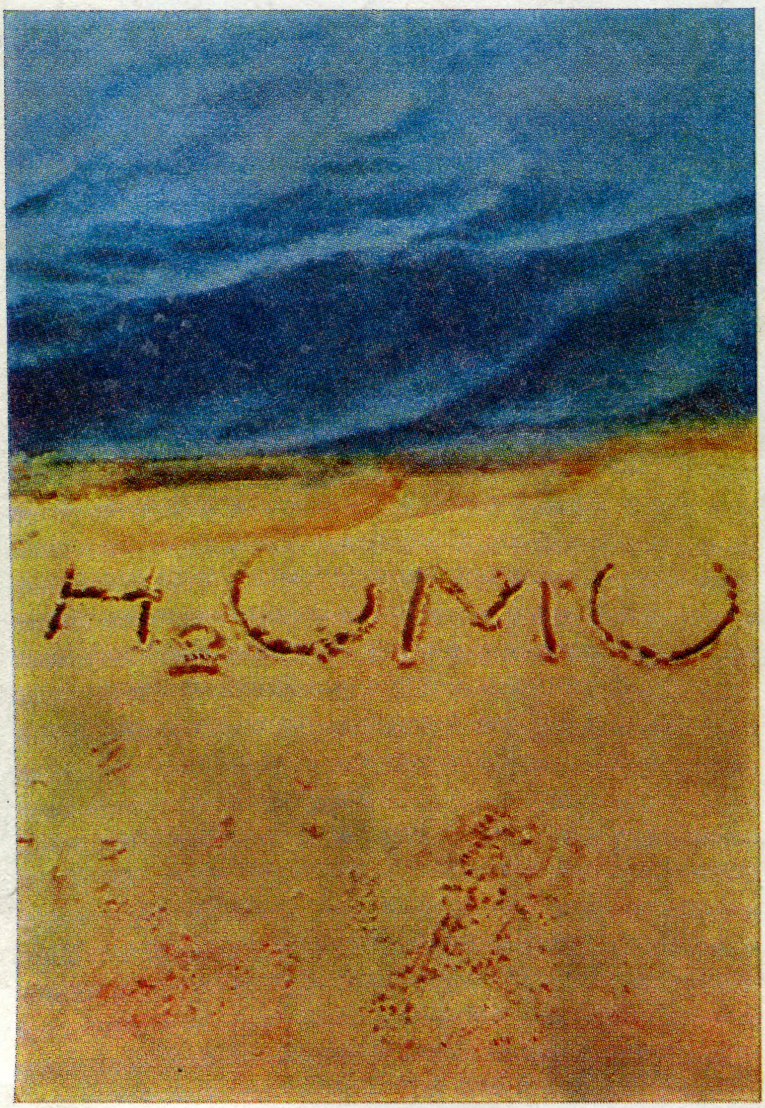
6.1977

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ЯПОНИЯ

На цветных иллюстрациях номера плакаты на тему «Вода ~ элемент жизни»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

6 1977 ИЮНЬ

Содержание

КРИСТИАН БАРНАРД и ЗИГФРИД СТЭНДЕР — Нежелательные элементы *(Роман. Перевод с английского А. Клышко. Вступление Аполлона Давидсона)* 3

ДЖОН МОРРИСОН — Писатель и свэгмен *(Рассказ. Авторизованный перевод с английского Н. Роговой и Ю. Нагибина. Вступление Юрия Нагибина)* 50

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ — Стихи *(Перевод с болгарского Марии Петровых)* 60

ДОРИС ЛЕССИНГ — Лето перед закатом *(Роман. Перевод с английского И. Якушиной)* 65

ДЮЛА ИЙЕШ — В ладье Харона, или Симптомы старости *(Роман-эссе. Окончание. Перевод с венгерского Т. Воронкиной)* 124

Литературное наследие

АННЕТА ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСГОФ — Стихи *(Перевод с немецкого Ирины Грицковой. Вступление М. Рудницкого)* 189

Критика

Г. ЗЛОБИН — Куски ковра, или Мосты Торнтона Уайлдера 197

Н. ФЕДОРЕНКО — Мгновение с Дюлой Ийешем 203

Интервью

ФРАНЦ КСАВЕР КРЁЦ: «Изображать людей с позиции коммуниста...» *(Перевод с немецкого Э. Львовой. Предисловие В. Стеженского)* 216

Культура и современность

Заметки на полях

Ю. Гусев — Современность социалистической литературы 223

Публицистика

К 60-летию Великого Октября

Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе: ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ. ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК *(Продолжение)* 227

К международной встрече писателей в Софии

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ. ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. АГНИЯ БАРТО. ЮРИЙ ТРИФОНОВ. 236

ДЖОУН МАРБЛ КУК — В защиту Homo sapiens *(Перевод с английского В. Воронина)* 243

П. СИМОНОВ — Кто же ты, человек? 252

Антирубрика

«Сатира в борьбе за мир» (С Международной выставки художников в Москве) 258

ДЖЕЙМС СТИВЕНСОН — Проект Билли *(Перевод с английского Аркадия Гаврилова)* 260

ВУДИ АЛЛЕН — Рассказы *(Перевод с английского Юрия Зараховича)* 263

Среди книг

Издано в СССР

Л. Будагова — Поэзия в действии. ✦ Д. Урнов — Английские книжки и московские мальчишки 268

Издано за рубежом

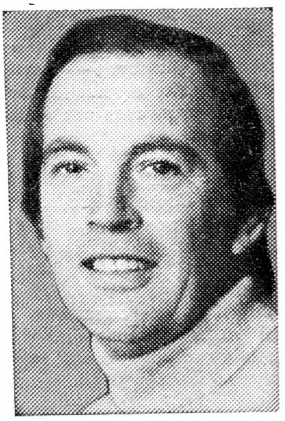
К. Чугунов — Родословная Алекса Хейли. ✦ О. Островский — Строкою мужества 272

Из месяца в месяц 277

Авторы этого номера 285

На обложке: плакат польского художника СТАНИСЛАВА ПУДЕЛЬКО.

© «Иностранная литература», 1977 г.



КРИСТИАН БАРНАРД

ЗИГФРИД СТЭНДЕР

Нежелательные элементы

РОМАН

Перевод с английского А. КЛЫШКО

Имя Кристиана Барнарда стало известно миру 3 декабря 1967 года, когда он впервые в истории вживил в грудь человека чужое сердце. «Астронавты, ступившие на Луну, не наделали столько шума, как Барнард со своим скальпелем»,— говорилось во французском журнале «Пари-матч». У людей затеплилась надежда, что найдется, наконец, путь к борьбе против болезней сердца — болезней, которые уносят больше жизней, чем даже роковая опухоль, рак.

Тогда, десять лет назад, этот человек был для всех загадкой. Одним он казался магом и волшебником, другие считали его этаким врачом-сорвиголовой, одержимым жаждой саморекламы.

Потом, в 1968 году, турне по Европе. Встретили его бурей восторга. Газеты пестрили фотографиями. Завтрак у Софи Лорен, спагетти и вино с Джиной Лоллобриджидой, танцы с популярными актрисами. Барнард на маскараде. Барнард, Барнард, Барнард...

Сам он принимал эту шумиху не без юмора. Когда репортер из «Шпигеля» допрашивал Барнарда о его хобби, тот ответил: «Водные лыжи и — как я узнал из немецкой печати — со вчерашнего дня еще и женщины».

Свою профессиональную правоту он отстаивает тоже порой весьма эксцентрично: «Сердце — насос, а я всего только водопроводчик». Вместе с тем он и говорит и действует очень убежденно. Не отступил и после того, как первая серия операций не привела к тому решительному успеху, которого от нее ждали. Выяснилось, что человеческий организм все-таки не хочет надолго мириться с заменой своего сердца чужим. Что ж, отвечал Барнард, все-таки безнадежно больной человек может хоть немного продлить свою жизнь, иногда даже на несколько лет. А потом он начал и новые операции, стал вживлять новое сердце не взамен прежнего, а рядом с ним...

Коллеги по всему миру, соглашаются они с Барнардом или нет, очень внимательно следят за его работой.

Казалось бы, у себя на родине, в Кейптауне и во всей Южно-Африканской Республике, он должен бы стать признанным кумиром, гордостью своего государства. Тем более что он принадлежит к самым верхним слоям элиты в той расово-национальной

пирамиде, которая воздвигнута здесь государственными порядками. Он белый. Мало того, он африканер, или, как сказали бы в давние времена,— бур. Правительство страны состоит из людей его национальности. Сам премьер-министр Форстер — африканер. Националистическая партия, которая стоит у власти,— это партия африканеров-националистов. А Кристиан Барнард в наши дни первым из африканеров стал так известен, добился такой широкой славы. Тут ли не повод для бури национального ликования?

Но нет. Националистическая партия давно уже сделала вывод: «Барнард предал африканеров». Это было провозглашено даже в газете, выходящей в Бофорт-Уэсте, его родном городе. Его земляки посылали ему проклятия. И не только проклятия. Из Бофорт-Уэста примчался тот злосчастный грузовик, что налетел на Барнарда,— это памятно всем, обошло все журналы и газеты мира. В ту самую кейптаунскую больницу «Хроте схюр», где Барнард бился, чтобы спасать своих пациентов, 13 декабря 1972 года доставили его самого — с переломом четырех ребер и ключицы. Рядом оказалась и жена, со сломанной ключицей, ушибом позвоночника, раной ноги и повреждением плеча. До того жену изображали жертвой Барнарда: как же, это чудовище взяло себе в жены девушку моложе себя на четверть века с лишком. Но тут досталось и ей. А шофер грузовика, как известно, так и остался безнаказанным.

В чем причина? Барнард посягнул на святая святых южноафриканского строя. Он начал с требования сократить разрыв в зарплате белых и небелых врачей, а затем стал критиковать и всю систему расового неравенства, на которой основаны порядки его родной страны. Он сказал даже, что из-за апартхейда ему стыдно называться южноафриканцем. И объявил, что хочет активно включиться в политическую борьбу. Тут-то и произошла история с грузовиком...

Предупреждение было очень недвусмысленным. Барнард мог и не остаться в живых. И все-таки, оправившись, он не сдался. И не уехал из страны. Он нашел новый способ заявить о своих взглядах. В 1974 году появился этот его роман.

Роман о белом и цветном, метисе,— о детях одного отца, братьях. Законы общества и государства наделили их такими разными судьбами. Одному — богатая ферма, другому — лачуга в округе для цветных. Одному открыты все двери, перед другим они захлопываются, и какого труда стоит отворить хоть какую-нибудь из них. Для одного создать семью, завести детей — это естественно, просто, легко. Другому приходится отказаться от любимой женщины.

Об этом писали не раз и не два. Но редко кому удавалось нарисовать все так убедительно. Эту убедительность, ясность дала Барнарду его четкая нравственная позиция человека, сумевшего объявить упорную, тяжелую войну своим собственным предрассудкам. Человека, умеющего трезво сравнить порядки на своей земле с тем, что он увидел в других странах. Человека, нашедшего в себе силы сказать своим близким, своему народу, своей стране: Остановитесь! Вы идете худым путем!

Нравственная позиция Барнарда (да, очевидно, и его соавтора, писателя и журналиста Зигфрида Стэндера) проявляется не только в их подходе к расовой проблеме. А тема: врач и больной ребенок, вообще взрослые и дети? «Страдания и ребенок — ведь это противоестественно. Это удел взрослых — страдания. Дети не должны знать их, потому что, однажды познав, перестают быть детьми».

Гуманностью и очень человечной грустью проникнут и рефрен книги, библейские слова: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями». Долг врача — продлить эти краткие дни. «Жизнь — самое дорогое. Расточай ее, губи ее — на все воля твоя. Повернись к ней спиной, стремись поскорей уйти из нее, пройди по ней, не задумываясь,— все равно она останется величайшим даром тебе». А врач обязан дать человеку полнее ощутить всю радость этого величайшего дара.

В романе немало автобиографического, и Барнард не скрывает этого. Оба главных героя — и белый Деон и цветной Филипп — родились в его родном городке, а само действие романа разворачивается в Кейптауне, в больнице, где работает Барнард. Деон занимается, как и Барнард, восстановительной хирургией. Знаком, как и Барнард, и со славой, и с неприязнью коллег.

Помянут даже итальянский ресторан, возле которого грузовик сшиб Барнарда и его жену,— в романе Деон хочет пообедать там с Филиппом.

Но дело, конечно, не в этих конкретных деталях, а в том, что все здесь выношено, прочувствовано своими нервами, своим сердцем.

О своем романе Барнард сказал так: «Самим его названием я хотел привлечь внимание к тому, что считаю в романе самым важным,— к существованию в нашей стране групп людей, которые в силу различных причин стали действительно нежелательными элементами. Общество относится к ним так, будто их вовсе не существует. Никто не рискует даже обращать внимание на их нужды и страдания... Это хорошо знакомо мне и как врачу, и как южноафриканцу. Я не могу молчать и поэтому выступил против дискриминации».

В этих словах слышится убежденность. Она основана на более чем полувековом опыте человека, который мог бы стать в своей стране кумиром обывателей и любимцем власть предержащих, но предпочел чистую совесть.

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

Конечно, иные случаи, о которых рассказано в этом романе, связаны с жизненной практикой авторов. Однако герои повествования и обстановка, в которой разворачивается действие, полностью вымышлены и не имеют никакого отношения к кому-либо из реально существующих лиц или действительно имевшим место событиям.

ПРОЛОГ

Теперь

Лифтом он никогда не пользовался. По старой привычке, приобретенной еще в студенческие годы, он предпочитал лестницу. Лифты в клинике еле ползали, и для него всегда было сущим мучением ждать, пока придет лифт, чтобы потом в переполненной кабине подниматься или спускаться. Войдя в широкие, окованные медью двери, он чувствовал, как привратник за стеклянной перегородкой пялит на него глаза, пока он широким шагом идет через вестибюль к лестнице и затем исчезает, мелькнув на площадке второго этажа.

Сегодня, однако, привратник увидел, как высокий, стройный блондин с худощавым лицом прошел через вестибюль мимо лифтов, где стояло в ожидании несколько человек, и, свернув в коридор первого этажа, быстро зашагал по нему. В лицо ему ударил знакомый запах — смесь мастики для полов, антисептики, болезни и человеческого страха. Сиделка, спешившая ему навстречу, узнала блондина и, когда они поравнялись, прижалась к стене, уступая ему дорогу. Он рассеянно улыбнулся и пошел дальше, ноги сами несли его, он знал здесь каждый поворот, каждую дверь и мог бы пройти этим лабиринтом с завязанными глазами в любое время дня и ночи.

Остановившись у тяжелых раздвижных дверей, окрашенных безрадостно, под темный орех, он с силой дернул створку, и она подалась, прогрохотав на металлических роликах. Другой запах. Тошнотворно сладкий, сладковато гнилостный. Никакими антисептиками не вытравить его, этот ни на что не похожий дух тлена.

Однако же зал, где так стойко держался запах смерти, выглядел после мрачных коридоров даже весело: белый кафель, яркое освещение. Африканец с покатыми плечами борца в одиночестве работал у стола, разбирая сваленные как попало на мраморную доску человеческие внутренности. Он поднял взгляд на вошедшего и опустил руку с ланцетом.

Белый раздраженно посмотрел на часы, нервно вздернув рукав пиджака.

— Дбр... тро. А доктора Иннеса что, еще нет?

На широком лице африканца не отразилось ничего —укор прозвучал в тоне, каким он произнес:

— Доброе утро, профессор ван дер Риет.

— Доброе утро, Уильям,— торопливо поправил себя белый.

— Доктор Иннес звонил, профессор. Он сказал, что задерживается на утренней конференции и будет не раньше половины первого.

Деон ван дер Риет снова посмотрел на часы. Ждать еще двадцать минут. Как ни считай, потерянное время.

— Он обещал мне аутопсию ребенка. Дэли — так фамилия. Памела Дэли. Вы делали вскрытие?

— Нет, профессор.

Африканец показал подбородком на соседний стол. Шагнув к столу, Деон увидел известково-белое лицо ребенка с разбросанными на лбу прядками волос.

Глаза закрыты. Будто спит...

Простыня была развязана на груди. Готовили для вскрытия. Он смотрел на рубец позавчерашнего разреза и аккуратную дорожку стежков, такую черную на известково-белой коже.

Почему, почему это девочка вдруг умерла? Верь первые двадцать четыре часа после операции ничего такого не предвещали. А затем... все, конец. Он снова и снова убеждал себя, что это кардиолог ошибся, не обнаружил высокое давление в легочной артерии...

Он снова посмотрел на часы и резко повернулся к двери, щелкнув с досады языком. Надо было ему остаться тогда в операционной. Но почему он сейчас считал таким важным делом лично присутствовать при вскрытии — этого он толком сказать не мог. Частично это объяснялось досадой, которая не покидала его — ведь умерла его больная,— а частично — неодолимой потребностью убедиться, когда нож патологоанатома вскроет труп, что ошибся не он. А может быть, причина самая простая. Памела Дэли умерла — и все.

Ему надо было идти.

Он позвонит доктору Иннесу позже и узнает, что показало вскрытие.

Входная дверь проскрежетала на своих роликах, и он бросил взгляд через плечо, ожидая, наконец, увидеть Иннеса. Но это был профессор Мартин, главный патолог. С сосредоточенным видом, сопровождая речь короткими жестами, он что-то говорил длинноногому мужчине в темном костюме, который шел, учтиво склонив к собеседнику голову.

Деона словно ударили под ложечку.

«Бог мой,— пронеслось в мозгу,— да это же Филипп».

На мгновение ему отчаянно захотелось, чтобы его не заметили. Чтобы эти двое, Мартин и тот, другой, увлеклись разговором, тогда, быть может, ему удастся выскользнуть, не привлекая к себе внимания.

Но оба повернулись к нему одновременно. Мартин явно нервничал, а его собеседник был серьезен и спокоен. У него был прямой нос, почти арабская внешность, смуглая кожа и черные волосы.

«А на висках — седые,— мелькнула вдруг мысль, и Деону стало не по себе.— Седые, господи, а ведь он моих лет. Ну-ну,— успокоил он себя,— не совсем моих, он на два года старше».

Мартин, конечно, тут же разыграл небольшую комедию, изобразив безмерное удивление:

— Деон? Не ожидал вас здесь встретить. Ведь мы не договаривались?

— Нет. Я так, жду кое-кого.

— Понятно. Да, кстати, вы знакомы с профессором Дэвидсом?

Деон повернулся к человеку со смуглой кожей — и теперь уже взгляды встретились, они смотрели друг другу в глаза прямо и открыто.

— Профессор Дэвидс, профессор ван дер Риет,— представил их Мартин.

— Филипп,— нерешительно произнес Деон ван дер Риет.

Оба улыбнулись друг другу одинаково выжидающей улыбкой.

— Деон,— сказал тот.

— Давненько же мы не виделись,— сказал Деон.

— Давненько,— сказал Филипп Дэвидс.

— Двадцать лет?

— Точно. Мы ведь кончали в пятьдесят четвертом.

— Ну да.— Деон озадаченно покачал головой.— Немало воды утекло с тех пор, а?

— Немало,— произнес Филипп.

Профессор Мартин, все это время с тревогой посматривавший на них, словно боясь чего-то скрыто опасного, какой-нибудь искры, одной-единственной, которая могла повлечь за собой взрыв, теперь тоже решил вставить словечко. Он явно успокоился, точно вот сейчас ему собственными героическими усилиями удалось предотвратить несчастье.

— А я и понятия не имел, друзья, что вы знакомы,— нарочито весело начал он.

— Мы вместе кончали,— объяснил ему Деон,— и вместе стажировались в больнице.

Мартин, похоже, изрядно удивился — это явно произвело на него впечатление.

— Господи боже мой! — Он окинул взглядом зал.— Так вы, наверное, здесь, вот в этих стенах и лекции слушали...

— Здесь все очень модернизировано,— заметил Филипп. И показал на ряды скамей, амфитеатром окружавшие с трех сторон стол, на котором африканец, следуя схеме, распластывал сердце, легкие, почки, печень.— В мои годы этого не было.

— О, конечно,— поспешил подтвердить Мартин,— все это появилось уже после того, как я принял кафедру.— Весь сияя, он подошел к монитору. Он не упускал случая похвастать оборудованием.— Бездну времени экономит, знаете ли,— показал он на монитор.— Уильям располагает здесь все органы до начала занятий, а затем включает вот это. Лектору не приходится ни на минуту отвлекаться. Ну и, естественно, всем с любого места одинаково хорошо видно.

Со странным чувством вины Деону вспомнился вдруг тот день (двадцать лет назад? Больше. Двадцать три, а то и все двадцать четыре...), когда Филиппа и других цветных из их потока не впустили в эти двери, потому что на столе в анатомичке лежало тело белого человека. Неужели все эти нововведения с телевизионными экранами и прочим для того и придуманы, чтобы ловко избежать подобных ситуаций? Ведь когда отдельные органы лежат на предметном столе, под монитором, кто там знает, какого цвета было тело, вмещавшее их,— белое, желтое, черное? Один Уильям.

Воспоминания, прорвав брешь в плотине памяти, хлынули, и он теперь не мог их сдержать.

Вот Филипп на занятиях, в своей потертой, ношеной-переношенной куртке и в таких же брюках, задает вопросы, которые никому другому не приходило в голову задать.

Вот Филипп, поглощенный созерцанием чего-то под микроскопом, смуглые руки изящными движениями мягко юстируют прибор.

Вот Филипп в момент торжественного вручения дипломов преклонил колено — прямой как стрела,— и на голову ему надевают шапочку магистра...

Вот Филипп...

Деон резко повернулся к Мартину, чтобы прогнать нахлынувшие воспоминания.

— Я жду доктора Иннеса. Он обещал мне здесь аутопсию. Ребенок. Оперировали вчера по поводу дефекта межжелудочковой перегородки сердца — отверстие в перегородке между предсердиями и высокое давление в легочной артерии. Кардиолог говорит, что кровоизлияние в таких случаях неизбежно. А девочка была в норме целые сутки, пока не началась фибрилляция. Мы не смогли восстановить

сердечную деятельность. Но Иннес что-то задерживается. Я подумал, может быть, вы могли бы... просто вскрыть грудную клетку и взглянуть на сердце и легкие, а?

Мартин посмотрел на Филиппа.

— Похоже, у нас еще есть время, не так ли, профессор? — Он крикнул африканцу: — Уильям, фартук и перчатки найдутся? — И снова, повернувшись к Деону, светским тоном проговорил: — Я, собственно, лишь вышел встретить профессора Дэвидса, пока Хью Глив готовит все, что нужно для лекции. Вы, конечно, слышали, что профессор Дэвидс читает сегодня лекцию?

— Профессор Глив прислал нам приглашение.

— Вы пойдете?

Деон заколебался.

— Вряд ли. Не думаю, что смогу. Сегодня утром я делал замену митрального клапана в детской больнице и уехал еще прежде, чем ребенка вывезли из операционной. Но от нас будет доктор Робертсон. Помните Робби Робертсона? — спросил он Филиппа.

— Робби? Конечно помню.

— Он мне теперь ассистирует по кардиологии.

— В самом деле? Вот уж не думал.

Мартин надел фартук, завязал тесемки и теперь двигал пальцами, чтобы перчатки сели по руке. Профессора стояли и ждали, пока Уильям передвинет труп, чтобы Мартину было удобнее.

— О'кей. Запись! — раздался голос патологоанатома, и Деон с Филиппом отодвинулись подальше от микрофона.

Теперь слышен был лишь монотонный голос Мартина:

— Упитанность нормальная, пол женский... скелет... выраженные аномалии...

Деон с Филиппом стояли рядом, и обоим было не по себе.

«А может быть,— думал Деон, скосив глаза и разглядывая строгий профиль и спокойный взгляд человека рядом,— это только мне не по себе? Неужели только я все помню?» Вот сейчас ведь можно все, все исправить, а он не знает, с чего начать. Он прочистил горло. Кашлянул.

— Вы ведь сами, кажется, были патологоанатомом, не так ли? — начал он приглушенным голосом. Что угодно, лишь бы заставить прошлое исчезнуть, прекратить поток воспоминаний.— Ну до того, как занялись генетикой, я хотел сказать.

Филипп посмотрел на него, улыбнулся.

— Совершенно верно. Отсюда я уехал в Эдинбург, если вы помните. Затем провел год во Франции, ну и, наконец, работал в Канаде.

Мартин рассек реберные хрящи с обеих сторон и теперь высвобождал грудину.

— ...очевидные признаки недавней операции, фибринозный экссудат в полости перикарда,— сообщил он в микрофон.

— Но, насколько я понимаю, сегодняшняя ваша лекция будет о генетике,— сказал Деон, остро сознавая, как фальшиво и безучастно прозвучал его голос.

— Да,— Филипп, казалось, и не замечал его состояния.— Жаль, что вы не можете быть. Я собираюсь коснуться новых теорий происхождения врожденных аномалий. Мне кажется, для вас там нашлось бы кое-что интересное.

— Уверен. Единственное «но» — я буквально связан по рукам этой малышкой, которую мы оперировали сегодня.— Деон пожал плечами и сделал неопределенный жест, как бы говоря, что сожалеет.

Эта их встреча — ошибка. Он заранее решил, что не пойдет на эту лекцию, а пошлет вместо себя Робби — так будет правильнее. А те-

перь же, лицом к лицу с Филиппом, искать отговорки было трудно. Тем более что Филипп был явно рад встрече с ним. Неужели он забыл?

Деона выручил Мартин, поманивший его.

— Вот мы и подошли к предмету,—возвестил он.—Сердце и легкие.

Деон, встав рядом с патологоанатомом, тупо уставился в разверстую грудную клетку, а она зияла пустотой. Наконец он разглядел сердце. Оно лежало на деревянном столике, поставленном в ногах у трупа. Последний раз, когда Деон видел его, оно билось ритмично, неся жизнь телу, которое вмещало его. Теперь оно было недвижно, и вся его, Деона, работа, чтобы спасти ребенка, сохранить ему жизнь, оказалась тщетной.

Мартин отсек сердце от легких и вскрыл околосердечную сумку. Он обнажил правое предсердие, смыв с него струйкой воды из тоненького резинового шланга темную кровь. Он диктовал, изучая перегородку между предсердиями. По поводу шва, наложенного Деоном, он продиктовал на магнитофонную ленту:

— На шве дефектов не обнаружено.

Ножницами он разрезал трехстворчатый клапан до правого желудочка, затем, идя вдоль перегородки, сделал разрез до верхушки сердца, обнажив полость правого желудочка.

— Пластик наложен на месте дефекта межжелудочковой перегородки сердца и по линии тракта правого желудочка. Повреждений нет.

Он снова пустил струйку воды, целя между мышечным пучком и перегородкой, и на лице его появилось радостное и в то же время извиняющееся выражение. Он повернулся к Деону:

— Вот и дефект, и пресерьезный.

Деон смотрел, не веря собственным глазам. Этого не могло быть, это невозможно.

— Второй дефект межжелудочковой перегородки просматривается ниже, в мышечной перегородке,— продиктовал Мартин в микрофон, все еще не сводя глаз с Деона.— Не закрыт. Размером приблизительно...

— Господи Иисусе, я пропустил его! — выкрикнул Деон.— Как, черт меня побери, я мог его пропустить?

Мартин отвел руки в перчатках, чтобы он мог лучше видеть.

— Это вам объясняет что-нибудь?

Деон угрюмо кивнул.

— Да. Это объясняет, почему давление в легочной артерии не падало, оставаясь и после операции высоким. Это и могло стать причиной фибрилляции. Не знаю, как меня угораздило...— Он беспомощно покачал головой, не в силах продолжать.

— Вы не возражаете, если все остальное закончит Иннес? — И Мартин кивнул африканцу.— Достаточно, Уильям. Объясните, пожалуйста, все доктору Иннесу, когда он вернется.— Он пошел к умывальнику в другой конец зала, на ходу стягивая перчатки. Деон с Филиппом остались у тела ребенка.

Деон снова покачал головой.

— Такая осечка!

— Один из светил в Мак-Гилле имел обыкновение говорить студентам: «Хотите играть во взрослые игры, будьте готовы получать синяки...» — через некоторое время произнес Филипп. Он сказал это мягко, и Деон ответил ему вымученной улыбкой.

— А ведь я еще подумал, почему из левого желудочка сочится венозная кровь. И ничего не сделал — только подумал. А она и шла

венозная все время потому, что сочилась здесь. Ах ты господи, ну мог же я сообразить: раз происходит что-то необычное, надо найти этому объяснение. Я должен был догадаться, что есть еще один дефект.

— Его скрывала мышца.

— Все равно обязан был знать и посмотреть. Тогда я бы не пропустил...

Филипп подумал, сказал рассудительно:

— Нет. Тогда бы, пожалуй, нет.

Это скрупулезно честное суждение прозвучало так неожиданно и в то же время было так характерно для того Филиппа, которого Деон знал двадцать лет назад, что он невольно улыбнулся. И в неожиданном порыве сказал:

— Эта ваша лекция — когда она начинается?

Филипп поискал глазами часы на стене.

— Через пятнадцать минут.

— Мне хотелось бы послушать. Но сначала придется позвонить.— Он тоже бросил взгляд на часы.

— Я был бы рад вас видеть,— заметил Филипп.

Комиссия, назначенная для встречи, в полном составе выстроилась в вестибюле у лифтов. Деон увидел собравшихся, когда шел назад по коридору чуть впереди Филиппа и Мартина; теперь, подумал он, было бы просто невежливо шмыгнуть на лестницу обычным путем. Придется смириться и подняться в лифте вместе со всеми.

Среди тех, кто стоял у лифтов, царила атмосфера плохо скрытой враждебной напряженности. Каменная неподвижность, с какой они все держались, сразу же насторожила Деона; он с любопытством искал глазами причину — первый раз он видел их такими.

Старина Снаймен, обычно дерзкий и подвижный, как белка, сейчас стоял с таким лицом, будто все это его не касается. Доктор Малколм, директор клиники, выглядел, напротив, возбужденным и всем своим видом показывал, что зол как черт. Декан, профессор Левин, и профессор Глив, заведующий кафедрой генетики, что-то очень серьезно докладывали Малколму. Робби Робертсон с заметно поредевшей на висках рыжей шевелюрой нахально скалил зубы, радуясь сложному положению, в которое попал господин директор.

Когда подошел Деон, обычно ровный голос декана звенел на самых высоких нотах:

— Послушайте, Мак, этот человек — выпускник нашего университета! И если с его лекцией здесь будет что-нибудь не так, я обещаю, что вы сегодня же получите уведомление о моей отставке. Это университетская клиника, черт побери, а не ваш чертов оперный театр «только-для-белых»! Объясняйтесь со своим шефом сами, если хотите. А я положительно...

Он перехватил ледяной взгляд Глива, который что-то показывал ему глазами, и смущенно обернулся.

Глив же, отделившись от группы, стоявшей у лифта, с распростертыми объятиями заторопился навстречу вышедшим из коридора профессорам, старательно изображая на лице гостеприимную улыбку.

— Здравствуйте, профессор Дэвидс,— произнес он тепло.— Приятно видеть вас здесь. Очень любезно с вашей стороны уделить нам время. Прошу извинить, что не показал вам клинику, но дела... М-м... надо было все подготовить к вашей лекции. Спасибо, что заняли гостя, Джим.

— Мне было только приятно,—сказал Мартин.

— О, Деон,— суетливо продолжал Глив,— как хорошо, что вы пришли. Позвольте представить вас остальным, профессор Дэвидс.

Глив суетился, Филипп же переходил вместе с ним от одного к другому, высокий, со спокойной улыбкой, сквозь которую, впрочем, проглядывала легкая усмешка. Деон подумал: неужели и он тоже слышал, что сказал декан?

Профессор Снаймен оживленно закивал, обмениваясь с Филиппом рукопожатиями.

— Дэвидс. Я помню вас. Середина пятидесятых, а?

— Я кончил в пятьдесят четвертом.

Старик продолжал кивать.

— Ну, конечно, я прекрасно всех помню. Вы были у нас среди первых.

— Вот уж никак не ожидал, что снова буду здесь,— заметил Филипп, добродушно улыбнувшись Снаймену.

Никто из белых ничего не сказал на это.

Зажглась кнопка лифта, и звякнул звонок. Стальные двери с лязгом раздвинулись. Профессор Глив вошел в кабину последним и прижался в уголок — подальше от панели с кнопками.

— Четвертый этаж,— бодро возвестил Робби и кулаком надавил на кнопку.— Пиявки и водные процедуры!

Ему ответили принужденным смешком. На четвертом этаже размещались отделения гематологии и урологии. Робби был записным паяцем — ему спускали даже плоские шутки.

Снова лязгнули двери, на этот раз сдвинувшись, и они поехали наверх в напряженном молчании.

— Боюсь, профессор Дэвидс, вас ждет одно маленькое испытаньице,— заговорил Глив доверительным полушепотом, словно стесняясь того, что их могут услышать.— Пресса, как и следовало ожидать. Они пронюхали, конечно, о вашем приезде, и нам ничего не оставалось, как согласиться на небольшую пресс-конференцию, если вы ничего не имеете против.

На лице доктора Малколма тотчас появилось выражение загнанного зверя. Директор питал глубокое недоверие к журналистам и репортерам, он их просто боялся.

Глив заметил, как изменилось лицо доктора Малколма, и ледяным тоном сказал:

— Вы были своевременно предупреждены, Мак.

— Я знаю,— проворчал доктор Малколм, но ему от этого было явно не легче.

— Вообще-то говоря,— продолжал Глив, испытывая злорадное удовольствие от сознания, что нашел способ уколоть директора,— событие как раз из тех, за которыми гоняются эти ребята, разве нет? — И добавил, словно читая воображаемые заголовки: — «Известный врач, ныне всемирно известный ученый-генетик, возвращается читать лекции в свою alma mater[1]».

Деона передернуло. Глив слыл человеком, способным яростно защищать своих друзей и свое дело, но тактичностью он никогда не отличался. Малколм залился краской. Деон скосил глаза на Филиппа, стоявшего рядом с ним. Широкоскулое лицо его было бесстрастно.

«А он тоже похудел,— подумал Деон.— И волосы серебрятся, и вообще сдал, явно сдал. Вот так — все воображаешь себя юным, и вдруг голос из прошлого объявляет: ты уже стар».

Старина Филипп! Сколько же времени прошло? Деон почувствовал неожиданный прилив симпатии и теплого чувства к нему и, не

[1] Мать-кормилица *(лат.)*.

сдержав порыва, дружески похлопал стоявшего рядом с ним долговязого человека по спине.

— Я рад, что вы вернулись,— сказал он.

Филипп посмотрел на Деона, и морщинки побежали вокруг его глаз.

— И я рад, что вернулся,— сказал он.

Лифт тряхнуло, и он резко остановился, двери раздвинулись. Выходили, строго придерживаясь протокола,— гость впереди, так, все правильно, профессор Глив на правах хозяина замыкал шествие.

Филипп остановился и с легкой улыбкой скользнул взглядом вокруг.

— Ничего не изменилось.— Он посмотрел на стены, окрашенные кремовой краской.— Даже краска старая,— сказал он.

Доктор Малколм не понял и, боясь новой подковырки, задиристо возразил:

— Нет, почему же, мы то и дело обновляем краску.— И продолжал тоном заправского гида: — Да и вообще многое здесь изменилось, профессор Дэвидс. Клиника выросла почти вдвое. Например, открыто совершенно новое амбулаторное отделение, в котором мы принимаем до пятидесяти тысяч пациентов в месяц. Сдан новый корпус под акушерскую клинику, и в ближайшие полтора года будет закончено строительство нового кардиологического корпуса для нашего профессора ван дер Риета...

Этот покровительственный тон задел Деона.

— Я слышу об этом уже полтора года.

Малколм посмотрел на него испепеляющим взглядом.

— Очень интересно,— сказал Филипп.— Вы тут просто чудеса творите.

— Мы строим планы с учетом будущего,— гордо произнес директор. Он явно чувствовал себя как в осажденном городе, причем в осаде он был один.

— И это заметно,— вполне искренне произнес Филипп и с улыбкой повернулся к Деону: — Вы, безусловно, заслужили новый кардиологический корпус.

Деон рассеянно кивнул. Что-то — он сам не мог понять, что именно,— мешало ему видеть в Филиппе знакомого человека. Что-то такое, что было и ушло или чего никогда раньше не было, а теперь появилось.

— Прошу вас, профессор,— сказал Глив наигранно бодрым тоном.— И да встретим трудности, не дрогнув! Это здесь, в малой аудитории, не забыли?

Он повел цветного по коридору, и Филипп послушно следовал за ним. Его стройное мускулистое тело в модно сшитом костюме двигалось легко и непринужденно.

«Вот оно,— подумал Деон.— Вот чего раньше не было. Раскованности. Он больше не скован. полностью владеет собой. Годы придали ему уверенности в себе. Вот что. Но и это не все».

И то, что он не может уловить, в чем состоит это недостающее звено, раздражало, как ноющая зубная боль.

Он вспомнил, что должен позвонить. Телефон — у входа в актовый зал. Он невнятно буркнул: «Прошу извинить» — и чуть ли не бегом кинулся искать телефон.

Студенты последнего курса, которым Филиппу предстояло читать лекцию, были уже в сборе. Тихий ленивый гул голосов доносился через закрытую дверь. Вот их куда загнали, чтоб не мешались. Особый случай. Нечего тут всяким путаться под ногами, когда первые скрипки пожаловали. Деон иронически усмехнулся при мысли, что и его са-

мого, по-видимому, считают здесь одной из первых скрипок. Интересно, что эти котята в самом деле думают о них — ну, о нем, о Филиппе, о них всех?

«Разве что они гораздо увереннее, чем мы были в их годы,— подумал он.— Больше знают. А может, эта уверенность просто ширма, которой каждое новое поколение отгораживается от критических взглядов предшествующего?»

Он заставил себя сосредоточиться и набрал номер детской клиники. А что, может, лучше было бы все-таки имплантировать искусственный митральный клапан? Он умышленно на это не пошел: ведь ребенок откуда-то с фермы, какая там еще может быть антикоагулянтная терапия? А может, все равно стоило бы? Нежные створки плохо зарубцевались — явно ревматическое поражение.

Когда на другом конце подошли к телефону, Деон быстро заговорил, рубя слова:

— Питер? Этот митральный клапан, как там дела?

Четкий голос сообщил:

— Ребенок проснулся, Деон. Все пока в норме. Венозное давление десять, левое предсердие показывает... снизилось до пятнадцати.

— Какое было?

— Двадцать пять. Максимальное артериальное—семьдесят пять.

— Периферийная циркуляция в порядке?

— Вполне. И я только что смотрел снимок грудной клетки. Явно меньше тень.

— Ну что ж, неплохо. Я на лекции в клинике, если понадоблюсь.

Но и повесив трубку, покоя он не почувствовал. То, что он пропустил, не увидел дефекта межжелудочковой перегородки, лишало его присутствия духа.

Усилием воли он заставил себя переключиться на нечто другое, но не менее важное. Питер Мурхед на дежурстве? Так. Что это с ним последние дни происходит? Надо ему как-то взять себя в руки, собраться. Всегда был одним из лучших хирургов смены. И вдруг — покатился. А все эта стерва — жена. Наверно, она виновата.

Это навело Деона на мысль позвонить домой. Но он посмотрел на часы и подумал, что жены наверняка все равно нет дома. Послеобеденная партия в бридж. Или послеобеденное заседание клуба садоводов, или книголюбов, или какого-то там еще. Ничего не поделаешь: жены вынуждены сами развлекать себя.

Взгляд его встретился с другой парой глаз. Но глаз мертвых, слепо устремленных на него из прошлого, из вечности. Бронзовый бюст нес стражу у входа в зал один бог знает сколько лет. Он еще подумал: «А интересно, многие ли студенты, да и профессора, если уж на то пошло, знают, кто это?» Он тоже один раз посмотрел на него — тогда, давным-давно, когда пришел сюда впервые, и с тех пор многие годы ходил мимо, не удостаивая вечность даже мимолетным взглядом. Сейчас он вгляделся внимательнее в эти пустые глаза и волевой изгиб подбородка. Табличка на постаменте из серебристо-белого камня возвещала любопытствующим, что это Джеймс Рэдвуд Колльер, кавалер ордена «Британской империи», кавалер ордена «За отличную службу», бакалавр прав, доктор медицины, член Королевского общества врачей, почетный член Королевского общества медицины, первый профессор в означенном университете с 1920 по 1937 год.

Он тоже играл первую скрипку. В свои дни, конечно. Он ходил этими коридорами, требуя уважения, исполненный чувства собственной значимости. А сейчас это лишь холодная бронза. Бронзовый бюст, мимо которого ходят, не удостаивая взглядом.

Деон торжественно отсалютовал застывшему образу профессора Джеймса Рэдвуда Колльера и пошел обратно по коридору.

Пресс-конференция была в самом разгаре. Он остановился в дверях малой аудитории.

Филипп был в обществе трех молодых людей, старавшихся выглядеть одновременно бойкими и уставшими от жизни, и двух женщин— блондинки и высокой, полной дамы со строго зачесанными назад волосами. Один из молодых людей сгибался под тяжестью кейса со сменной оптикой, видно, порядком натрудившего ему плечо.

— ...Последние же годы я занимался главным образом экспериментальной генетикой,— рассказывал им Филипп.— В настоящее время мы стремились получить данные о передаче генетической информации и причинах нарушения работы этого механизма.

Блондинка с наклеенными ресницами и вообще с избытком косметики испустила театральный вздох.

— Профессор Дэвидс, прошу вас объяснить это простыми словами. Мы не все врачи.

— Но я полагал, вы из отдела науки.

— Я обычно веду страничку «Моды сезона»,— с серьезным видом сообщила она.— Просто никого другого не оказалось под рукой.

Остальные репортеры смущенно улыбнулись; Филипп тоже улыбнулся и мягко заметил:

— Тогда, может быть, вам лучше отдать должное моему портному?

Тут полная дама заметила в дверях Деона и подтолкнула локтем фотографа.

— Профессор ван дер Риет,— прошипела она.— Прошу извинить, профессор.

Деон внутренне поморщился, но повернулся к ней.

— Если вы не возражаете... вы же не имеете ничего против?.. Мы хотели бы сфотографировать вас с профессором Дэвидсом. Так, если вы не против...

Деон перехватил острый недвусмысленный взгляд профессора Снаймена и пожал плечами.

— Валяйте.— И нарочито почтительно повернулся к Филиппу: — Если профессор Дэвидс не возражает.

Филипп ответил улыбкой и мотнул головой.

Дама засуетилась, попросила встать их рядом, нет-нет, вот так, пожалуйста. Фотограф приседал, отскакивал, искал ракурс. Блеснула вспышка — раз, другой. Они стояли, ослепленные.

— Порядок? — поинтересовался Деон, явно давая понять, что хватит.

Но корреспондентка им попалась из настырных. Она уже раскрыла блокнот и приготовила шариковую ручку.

— Всего один-два вопроса, если вы не возражаете.

Деон вопросительно поднял брови, посмотрел на Филиппа — тот кивнул.

— Профессор Глив говорит, что вы давно знакомы...

— Да,— сказал Деон.

— Вы вместе кончали?

Филипп переглянулся с Деоном.

— Больше того,— сказал он.— Мы знаем друг друга с детства.

Дама озадаченно посмотрела на него.

— Мы вместе росли,— сухо отрезал Деон.

— Мы родились на одной ферме,— сказал Филипп.

Ей показалось, что ее разыгрывают, и краска досады залила ее лицо.

— На ферме профессора ван дер Риета,— пояснил Филипп.— На его родной ферме, точнее — в округе Бофорт-Уэст. Видите ли, мои родители цветные, они работали на ферме у отца профессора ван дер Риета. Вот там мы и родились.— Он улыбнулся Деону.— Только я чуть раньше его, я немного старше.

— Но это же фантастика! Нет, в самом деле...— вне себя от восторга, журналистка еле успевала записывать.— Я не имела ни малейшего представления обо всем этом. И вы оба решили стать врачами?

— Ну, не совсем так,— мягко поправил Филипп.

— Я мечтал стать паровозным машинистом,— сказал Деон.

Дама обиженно поджала губы: он разрушал так стройно нарисованную ею сюжетную канву.

— На самом деле для нас было просто сюрпризом, когда мы снова встретились уже студентами,— сказал Филипп.— Видите ли, мы расстались, когда мне было двенадцать лет: отец умер, а мать нашла работу в Кейптауне.

— Где она работала? Кем?

— Служанкой на ферме. А здесь она работала на фабрике.

— Фантастика! — Корреспондентка снова пришла в полный восторг от такого поворота сюжета.— Мать — служанка, а сын — известный профессор! О!

— Можно и так на это посмотреть,— с подчеркнутой учтивостью сказал Филипп.— А теперь прошу нас извинить.

Он взял Деона под руку, и они направились к дверям.

— Всюду суют свой нос,— сказал Филипп.— Сука пронырливая.

Деон хмыкнул.

— Пошлите их подальше.

— Вы, я вижу, привыкли к такого рода вещам.

— Похоже, и вы не впервые сталкиваетесь с ними.

Филипп махнул рукой, как бы говоря: что вы!

— Вы же знаете: генетики — нудная публика. Они за порогом своих лабораторий двух слов не свяжут.

Деон ухмылялся, слушал, а сам думал совсем о другом. «Вот оно,— размышлял он.— Вот в чем разница! Исчезла скованность речи. Он, конечно, и раньше не был косноязычным, но приучил себя держать язык за зубами. Всегда был как-то зажат. А теперь этого нет: он не думает, что говорит и кому говорит. Человек, который плотно закрыл за собою дверь в прошлое,— пришло на ум сравнение.— Человек, принадлежащий себе самому».

— Я слышал, ваша матушка болеет,— заметил он.

— Поэтому я и вернулся в Южную Африку,— сказал Филипп подчеркнуто суховато.

— Как она? — поинтересовался Деон.

— Боюсь, не очень хорошо. Диагноз ясен. Рак по всем статьям. А она слабенькая. Вы же знаете, ей нелегко пришлось в жизни.

Откровенность — за откровенность, решил Деон и сказал:

— Моя старушка тоже теперь здесь.

Глаза у Филиппа слегка расширились, но он постарался скрыть удивление.

— В самом деле? Здесь, в Кейптауне?

— Да, я все-таки забрал мать у ее братца. Он стал слишком стар и уже не может ходить за ней как следует. А у нее был удар, знаете ли. Ну, как бы там ни было, пока я ее хорошо устроил. В доме для престарелых. Там у них отличные сиделки, и все к ней так добры.

К ним подошел профессор Глив.

— Мы можем начинать, профессор Дэвидс. Вы нас извините, Деон?

— Да, да, конечно.

Деон повернулся было, чтобы идти, но, словно что-то вспомнив остановился и сказал Филиппу:

— Мне бы очень хотелось еще вас увидеть. После лекции.

Филиппа уже ждали у боковой двери.

— Отлично,— бросил он на ходу.

— Сегодня у меня. Обедаем вместе. Выкроите часок?

Филипп ответил не сразу, но Глив торопил его, и он сказал:

— С удовольствием. Благодарю вас.

— Превосходно. Так я заеду за вами.

— Большое спасибо,— сказал Филипп.

Профессор Глив говорил стремительно, нервно, широко расставив руки, обхватив кафедру.

— С большим удовольствием представляю вам нашего гостя — профессора Филиппа Дэвидса...

Генетика была страстью Глива, и он служил ей верой и правдой, тем более что кое-кто из приверженцев других медицинских дисциплин был склонен относиться к ней с известной долей пренебрежения, как к забавной игрушке, с которой можно повозиться на досуге, отвлекаясь от суровой действительности диагностики и лечения реальных недугов.

Заполучить сюда Филиппа сегодня, когда тот выдвинут на Нобелевскую премию, было большой удачей. И Глив, заканчивая вступительное слово, всем своим видом дал это понять.

Филипп подождал, пока шорох в зале и редкие аплодисменты стихнут. Голос у него, когда он начал, звучал совсем тихо — в зале воцарилась тишина, всем пришлось даже напрячь слух, чтобы лучше его слышать.

Деон отметил про себя этот прием профессионального лектора, улыбнулся и сел поудобнее.

— Рискуя показаться банальным,— говорил Филипп,— хочу все же напомнить, что труд большинства врачей сводится к применению известных приемов для лечения известных недугов.— Небольшая, эффектная пауза.— И лишь когда приема не существует, мы задаемся вопросом: а почему, собственно, этот пациент страдает именно этим недугом и почему он проявился именно так, именно в некий данный момент? Вот тут-то мы и вступаем в область медицинской генетики.

Луч света, золотой и тяжелый от высвеченных им пылинок, рассек зал, прочертив линию от одного из высоких окон до деревянной кафедры, за которой стоял Филипп. И он передвинул свои конспекты подальше от слепящего света.

За окном стоял липкий в духоте своей, летний кейптаунский полдень. В зале было жарко, и Деона, проведшего утро в операционной, где исправно работали охладительные установки, стала морить дремота.

Он размышлял о странном стечении обстоятельств, приведших Филиппа в анатомичку в тот редкий момент, когда он сам оказался там. Он сидел, обволакиваемый знойной духотой актового зала, и размышлял. Так бывает во всем, что с нами происходит,— просто дело случая, и все. Вот и этот телефонный звонок сегодня утром — тоже дело случая. Он уже собрался мыть руки перед операцией... Сначала голос секретарши, виноватый и извиняющийся: «Это вас, сэр».—

«Меня ждут в операционной, Дженни,— бросил он ей резко.— Вашему абоненту что, невтерпеж?» — «Извините, пожалуйста, профессор, но на проводе какая-то миссис Седара. Она говорит, что она ваш старый друг и... что она приехала из-за океана и должна срочно поговорить с вами».— «Седара?»

Он поглядел на блестящий диск телефонного аппарата, в котором отражалось его искаженное изображение. Нахмурился, припоминая, повторил про себя несколько раз фамилию. Она ничего ему не говорила.

«Ну ладно. Соедините».

Женский голос, очень низкий, говорит медленно, тщательно артикулируя:

«Профессор ван дер Риет?»

«У телефона».

«Привет, Деон».

Шокированный, ничего не понимая, он все же пробормотал: «А... здравствуйте».

«Вы не припоминаете меня? Нет?»

«Признаться, нет».

«Патриция. Вы знали меня как Патрицию Коултер».

Неуверенно:

«Патриция...»

И тут он вспомнил, и сердце, казалось, вот-вот выскочит из грудной клетки.

«Триш... Бог мой! Не может быть».

Филипп привел ряд наблюдений из своей практики, вызвавших оживление в аудитории, и тем помешал Деону, сбил с мысли. Он стал рассеянно слушать.

— ...Они вбегают в кафе, каких не один десяток в Кембридже,— рассказывал Филипп,— и Фрэнсис Крик возглашает: «Мы открыли тайну жизни!»

В зале раздался смех, и Филипп в свою очередь улыбнулся.

— ...Но по сути Крик был не так уж далек от истины, поскольку они с Уотсоном определили молекулярную формулу дезоксирибонуклеиновой кислоты. А эта субстанция — ДНК — по сути и является ключом или, лучше сказать, кодом всего живого.— Пауза, чтобы дать слушателям возможность осмыслить сказанное.— В самом деле, бактерии, вирусы — почти любая органическая субстанция в природе является носителем ДНК, молекула которой способна к рекомбинации. Главное, что тут происходит: две молекулы ДНК сливаются, а потом разъединяются, но образуют новую комбинацию.

«Триш,— прозвучало в душе Деона.— Я и забыл о ней».

А память упрекнула: как можешь ты быть в этом уверен?

«Почти забыл».

Он вспомнил ее голос, отчетливо вспомнил. Голос из прошлого. В буквальном смысле слова. Из глубины по меньшей мере двадцати лет. Двадцати одного, если уж быть точным.

«Ну, знаешь ли,— проговорил он тогда. И затем, запинаясь: — Но откуда, ради всего святого, ты взялась?»

«Я только что приехала в Кейптаун. И мне очень нужно тебя видеть. Пожалуйста».

«Отчего же, ну конечно, Триш».

«Мне нужна твоя помощь. Могу я приехать?»

«Безусловно,— ответил он с несколько излишней готовностью.— Безусловно. И обязательно».

«Когда лучше всего? И куда?»

«Ко мне на кафедру, я полагаю».

«Спасибо. Право же, очень любезно с твоей стороны...»

«Погоди-ка,— перебил он ее. Ему хотелось обо всем условиться и покончить с разговором.— Завтра утром я оперирую. Как насчет второй половины дня?»

«Пожалуйста».

«Завтра, в три часа».

«Спасибо».

«Ну и прекрасно»,— закончил он, постаравшись придать голосу теплоту и сердечность.

«Спасибо, Деон, и до завтра».

«До свидания, Триш».

И снова шелест и шорох пришедшей в оживление аудитории и подавляемые смешки за спиной заставили Деона стряхнуть с себя полудремоту и выпрямиться.

— ...Суммируем наши знания о природе генетических мутаций. На элементарном уровне мы можем обнаружить буквенную, образно говоря, опечатку в одном-единственном гене, результатом которой тем не менее явится передача некорректной информации с умножающейся степенью ошибок. В качестве одного из примеров этой формы мутации здесь можно привести гемофилию, передающуюся от женщины к мужчине. Наиболее известным носителем гемофилии была королева Виктория, которая через свое потомство объявила — в полном смысле этого слова — биологическую войну на уничтожение королевским фамилиям Европы.

Новые всплески смеха на задних скамьях и сдержанные улыбки на передних.

— На другой стороне спектра лежат генетические болезни — мутации достаточно крупные, которые можно увидеть под микроскопом. Так, например, можно обнаружить, что переизбыток генетического материала ведет к таким глубоким последствиям, как болезнь Дауна. Совсем недавно было установлено, что двадцать пять процентов самопроизвольных абортов связаны с разными аномалиями в хромосоме...

Деон не мог заставить себя сосредоточиться. Он ведь и не собирался идти на лекцию. Просто так получилось.

Он попытался вкратце суммировать то, что сказал Филипп: как ни странно, сдвиги в генетической модели, столь незначительные, что установить их можно лишь под линзой микроскопа, могут тем не менее иметь большие, непредвиденные последствия для человека.

«Все дело случая,— снова подумал он.— Какие-то бесформенные частицы формируют нашу жизнь, влияют на нашу судьбу... Странно. Очень странно».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тогда

Весна

Глава первая

Он спешил вверх по лестнице, перепрыгивая через две, а то и через три ступеньки. Он топтал их в ярости, точно можно избыточным движением заставить себя не думать или, по крайней мере, заглушить необходимость думать.

Он пробежал лестницу, ни разу не коснувшись перил, срезая

углы на поворотах, иногда его заносило, и тогда он отталкивался плечом от стены на лестничной клетке и бежал дальше. На площадке третьего этажа он чуть не налетел на пожилую, полную медицинскую сестру. Обогнул ее, пробормотав извинение. Она возмущенно посмотрела на него, но он не видел этого взгляда — его уже и след простыл, он одолевал последний пролет, несясь во всю мочь своих длинных ног.

Домчавшись до четвертого этажа, он с трудом перевел дух, но чувствовал себя победителем, будто что-то доказал — пусть даже себе одному. В начале коридора, ведущего в лекционный зал, уже собралась кучка студентов, и несколько пар глаз в недоумении уставились на него. Всего пять минут двенадцатого: нет никаких причин спешить. Он взял себя в руки, вздернул рукав пиджака, посмотрел на часы, точно ошибся во времени и этим объяснялась его мальчишеская спешка, но не остановился где все, а медленно пошел по коридору мимо отделения гематологии и дальше. И тут в мозгу, словно колокол в тумане, загудела монотонная, неотвязная мысль: «Пять дней».

К черту, все это пустяки, пытался он уверить себя, а неумолимый колокол снова ударил: «Пять дней».

Стремясь отвлечься, он остановился у доски объявлений возле лекционного зала и сделал вид, что внимательно изучает ее.

Он смотрел и не видел, не мог заставить себя сосредоточиться, не думал даже, как нелепо он выглядит: долговязый молодой человек с рыжеватыми волосами, хмурым взглядом и худощавым лицом стоит, уставившись в одну точку. Он стоял — руки в карманах халата, пальцы машинально вертели стетоскоп. Зеленый кант на халате показывал, что он студент, а из именного жетона на лацкане следовало, что зовут его — Дж. П. ван дер Риет. Инициалы, собственно, означали: Гидеон Паулюс, но латинское «G» здесь читали на английский манер — «Джи», и на первом курсе его одно время в шутку звали «джипом», хотя вскоре забыли и перешли на краткое «Деон», так и оставшееся за ним на всю жизнь.

Доска приказов и объявлений пестрела обычными призывами к донорам и ревностными воззваниями Ассоциации студентов-христиан. Он стоял, не замечая, как говорливыми группами или вроде него в одиночку и молча прохаживаются его однокурсники.

Наконец до Деона дошло, что он остался один в коридоре. За широкой дверью слышались шаги студентов, поднимавшихся по проходам между рядами в поисках места, и приглушенный гул их голосов.

Поняв, что так он и в самом деле опоздает на лекцию, Деон поспешил в аудиторию. Группа человек из шести, плотным клубком собравшаяся на самом верху, в последних рядах, вдруг распалась, разразившись громким смехом.

Кто-то из них увидел Деона и поманил его рукой. Он сделал вид, что не замечает зова, и пошел через весь зал на левую сторону. Здесь было свободно: наиболее серьезные студенты сидели здесь поодиночке, раскрыв блокноты, приготовив ручки.

Он скользнул на место в боковом проходе, крайнее в первом ряду, неподалеку от другой компании — эти всегда держались вместе, вечные молчальники, вот и сейчас молчат, все до одного, и эта индийская пара — мужчина с коротко подстриженными усиками и застенчивым взглядом и молодая женщина, привлекательная, но без тени каких-либо чувств на каменно неподвижном лице. Все остальные — пятеро юношей — тоже были цветные. Когда Деон сел, тот, что сидел ближе к нему, повернулся — у него были то ли выцвет-

шие, то ли от роду очень светлые зеленые глаза, придававшие темному лицу пугающую неистовость.

Деон улыбнулся ему и кивнул.

— Здравствуй, Филипп,— сказал он, чуть растягивая по привычке слова и тщательно выговаривая каждую букву.

Светлые зеленые глаза посмотрели на Деона, и Филипп Дэвидс ответил ему улыбкой.

— Привет, Деон,— поздоровался он спокойно и чуть суховато.

Глаза их встретились, и улыбка на лицах застыла, словно это была и не улыбка, а конвульсия, растянувшая губы. И оба одновременно отвели взгляд.

Барьер как был, так и остался. Конечно, порой — в минуты взаимопонимания и симпатии — им казалось, будто он вполне преодолим, во всяком случае не неприступен, но проходила минута, и он снова вставал между ними. И они опять оказывались по разную сторону ограды из колючей проволоки вроде той на ферме отца, только здесь проволока была натянута на совесть, она начиналась у самой земли — так, что и шакал не проползет, и доходила до высоких, сверкающих небес.

И тем не менее Деону снова и снова приходила мысль, что он просто обязан ее перерезать. Но (и тут он почувствовал легкий укол обиды) перерезать ее надо с двух сторон. «В конце концов не маленький, пора бы человеку понять, что я вовсе не пытаюсь ему покровительствовать,— сердито подумал он.— Ведь мы когда-то дружили».

В этом не было ничего удивительного. В те далекие дни на ферме Филипп звался «Флипом», и явная разница в положении — один был сыном хозяина, а другой сыном слуги — не казалась чем-то существенным. Они были друзьями и товарищами, и если случались трудности, они почти всегда вместе противостояли им, вместе терпели и «от десницы отца своего», ибо хозяин, отец Деона, был скор на руку. И пару-другую хороших розог, которые сами же они, Деон и Флип, нарезали впрок и сами носили в дом из аллеи, где росли над водой айвовые деревья, ван дер Риет-старший делил между ними поровну, и после этого они вместе потирали тощие ягодицы, которые еще минут десять не отпускала жгучая боль.

Он вспомнил, как они с Флипом стояли после порки под стеной плотины, их излюбленного убежища, потирая зад и изо всех сил стараясь не предать свое мужское достоинство позорными слезами.

Тогда они дружили, хоть и не были равны. Теперь же они стали равны и не были больше друзьями.

К черту, нечего над этим раздумывать. У него другие заботы, более неотложные дела, требующие внимания.

Неужели это действительно произошло? Одна мысль об этом была непереносима. Теперь все может пойти прахом — и университет, и экзамены, все его будущее. Какой-то пустяк, достаточно было на мгновение забыться — и вот... Он закрыл глаза, будто от резкой боли.

Жужжание голосов разом прекратилось, уступив место торжественной тишине. Деон увидел, как открылась боковая дверь, и щегольски одетый профессор хирургии появился в аудитории.

Возвышение, на котором стоял лектор, было небольшое — на нем едва умещались стол, кафедра и пара стульев. Профессор Снаймен с сосредоточенным видом подошел к столу, выпятив грудь, как бойцовый петух. Его черные с проседью волосы стояли хохолком, дополняя сходство с драчливым петухом, ворвавшимся на птичий двор. То, что именно хирургу досталась такая фамилия,— а Снаймен означает «мясник», — неизменно веселило новичков.

Профессор Снаймен возложил на стол бумаги — точно откровение принес,— неторопливо, основательно водрузил на нос очки и оглядел снизу вверх ряды обращенных к нему лиц.

— Всем приятно будет услышать,— начал он своим высоким сильным голосом,— что мы подходим к концу нашего курса хирургии.— Он сделал паузу и внимательно осмотрел лица.— Конечно,— добавил он чуть тише, почти нормальным голосом человека, ведущего беседу,— это не относится к тем, кто соизволит вернуться ко мне в будущем году еще на шесть месяцев.

В зале прошелестели сдавленные смешки — мало кому могла доставить удовольствие подобная перспектива. Переэкзаменовки назначались лишь в середине года, а даже лучший мог провалиться, даже самый блестящий студент мог пасть жертвой всепарализующего страха во время экзамена у старика Снаймена.

— Мы заканчиваем цикл из пяти лекций по детской хирургии.

Деон опустил глаза на парту — имена, инициалы, даты, вырезанные на крышке поколениями студентов, практиковавшихся здесь в искусстве владеть скальпелем и пером. Среди всех этих письмен некий безвестный остряк старательно выгравировал: «А проф. Моррис Flexi[1] помешан на сексе». Профессор-психиатр Моррис был у них рьяным и неутомимым проповедником фрейдизма. Деон ухмыльнулся.

«Пять дней»,— напомнила ему безжалостная память. Ухмылка перешла в гримасу боли. Ничего забавного в сексе нет. По крайней мере сегодня. А вчера вечером тем более не было.

Вчера всю вторую половину дня Деон помогал в приемном покое, куда привозили пострадавших от «несчастных случаев». У железной дороги схватились две пьяные компании, и привезли несколько человек с открытыми ранами на голове. Ближе к вечеру заморосил дождь, и тут же, как и следовало ожидать, повезли людей, пострадавших на дорогах: мокрый асфальт в час пик.

Среди этих пьяных, порезавшихся, ударившихся людей Деон и трудился вовсю, пытаясь одновременно покорить молоденькую сестру, как раз заступившую на ночное дежурство в приемном покое.

Он зубрил кардиологию к экзамену, и ему еще надо было повторить чертову уйму всякой всячины, так что задерживаться он не стал. Он бодро прошагал мимо уже темных окон учебного корпуса и переулками стал пробираться к манившей огнями Главной улице. Миновал греческий ресторанчик, ухватив ноздрями через открытую настежь дверь запах горячих пирожков с рыбой, кипевших в масле, вдруг почувствовал, что голоден: эх, зайти бы заказать сандвич с сыром и кофе. Но денег оставалось в обрез — всего пара монет до следующей стипендии, надо их оставить на что-то более важное. Интересно, а когда эта сестра из приемного покоя не дежурит ночью? Может, если пригласить ее пообедать с бокалом вина, она бы стала сговорчивей?

Он прошел через садовую калитку, обогнул дом, направляясь к своей комнате (вообще-то помещению для прислуги), выходившей на задний дворик и унаследованной от одного парня, который недавно окончил университет.

На будущий год, когда он тоже получит диплом, у него, Деона, будет автомобиль — отец обещал ему в качестве подарка по случаю окончания,— и тогда будет совсем другое дело, свои колеса. Жаль только, что придется жить при какой-нибудь больнице. Что проку

[1] Флексия *(искаж. лат.)*.

учиться на врача, если потом надо влачить поистине монастырское существование, как самому последнему первокурснику?

Он открыл дверь и потянулся к выключателю. Но еще даже не включив света, почувствовал каким-то инстинктом самосохранения, что не один в комнате.

Он весь напрягся и, заняв оборонительное положение, шагнул назад к двери. И облегченно вздохнул, увидев, что это всего-навсего Триш. Она лежала на его узкой койке, глядя ему в лицо чуть прищуренными от яркого света глазами. Ее темно-каштановые, с рыжим отливом, волосы разметались по подушке, но поза была напряженной, и она лежала одетая. Даже не потрудилась снять свой серо-зеленый плащ.

«Ну и ну,— протянул он и попытался улыбнуться.— Привет».

Он снял плащ и аккуратно повесил его на крючок за дверью. Предчувствие, что все-таки что-то не так, не оставляло его. Ему требовалось время, чтобы немного прийти в себя.

«Вот это сюрприз»,— добавил он с наигранной веселостью.

Девушка молча смотрела на него.

«Как ты сюда проникла?» — спросил он.

«Миссис Мак дала мне запасной ключ».

«О, боже мой! — Вот это ему уже не понравилось.— Не надо бы лезть ей на глаза». Его хозяйка и так проявляла излишнее любопытство к ночным похождениям своих постояльцев, а теперь все ее подозрения на его счет получат полное подтверждение.

«Не могла же я ждать тебя под дождем,— холодно отвечала Триш.— Так я ей и сказала».

Можно не сомневаться. Равно как и в том, что она, пожалуй, единственная, у кого достало воли и уверенности обратиться к старой женщине за ключом. Странная все-таки девушка, и эта копна медно-рыжих волос, и глаза, которые могут быть чужими и холодными, как у кошки, а то вдруг расширятся, станут нежными. Все странно в ней. В любви она, кажется, готова порой спалить все вокруг, дикая и необузданная, а то найдет на нее стих, и ты чувствуешь, что глубоко ей безразличен.

«Ну что ж, я все равно рад тебе»,— несколько неуклюже попытался он сгладить свою промашку. Он наклонился поцеловать ее, но ее губы ему не ответили. Ну, стало быть, веселенький предстоит вечерок.

Хорошо, но чего же она тогда пришла? В приливе внезапного раздражения он попытался силой заставить ее разжать губы, но она только крепче сжала их и повернула лицо к стене.

«Что с тобой?» — поинтересовался он и, не получив ответа, отошел от кровати, сел за письменный стол, включил настольную лампу. Он заметил, что дышит, быть может, чуть учащенно. Тем не менее он взял со стоявшего рядом стула тяжеленный учебник «Общий курс медицины», сдвинул в сторону конспекты, чтоб они лежали под правой рукой. Он будет весь вечер работать. Он не может тратить время на пустую болтовню о жизни и искусстве с этой ледяной особой.

Она всего-навсего Патриция Коултер — и только. Ее старик держит аптеку. Год назад она была для него самой что ни на есть обычной Пат, как любая Патриция на свете. Он познакомился с ней в кафе «Поросенок и свисток», за кружкой пива. Она рассказала, что учится на втором курсе факультета искусств, а за год до того, как поступить в университет, путешествовала по Франции и Испании. Она ему понравилась. Необыкновенного цвета волосы, удлиненное лицо, скорее интригующее, чем хорошенькое, изящное, подвижное

тело. Прямолинейность и твердость ее суждений, когда речь заходила о политике, привела его в ужас и одновременно показалась удивительно подкупающей, тем более что собственные взгляды претерпевали у него постоянные изменения. Он строил из себя по уши занятого наукой студента-медика, который выше таких тривиальностей, как политика. Она приперла его к стене, громя политиков-националистов, которым его отец помог прийти к власти четыре года назад, и ему ничего не оставалось делать, как защищать их. Наконец, и он стал задаваться вопросами, на которые она, сама того не сознавая, давала исчерпывающие ответы или же побуждала его подвергать сомнению то, что слишком легко приходило на ум.

Впрочем, в равной степени безжалостной она была и к себе. В ее возрасте — а ей было двадцать два — она могла бы пожертвовать независимостью духа — ну, хотя бы ограничить эту свою независимость разумными рамками во имя создания дома и семейного очага. Она же не желала идти на компромисс. Более того, с презрением относилась ко всему постоянному и прочному.

Первым доказательством того, что ей все надоело, было новое имя, которое она вдруг изобрела для себя и на котором упорно настаивала. Сначала оно показалось ему даже милым. Значит, она, как и он, хочет порвать все узы с прошлым. Ему нравилось поддразнивать ее и звать «Триш».

Но то, что происходило сейчас, ему совсем не нравилось.

«Да что с тобой?» — спросил он снова.

Она свесила с кровати стройные ноги, но, увидев, что он смотрит на нее, с нарочитой скромностью прикрылась полой плаща.

«Я беременна»,— заявила она вдруг напрямик, без всякой подготовки.

У него было такое ощущение, точно он вошел в хорошо знакомую комнату, ну, например, в эту,— вошел в абсолютной темноте, но зная, где стоит каждая вещь... и вдруг «бац» — наткнулся на стену, которой здесь никогда не было.

«Ты... что?»

«Беременна,— повторила она с тем же неестественным спокойствием.— Не могу сказать абсолютно точно, но, судя по всему, да».

«Но каким образом?..»

Губы ее скривились в усмешке.

«У тебя надо спросить».

Он нащупал рукой стул и, пока искал его, неловко толкнул стол, так что кипа учебников с грохотом свалилась на пол. Нагнулся поднять их и, словно предзнаменование, увидел сверху учебник гинекологии и акушерства, раскрытый на титульном листе. Призвав на помощь все свое чувство юмора, он постарался не поддаваться суеверной чепухе, но книгу поднимать не стал.

Наконец он обрел дар речи:

«Но откуда ты взяла? Сколько дней... Ну, я имею в виду...»

Она видела, в какой он растерянности, но и не подумала помочь ему. Этого качества раньше за ней не водилось: что угодно, но безжалостной она никогда не была.

Сам не понимая почему, он вдруг подумал, что ни разу не видел ни одного ее рисунка. Она хороший художник? Он понятия не имел. Ведь он ни разу не удосужился попросить ее показать ему свои работы, а сама она не предлагала. Выходит, он понятия не имеет, что у нее внутри,— знает лишь то, что она сама не считает нужным скрывать. Она для него — загадка.

У него были свои наблюдения и суждения о странностях человеческой натуры. И сейчас он со стыдом и удивлением обнаружил,

что в нем живет трус; он вспомнил, как смело она призналась, а первым его побуждением было все отрицать. Нет, и точка, знать ничего не знаю, шептал ему предательский голос. Наберись смелости и скажи, что это не имеет к тебе никакого отношения.

Конечно, всерьез он этого допустить не мог. А все же семя вероломства жило в нем, жило, никуда от этого не денешься.

Он заставил себя успокоиться.

«И... сколько же дней?»

«Пять».

Он чуть не расхохотался — как гора с плеч.

«Пять дней! Но, девочка моя, это же ничего не значит. Черт возьми, ну и напугала ты меня. Пять дней ровным счетом ничего не значат».

Она бросила на него насмешливый взгляд.

«Для кого как. У меня всегда было день в день».

«Нельзя делать таких категорических выводов о человеческом организме. Сколько угодно бывает отклонений, самых неожиданных. Так или иначе, а у тебя нет оснований для беспокойства. Пока, по крайней мере».

«Пока»,— повторила она задумчиво.

«Если хочешь знать, твоя тревога как раз и может быть ключом ко всему. Ты понервничала, а это часто и является причиной задержки».

Она вспылила, впервые выйдя из равновесия:

«Большое спасибо, но я не нуждаюсь в твоих дилетантских экскурсах в психоанализ, оставь свое красноречие при себе».

Он тоже разозлился:

«Ну, знаешь, не очень удачный ты выбрала повод для сведения мелких счетов. Если ты беременна, что ж, что-нибудь придумаем. Но если хочешь знать мое мнение — пусть даже дилетантское, как ты изволила заметить,— нет никаких причин травить себя и других».

Она прикусила губу и отвернулась:

«Извини».

Он понял, почему она отворачивается: плачет.

Ему тоже стало жаль, что он столько всего ей наговорил, стало стыдно за свою черствость.

«Пат!» — сказал он извиняющимся тоном, и старое имя сыграло роль заклинания, словно открылась тайная сокровищница ее души, и Пат, захлебываясь от рыданий, рухнула на кровать.

Он стоял над ней, не зная, что делать, потом мягко коснулся вздрагивающего плеча.

«Триш»,— позвал он.

Она мотнула головой, тщетно пытаясь успокоиться.

«Триш, дорогая. Не плачь. Тебе нечего тревожиться. Я что-нибудь придумаю».

Тогда она подняла на него глаза. Волосы ее растрепались и космами висели вдоль лица. Она не пыталась даже их отбросить.

«Ты мне поможешь? — сказала она. Не взмолилась, а просто спросила. И повторила: — Помоги мне, Деон».

«Конечно,— поспешно сказал он. Слишком поспешно.— Конечно, я тебе помогу. Не беспокойся»,— добавил он и не узнал собственного голоса: сдавленного, фальшивого, неубедительного.

— «Не беспокойтесь» — выражение неприемлемое для нее,— говорил профессор Снаймен.— Проблемы не решаются сами собой.

Слова Снаймена пробудили непрошеное эхо. Деон испуганно впился взглядом в маленького человека там внизу, у кафедры.

— Детскую хирургию, тем более грудного возраста, следует признать самостоятельным направлением, отличным от хирургии зрелого возраста,— говорил профессор.— Я хочу продемонстрировать вам, с чем в принципе нам придется иметь дело,— бросил он через плечо. Он нашел нужный слайд, проверил его на свет, укрепил в проекторе.— Свет! — попросил он.— Выключите свет!

Никакого света никто не включал — просто зимнее солнце, заливавшее зал сквозь высокие окна, было слишком ярким. Профессор засуетился, замахал руками, точно птиц пугал — кш-ш! — пока не спустили жалюзи. Наконец, решив удовлетвориться полумраком, он включил проектор.

— Перед нами пример из области врожденных аномалий,— начал профессор Снаймен.— Как вы знаете, приблизительно четыре процента детей рождаются с экстенсивными деформациями. И лишь немногие из этих отклонений нельзя устранить с помощью хирургии. С другой стороны, большинство аномалий, если их не выправить, ведет к летальному исходу. Это особенно касается пяти групп аномалий.

Он подошел к экрану, и изображение заслонила его тень, увеличенная лучом света из проектора. Секунду он стоял в этом сиянии спиной к аудитории, точно любуясь своим увеличенным изображением, затем сделал шаг в сторону и постучал указкой по экрану.

— Атрезия кишечника,— сказал он.— Еще год назад смертность по этому поводу здесь, в Кейптауне, составляла сто процентов.

В эту минуту дверь лекционного зала открылась, и ворвавшийся свет смазал изображение на экране. Профессор Снаймен рывком повернулся на каблуках. Вошла сестра, ведя за руку ребенка. На девочке был ярко-алый халат. Раскрыв рот, она оглядела аудиторию, потом, как бы в поисках защиты, прижалась к сестре.

— Я еще не готов демонстрировать этот случай,— раздраженно бросил профессор сестре.— Ну хорошо, подождите здесь, сестра, раз уж вошли. И прошу вас, чтобы ребенок вел себя тихо.

Голос Филиппа мягко прошептал Деону в ухо: «Прошу извинить».

Деон поглядел на него, в первое мгновение ничего не поняв. Индийцы, и он, и она, да и все цветные, были уже на ногах и ждали, чтобы он пропустил их. Только тут Деон сообразил: пациентка-то, девочка эта, белая. Он повернулся, вытянул в проход ноги, чтобы не мешать им,— все семеро вышли, поднялись по ступенькам к боковой двери и скрылись за ней. Тогда он с неосознанным возмущением уставился на сестру, а заодно и на белого ребенка.

Сестра едва ли заслуживала столь пристального внимания. Толстая коротышка в халате определенной длины, строго по правилам: четыре дюйма ниже колена. Что за прелесть нашел Робби этими днями на доске объявлений? А, предписание младшему персоналу: «Сестры обязаны носить халаты на четыре дюйма ниже «patella». А вместо «patella» — «коленная чашечка»—какая-то невежественная машинистка напечатала «pasella», что на языке зулу означает «дар», «то, что, дают даром», «подарок». Деон усмехнулся про себя. Любопытно, что не дурнушки, а именно хорошенькие стараются приукрасить себя — чуть выше подошьют халат или посадят на голову шапочку чуть под другим углом. Дурнушки же так и остаются дурнушками, точно это их нимало не заботит.

Толстуха стояла, явно смущенная под оценивающими взглядами дюжины глаз, и смотрела себе под ноги. Ее густые черные брови были сдвинуты, образуя одну сплошную линию.

Деон вдруг почувствовал, как его охватила беспричинная, бурлящая радость. Все будет хорошо. Он сейчас же после лекции по-

звонит Триш, и она сообщит ему приятную весть. Он посмотрел на часы. Еще десять минут, пока Снаймен кончит. Триш как раз будет дома — время ленча.

— За оставшиеся несколько лекций,— говорил профессор Снаймен,— мы подробно рассмотрим некоторые врожденные пороки и выясним, как и что может сделать хирургия, дабы исправить ошибки природы.

«Ничего не понял из всей лекции,— озабоченно отметил про себя Деон,— все мимо ушей.— Но чувство радости не проходило.— Ну и черт с ним! Что, списать, что ли, не у кого — возьму у кого-нибудь конспект, и все дела...»

Глава вторая

Он держал трубку и слушал гудки, но никто не подходил к телефону.

Что там, нет никого? Он представил себе, как звонит телефон в пустой квартире.

Черт бы побрал этот телефон. Неужели там некому подойти?

Раздался щелчок, и тут же ее голос:

— Алло?

У него в руке уже была наготове монета, но он не решался ее опустить.

— Алло?

Он сунул монету в щель.

— Алло, Триш,— взволнованно проговорил он.

— А, это ты.— Голос у нее звучал глухо.

Он все понял.

И к горлу подкатила тошнота, застучало в висках, и была только одна мысль: надо держать себя в руках. Спокойно.

— Как ты? — Он сказал это с наигранной веселостью, точно ничего и не случилось.

— Прекрасно,— равнодушно отвечала она.

— И...— Он не знал, как это выразить.— У тебя ничего нового?..

В трубке щелкнуло, точно ключ в замке повернулся. На миг он ощутил себя вольной птицей, но только на миг. Гнетущая тяжесть ответственности и чувство вины тут же вернулись.

Дверь телефонной будки пружинисто захлопнулась за ним, он вышел на залитую солнцем улицу и медленно побрел прочь. Он шел, глубоко засунув руки в карманы брюк, насупившись, словно уже стал настоящим врачом, озабоченным бренностью человеческого существования.

На самом же деле он думал об отце. Что-то вдруг напомнило о нем, что-то мимолетное, может быть, блики солнца на ветровом стекле автомобилей, мчавшихся по городским улицам и исчезавших далеко за барьером зданий.

Морские раковины... Ну да, что-то связанное с раковинами. Да. Это было утром во время больших летних каникул после второго курса. Субботним утром, вспомнил он теперь,— все вдруг нахлынуло, как живое. Поздним утром, потому что, помнится, он уже принял душ и переоделся для игры в теннис. Он собирался приготовить себе сандвичи с холодной бараниной, а потом отправиться до вечера на ферму к Верстерам. У Верстеров, их соседей, был теннисный корт и очаровательные дочки-двойняшки.

На просторной прохладной веранде вдруг откуда-то взялся отец и весьма критически оглядел его белую тенниску с эмблемой из лав-

ровых листьев, тщательно отутюженные шорты и носки, теннисные туфли без единого пятнышка — и уголки рта у отца чуть дрогнули.

«А ты модник, я смотрю»,— сказал отец. «Модник» он сказал по-английски, чтобы подчеркнуть иронию.

Деон покраснел. Он уже с первого дня каникул почувствовал, что между ним и отцом что-то не так, какая-то накаленная атмосфера — достаточно искры, чтобы произошел взрыв.

«Собираюсь в теннис поиграть»,— сказал он.

«Это я вижу»,— сказал отец.

Из-за угла вышел кто-то из цветных работников и направился к веранде. Человек почтительно держал в руках рваную, всю в масляных пятнах шляпу. У входа на веранду он остановился, дожидаясь, пока белые хозяева заметят его. Потом быстро что-то залопотал.

«Янти говорит, помпа за Длинным холмом сломалась»,— сказал Иоган ван дер Риет.

Цветной работник осклабился, глядя на Деона, обнажив в улыбке остатки желтых зубов.

«Я думаю съездить взглянуть, покопаться,— сказал Иоган ван дер Риет и снова оглядел теннисный костюм сына.— Не хочешь мне помочь?»

«Я же собирался играть в теннис»,— мрачно сказал Деон.

Отец повел плечами.

«Если б Бот не уехал, я не стал бы тебя просить».

Брат Деона был на овечьей ярмарке в Свободном государстве[1].

«Бот фермер, я — нет».

«А откуда, по-твоему, фермеры берут деньги, чтобы содержать тебя в университете? Пора бы тебе поинтересоваться откуда,— вспылил отец.— Но если ты предпочитаешь играть в теннис...»

Деон раздраженно передернул плечами.

«Собственно, ты не оставляешь мне выбора».

Отец посмотрел на него из-под нахмуренных бровей.

«Не смей разговаривать с отцом таким тоном»,— произнес он, стараясь сохранять спокойствие.

Деон нехотя разделся и снова влез в куртку и штаны цвета хаки. Отец, пока он переодевался, ждал у ворот в стареньком пикапе «шевроле», в котором ездил по ферме. Деон сел рядом с отцом в кабину. Янти взобрался в кузов и трясся там среди ящиков с инструментом — всех этих гаечных ключей, громыхавших на каждой выбоине.

Деон промолчал всю дорогу и был рад, что их «шевроле» бросало из стороны в сторону на плохой дороге: грохот и тряска позволяли не поддерживать разговор.

За Длинным холмом, который на самом деле был ничуть не длиннее остальных каменных нагромождений, там и сям нарушавших однообразную пустоту равнины, пикап вдруг остановился. Отец резко нажал на тормоз, завидев в ограде покосившийся столб и провисшую проволоку, и крикнул, чтобы Янти натянул ее получше.

Потом они поехали к этому насосу. Выяснилось, что вышел из строя коренной подшипник и полетело несколько зубцов на главной шестерне. Отец стоял, посвистывая, пока они с Янти ковырялись и, пытаясь снять поврежденную шестеренку, осторожно сдвигали ее дюйм за дюймом рычагом.

Отец нагнулся, чтобы поддеть шестеренку снизу. И подняв голову, поймал взгляд Деона. Забыв, что руки в мазуте, смахнул тыльной стороной ладони пот с лица, и на щеке остался черный след.

[1] Оранжевое Свободное государство — провинция ЮАР.

«Ну,— сказал он вдруг,— так чему они обучили тебя за этот год, кроме как резать тела усопших?»

Напряжение исчезло. Они были снова отец и сын и — друзья.

«Гистологии, биохимии, да мало ли чему. Анатомии и физиологии. Еще куче всяких вещей. Есть у нас, например, антропология и теория эволюции видов».

«Эволюции,— протянул отец, точно нашел в этом слове что-то смешное.— Неужели тебя учат и этой бессмыслице тоже!»

«Почему бессмыслице? Каждое положение научно доказано. И теперь ясно, что все это — истина».

«Истина потому, что профессора тебе сказали?»

«Ты не понимаешь. Все доказано, все сходится. Все логично».

«Вот ты мне и объясни, чтобы я понял,— сказал отец.— Но только не забывай, что я простой фермер, так что не очень-то сложно».

Деон стал припоминать, что он слышал на лекциях, чтобы пояснить на примере попроще.

«Ну вот, взять хотя бы морские раковины»,— пришла ему вдруг в голову мысль.

Отец непонимающе смотрел на него.

«Раковины?»

«Да. Те самые, что у тебя в кабинете. Ну, помнишь, мы собирали их в заливе? Так вот, этот вид моллюсков остался почти неизменным со времен кембрийской эпохи, а с тех пор прошло почти шестьсот миллионов лет.— Он победоносно взглянул на отца.— Почему?»

«Профессора, должно быть, очень умные, коль знают, что было и чего не было такую уйму лет назад».

Деон напрягся. Он не любил, когда его высмеивали.

«Если человек не хочет понимать, то никогда ничего не поймет,— резко сказал он. И тут же добавил, заметив, что брови у отца сдвинулись: — Эти раковины не эволюционировали потому, что их ничто к этому не побуждало. Не менялась среда обитания, не менялись и они. Другие же формы жизни вынуждены были приспосабливаться по той простой причине, что менялась окружающая среда. Иначе они бы не выжили. Это называется процессом естественного отбора».

И он продолжал объяснять — с подъемом, увлекшись, а отец слушал его задумчиво, с мрачной усмешкой, между делом осматривая насос, проверяя деталь за деталью.

«Видишь,— сказал, наконец, Деон,— это единственно возможное объяснение природы вещей».

Отец взглянул на него. Полуденное солнце палило нещадно, и в будке из гофрированного железа, где стояла помпа, троим было тесно и невыносимо душно — они обливались потом.

«Очень все интересно про эти твои раковины и что-от-чего пошло».

«Почему только раковины? Приматы. Человекообразные обезьяны...»

«А какие б ни были! Только не морочь себе голову, не обманывай себя мыслями, будто эти раковины да обезьяны так все и объясняют, сын мой. Вспомни: сначала бог создал небо и землю».

Деон пренебрежительно отмахнулся.

«А-а, это».

«Да, это,— сказал отец и добавил более твердо: — Этому тебя учили, этим ты и должен руководствоваться в жизни. Этим руководствовался и мой отец до меня, и отец его отца. Не забывай этого».

Деон только плечами пожал. Может, он и вправду был тогда менее почтителен, чем сам того хотел, но не идти же на попятный.

«Не моя вина, что меня учили сказкам».

«Это ты Слово божие, откровение, называешь сказкой?»

«Да пойми, отец, каждый знает, что Библия — это никакое не откровение. Всего лишь собрание древних преданий...»

«Ты что, коммунистом заделался в этом своем английском университете? Насмехаешься над Словом божьим!»

Они смотрели друг на друга, разделенные замасленной, местами покрытой пятнами и подтеками ржавчины станиной помпы.

«Это ты насмехаешься над тем, во что я верю»,— с горечью возразил Деон.

Доказывать что-либо дальше было бессмысленно.

С научной точки зрения, доводы отца не выдерживали критики. Бессмысленное ханжество, опровергнуть которое любой человек, знакомый с основами логики, мог в несколько минут.

Но его отца ничто не могло переубедить. Если уж он заберет что-нибудь в голову, сдвинуть его с места, даже на волах, никому бы не удалось. Это упрямство было фамильной чертой, характерным для них изъяном, которым все они, как ни странно, гордились.

Кто-то легонько тронул Деона за плечо. Он, вздрогнув, оглянулся. Робби. Умный, серьезный Робби, вечно прикрывавшийся дымовой завесой из шуточек и острот. Он улыбался Деону.

— Расслабимся, старина. Может, все еще и обойдется.

— Не обошлось вот,— сказал Деон и усмехнулся.

Робби тоже.

— Я вниз, в кафетерий. Идем?

— Да, конечно.

Они вместе спустились по крутым ступенькам. Робби что-то болтал о девушках и выпивке, Деон, не слушая, наугад отвечал. Он все думал об отце.

В этом весь он, его отец. Соседи так и звали их: «твердолобые ван дер Риеты». Отец был настоящий ван дер Риет и гордился этим. Прав или не прав — середины быть не может. К тому же он всегда знал, прав или нет. И если что-то решал, то переубедить его было уже невозможно.

Способен ли он смириться с тем, что сын его, ван дер Риет из Вамагерскрааля, спал с девушкой и сделал ее беременной, не имея при этом ни малейшего намерения жениться? Может ли он вообще поверить, что такое возможно?

Никогда, подумал Деон, никогда, даже через миллион лет.

Смирившись с тем, что таково положение вещей, и оно, увы, не изменится, Деон последовал за Робби и через вращающуюся дверь вошел в студенческий кафетерий.

Они остановились у самых дверей, ища глазами свободный столик. Цветные студенты сидели на своих обычных местах у входа. Двое сгорбились над шахматной доской, остальные толпились вокруг и молча следили за игрой. В дальнем углу в одиночестве сидел Филипп Дэвидс. Перед ним был раскрытый учебник — он пристроил его на столе, как на пюпитре, и ел, не отрывая глаз от книги. Он не поднял глаз и когда они проходили мимо, направляясь к стойке, и когда возвращались с тарелками (был день риса с карри: шеф-повар малаец, дай ему волю, ничего другого и не готовил бы).

Робби хотел было пройти мимо к столику у стены, но Деон задержал его.

— Давай здесь,— сказал он и потянул на себя стул рядом с Филиппом.

Филипп и Робби, не скрывая удивления, смотрели на него. Да, конечно, все расы были здесь равны, но смешивать их почти никому не приходило в голову. Деон вспомнил, как раздражало его то, что он увидел здесь шесть лет тому назад, когда впервые перешагнул этот порог. А он увидел, что темнокожие находятся в одном помещении с белыми.

Спроси Деона, что его толкнуло сесть рядом с Филиппом, он бы не ответил. Может, он поступил так из-за того, что произошло раньше, в аудитории. А может, нет. Тем не менее он решительно опустился на стул рядом с Филиппом, и после минутного замешательства Робби последовал его примеру.

Филипп ел бутерброды, доставая их из толстого бумажного пакета. Он смахнул со стола крошки в ладонь и, не сводя глаз с Деона, убрал со стола учебник, освобождая им место. Деон взглянул на корешок.

— Ну как, дело двигается? — спросил он.

— Вполне,— сказал Филипп и не спеша отхлебнул из грубой фарфоровой чашки с университетским гербом. Выждав какое-то время, он вежливо поинтересовался: — А у вас?

— О, отлично. Сижу над кардиологией.

— У-гу.

Деон почувствовал, как его начинает злить эта вежливая уклончивость, и, не скрывая иронии, заметил:

— Вы, конечно, это уже давно одолели!

Филипп промолчал. Он не знал, куда девать пакет с бутербродами. Они были из тонко нарезанных ломтиков домашнего хлеба, а с чем — Деон не видел, по запаху, похоже, с рыбой. Наверное. Цветные обожают рыбу.

Робби с интересом наблюдал за обоими, словно чувствовал, что эта встреча неспроста, а почему — непонятно. Потом торопливо принялся за еду.

Решив загладить свою неучтивость — да и бутерброды напомнили ему детство,— Деон спросил, как поживает мать Филиппа.

— Неплохо,— торопливо ответил Филипп.— Очень даже неплохо.

— Она работает там же? Все на этом консервном заводе?

Филипп кивнул. Он поднес к губам чашку — из-за нее Деону не было его видно.

— Замечательная у вас мать. Взять хотя бы то, как она заботится о вас все эти годы.— Деон понимал, что эти его восторги, возможно, звучат фальшиво, но говорил он от души.— На этом заводе ведь много не заработаешь, так что ей, наверно, не легко приходится.

Филипп молчал и смотрел вниз на свои бутерброды. Он не прикоснулся к ним с тех пор, как эти двое подсели к нему.

— Я знаю, вы добились стипендии и все такое,— продолжал Деон, сам не понимая, зачем он это говорит, лишь надеясь, что он ничего не испортил.— Но с ее стороны это все-таки большая жертва.

Филипп посмотрел на Деона, затем поверх его плеча на столик, где играли в шахматы.

— Ваш отец тоже не оставил меня без помощи,— как бы между прочим заметил он.

Деон заморгал от удивления и даже приподнялся со стула.

— То есть?..

И снова в ответ сначала спокойный испытующий взгляд.

— Как, вы не знали? Он помогал нам. Без него первые два года мне бы ни за что не продержаться.

Деон старательно жевал желто-бурую смесь мяса и риса, чтобы только не говорить. Его отец помогал Филиппу — и ни словом не обмолвился! Дело даже не в том, что не обмолвился,— он не из тех, кто разглагольствует о собственной благотворительности. И все же кто бы мог подумать, что он станет давать деньги на образование какого-то цветного юноши тогда, шесть лет тому назад, в 1948 году, когда так бурлила расовая ненависть и он сам немало сделал, чтобы ее подогреть. Его хотели выдвинуть кандидатом на выборах в тот год, но он предпочел остаться как был — председателем местного отделения партии, человеком у власти, человеком, который сам выдвигает кандидатов. Его поступок в отношении Филиппа показывал умение в некоторых случаях отстраниться от своих взглядов. Впрочем, нет. Никакого отстранения тут не было — скорее наоборот. Отец считал, что человек должен проявлять милосердие прежде всего у себя дома, а Флип был мальчиком из Вамагерскрааля, пусть всего лишь цветным мальчиком. И тут Иоган ван дер Риет всего-навсего выполнил свою обязанность феодала.

И все-таки это было удивительно и приятно.

— Ах ты, черт меня побери,— пробормотал снова он.

Может быть, Филипп уловил в его голосе этот оттенок превосходства.

— Мы были так признательны за эту помощь,— сказал он тихо, как всегда, но не без подтекста.

— Ну, может, он считал это просто своим долгом,— в замешательстве проговорил Деон.

Тут вмешался Робби, дипломатично решив повернуть беседу в другое русло.

— Ни у кого не разживусь конспектами по гематологии, а, ребята? — спросил он.— Я свои одолжил Дэйву Фаулеру, а этот растяпа где-то посеял их.

— Возьмите мои,— сказал Филипп.

— Или мои,— торопливо предложил Деон.— Мне они больше не нужны.

— Да, кстати,— сказал Деон.— О чем была лекция старины Снаймена?

Оба удивленно посмотрели на него.

— Я не слушал,— объяснил он.— Мысли были другим заняты.

— Вы чертовски самонадеянно ведете игру, мой милый,— буркнул Робби, довольно точно подражая унылому шотландцу, ассистенту их профессора. И осклабился: — Ох, о том о сем. Нес всякую муть насчет детской хирургии.— И уже совсем другим, звенящим голосом заметил: — Но, черт возьми, ничего себе снимочек показал он в конце, а? У этой малышки...

— А что там было с ребенком? — поинтересовался Филипп.

Деон и Робби отвели глаза.

— Идиотство сплошное,— выпалил, наконец, Деон.— Не понимаю, почему вы не плюнете на все эти правила! Ну, что стряслось бы, если б вы остались в аудитории? Ребенку-то не все ли равно?

На Филиппа эта вспышка, казалось, не произвела никакого впечатления.

— Есть неписаные законы. И не думаю, чтобы кто-то из нас хотел прослыть мучеником, восставая против них.

— Вы просто смирились с апартхейдом — и все тут. Так и скажите.

— Ну, мирись не мирись, мало что изменится. Нам не дозволен осмотр белых пациентов. Это единственное условие, на котором нас здесь принимают.

Наступило долгое напряженное молчание. Филипп лишь пожал плечами.

«Он цветной,— размышлял Деон. Именно это соображение и заставило его импульсивно сесть здесь.— А цветные знают все это. У них это случается сплошь и рядом. Может, он мне подскажет кого-нибудь, к кому я мог бы обратиться, чтобы уладить дело».

— А что там было об абортах? — Он сам не узнал своего голоса — этот умышленно небрежный тон.— Ну, на лекции, когда говорили об утробном плоде. Представить себе не могу, как бы я реагировал, если б какая-нибудь незамужняя особа обратилась ко мне с просьбой помочь.

— Если ее жизнь или здоровье в опасности, ответ один: да,— не задумываясь сказал Филипп.— В любом другом случае: нет.

— Да, конечно. Так пишут в книгах. Но вы же сами говорите: «А если авторы учебников ошибаются?» А других ситуаций, когда аборт явно показан, разве не бывает?

— То есть?

— Ситуации, связанные с общественным статусом, к примеру. Физическое здоровье женщины — не единственный показатель, как вы понимаете. Речь может ведь идти и о ее положении в обществе тоже.

— Тогда ей следует пользоваться регулирующими средствами.

— А разве аборт не принадлежит к их числу?

— Утробный плод может существовать сам по себе, значит, он имеет право быть рожденным.

— Слишком отвлеченный аргумент. А как насчет права этих нерожденных на последующее приличное существование? Даже если вы не можете гарантировать им любовь, если все, что вы можете им предложить,— жалкое существование, все равно вы должны гарантировать им жизнь, так, что ли?

— Не наше дело судить. Наше дело — сохранять жизнь.

— До чего возвышенно, законопослушно,— насмешливо протянул Деон.

Робби дернулся на стуле и предостерегающе прогудел:

— Ну-ну, поосторожней.— Он опасливо посмотрел, не слышно ли их за столиком, где цветные сгрудились над шахматной доской.

Деон с трудом взял себя в руки.

— Прошу извинить. Но такая позиция меня просто бесит. Так думает мой отец. Раз такова воля божья, значит, благословясь, извольте ей следовать.

— Религия тут ни при чем, Деон,— сказал Филипп. Пальцы его, укладывавшие сандвичи обратно в пакет, слегка дрожали.— Просто я так считаю. Нет никакого смысла учиться на врача, если мы намерены стать палачами.

— Не надо передергивать мои слова. Я просто говорю, что общество имеет право решать. Даже индивидуум имеет право решать, стоит ему обременять себя еще одной жизнью или нет.

— Никто и не передергивает. Но то, что вы предлагаете... вы предлагаете, чтобы женщине было дано право обмена этой жизни на уважение общества. Или на отпуск, в который она отправится на межконтинентальном лайнере. Или на новый автомобиль.

Деон отвернулся. «Тебе хорошо»,— подумал он. Он знал, что сидит весь красный от смущения и злости.

— Легко говорить, пока не столкнулся с этим. А если эта женщи-

на — ваш пациент? Разве у вас, как у врача, нет перед ней обязательств?

— Полагаю, ребята, вы наводите тень на ясный день, и на этом можно поставить точку,— сказал Робби. Глаза у него за стеклами очков были серьезны.

— Да нет же, Робби, я правда так думаю,— продолжал упорствовать Филипп.— У нас извращенное представление о ценностях. Мы ценим вещи выше людей. И аборт — только маленький пример... Что, вы думаете, было бы, если б кто-то принялся резать ножом Мону Лизу? Его бы убили. Но эти же люди будут спокойно стоять в стороне, если врач путем аборта будет уничтожать не менее совершенное творение...

— Одну минуту,— горячо воскликнул Деон.— Мона Лиза одна, а людей на нашей грешной земле — давайте говорить без обиняков — более чем хватает.

У Филиппа чуть заметно дернулись в улыбке губы, словно он расставил ловушку и жертва угодила в нее.

— Но этот утробный плод, который вы уничтожаете, тоже единствен и неповторим. И не исключено, что из него вырос бы гений, подобный Леонардо да Винчи...

Эта улыбка и вывела Деона из себя.

— ...Или цветное дитя трущоб, которое потом сопьется и кончит тюрьмой,— с горечью произнес он.

И тут же пожалел о сказанном. Он был во власти гнева, кровь пульсировала в такт ударам сердца, прилила к затылку. Но боли причинять он не хотел. Робби вдруг стал сосредоточенно созерцать карикатуры на стенах кафе, созданные много лет назад выпускниками медицинского факультета.

«Извинись,— промелькнуло в уме Деона.— Скажи, что ты не имел в виду ничего такого». Но слова застряли в горле.

Он уже нашел слова и готов был произнести их, но Филипп поднялся, выждав ровно столько, сколько требовало приличие, хотя в каждом его движении была твердая воля.

— Прошу извинить меня,— произнес он холодно и подчеркнуто вежливо.

Он взял учебник, пакет с бутербродами, слегка кивнул Робби и ушел, даже не взглянув на Деона.

Деон уже ни о чем не жалел — его распирала злость. «Будь ты проклят,— подумал он.— Чертова цветная выскочка. Да если б не ван дер Риеты, тебе бы и не снилось сидеть здесь».

— Похоже, ты малость перехватил,— сказал Робби.

— То есть?

Робби взглянул на Деона и тут же отвел глаза.

— Конечно, это не мое дело,— пробормотал он.

— Знаешь, я был с ним резок вовсе не потому, что он цветной,— сухо сказал Деон.— Но я терпеть не могу людей, которые корчат из себя этаких благородных праведников.

— Ну, ладно, ладно.— Робби внимательно посмотрел на Деона, и по его взгляду видно было, что он все понимает.— Ты малость не в себе сегодня, верно? Что-нибудь случилось?

— Нет, просто я... Эта зубрежка меня когда-нибудь доконает.

— У-гу. Может, подкинуть все-таки надежный телефончик, а?

— Ты это о чем?

Робби рассмеялся.

— Да хватит тебе. Чего же ты затеял тогда всю эту болтовню о несчастных будущих мамашах? Кого ты дурачишь? — Он перегнулся

через столик с заговорщическим видом.— В общем, у моего приятеля есть приятель. Дать телефон?

— Не знаю,— замялся Деон. Он колебался между желанием доверить свою тайну и горделивым стремлением полагаться только на себя самого.— Я тебе скажу.

Робби хитро бросил на него всепонимающий взгляд.

Глава третья

Тихая улочка — ряды деревьев, как по линейке подстриженные живые изгороди, ухоженные квадраты газонов. Стемнело. Лишь редкие фонари выхватывали из темноты пятна изумрудной зелени, а Деон все почему-то силился представить себе, как все это выглядит днем. Ну, детей тут, наверно, почти не встретишь, не слышно их голосов — не то что в новых районах. Здесь селятся люди, вышедшие на пенсию, здесь уединяется старость средних слоев общества, прожившая жизнью средних слоев: банковские контролеры, увы, по разным причинам так и не ставшие управляющими; старшие клерки и бизнесмены, так и не основавшие гигантских компаний; те люди, что пунктуально, день за днем, ездили трамваем на службу, каждый — в своем привычном уголке, читая свою утреннюю газету, и жили себе от рождества до рождества, пока внезапно, не дав им даже как следует подготовиться к этой мысли, им не объявляли, что сегодня в их честь скромные проводы — золотые часы или конверт с чеком на предъявителя; наигранное веселье; речи и взволнованное ответное слово, ваше здоровье и ваше здоровье. И до свидания — ты уже на улице, дыши себе свежим воздухом сколько хочешь. Средств к существованию тебя, конечно, не лишили. Но жизнь отняли, потому что место под крышей, где она, привычная, продолжается, занято кем-то другим. А ты уже вносишь в свою, обмельчавшую, элемент бережливости. Вещи-то ведь не подешевели, отнюдь. Ну, не ужас ли, что творится с ценами? И дом слишком велик теперь для вас, для двоих, когда дети выросли — и ваши, и их собственные дети — и живут далеко, а в Кейптаун выбираются на недельку в году, не чаще. Так что куда как лучше продать его, даже с выгодой, а себе купить домик поменьше, в тихом пригороде, с приятными соседями...

Деон представлял себе все иначе: улочка среди трущоб, сопливые ребятишки, с визгом снующие под ногами, на серых от грязи стенах — непристойные надписи. Каждого незнакомца провожают подозрительными взглядами эдакие верзилы — стоят руки в брюки, поигрывая ножом в кармане. Темные подворотни, окна, забитые досками, сдавленные крики, смрад — так он себе представлял это место.

И тем не менее все правильно: Гардения-роуд (улочки в предместьях обязательно с названием цветка) — он еще раз проверил по табличке на углу.

Он вышел на свет из-под сени величественного старого дуба, где стоял, осматриваясь, минут десять (точь-в-точь как в тот день, когда он впервые вошел в аптеку и с замиранием сердца молил бога, чтобы за прилавком оказался мужчина, тогда он шепнет ему, зачем пришел), потом, наконец, с независимым видом зашагал через улицу. Номер пятнадцать. Такая же подстриженная изгородь из живого кустарника, как и у остальных, сам домик почти скрыт за рослой зеленью, среди которой вилась, петляя, мощеная дорожка. Деон уже взялся за выкрашенную белой краской калитку, но на всякий случай решил еще раз проверить номер дома (аккуратные дежурные цифры на белой табличке). Все верно. В одном окне сквозь заросли зелени пробивался свет.

Калитка отворилась, не скрипнув, и он пошел по дорожке — каж-

дый шаг гулом отдавался в ушах, будто кто-то другой шел впереди.

Просторная старинная веранда на прочных столбах. Он осторожно поднялся по натертым до блеска ступенькам и по скользкому кафелю прошел к входной двери.

Ощущение нереальности не покидало его: не может быть, просто он все перепутал — время, место.

И все-таки он нажал кнопку звонка и явственно услышал звон где-то в глубине дома.

Он ждал, но никто по-прежнему не выходил. Свет в окне, который он заметил еще у калитки, продолжал гореть, но окно выходило в другую сторону.

Он надавил на звонок — еще и еще. Он ведь слышал, как звонит где-то в глубине дома — не зуммером, как обычно, а мелодично, точно на ксилофоне играют.

Наконец он различил за дверью шаркающие шаги. Включили свет. Шаги все приближались и остановились у самой двери.

— Кто там?

Голос. Пожилой женщины, настороженный, с плохой артикуляцией, точно говорившая забыла свою вставную челюсть.

Он стал вспоминать дурацкий пароль, который следовало сказать.

— Я от Питерса,— выговорил он. У него пересохло в горле. Он прокашлялся и повторил: — От Питерса,— на случай, если там не расслышали.

За дверью молчали.

— Не знаю таких,— наконец ответили ему. Голос теперь был твердый, уверенный. Может, она надела свою челюсть.

— Меня прислал Питерс,— настаивал Деон.— Я хотел бы повидать Джоан.

Там снова помолчали.

— Не знаю никакого Питерса. Джоан тоже. Шли бы вы, знаете, своей дорогой.

Очень твердо и недвусмысленно. И все же в голосе было что-то еще. Страх. Просто страх пожилой женщины перед незваным гостем? Или что-то еще?

— Ей-богу, я ничего вам не сделаю,— сказал Деон.— Я позвонил по телефону — мне дали номер, и мужчина сообщил мне этот адрес и пароль. Он велел сказать, что я друг Питерса, спросить Джоан.

— Не нужны мне здесь мужчины,— явно свирепея, сказала женщина.

— Честное слово, я вовсе не собираюсь ни во что вмешиваться.— Лучше всего в открытую, решил он.— Слушайте, я студент-медик и прекрасно разбираюсь во всех этих вещах. Я просто хотел убедиться, что все будет как следует.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, и советую вам немедленно уйти. В противном случае я позову полицию.

Тут он не на шутку испугался. А что, если это не тот дом? Может, он что-то перепутал? Видно, ошибся: ведь вполне могут быть две Гардении-роуд, и он заехал на другую, а та, как он и предполагал, где-нибудь среди трущоб и мрачных лачуг — не здесь же в самом деле, в этом чистеньком, уединенном домике для престарелых пенсионеров, гнездиться пороку.

Самое лучшее — убраться ко всем чертям отсюда, пока эта старая карга в самом деле не вызвала полицию.

— Извините,— сказал он.— Я ухожу. Извините, что потревожил вас.

— Убирайтесь,— сказали ему из-за двери.

Голос в трубке был тот же, что и вчера. С акцентом. Деон не мог понять только — с каким. Немца или француза он бы сразу опознал, нет, это какой-то латинянин. Только не итальянец. Что-то другое.

— Да,— услышал он.

— Послушайте, я вчера звонил вам,— рассерженно начал Деон.— Ну, насчет этого дела. Алло? Алло? — Он не понял, что это, там молчат или его не слышно.

— Я у телефона,— спокойно сказал голос.— Кто это говорит?

— Меня зовут Деон. Я разговаривал с вами вчера.

— Да. Я теперь вспоминаю вас.

— Ну так вот, ничего не получилось. Я пошел по адресу, который вы дали, сказал, как вы велели, но меня даже не впустили.

В трубке послышался скрипучий смех; в этом смехе звучала откровенная насмешка человека, ничего другого и не ожидавшего от Деона, кроме глупости.

— Вы глупы, друг мой.

— То есть?

— Я велел вам послать туда девушку, а не самому идти.

— Но я просто хотел...

— Неважно, что вы хотели,— грубо оборвал его голос.— Я сказал, что идти должна девушка. Мы не любим, когда мужчины суют нос не в свое дело. Понятно?

— Женщина, с которой я разговаривал, даже не открыла мне дверь.

— И правильно сделала,— сказал голос с акцентом.— Она очень злая и подозрительная. Вы глупо поступили, что пошли.

— Извините. Я только хотел убедиться, что все будет сделано как следует. В гигиенических условиях.

Голос поинтересовался с откровенной враждебностью:

— Вы-то что в этом понимаете?

— Ну... я... я как-никак студент-медик.

— Вот оно что,— протянул голос по слогам, задумчиво.— Студент-медик. Так почему бы вам не сделать это самому?

— Я... я не смогу.

— Боязно, а? — Это было сказано пренебрежительно и равнодушно.

— Не в этом дело,— сказал Деон и помолчал, стараясь подыскать точные слова.— Просто я не уверен, что должен это делать.

— Ну, конечно,— сказал мужчина уже даже не равнодушно, а с полнейшим безразличием, как если бы ему было все равно, куда катится мир — и сам он тоже. Деон лишь подумал, что не хотелось бы ему сталкиваться с этим человеком.

— Послушайте! — взмолился он.— Вы должны нам помочь.

— Конечно. Только не следовало вам вмешиваться. Теперь это будет стоить дороже.

— Я согласен. Хорошо,— покорно сказал он.

В трубке щелкнуло — на другом конце провода не прощаясь положили трубку. Отбрили по всем правилам: ваше дело платить, а заказывать музыку будет другой.

Гордость Деона была ущемлена — хотя, собственно, почему? Разве сам он не хотел остаться в стороне? Ну вот, они и требуют только этого. За него все решат.

Больничный привратник, когда Деон проходил мимо, едва взглянул в его сторону: мало ли тут ходит студентов. На этот раз Деон

мог только радоваться, что никто его не знает. что он здесь — один из многих.

Он прошел мимо огромных сверкающих автомобилей консультантов-знаменитостей — для них была отведена специальная стоянка—и побрел в сторону английских газонов. На зелени лужаек, отгороженных невысоким барьером, старательно копались садовники — никому другому никогда и в голову не пришло бы пройти по изумрудной траве. По краям газонов стояли скамейки, на которые никто никогда не садился. Сейчас Деон старательно, точно от этого зависела его жизнь, выбирал, на какую сесть. Выбрал — и сел.

«Почему бы вам не сделать это самому?» — с презрением спросил его голос с акцентом.

Деон рывком встал. Он не мог сидеть, не мог ничего не делать.

Ничего не видя, он пошел через подъездную аллею и очнулся от визга тормозов влетевшей в ворота машины «скорой помощи» — еще чуть-чуть, и он угодил бы под колеса.

«А ты сам, почему ты сам не можешь это сделать, Деон?» Она верила в него как в человека действия, способного, уже опытного, хоть еще не врача. Она смотрела на мир шире, а может быть, и глубже его, но перед такой чисто практической проблемой была беспомощна. Он специалист, он должен найти ответ. А он, когда это его коснулось, хотел как раз избежать ответа, вообще сделать вид, будто он не понимает, что вопрос обращен к нему.

А все-таки почему он сам не мог это сделать?

Он тогда, волнуясь, бормотал что-то насчет того, что недостаточно подготовлен к такого рода вещам, что знает все лишь в теории, а на практике — совсем другое дело. Он найдет кого-нибудь понадежней, чтобы быть вполне уверенным, так что пусть не волнуется. В такого рода вещах лучше довериться если не большим специалистам, то, по крайней мере, людям опытным. Они всю жизнь этим занимаются. Что тут страшного в самом деле? Нет, право же, Триш, ничего! Конечно, не надо идти к какому-нибудь шарлатану. Среди этой публики есть ведь самые настоящие врачи. Или сестры,— словом, профессионалы. Прекрасно знают, что предпринять на случай осложнений и все такое. Он все продумал: на худой конец есть больница, и через день-другой она будет на ногах, и никаких неприятностей, ровным счетом никаких. Нет, правда, Триш.

А она смотрела на него в упор холодно и бесстрастно своими зелеными, как у кошки, глазами. И тогда он, смешавшись, понял, что не обманул ее этим бессвязным лепетом, что за нагромождением лжи и обмана она видит единственную маленькую правду: он боится.

Боится рискнуть и сделать ей аборт? Или боится сказать: «Давай поженимся и пошлем все к черту»? Да, но тут вставал и другой вопрос: а она-то захочет выйти за него замуж?

Боится за свою карьеру, как отразится на нем этот несвоевременный и поспешный брак? И потом, почему он не имеет права смотреть на вещи с чисто эгоистической точки зрения? Он-то хочет жениться на ней? В постели она что надо, ничего не скажешь. Чудо как хороша иногда в постели. Безудержная, неистовая, ненасытная, готовая на все. А то вдруг не узнать — этакая пай-девочка, Красная Шапочка, потерявшаяся в лесу. Или вдруг сплошная нежность и покорность. Мегерой она будет или девственницей — никогда не знаешь, чего от нее ждать. Это и пленило его. Но разве интимные отношения — это все, что человек ищет в браке?

Ну, и что из этого выйдет? У нее неровный характер. Она бывает просто невыносима. Артистическая натура с эксцентричными взглядами на жизнь. Сможет она быть женой врача? Он попытался предста-

вить ее себе супругой врача в маленьком городке — а ведь именно стать таким врачом было предметом его мечтаний. Сможет она мириться со звонками у двери среди ночи, со скудным жалованьем, с мужем, у которого от вечной усталости одно желание — добраться до подушки? Он сомневался. Она всю жизнь прожила в больших городах. Как она приспособится к замкнутой жизни в каком-то захолустье? Она станет критиковать и нравы, и условности, и политику. Не постесняется сказать все, что думает. Она наживет себе врагов — и что будет тогда с его практикой?

Нет, не без облегчения подумал он, ничего из этого не выйдет. Будь честен, сказал он себе. Ты ищешь оправдания.

Ну и что? Они обоснованны. Это причины, не оправдания.

Тогда возьми и сделай чертову штуку сам.

Не могу. А если что-нибудь случится?

А-а, в этом-то вся и загвоздка.

Загвоздка.

Боже, помоги мне! — взмолился он. И тут же пришла мысль: ты что это, всерьез? Ты, отвергший бога своего отца, молишься? Все равно, бог, если ты есть, помоги мне.

Он с размаху ударил кулаком по ладони левой руки, проклиная себя за нерешительность. Садовник-африканец, копавший клумбу, воззрился на него с нескрываемым изумлением, и Деон поспешил прочь, сделав вид, что не заметил этого взгляда.

Чего он тянет? И здесь ведет себя как последний дурак. Чем раньше сделать, тем легче все пройдет. И тем не менее он ждал со смутной надеждой, что может быть это ложная тревога и все еще образуется...

«Я устал,— подумал Деон.— Бог свидетель, как я устал от всего этого. Выход один. Ну и пусть, ну и будь что будет».

Он сидел в «фиате» — пришлось попросить машину у Робби ради такого случая — ярдах в пятидесяти от начала Гардении-роуд. Сначала он остановился на углу улицы, прямо под фонарем, но больше минуты под этим ярким светом не выдержал, потому что чувствовал себя точно преступник на допросе с пристрастием, ну совсем как в низкопробных американских детективах, на которые они с Триш ходили время от времени. Поэтому, оглядевшись, он подал машину назад, в тень, выбрав место так, чтобы просматривался угол улицы.

Он сидел и ждал, надеясь лишь, что все будет в порядке. Эти подонки взяли-таки его на поводок. Им словно удовольствие доставляло смотреть, как человек, точно подопытная крыса, извивается под действием электрошоков.

Сначала он должен был снова идти на поклон к главному у них, которого ему тогда назвал Робби. Этот тип (он оказался компаньоном вполне законной и процветающей фирмы, если судить по адресу и сверкающей новехонькой мебели у него в конторе) был импозантен и корректен, не придерешься.

Он полагает, что эта маленькая проблема будет, о, конечно же, будет решена. Но самое лучшее, старина, все-таки потерпеть денек-другой. Так, знаете ли, прежде всего успокоим страсти, а? Ха-ха-ха! Так что потерпим денек-другой, и все будет в лучшем виде.

Да, и вот еще что, старина, хотя обстоятельства и несколько, м-м, изменились, их прежнюю договоренность насчет больницы и так далее можно считать остающейся в силе, ну, разумеется, при условии, что больше не последует никаких глупостей. Взгляд его метнулся в сторону секретаря, вошедшего в кабинет. Секретарю он улыбнулся одними

губами и, обращаясь к Деону, заметил, что был рад снова видеть его у себя, сегодня,— в случае нужды пусть непременно звонит ему — ха-ха! — а засим всего самого хорошего, старина, всяких благ.

Тем не менее ждать его заставили целую неделю, и никакие мольбы не действовали на того, с кем он говорил по телефону. А затем цену подняли на пять фунтов.

Он и спорить не стал — а то вдруг поднимут еще на пять фунтов. Наконец, ему нехотя назначили день и велели прислать девушку (без провожатых, договорились?) с деньгами на Гардению-роуд. Это было во вторник, три дня назад, и он торчал тогда здесь, мучаясь неизвестностью, но счастливый, что хоть дело сдвинулось, счастливый, что все идет к концу...

Через каких-нибудь пять минут Триш показалась на углу.

Свет уличного фонаря выхватил из темноты ее темно-каштановые волосы, когда она остановилась на перекрестке. «Бог мой,— подумал Деон,— так быстро?» Эта старая ведьма работает со скоростью молниевой вспышки. Триш разглядела, наконец, «фиат» и размашистым шагом двинулась в его сторону. Он перегнулся через сиденье, чтобы открыть ей дверцу, она села и застыла, глядя прямо перед собой.

«Порядок?» — взволнованно спросил он.

Она отрицательно мотнула головой, продолжая по-прежнему хранить молчание.

«О черт! Теперь-то что не так?»

«Велели прийти в пятницу».

«Но почему?»

«Так она сказала. Она хочет знать наверное. В пятницу в это же время».

Страшная мысль пришла ему в голову.

«А деньги?»

«Она взяла».

«А если ты теперь только ее и видела со своими деньгами?»

Она повернулась к нему с легкой усмешкой.

«Тогда тебе придется сказать отцу, что плату за экзамены опять повысили, верно?»

У него не было особого желания развивать эту мысль. Ведь ему еще предстояло изобрести убедительную ложь, чтобы отчитаться перед отцом за тридцать фунтов, которые вдруг срочно понадобились ему.

«Какая хоть она из себя?» — спросил он. Голос за дверью в тот вечер, когда он безуспешно пытался проникнуть в таинственный дом, рисовал в воображении старую неопрятную ведьму, беззубую, со сморщенными, трясущимися руками.

«Вполне симпатичная»,— безразличным тоном ответила Триш.

«Ну, она хоть производит впечатление человека знающего?»

«Трудно сказать...» — Триш произнесла это совсем тоненьким голоском.

Сейчас он молил всех святых о том, чтобы эта женщина знала свое дело. Он снова посмотрел на часы — наверно, в десятый раз за последние пять минут. Триш отсутствует в общей сложности уже больше десяти минут, почти четверть часа. Что-то на этот раз, должно быть, происходит. Не может быть, чтобы снова была ложная тревога.

Он услышал шаги по тротуару и посмотрел в заднее зеркальце. Яркий свет витрины высветил фигуру в форме, блеснули начищенные пуговицы, белый ремень, кобура на поясе. Полисмен! Господи боже мой!

Деон замер от страха, сидел, вцепившись в рулевое колесо, а констебль не спеша приближался. «Не будь дураком набитым,— уговаривал он себя.— Ну и что с того, что «фараона» увидел? Человек на дежурстве, делает обход, высматривает воров, грабителей и убийц».

Но побороть ужас он не мог. Шаги замедлились (если он заговорит, если что-нибудь мне скажет, я ведь даже ответить не смогу, язык просто не послушается) и, прозвучав у самого уха, стали удаляться, мерные, неторопливые.

Деон смотрел вслед полисмену, пока тот шел по улице и затем исчез в тени деревьев.

И снова шаги — быстрые, легкие. Триш. Он даже не заметил, как она вынырнула из-за угла. Он попытался угадать по ее лицу — да? Но она мелькнула в свете фонаря, и он не успел ничего разглядеть.

Он выскочил открыть ей дверцу, но она опередила его. Он придержал дверцу.

— Порядок?

Она кивнула, не глядя на него.

— Ты уверена?

Она села в машину, подоткнула под себя юбку (тоже зеленую, но не ту, что надевала в прошлый раз, а в мелкий белый цветочек), чтобы не прищемило дверцей.

— Уверена,— выдавила она, и он не узнал ее голоса.

Он захлопнул за ней дверцу и, обходя сзади «фиат», почувствовал вдруг, что снова может воспринимать окружающее. В голове была путаница — радость и стыд, все смешалось. Он сел за руль. Вдохнул запах дезинфекции. Запустил двигатель, включил ближний свет, тронул с места.

— Куда ты меня везешь? — спросила она все тем же чужим голосом.

Тогда он посмотрел на нее.

По лицу ничего не заметно. Все та же столь хорошо знакомая Триш — темные волосы, чуть неровные зубы, опущенные в улыбке уголки губ. Но теперь она не улыбалась. Хотя и не выглядела ни подавленной, ни мрачной. Просто улыбки не было.

— Домой,— сказал он.— Разве мы не так договорились? Ты побудешь у меня, пока... ну, пока все не произойдет.

— Хорошо,— сказала она.

«Апатия. Вот именно. Ей все безразлично,— подумал он.— Приготовилась к любому исходу — будь что будет. Такой она еще никогда не была».

— Ты мне расскажешь, как все было? — спросил он.

Она качнула головой — нет. Вспыхнул зеленый свет, и Деон свернул на главную дорогу к городу, где сплошным потоком неслись автомобили,— он был даже рад, что обязанности шофера не позволяли ему разговаривать.

Неожиданно она сказала:

— Было совсем не страшно.

Это было сказано так, словно она сама себя убеждала. «Хочет ободрить меня»,— подумал Деон, и это его тронуло.

— Не так страшно, как ты думала?

— Да.

Помолчав, добавила, словно хотела отделаться от чего-то:

— ...просто велела раздеться ниже пояса, уложила на пол и...

...Он проснулся от крика, сел рывком, но не сразу сообразил, что сидит на полу, где постелил себе вечером.

Его кровать, где легла Триш, была пуста. Простыни отброшены, словно она спешила.

И тут он снова услышал сдавленный крик — на этот раз из ванной.

От кровати до двери ванной вела дорожка темных капель. Она, однако, успела закрыть за собой дверь, и сейчас оттуда не доносилось ни звука.

Он кинулся к ванной, рванул дверь, готовясь к худшему.

Она стояла спиной к двери в его крохотной ванной (ее строили как туалет для прислуги и почему именовали ванной, он сам не знал: здесь был лишь умывальник и унитаз; единственным отклонением от проекта, который позволила себе хозяйка, была эксцентричная фиолетовая краска на стенах). Неподвижным взглядом смотрела она вниз в одну точку; он посмотрел туда же и понял, почему она кричала.

Должно быть, он издал какой-то звук — от боли или от жалости к ней, потому что Триш повернулась и посмотрела на него.

— Мертвый,— сказала она просто, как если бы говорила о чем-то обычном, о погоде, что ли, или отвечала на приветствие случайной знакомой в уличной толпе.

Лето

Глава четвертая

С удивлением и беспокойством заметил Деон, как дышит отец, когда они поднимались по лестнице: он едва одолел последний пролет. Ноздри у него при каждом вздохе широко раздувались. К тому же он был весь в испарине — бусинки пота покрывали лоб под полями его черной шляпы. А ведь день выдался не такой уж жаркий.

«Ничего не поделаешь: стареет,— подумал, успокаивая себя, Деон.— Шестьдесят ему? Нет, шестьдесят один. Не так уж много, хотя и не мало, конечно». Лицо отца, всегда решительное и строгое, с глубоко посаженными глазами (отец непомерно гордился своим зрением: на охоте он, бывало, первым видел газель и мог с одного взгляда определить из далекой дали, в кого метил — в самца или самку), теперь осунулось, резче обозначились скулы, а нос, крупный, крючковатый, выдавался подобно клюву хищной птицы.

Иоган ван дер Риет споткнулся и чуть не упал у массивных колонн, венчавших лестницу. Деон бросился его поддержать, но отец отвел руку сына и насупился, сердито и раздраженно. Бот, шедший с другой стороны, заметил и этот жест, и недовольный взгляд отца и улыбнулся Деону, чуть пожав плечами и как бы говоря, что таков уж он есть, отец, ничего другого от него и ждать не приходится, а Деону следовало бы получше знать его и не соваться со своей помощью — даже в такой день.

До входа в парадный зал они шли молча.

Здесь уже собралась целая толпа; самые нетерпеливые начали входить, но многие еще стояли группами на лестнице или возле колонн: выпускники, явно стеснявшиеся в своих мантиях; родственники, не скрывавшие гордости; преподаватели университета, утомленные и безразличные, жаждавшие лишь одного — чтобы скорей все это кончилось.

— Войдем или ты хочешь подождать здесь? — спросил Деон и посмотрел на часы.— Еще двадцать минут до начала.

— Давай чуточку обождем,— сказал отец. Он оттянул пальцем воротник рубашки, затем снял шляпу и неторопливо вытер платком лицо. Заметил на себе взгляд Деона и прибавил чуть ли не извиняющимся тоном: — Ну и жарища в этом вашем Кейптауне. Пожарче будет, чем у нас в вельде.

— Да, сегодня очень влажно,— вежливо поддакнул Деон, не смущаясь тем, что кривит душой.

Бот разглядывал девушек в платьях, модно облегающих фигуру, и вдруг фыркнул:

— Нет, вы только поглядите, кто пожаловал! Флип и старая Айя Мьета.

Филипп Дэвидс неторопливо поднимался по ступеням лестницы. Пожилая цветная женщина, шедшая под руку с ним, очень волновалась и явно была не в своей тарелке, словно несмотря ни на что никак не могла поверить, что имеет право быть здесь.

— Вы только поглядите, как она вырядилась,— насмешливо продолжал Бот.— Дикарка, да и только.

Нарядилась мать Филиппа в самом деле не к месту: широкая юбка колоколом, какие были в моде лет пять-шесть назад на танцевальных верандах, и летняя широкополая шляпа еще большей давности. Среди маленьких шапочек, в которых были другие женщины, она выглядела действительно комично.

И многие на нее уставились. Деон видел вокруг улыбки, и за снисходительностью этих улыбок скрывалась высокомерная жалость.

Его разобрала злость. Он стоял и смотрел сверху на поднимавшегося по лестнице Филиппа, а тот неторопливо шел по ступеням рука об руку с этой перепуганной, причудливо вырядившейся женщиной. «Ублюдок, осел упрямый,— ругал он его.— Неужели не мог подсказать ей? Неужели не мог проследить, чтоб она оделась как следует, а не выставлять человека на посмешище?»

— Она имеет полное право быть здесь,— сердито бросил он брату.

Бот, не веря ушам своим, взглянул на него и покраснел.

Филипп с матерью прошли больше половины пути, когда она вдруг, почти на том же месте, что и Иоган ван дер Риет, оступилась. Филипп поддержал ее, остановился и тут впервые поднял глаза.

У него было необычное выражение лица. Пристыженное, растерянное и вместе с тем вызывающее. Точно он говорил собравшимся здесь надменным белым: «Подите к черту! Все вместе и каждый в отдельности убирайтесь ко всем чертям!»

Деон все понял.

И платье это, и шляпа — обноски; цветастое пышное бальное платье, которое какая-то женщина носила когда-то и выбросила за ненадобностью, да и шляпу тоже — только занимает место в гардеробе; так почему бы не отдать все это служанке, они ведь падки до бантов, оборочек, цветов из атласа и тому подобного, не так ли?..

Обноски. Но это лучшая ее одежда, а Филипп слишком горд, чтобы признать, что это не так.

Деон шагнул к ним, еще сам толком не осознав, что он делает. Он видел насупившиеся брови отца и застывший взгляд брата, но он уже шел вниз по ступеням — туда, где остановился Филипп с матерью. Филипп без улыбки наблюдал за ним — стоял серьезный, будто собирался задать какой-то очень важный вопрос.

Они не разговаривали с того дня в студенческом кафетерии, с их размолвки.

Сейчас они стояли лицом к лицу. У Филиппа чуть вздернулись брови, в глазах застыл вопрос. Деон был спокоен и смотрел уверенно.

Он протянул руку.

— Доброе утро, Филипп,— сказал он. И обращаясь к совсем растерявшейся женщине: — Доброе утро, миссис Дэвидс.

Она застенчиво пробормотала в ответ что-то невнятное, не смея поднять на него глаза. Он стал рядом с ней и вежливо взял ее под локоть. Рука была худая, тонкая и дрожала.

— Позвольте, я вам помогу,— сказал он. И они втроем — Филипп, Деон и мать Филиппа — двинулись ко входу в зал. Деон смотрел на лица стоявших вокруг людей. На этих самодовольных лицах больше не было улыбок.

Бот глядел на него не мигая — даже рот от удивления раскрыл. Отец смотрел в сторону, на далекие горы на горизонте.

«Повисите в петле,— подумал Деон без всякого сожаления.— Повисите еще немного в петле».

Поравнявшись с отцом, он остановился, заставив остановиться Филиппа и его мать.

— Отец,— произнес он.— Ты помнишь миссис Дэвидс? А Филиппа?

Иоган ван дер Риет только чопорно кивнул, но глаза его — и после того, как Филипп с матерью отошли,— были все так же прикованы к горам.

— На кой черт тебе понадобилось все это? — прошипел Бот вне себя от ярости.

— Я тебе сказал,— отвечал Деон.— У нее больше права быть здесь, чем у тебя. Это ее сын получает звание доктора.

— Это не значит, что ты должен... Ну, что ты за человек!

— Довольно,— резко сказал отец.— Помните, вы братья,— добавил он. И повернулся к дверям, за которыми скрылись Филипп с матерью.— Я думаю, нам пора идти.

В сидевших рядами строго одетых, серьезных молодых людях трудно было узнать своевольных студентов, какими они были всего две-три недели тому назад.

Через проход разместились выпускники инженерного факультета, по диагонали и ближе к возвышению — гуманитарии. Лишь несколько девушек рискнули явиться на выпуск с распущенными волосами, и ему показалось, что среди них он разглядел темно-каштановую голову Триш, хотя поручиться не мог бы.

Ему не слишком хотелось видеть ее или чтобы она его увидела, поэтому он сел так, чтобы смотреть на входную дверь.

Он сразу же увидел мать Филиппа — она сидела одна с краю в самых задних рядах. В зале были и другие цветные и индианки в ярких сари, расшитых блестками, но они держались группками, сидели отдельно, пока кто-нибудь из белых, не найдя ничего другого в переполненном зале, не садился рядом. Но даже и тогда невидимый барьер оставался.

Деон пробежал глазами по рядам — мягкие, пастельные тона на женщинах, строгие костюмы на мужчинах,— он искал хищный профиль отца. Но не мог найти. Неужели по ошибке тот забрался на балкон? Наконец, он обнаружил его высокую фигуру. Отец появился в дверях одной из лож за колоннами, где были отведены места

для самых почетных гостей. Он что-то на ходу говорил студенту-контролеру, который явно просил его вернуться, показывая на пригласительный билет, который был не того цвета. В конце концов отец сдался и прошел в зал, одарив напоследок контролера свирепым взглядом. Бот покорно поплелся за ним.

Четверо преподавателей с озабоченным видом пересчитывали сидевших выпускников, ряд за рядом, и старательно складывали в уме общее число. Деон представил себе, с каким презрением смотрит на них сейчас отец. Он не нанял бы этих людишек даже овец пасти. Уж если они не могут сосчитать, сколько тут сидит людей, мирно и спокойно, как бы они управились, дай им пересчитать толкущихся овец?

Деон ухмыльнулся при этой мысли.

Он представил себе, как докторская шапочка легко коснется его склоненной головы.

«За сим посвящаю вас в рыцари...» — И касались бы как должно — мечом, вот было бы торжественно: «Встаньте, сэр Деон».

Он снова ухмыльнулся: надо же, куда занесло его воображение,— но душевный подъем не проходил, слезы восторга подступили к глазам.

Внезапные раскаты невидимого органа, еще усиленные многократно динамиками, спасли его достоинство. Из дверей по проходу между рядами двинулась, заколыхалась мантиями торжественная процессия профессоров под громкие аккорды «Gaudeamus Igitur» [1]... и зал встал, как один человек. Процессия взошла на возвышение, и орган заиграл бравурный национальный гимн — все подхватили. Где-то на середине первого куплета Деону показалось, что он слышит голос отца, перекрывающий все остальные. Несколько ошарашенный, он даже сам перестал петь, прислушался. Да, конечно, голос отца.

Все ясно. Эти англичане, сидевшие вокруг отца, наверняка не пели — самое большее шевелили губами для видимости. Кровь у отца вскипела от обиды, вот он и выдал им во всю силу голоса.

Деон рассмеялся в душе. «Скажем прямо,— подумал он.— Непросто держать в руках такого старика».

Все сели, и деревянные откидные сиденья откликнулись единым заключительным аккордом, как будто быстро провели палкой по деревянному забору.

И началась скучная и томительная церемония. Наконец, представили оратора. Им оказался приезжий академик из какого-то второсортного английского университета. Похоже, он убеждал народности Южной Африки в необходимости пересмотреть свои позиции и подумать о взаимном уважении. Деон уповал на косноязычие оратора, на то, что отец ничего не поймет. Ведь если это возьмет его за сердце, он может потребовать слова.

Впереди, рядах в шести от себя, он увидел затылок Филиппа — прямые черные волосы, неподвижная голова. Он, казалось, ловил каждое слово.

«Наконец мне вроде удалось уладить нашу размолвку,— мелькнуло в уме Деона.— Может статься, мы никогда больше не увидимся после того, как распрощаемся сегодня, так хоть не расстанемся врагами».

Филипп не распространялся насчет своих планов на будущее, хотя, кажется, получил приглашение в ординатуру от какой-то кли-

---

[1] «Посему возрадуемся, доколе мы молоды...» *(лат.)* — первые слова старинной студенческой песни.

ники для черных в Трансваале. Ходили, правда, слухи и о стипендии от какого-то фонда не то в Германии, не то во Франции. Если так, что ж, он это заслужил. Голова у него варит, а работать он может как одержимый.

Удачи ему, как бы там ни было.

И снова засверлила мозг не дававшая покоя мысль: «Но почему, почему я все-таки так поступил?»

«Не была же это,— размышлял Деон,— попытка снискать расположение Филиппа? И поза мне не нужна, и вызовов я никаких никому не бросал. Хотел восстановить отношения? Тоже нет. И не был это ответ на иронические замечания Бота, и не отцу назло я это сделал. И тем более не из желания насолить всей этой публике с их ухмылочками. Просто было что-то такое в лице Филиппа, когда он посмотрел в нашу сторону, что заставило меня так сделать: этот его взгляд, в котором было пусть и смущение, но была и неукротимая гордость».

Он не из тех, кто сдается, старина Филипп. Он никогда не признает себя побежденным.

Деон вспомнил вдруг, как он пошел в школу, и еще четверть даже не кончилась, когда у матери случился нервный приступ, приехали ее брат с женой и неожиданно увезли ее отдохнуть в Трансвааль. Через два месяца она написала пастору письмо, длинное и путаное; в нем она объявляла о своем намерении никогда не возвращаться к мужу, загадочно намекала на что-то, непонятно, в чем его обвиняя,— словом, и пастор, да и вообще все в округе решили, что она немножко свихнулась. Старейшины в церкви, куда ходил отец, покачивали головой, и сам пастор явился к ним прочесть отцу письмо, спросил, не может ли чем-то помочь — не стоит ли ему, пастору, попытаться уговорить женщину вернуться домой. Но отец мрачно отвечал только: «Она сделала выбор, и ноги ее здесь больше не будет».

После этого все симпатии были на стороне отца, потому что людям нравится непреклонность в мужчине, а он своих слов на ветер бросать не привык. Пастор взывал к милосердию и прощению, да только все понимали, это он просто по долгу. Потому что в душе-то и он восхищался отцом, и не стеснялся повторять, что вот Иоган ван дер Риет — человек, который умеет держать слово.

Все знали, что его отец — человек строгий, даже порой суровый. Но он умел быть и добрым. Он помогал соседям, оказавшимся в беде,— причем всегда бескорыстно, ничего не ожидая взамен. И жена не могла этого не знать; они прожили вместе двадцать лет, и она, конечно, поняла, в чем его сила: ведь если бы не его страстная воля добиваться намеченного, оставаться всегда хозяином положения, если бы не его умение выжить — погибли бы они в трудные времена, подобно многим.

«Почему,— думал Деон,— почему она это сделала?»

Он повернулся и сел так, чтобы видеть отца, чинно восседавшего в своей черной паре среди университетских модниц и модников в светлых платьях и костюмах,— совсем точно одинокий орел, очутившийся в одной клетке с пестрыми и болтливыми попугаями.

Деон вгляделся в его строгое непроницаемое лицо. Нет, в нем не было ответа — во всяком случае Деону он был недоступен.

Почему она оставила их?

Что он чувствовал тогда, в свои семь лет? Не припомнить. Было какое-то неясное чувство потери, пустоты, но он в то время как раз вступил в новый для него мир школы, этот мир завладел им и скоро заставил забыть все, даже боль, пусть она была.

Почему она ушла? Может, Бот знает больше? Ему ведь тогда было тринадцать, что-то он мог слышать, что-то понять, тогда как ему, семилетнему, это было недоступно. Хотя вряд ли. Ведь Бот тоже не жил дома.

Они никогда, собственно, не говорили на эту тему, может быть, из чувства смутного уважения к отцу, не желая касаться его личной жизни. «Забавно как-то все у нас,— подумал Деон.— Он мой брат, а я совсем его не знаю. С Филиппом же мы вместе росли — вот его я знаю. А с Ботом — что у нас общего? Ничего. Вижу его на ферме, когда приезжаю на каникулы, ну, ездим с ним осматривать овечьи загоны, ограду, пастбища, ходим на охоту, а как-то даже на танцах были в Бофорт-Уэсте — Бот, я и Лизелла, на которой он собирается жениться,— она будет ему хорошей женой (их мать тоже была хорошей женой или казалась такою и вдруг в один прекрасный день бросила их. Почему? Ну почему? Почему?), хотя эта учительница своим кривляньем действует мне на нервы — я бы больше получаса ни за что не выдержал. Да ведь и с ним я тоже долго не могу говорить. А если быть до конца честным,— подумал Деон,— то я вообще не могу с ним говорить. Нам просто нечего сказать друг другу.

Потому что он на шесть лет старше? Ну, может, и поэтому».

Он отогнал от себя эти мысли и попытался сосредоточить внимание на том, что говорил английский академик, а тот перешел теперь к специфическим проблемам африканской культуры, все так же продолжая откидывать волосы, падавшие ему на глаза.

Деон посмотрел на часы. Осталось самое большее еще пять минут.

Мы — врачи! Можете себе представить такое?! Чертовы врачи!

Он недоверчиво потряс головой. Шесть лет, шесть долгих лет, и вот теперь, хочешь верь, хочешь — нет, все кончено.

Он поглядел через проход туда, где среди рядов соломенных волос недвижно застыла темная головка. Она? Конечно, она, кто же еще.

Как-то она сейчас? Он видел ее только раз с тех пор, как она выписалась из больницы, да и то ненадолго — они вместе позавтракали в баре. Он чувствовал себя мерзавцем, ему было стыдно, но он ничего не мог поделать, потому что работал по семнадцать часов в сутки, пытаясь наверстать упущенное. И она тоже проводила все время над книгами, потому что и у нее ведь надвигались выпускные экзамены. Однажды он позвонил ей, хотел предложить сходить куда-нибудь вместе, но у нее не было готово домашнее задание, а к концу недели следовало его сдать. Она говорила с ним слегка небрежным тоном — он обиделся и больше не звонил, да и времени у него не было.

А теперь позвонит, когда будет время?

Наверное, нет.

Вежливые аплодисменты отвлекли его от собственных переживаний, и он невольно встрепенулся.

Приближалась главная часть церемонии.

Поднялся декан и обратился к ректору университета с учтивой, положенной по ритуалу речью. Ректор отвечал сухо — так шелестит старинный пергамент.

Первыми — доктора в своих ярких мантиях. Каждому положенные аплодисменты; особо аплодисменты доктору медицины, прохромавшему к кафедре с палочкой.

Теперь пошла мелочь — бакалавры. Темп убыстрился; короче стали паузы между именами.

Абрахамс, Дональд Роберт Адамс, Питер Макартур, Баджи, Мо-

хаммед (чуть погромче: мы ведь либерально мыслящие люди), Бартлетт, Моника Мона.

Декан посмотрел в список и замялся. Даже его сухой педантичный голос дал фистулу, когда он прочел:

— С отличием по результатам экзаменов второго и третьего года обучения, а также выпускного экзамена по профессии и с почетной грамотой первого разряда...— снова едва заметная пауза,— Дэвидс Филипп.

Филипп поднялся и быстрым шагом пошел к кафедре. Аплодисменты. Он чуть ли не взбежал на возвышение и так же стремительно преклонил колено, и все это время аплодисменты не стихали.

Кто-то подтолкнул Деона слева, и он вспомнил, что надо пересаживаться. Передвигаясь на освободившееся место, он оглянулся и увидел такое, что от удивления едва не сел мимо стула.

Его отец аплодировал.

Среди всех этих англичан сидел Иоган ван дер Риет со строгим, неподвижным лицом. И хотя был так непохож на них, аплодировал, как и они. Аплодировал Флипу Дэвидсу, цветному парню с фермы Вамагерскрааль.

Глава пятая

Это было все то же хорошо знакомое, серое каменное здание. И все-таки выглядело оно иначе.

Он остановился посредине на обозначенном для пешеходов островке, охранявшем вход в клинику, и долго смотрел на угрюмый многооконный фасад.

«Я работал и учился здесь шесть лет,— размышлял Деон.— Мне знаком здесь каждый уголок, каждый дюйм. Я могу с закрытыми глазами пройти по всем коридорам этого здания и найти кратчайший путь по любой черной лестнице. Я знаю здесь каждую палату и лабораторию, каждую операционную, каждый кабинет в административном корпусе. Знаю, где комнаты кастелянши, где аптека и даже кухня. Сколько раз я ходил по этим коридорам, с ними была связана вся моя жизнь столько лет. И скольких больных я перевидел здесь: одни давно выписались и живы, другие умерли. Однако до сих пор я был если не совсем безразличен, то во всяком случае не в ответе за них, этих людей. Так что получается, я не знаю этой больницы, никогда не жил ее жизнью. Теперь все будет иначе. Я должен научиться нести свою ношу. С этого и начнется мое обучение. С этого начнется приобщение к медицине.

Ну, хватит патетики,— не без иронии подумал он.— Спроси кого угодно, все скажут — ты уже специалист. Ты же принят ординатором, парень,— врач, живущий при больнице. На все сто специалист, а толку от тебя меньше, чем от штатной сиделки. Впрочем, любая хорошая сиделка сама скажет тебе об этом».

Тем не менее он не мог потушить язычок пламени, горевшего в его груди. Он прошел мимо привратника в вестибюль, еще стесняясь своего накрахмаленного новенького белого халата; еще не веря, что на обшлагах нет больше зеленого канта, положенного практиканту, а вместо этого — жетон с именем и фамилией, указывающий на его новое положение.

Вчера вечером в отведенной ему комнате при больнице он обнаружил на постели повестку, оповещавшую об утренней конференции врачей-ординаторов. А также две брошюры. Он прочел их от корки до корки, пытаясь понять, зачем ему их положили. Но так ничего и не поняв, захлопнул с чувством разочарования и обиды.

Впрочем, и от утренней конференции он ничего особенного не ждал. Очевидно, будет обычная накачка.

Без десяти восемь. Он как во сне двинулся к лестнице. Ни души вокруг.

Но где же Робби и все остальные?

Он обратил внимание, что привратник украдкой наблюдает за ним поверх свежей газеты. Тогда он с нарочитой решимостью повернулся и стал подниматься по лестнице.

Войдя в лекционный зал, он обнаружил, однако, что вовсе он не первый. Кругом полно было знакомых лиц — был тут и Робби. И — вот так сюрприз! — рядом с ним сидел Филипп Дэвидс, замкнутый, одержимый.

— Черт возьми,— сказал Деон, направляясь к Филиппу.— Вы-то здесь зачем?

Филипп улыбнулся и указал пальцем на свой именной жетон.

— Затем же, что и вы, полагаю.

— Но вы же собирались в Трансвааль, разве нет?

— Я с самого начала просился сюда.— Филипп внимательно посмотрел Деону в глаза.— Просто я не был уверен, что меня возьмут.

— Господи! Ну, конечно же, они ухватились за вас!

— Да, с условием, что я буду работать только в одной половине больницы и получать три четверти оклада.— И он переменил тему разговора.— Вы хорошо выглядите. Были на ферме?

— Всего несколько дней. На праздники ездили к морю. В Книсну.— И Деон поспешно добавил: — А вы?

— А я был занят. Мне на праздники дали поработать в патологическом отделении, в лаборатории.

— Правда? — Деон спросил просто так, для вежливости.— Что же вы там делали?

— То же, над чем я работал еще в летние каникулы. Профессор ищет новую методику исследования хромосом. Я вам рассказывал.

— Ах, ну да,— сказал Деон почти машинально; внимание его привлекла женщина в белом халате, худая и, видимо, презлющая (он вспомнил, что это одна из заместителей директора клиники), которая вошла в зал в сопровождении нескольких мужчин.

Женщина-врач приветствовала их без тени тепла и затем ровным монотонным голосом прочла лекцию о правилах внутреннего распорядка.

Они обязаны, поведала она, носить именной жетон, карточки на больных заполнять разборчивым почерком, выдавать свидетельства об окончании инфекционного заболевания, свидетельства о смерти, выписывать рецепты, форма согласия на операцию — следующая; им надлежит беречь оборудование и имущество, быть вежливыми с младшим персоналом.

Деон мрачно слушал. Еще недавно владевший им энтузиазм и чувство свершившегося чуда постепенно испарялись, вытесняемые этим назойливым скрипучим голосом.

Лекция кончилась, и дама представила им седого сутулого мужчину — заведующего станцией переливания крови. Еще одна лекция. Затем еще одна. Под конец их попросили заполнить налоговые бланки, банковские счета и написать заявление о приеме в члены спортивного клуба; отчет за проведенную работу они должны представить на следующее утро. Когда они потянулись к выходу, Деон подошел к Робби.

— Ну, после всей этой чепухи пора переходить к делу. Полагаю, доктор, вы уже облюбовали себе сиделочку?

Робби загоготал.

— Увы, доктор. Но я не отказываюсь от идеи, я весь в поиске.

Проходивший мимо ординатор, тоже из врачей, живущих при больнице, но старше их, возмутился:

— Не паясничайте. Вы не на пикнике.— Они неприязненно молча смотрели на него.— Да, да,— кивнул он.— Подождите, год покажется таким длинным, конца ему не будет.

В памяти прочно засело это ощущение вечной, неотпускающей усталости. Спал он урывками, когда удавалось ухватить час-другой, да и то скорее дремал с одной вечно сверлившей мозг мыслью, что замогильный голос громкоговорителя вот-вот прошепчет: «Доктор ван дер Риет. Доктор ван дер Риет».

И несмотря на все это, никогда в жизни не было у него такого прилива сил.

Его стала тревожить развившаяся в нем безошибочность предчувствий. Никогда ему не забыть той молодой женщины, которую он видел однажды утром при хирургическом обходе. Ночью, накануне, у нее появились приступы рвоты с кровью, легкие, впрочем. Была определена язва двенадцатиперстной кишки. Прописали лекарство и на следующий день назначили операцию. Ей едва исполнилось тридцать — красивая, самоуверенная. Хирург еще пошутил с ней, и она, без тени смущения, бойко парировала его шутки. Закончив осмотр, хирург со своей свитой перешел к следующей койке. Деон же шагнул в сторону, чтобы лучше видеть очередного пациента, и толкнул койку молодой женщины. Он наклонился было к ней, чтобы извиниться и что-то спросить для уточнения диагноза, и явственно почувствовал (а может быть, просто вообразил, что почувствовал? Запах возник и тут же исчез так, что он не мог бы сказать наверное) страшный запах смерти. Он не сумел справиться с собой, и на лице его отразился такой ужас, что молодая женщина заметила это и нахмурилась.

В конце обхода он бросил взгляд на ее температурный лист — все в порядке, ничего особенного. Анализы в норме — никаких отклонений, лечение прописано правильно. Единственное, этот запах смерти, дохнувший на него (а может, ничего и не было?), да подсознательное чувство тревоги.

А во второй половине дня женщина почувствовала себя плохо и попросила сиделку, чтобы ей дали судно.

Через две минуты больная умерла.

Ее фамилия была Уэтс. Мария Иоганна Уэтс. Это имя он надолго запомнит.

Были и другие имена в графе «дебит» его гроссбуха.

Запиши в эту графу Виллема Руитерса, шести с половиной лет.

Запиши Нони М'Вибанджани восемнадцати лет, служанку.

Запиши Роберта Рональда Мортона, пятидесяти двух лет, директора компании.

Этих он вспоминает чаще других среди ночи, когда не спится.

Но были и другие, в другой графе, так что баланс сходился. Тех, других, он тоже не должен забывать, чтобы не сойти с ума.

(Продолжение следует)

ДЖОН МОРРИСОН

Писатель и свэгмен

РАССКАЗ

Авторизованный перевод с английского Н. РОГОВОЙ и Ю. НАГИБИНА

К 75-летию Алана Маршалла

Алану Маршаллу в мае исполнилось семьдесят пять лет. Из них шестьдесят девять наполнены борьбой со страшной болезнью, лишившей его в детстве способности передвигаться без костылей, а в старости — без кресла на колесах. Болезнь гнула его и ломала, но он всегда осиливал ее — и в жизни и в творчестве. Его знаменитая трилогия «Я умею прыгать через лужи», «Эта трава», «В сердце моем» — история борьбы и победы человеческого духа над немощной плотью, победы тем более удивительной, что одержана она в мире, где правит закон: слабого задави. Этот «калека» — один из самых подвижных и энергичных людей Австралии. Он объездил весь мир, путешествовал по Советскому Союзу, был военным и мирным журналистом; он — охотник, рыбак, наездник, друг и защитник австралийских аборигенов, борец за сохранение окружающей среды, бессменный председатель общества «Австралия — СССР». Но прежде всего он превосходный писатель и редкой доброты человек. Впрочем, нельзя разделять то и другое — человеческие качества Алана Маршалла, его деятельная доброта лежат в основе его творчества.

Об этом и написал свой прекрасный трогательный рассказ другой видный писатель Австралии Джон Моррисон. В отличие от коренного обитателя буша Алана Маршалла Джон Моррисон увидел свет в Англии и провел там свою юность. Тем не менее Маршалл с полным основанием мог сказать о нем: «Джон родился в Англии, но ни один родившийся в нашей стране писатель не отражает дух Австралии лучше, чем он».

Австралийскую жизнь переселенец Моррисон познал собственным горбом. Кем только не довелось ему быть: и батраком на ферме, и разнорабочим на мельбурнском водохранилище, и мелким служащим в порту, и садовником. Отсюда его любовь ко всем тем, кто бродит по дорогам Австралии, продавая за гроши свой труд, к потомкам бессмертных свэгменов Лоусона, он же сам один из них. В этих странствиях он приобрел огромный душевный опыт, знание жизни и тяжелую язву желудка. Он продолжал подрезать кусты, унавоживать клумбы, выращивать розы и орхидеи в садах состоятельных людей, уже став известным писателем. Лишь в пожилом возрасте терпеливый и мужественный Джон обрел независимость, тихую пристань, любящую и заботливую жену, избавившую его от язвы, и мог бы с полным правом сказать о себе: «На старости я сызнова живу». Джона Моррисона не раз переводили на русский язык, и всем, кто любит жанр рассказа, новеллы, навсегда запала в душу его чудесная новелла «Тебе, Маргарет».

Предлагаемый здесь рассказ стоит особняком в творчестве Моррисона. Он посвящен его другу и собрату по ремеслу, человеку, которому он тихо поклоняется,

будучи, разумеется, с ним во всем на равных,— Алану Маршаллу. Эти два лучших рассказчика современной Австралии (талантливый Патрик Уайт и стилистически, и по духу принадлежит скорее англо-американской литературе) могли бы соперничать, а они крепко и верно дружат. И Джон пишет нежный рассказ о том, как молодой, бедный Алан стал провидением для старого бродяги-свэгмена. Рассказ этот являет образец человеческих отношений, я имею в виду не только пару: Маршалл — бродяга Альберт, но и пару: Моррисон — Маршалл. Вот он, тот «нравственный закон», который вместе с ночным небом не переставал до последнего дня изумлять старую душу великого философа Иммануила Канта.

ЮРИЙ НАГИБИН

Однажды, около года назад, писатель Алан Маршалл взял меня с собой прокатиться в окрестностях городка Элтема, где он живет. Мы выехали на ухабистую дорогу, окаймленную деревьями, и, проехав около мили, остановились у нового забора. Видать, забор был сделан хорошим мастером: крепкие подпорки, которым не страшен никакой ветер, черные чугунные перекладины и сверху пять рядов проволоки: три ряда простой и два — колючей. За забором несколько овец щипало траву в чистом поле, тянущемся вдоль опоясанной деревьями котловины. Стояла ранняя зима, но высокая трава была ярко-зеленой, словно весной.

Эта картина порадовала бы глаз фермера, но нас она опечалила. Мы приехали, чтобы отыскать место, кусок земли, бывший некогда собственностью Алана, с которым у него связаны добрые воспоминания. Грустно было нам видеть эту землю голой, лишенной всего того, что некогда здесь находилось; ощущение было такое, будто нам влепили по оплеухе.

Мы стояли и сокрушались: как много приходится уничтожать, чтобы кормить все растущее население; затем проехали несколько сот ярдов туда, где кончался забор, уступая место старой развалившейся ограде, наполовину скрытой зарослями папоротников и ползучих растений. Здесь начинался буш, пока не тронутый цивилизацией и бульдозерами, один из немногих сохранившихся островков леса, не так давно покрывавшего всю землю вокруг Элтема.

Мы вышли из машины и перешагнули через повалившуюся ограду. День выдался студеный, но среди деревьев было не так холодно, мы согрелись и вдыхали аромат эвкалиптов, палой листвы и увядшей травы. Вокруг стояли древние самшиты и эвкалипты с волокнистой корой, многие обросли ползучими растениями с мертвенно-коричневыми по зиме листьями. Землю устилал вереск, из него поднимались невысокие деревца ти, сассапарель и рослые местные травы. Встречались и обнажения жирной глины, присыпанные опавшими листьями и ветками. Цветов не было, и лес лишился ярких красок, лишь изредка попадались эвкалипты-сеянцы мягкого голубовато-зеленого цвета. И никаких птиц, кроме мрачной стаи красноголовых галок; вспугнутые нами, они взмыли к верхушкам деревьев и полетели прочь, сердито галдя и сверкая белыми хвостами.

Было довольно тоскливо, но по сосредоточенному виду Алана я догадался, что он отыскивает в этой обобранности приметы нового времени года — весны, когда бледные кукушки призывают своих партнеров, первые скворцы, звеня, прилетают с севера и воздух оживает от болтовни попугаев и медоедов. Когда ветки эвкалиптов с волокнистой корой покрываются розовыми побегами, а орхидеи пробиваются сквозь комья голой глины, холм пестреет красками: голубые ползучие растения, желтые орхидеи,

алые шарики цветов, похожие на бегущего почтальона, и бледные звездочки ранней неженки. Мы долго молчали. Мой взгляд привлекла лужайка, проглядывающая сквозь деревья, и я не удивился, когда Алан тихо спросил: «Помнишь старика Альберта?»

Я действительно думал о старом Альберте, тщетно пытаясь угадать то место на лишенной четких контуров лужайке, где стояла его маленькая хижина. До чего же, оказывается, просто стереть с лица земли след человека и всякую память о нем. Кому придет в голову, что с этим пустырьком связана целая история, может, и не особо мудреная, но и не вовсе простая. История, которая началась много лет назад на пустынном отрезке шоссе в северной части штата Виктория.

Алан ехал в Новый Южный Уэльс и свернул свой фургон с дороги, чтобы позавтракать, когда появился Альберт, устало тащившийся в направлении к Мельбурну. Стояла чудесная погода, дверь домика-фургона была открыта настежь, и писатель увидел старика задолго до того, как тот приблизился.

«Настоящие свэгмены уже тогда стали редкостью,— рассказывал мне после Алан,— и чем ближе он подходил, тем сильнее возрастало мое любопытство. Он был нищенски одет, но выглядел живописно, казалось, он сошел со страниц книг Генри Лоусона. Это был настоящий свэгмен: за спиной — скатка, через грудь — продуктовая сумка, в руке — котелок, штанины подвязаны веревочками, чтобы не болтались. Даже походка у него была типичной для свэгмена: энергичная, несмотря на усталость, с резким наклоном вперед. Поравнявшись с фургоном, старик прилип к нему глазами, но не остановился. Мне пришлось-таки покричать, прежде чем он подошел. Он был застенчив и подозрителен. Вероятно, думал, что я собираюсь содрать с него какой-нибудь налог. Он стоял, уставившись на свои промокшие ботинки, изредка бросал на меня угрюмый взгляд исподлобья. Но потом это ему надоело, он сбросил скатку, поставил котелок на землю и вошел. Я должен был дважды предложить ему сесть, прежде чем он опустился на край койки. Выглядел он довольно неопрятно, но лицо у него было славного малого. Ему можно было дать лет шестьдесят пять. И вот он сидит с детской улыбкой, разглядывает все вокруг и слегка дрожит от волнения. Позже он признался, что никогда не бывал в домике-фургоне. Я понял, что прошло много лет с тех пор, как он вообще переступал порог жилья и садился за стол. Он даже есть боялся, хотя был очень голоден, не мог управиться с вилкой, но усердно старался показать хорошие манеры».

Они разговорились, и постепенно Альберта отпустило напряжение. Выяснилось, что он швед, моряк, в Австралию попал лет сорок назад. Упившись в одном из мельбурнских портовых кабаков, он отстал от корабля и оказался в чужой стране, не зная ни слова по-английски, без гроша в кармане, без документов, в одной лишь морской робе. Кто-то показал ему дорогу на север и сказал, что он может заработать на уборке урожая. Он ничего не понял, решил, что «урожай» — это название места, и без конца повторял всем встречным и поперечным незнакомое слово. Пищу он выпрашивал знаками. С тех пор он и бродит по дорогам, берясь за любую работу, которую ему поручают: собирает фрукты, пропалывает посевы, строит заборы, рубит лес. Лишенный постоянной работы, он не женился, не приобрел жилья и не получил гражданства. Равно не платил он подоходного налога, не значился в списках избирателей,— иными словами, легально не существовал, с точки зрения закона его просто не было на белом свете.

Алан спросил, куда он держит путь, в ответ бродяга только ухмыльнулся: все прямо и прямо — в никуда.

«Не много я мог для него сделать,— говорил Алан, когда впервые взял меня с собой, чтобы познакомить с Альбертом.— Я только что купил хижину и участок земли. Альберт был в преклонном возрасте, а приближалась зима. Я сказал ему: если он найдет дорогу к этому участку, то пусть живет в хижине сколько захочет. Над головой у него будет крыша, а выселить его оттуда никто не посмеет. И он сможет зарабатывать несколько шиллингов случайной работой в окрестностях Элтема. Я дал ему старые штаны и пиджак, а также один фунт, чтобы помочь для начала, а он, боже ты мой, растрогался и пустил слезу. Но ему не хотелось, чтобы я думал, будто он плачет. Он пробормотал, что у него слезятся глаза от простуды, и вытер их рукавом. Вскоре он ушел, взяв путь на юг. По правде говоря, я не рассчитывал увидеть его снова. Как ни старательно объяснял я ему дорогу, Альберт уж больно плохо говорил по-английски, и не верилось, что он сможет отыскать участок».

Когда я впервые увидел участок Алана, все его тринадцать акров покрывал девственный лес, две или три заброшенных шахты чернели в зарослях — в давние времена в Элтеме открыли золото и сгоряча перекопали всю местность. Предыдущий хозяин, агент по продаже санитарной техники, нашел хорошее применение этим шахтам, сбрасывая туда содержимое своих мусорных ведер. Но Алан поставил бетонные пробки в отверстия шахт, вскоре наросла почва и буйная растительность покрыла бетон. Все-таки я частенько находил в канаве, куда сантехник последний раз опорожнил свое мусорное ведро, ржавые реликвии. Но это к слову. Кажется невероятным, но Альберт отыскал-таки хижину, находившуюся в полутораста милях от того места, где встретил Алана. Самого Алана не было дома больше года. Мать и сестры писателя рассказывали, что вскоре после его отъезда им позвонил знакомый из Уорандайта и сказал, что какой-то подозрительный старик бродит в этом районе, расспрашивая всех, где живет Алан Маршалл. Через денек-другой старик постучал в дверь «Гуравиллы» [1], дома Алана в Элтеме. Что ж, зная Элси и Маргарет и храня самые добрые воспоминания о матери Алана, я хорошо представляю себе, как они приняли Альберта. Они-то не стали бы этим хвастаться. И как жаль, что я не был там и не видел собственными глазами: вот Альберта впустили, накормили, помыли, успокоили добрым словом и дали все необходимые наставления, как найти домик.

На следующее утро после своего возвращения Алан отправился проведать Альберта.

«Я радовался, что увижу его,— рассказывал Алан.— Из покосившейся трубы шел дымок. Значит, в доме есть жизнь, есть человек. Вскоре я увидел и Альберта, он бродил вокруг дома и собирал сухие ветки на дрова с помощью длинного куска провода, загнутого на конце. Я вышел из машины и направился к нему. Мне показалось, он снова готов заплакать, челюсть его отвисла, он часто мигал глазами. Стоило ему начать говорить, и остановить его было невозможно. Он показал мне, как подремонтировал домик. Это была жутковатая халупа, стены из коры дерева, ржавое рифленое железо на крыше, земляной пол, развалившийся кирпичный камин, а вместо кровати рама с натянутыми на нее мешками из-под картофеля, один ящик служил столом, а другой — стулом. В оконной раме не было

[1] Некоторое время Алан Маршалл жил среди австралийских аборигенов, собирая их мифы и сказания. Аборигены называли его «Гуравилла», что на их языке значит — писатель. Это название носил дом Маршалла в Элтеме.

стекол, о занавесках и говорить не приходится. Но Альберт был счастлив».

Так началась дружба, длившаяся пятнадцать лет. Альберт прочно обосновался здесь, и вскоре его уже знали в лицо. Случайной работой он добывал достаточно на пропитание и табак, конечно, не обходилось без помощи Алана и добрых женщин из «Гуравиллы».

Вскоре обнаружилось, что, как и предполагал Алан, старик закладывал за воротник. Он не был буен во хмелю, но как только заводилась лишняя денежка, он должен был тут же спустить ее на спиртное. Алан говорил, что было почти незаметно, когда Альберт выпивал, его выдавал лишь запах. Он держал домик в чистоте насколько мог, но так и не привык ежедневно умываться, никогда не брился и сам стриг себе волосы. По правде говоря, личная гигиена была для него сложной проблемой, поскольку воду надо было носить из ручья, находившегося в нескольких стах ярдов в изножии холма. Он был стар, а холм крутенек. В течение многих лет он привык обходиться самой скромной пищей и умеренной выпивкой.

В свой следующий визит Алан захватил дешевые часы, зеркало, керосиновую лампу и несколько книг и журналов. «Он неважно читал по-английски, но понимал прочитанное. В юности он проглотил много книг на своем родном языке и мог толково беседовать о некоторых скандинавских и русских писателях. Он знал все пьесы Ибсена».

Это были, пожалуй, лучшие дни для Альберта. Я хорошо помню, как однажды, навещая «Гуравиллу», застал Алана собирающимся на участок. Было рождество, и женщины укладывали подарки в громадную коробку. Мне предстояло отнести ее из машины в домик и разделить удовольствие Альберта, распаковывая коробку. В ней были бакалейные изделия, небольшой кусок вареной говядины, овощи, свежие булочки. А кроме того, лекарства, предметы для оказания первой помощи, табак и спички, книги и ручной вязки носки. Была там и шкатулка для холостяка, в которую Маргарет собрала вату, иголки, куски материи для заплат, пуговицы. Все это мы с Альбертом разложили на ящике, служившем столом.

Поистине то были прекрасные дни. Но длились они недолго. Алан много путешествовал и не имел возможности присматривать за стариком. Участок находился в нескольких милях от Элтема, а без транспорта его сестрам и матери туда было не добраться. Сорок лет скитаний приучили Альберта попрошайничать, но он ни разу не постучал в дверь «Гуравиллы».

Вернувшись из очередного путешествия, Алан узнал, что у Альберта дела идут неважно. Бакалейщик и мясник из Элтема, для которых он косил траву и рубил дрова, продали свои владения и уехали, а новые хозяева не хотели иметь ничего общего со стариком. Оставшись без гроша, он стал ходить по домам и попрошайничать и, если его прогоняли, грубил. Он разговаривал сам с собой и мог обругать водителя машины, который отказывался его подвезти. О нем пошли всякие слухи среди состоятельных обитателей окраин Мельбурна, большей частью, конечно, ложные, порожденные мещанской спесью и презрением к беднякам, но была в них и доля правды. Как бы то ни было, за ним утвердилась дурная слава. Ему было безразлично, что о нем думают и что его сторонятся, когда он в своих лохмотьях замешивается в нарядную толпу на главной улице. Его перестали пускать на порог. Исключение составляли немногие совестливые люди. Альберт стал притчей во языцех.

Однажды местный полицейский позвонил в «Гуравиллу» и обрадовался, узнав, что у телефона сама миссис Маршалл. Но радость

его была недолгой. Он сообщил, что к нему поступают жалобы на отвратительного типа, который шатается по Элтему и, как он понял, является членом семьи Маршаллов. Об этом мне рассказала сама миссис Маршалл, благородная пожилая дама, добрая, а когда надо, непреклонная, как ствол наведенного орудия. Тогда ей было лет восемьдесят пять, и голос ее задрожал не только от возраста.

«Ты только подумай, Джон! Он говорил о нашем славном старике как о преступнике. Ну, я ему вправила мозги. Поверь, я дала констеблю хорошую отповедь. Неужто, говорю, у этих жалобщиков не нашлось другого дела, чем возводить напраслину на бедного старика?»

Когда Алан приехал на участок, то нашел старика в довольно жалком виде. Альберт исхудал, на ноге открылась мучительная язва, еды не было никакой, кроме черствого хлеба с жиром.

Как раз в это время Алан собирался засесть за книгу «Я умею прыгать через лужи». Он думал поехать к своим друзьям, владевшим небольшой фермой под Бендиго, они уже не раз давали ему приют, когда он хотел как следует поработать. Ему всегда лучше писалось в лесу, подальше от докучных телефонных звонков и посетителей. Но тяжелое положение Альберта поломало все его планы. «Я не мог его оставить,— сказал он мне просто.— В конце концов этот участок не такое уж плохое место, только бы не знали, что я там». Он решил писать книгу на участке, поддерживая себя мыслью, что дорога тут малопроезжая, кругом деревья, на деревьях птицы, а рядом старый Альберт, да в случае чего и «Гуравилла» неподалеку.

И снова настали для Альберта золотые дни. Алан запасся решительно всем, даже табаком, хотя сам не курил. Он убедил Альберта помыться, решив проблему гигиены установкой бачка в сорок четыре галлона под крышей, чтобы дождевая вода стекала прямо на моющегося.

Он дал старику одежду, послал его в Элтем подстричься, свозил в больницу, где помогли залечить язву. Они договорились, что Альберт не будет его беспокоить в течение дня. Но каждый вечер они будут вместе обедать в домике-фургоне, который был обеспечен всем необходимым для приготовления пищи. Алан жарил мясо на примусе, а к шести часам являлся Альберт с горшками картофеля и овощей, сваренных на костре. Затем они разговаривали, большей частью о самом Альберте, о его детстве и юности в Швеции («Он рассказывал мне, что в Стокгольме его часто стригла молоденькая парикмахерша Грета Гарбо»), о его жизни на море и на дорогах Австралии, о книгах, которые Алан давал ему читать. Интересно, что этот материал не вошел ни в одно из произведений Алана. Как я понял, он не хотел использовать личную жизнь близкого ему человека в литературных целях.

Каждую субботу они отправлялись в Элтем за провизией. Рассказывая мне об этих экскурсиях, Алан воспроизводил картину, которая, я полагаю, была куда забавнее, чем он думал. Слушая его, я отчетливо представлял, как они шествуют вдвоем по главной улице Элтема: Алан, как всегда, элегантный — хорошего покроя спортивный пиджак и брюки, пестрый шарфик и шляпа по последней моде, а расхристанный, всклокоченный, несмотря на все усилия Алана, Альберт плетется следом за ним с двумя сумками, полными мяса, овощей и бакалейных товаров.

«Он всегда настаивал на том, чтобы идти позади меня,— говорил Алан.— Он ужасно боялся запнуться за костыли и сбить меня с ног. Его называли моим Пятницей».

Случалось, на них бросали косые взгляды, но не часто. Элтем — дружелюбный и терпимый городок, с большой прослойкой художников и ученых. Алан рассказывал, как однажды утром они столкнулись с Ниной Кристесен[1]:

«Я увидел, что навстречу нам идет Нина, и мне стало интересно, как она себя поведет. Я напрасно волновался. Нина была на высоте. Мы все остановились. Я представил ей Альберта, и, боже мой, она приветствовала его, как если бы он был профессором. Она протянула руку, а он не знал, что с ней делать. Но ты знаешь улыбку Нины. Следующее, что она делает, это спрашивает нас, не пожелаем ли мы зайти к ней на завтрак как-нибудь на досуге. Мы приняли приглашение и отлично провели время. Клем слегка закосил от удивления, когда мы пришли, но был так же мил, как и Нина. Они поставили на стол все самое лучшее, что было в доме. Вначале Альберт трепетал от благоговения, переполнявшего его через край, но Нина быстро привела его в чувство. После завтрака она увела его на кухню. «Вы с Аланом оставайтесь здесь,— сказала она Клему,— а мы с Альбертом поболтаем на свободе». Позднее Нина сказала мне, что находит его очаровательным. Она отличная женщина».

Были приятные дни и у меня. В то время я работал в средней школе в Колфилде, а жил в Ментоне. Время от времени Алан посылал мне записки, и, вместо того чтобы поехать домой, в пятницу вечером я садился на поезд и ехал в Элтем. Алан встречал меня на машине, и я оставался с ним на ночь, занимая пустую кровать в его домике-прицепе. Мне посчастливилось наблюдать из месяца в месяц за успешной работой Алана над книгой, которую многие читатели считают одной из его лучших.

Через несколько минут после моего прибытия приходил Альберт с двумя кастрюлями картофеля и овощей. Алан раскладывал мясо по тарелкам, и мы все трое ели и разговаривали. Альберт к тому времени уже привык ко мне, и застенчивость его исчезла. Он знал несколько хороших историй и порой делал удивительно тонкие наблюдения над людьми и жизнью — мы просто поражались. Позднее он уходил в свой домик, а мы с Аланом уютно устраивались на узких кроватях. Немного посплетничав, переходили к главному делу: чтению того, что Алан написал со времени моего последнего приезда, после чего следовало обсуждение, которое затягивалось до глубокой ночи.

Я не знаю, какую пользу приносили эти ночные бдения Алану, кроме того, что он уточнял некоторые свои мысли, что немаловажно, но мне они были необыкновенно полезны. Я переживал неурожайный период в своем творчестве, и встречи эти помогли преодолеть его, поднимали рабочее настроение. С удовольствием вспоминаю, что замечания, которые я делал, не пропали даром — Алан вообще умеет прислушиваться к чужому мнению, но ни одна его книга не была написана с большим чувством, чем эта.

Две дочери Алана, Катарина и Дженифер, тоже посещали домик-прицеп в этот период, и я помню убийственную фразу, брошенную Дженни однажды Альберту, которого она, так же как и ее сестра, очень любила. Подобно многим детям, она ревновала отца ко всем людям, приходившим и отнимавшим его у нее. Затянувшийся визит одной супружеской пары расстроил ее до крайности. Когда пара, наконец, удалилась, она сказала Альберту: «Ты счастливый,

---

[1] Нина Кристесен — переводчица и преподавательница русского языка, жена Клема Кристесена, редактора литературного журнала «Миэнджин куотерли», издаваемого при Мельбурнском университете.

Альберт, у тебя нет друзей». Альберт улыбнулся в ответ, но не трудно было догадаться, как много всякого всколыхнули в его душе эти непродуманные слова.

Хорошо бывало по утрам в субботу. Я встаю рано и обычно уже на ногах, когда Алан только продирает глаза. Хочется послушать пение птиц, вдохнуть свежие запахи леса и попить чаю из котелка с Альбертом в его домике. Красивое это было место в те дни, и хотя Алан только из-за старика остался там писать историю своего детства, я думаю, что книга от этого выиграла. И еще мне думается, что дружба писателя и одинокого свэгмена много способствовала тому, что каждая страница книги «Я умею прыгать через лужи» проникнута теплом и состраданием.

Но вот книга закончена. Алану время уезжать, а как быть с Альбертом? Конечно, он несколько восстановил свои силы, но надолго ли их хватит? Скоро настанет пора, когда он не сможет себя прокормить. В «Гуравилле» происходили длительные дискуссии, в конце концов пришли к заключению: нет иного выхода, как добиться для него пенсии по старости. Ему было уже за шестьдесят пять, и Маршаллы думали, что достаточно подать заявление. Они недооценивали косности бюрократизма и того факта, что Альберт не был натурализован. Для австралийских властей он просто не существовал. Я с живым интересом следил за ходом борьбы и увидел, что иной раз можно пробиться даже сквозь джунгли бюрократии, если за дело сообща берутся добрые и хорошие люди.

Началось с того, что Альберта заставили как следует умыться, облачили в костюм Алана, дали ему десять шиллингов на проезд и послали в город с письмом, адресованным ответственному чиновнику в отделе социального обеспечения. Письмо, разумеется, написал Алан. Элси, читавшая письмо, помнила его дословно:

«Я не знаю Вас, но чувствую, что Вы хороший человек, и я надеюсь, Вы уделите этому милому старику максимум внимания. Это необходимо. Я представляю Вас сидящим на своем удобном вращающемся стуле в белой рубашке и в жакете из верблюжьей шерсти. У Ваших ног обогреватель, а преданная жена ожидает, когда Вы вернетесь с работы. Взгляните получше на этого человека. У него в целом мире нет ничего, кроме хижины из коры дерева. На нем мой пиджак, мои брюки, ботинки, шляпа. Я также кормил его. Но я писал книгу и теперь нахожусь без гроша. Я должен уехать и сам зарабатывать на жизнь. Этот человек добросовестно работал в Австралии в течение сорока лет, но теперь он остался при пиковом интересе. Имейте же сердце и помогите ему! Все, что ему нужно,— это пенсия по старости, ведь ему давно уже за шестьдесят пять».

Как это обычно бывает в государственных учреждениях, Альберт и письмо прошли через несколько рук. На его счастье, ему попался в конце концов хороший человек, отнесшийся к просьбе Алана с душой. Элси рассказала мне, что присланный ответ весьма мало походил на официальное послание:

«Ваше воображение обмануло Вас, мистер Маршалл. У меня нет преданной жены, которая бы ждала меня с работы. Я холостяк и боюсь, что мои рубашки не всегда бывают белыми. Мой стул не вращается, и я не такая важная персона, чтобы иметь собственный обогреватель. У меня также никогда в жизни не было жакета из верблюжьей шерсти. Но мне нравится Ваш старик. Вся беда в том, что он не натурализован, а чтобы получить гражданство, он должен представить свидетельство о рождении. Он говорит, что родился в Стокгольме в 1882 г. Пусть он сходит к шведскому консулу, и тот поможет ему получить свидетельство о рождении. Когда Вы полу-

чите его, пошлите своего друга сюда с письмом на мое имя, и я объясню Вам, как пройти процедуру натурализации. Уладив этот вопрос, мы сможем добиться для него пенсии».

Это «мы» подняло настроение в «Гуравилле». На следующее утро Альберт снова поехал в город, получив положенные десять шиллингов на проезд и письмо, адресованное шведскому консулу. И опять ему попался хороший человек, который принял его, сказав, что рад возможности помочь соотечественнику и что вопрос будет решен положительно. Он выполнил свое обещание, и свидетельство о рождении прибыло через три недели. Альберт совершил еще одно путешествие в город, а «человек без преданной жены» и Алан еще раз обменялись сердечными письмами. «Альберт теперь должен дать объявление в трех газетах о своем намерении получить гражданство,— писал чиновник.— Ему также потребуются подписи почтенных людей, которые могут поручиться, что он достоин стать гражданином страны самого бога. А это, мистер Маршалл, уже Ваша забота!»

Несколько недель спустя на многолюдной церемонии натурализации в мельбурнской городской ратуше старый бродяга-швед стал австралийцем. Сам Алан не мог присутствовать на церемонии, поскольку читал в это время лекции, но он попросил друзей отвезти Альберта в город и помочь ему пройти все формальности. Оказалось, что чиновник-доброхот из отдела социального обеспечения тоже присутствовал на церемонии. Он пришел не только посмотреть на плоды своих трудов, но и в надежде встретить Алана. И хотя на Алане не было вины, он почувствовал укоры совести, когда пришла записка — последняя — от этого чиновника с шутливым укором:

«Отлично сработано, мистер Маршалл. Но под конец Вы скиксовали».

«Он славный малый,— сказал Алан.— Жаль, что мы не встретились».

Вскоре после церемонии в городской ратуше Альберт совершил свое последнее путешествие в город с заявлением о пенсии по старости, составленным по всем правилам.

«Все было проделано очень быстро,— рассказывает Алан.— Через неделю или две он получил свой первый чек. Это было богатство, о котором он не смел и мечтать. Семьдесят шиллингов в неделю до конца жизни, и все, что ему надо было делать,— это ходить в Элтем два раза в месяц и подавать чек в окошко на почте. В первый раз я отвел его туда сам. Он вышел, перебирая пальцами деньги и потеряв дар речи от волнения. Я спросил его, что он собирается делать со всеми этими деньгами, и он ответил мне одним словом: «Жратва!» Я подумал, что часть из них уйдет также и на грог, но это уже не мое дело. Ему осталось недолго жить, и стакан вина был единственной роскошью, которую он мог себе позволить».

Да, Альберту оставалось недолго жить. Едва ли мог он протянуть более двух лет. В ту пору Алан подолгу отсутствовал, но по возвращении в «Гуравиллу» всегда находил время проведать старика. Иногда я составлял ему компанию. Было очевидно, что старик вышел на финишную прямую, движения его становились все более медленными, затрудненными, язык заплетался, когда он тщился в бессчетный раз поведать одну из своих любимых историй. Но он никогда не жаловался и встречал нас с детски восторженной радостью, мы платили ему тем же. Он регулярно получал почтовое уведомление, которое ему заносил сосед, чей путь лежал мимо альбертовой хижины, и плелся в Элтем за своей пенсией, обратно брал такси. Это Алан уговорил его брать такси; мысль о таком изысканном и почти неприличном удовольствии никогда не приходила ста-

рику в голову. Он привозил на такси продукты и, конечно, бутылку вина. Он любил свою хижину из коры и часто рассказывал Алану о новых птицах, которых обнаруживал на участке.

Однажды с видом заговорщика он показал Алану сберегательную книжку, на которой лежало шестнадцать фунтов; он откладывал по десять шиллингов каждые две недели. «Нас было там только двое,— рассказывал мне Алан,— но он все осматривался вокруг, чтобы убедиться, не подглядывает ли кто-нибудь за нами. Он так и не привык к тому, что ему нечего опасаться властей. Его пугало: нет ли какой ловушки, а вдруг пенсия — просто очередная подачка, которая сразу прекратится, как только власти обнаружат, что ему столько не нужно. Тем не менее он откладывал деньги на книжку. А знаешь зачем? Для моих двух маленьких дочерей. Он был страшно доволен, что придумал это. Ему ужасно хотелось сделать что-нибудь для меня, Катарины и Дженни. Откуда он мог знать, что существуют разные формальности — завещание и все такое. Случись что-нибудь с ним, думал Альберт, Алану достаточно представить сберкнижку в государственную кассу в Элтеме, взять деньги и отдать их девочкам. Именно так».

Конец наступил в 1964 г., когда Алан совершал свое путешествие по Советскому Союзу. По возвращении сестры сообщили ему, что Альберт умер. Женщина, которая жила на соседнем участке, перестала его видеть; обеспокоенная, она зашла в хижину и нашла его недвижимо лежащим на койке. Лицо у него было мирное и спокойное.

Я не знаю дальнейших подробностей. Кое-что было известно Алану. Альберта похоронили как нищего. Нет сомнения, что деньги, которые он хранил в сберегательной кассе, нашли дорогу в государственную казну.

■

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

■

Перевод с болгарского МАРИИ ПЕТРОВЫХ

Кузнечики

Средь ночи, от стихов устав,
услышал я из дальних трав,

из загорода, из приволья —
«кри-кри» завел кузнечик в поле.

Склонясь к столу, я понял вдруг,
что не забава этот звук,

как представляется он людям;
нет, мы о том превратно судим.

«Он крохотен, товарищ тот,
чья скрипка звонкая поет,

а это труд, причем немалый,
чтоб тишина всю ночь звучала.

На миг прервав себя, скрипач
пыхтит, наверно, как тягач!

Что за бессмысленная сила
такой удел ему судила?»

Так я сказал. И в тишине
звенит ответ, понятный мне:

«Какая сила — я не знаю,
но, вероятно, не иная,

чем та, что вечно в дрожь и в пот
тебя кидает и трясет,

чтоб крепло днями и ночами
твое букашечье звучанье».

Так он сказал. На краткий миг
тот аргумент казался дик,

но вскоре ощутил в себе я
озноб счастливый — и скорее

к тетради, трепетом объят...
И я, и малый мой собрат

среди безмолвия ночного —
мы оба заскрипели снова.

Небо

Как видно, для беседы важной
нарушен мой покой в лесу;
автомобиль под елью влажной
блестит угрюмо, сбив росу.

Но вижу небо в звездном прахе
и все, что им озарено,
и сердце покидают страхи,
и мне становится смешно:

о, эта страсть, что нам отравой,
стремленье к власти и хвале!
Мы были бы другими, право,
светлее жили б на земле,

когда бы небо в блеске дивном
с мильарднозвездною рекой
ну стало б, что ли, портативным —
всегда, коль нужно, под рукой!

Средь снега

В лесу заснеженном,
в укромной тени
я вижу под склоном
сверканье лыжни.

Кто шел здесь недавно
сквозь снежную пыль?
Какой-то забавный,
неведомый стиль!

Гадаю, не знаю —
кто шел здесь, кружась?
И вдруг, понимая,
стою, изумясь:

знакомая трубка,
конечно, она!
Под снежною крупкой
отлично видна!

С моим же пробегом
столкнулся в лесу!..
Пропахшую снегом
я трубку сосу,

и новая нота
возникла, звеня:
останется ль что-то
как след от меня?

Он будет ли чистым,
манящим других,
прямым, серебристым,
понятным для них?

Эх, рядом с оврагом
свернул я чуть-чуть,
по круче зигзагом
прочерчен мой путь,

и все ж не обидно
за тот разворот,
вглядишься, и видно —
он к цели ведет;

вот так без устатку
и дальше б идти,
не сдать на остатке
большого пути,

который так длинно
сквозь годы бежит...
И нету причины
испытывать стыд.

Я в память пробега
уселся под бук,
и с запахом снега
сосал я мундштук,

и запах тот зыбкий
мне вспомнить помог
то, с чем по ошибке
расстался на срок,

оно было скрыто
опавшей листвой,
и вот — не забыто
и снова со мной!

Родители

На дачу съездить время выдалось,
и я повез их, но в пути
машина отказала, выдохлась,
придется им пешком идти.

По Витоше наверх идут они,
гляжу со страхом им вослед,
дивлюсь недавней мысли путаной:
да ты привязан к ним иль нет?

В моей он куртке, не теперешней,
а старенькой, что чуть жива,
ведет жену за локоть бережно,
хоть сам он держится едва.

Она, пучок прикрыв панамкою,
неспешно с палочкой идет.
С тревогою следят глаза мои,
как двое движутся вперед.

Зашли за взгорье недалекое
в минуты гаснущего дня;
ее фигурка невысокая
сокрылась первой от меня,

еще мгновенье вызывающе
торчали волосы его,
и вот в закатной дымке тающей
уже не вижу никого.

Снег

Беспечальный снежный пух
вьется над крыльцом балкона,
но — звонок! — и режет слух
дребезжанье телефона.

Кто-то проревел: — Алло!
Это ты, мерзавец гнусный?! —
И куда-то унесло
голос тот, и в трубке пусто.

Ну и грубиян, скажу!
Я-то что ж — я не в обиде;
с трубкою в руке сижу,
всю мою дорогу видя:

никого я не убил,
никого не сбил я с толку,
ни за кем я не следил,
как предатель, втихомолку.

Кто ж он? Что гадать о нем!
Не туда попал случайно...
А снежинки за окном
падали в тиши бескрайной.

Я как свой средь них, средь всех,—
мы беззлобны, и легко нам.
Как просвет, мой тихий смех
тает на стекле оконном —

крохотный кружок внутри
рощи снежно-серебристой...
Славно жить, черт побери,
сохраняя совесть чистой!

Провинившийся

Что было делать! Он бедствием стал,
лаял так страшно, что я и решил, хоть не сразу:
сунул в машину его, завез в дальний квартал,
выпустил там и прибавил газу.
Было мне тяжко, но я уже говорил:
лаял он так, что терпеть не хватало сил.
А через неделю в дверь что-то скребется упрямо,
что-то скулит и колотит хвостом второпях,
что-то на грудь мне кидается прямо,
что-то лижет меня со слезами в глазах.
Заросший и грязный,
промокший, несчастный,
и какой-то весь драный,
и со свежею раной...
Трется о ноги мои, жмется ко мне,
голос его понимаю вполне.
Он молит: — Хозяин, хозяин бесценный,
моя вина несомненна,
но прости, заклинаю!
Что случилось — не знаю!
Припадаю к ногам твоим, плача,
я отыскался, я цел!
Честное слово собачье —
я убежать не хотел!
Оттеснило меня народом,
иль в глаза мне попала пыль —
потерял я за поворотом
твой автомобиль!
У, как было ужасно!
У, как было опасно!
Я не раз подбегал
к одному магазину,
но твой запах пропал,
сбитый вонью бензина!
Знать, ругал ты собаку
и жалел ты о ней,
но и я ведь, однако,
рыскал эти семь дней,
думал — дальше иль ближе?..
Так прости же, впусти же!
Не исчезну я снова,
пропадать не посмею
и даю тебе слово
лаять вдвое сильнее!
— Заходи,— отвечаю,—
но сержусь на тебя я,
ты не будешь отныне
разъезжать на машине!

ДОРИС ЛЕССИНГ

Лето перед закатом

РОМАН

Перевод с английского И. ЯКУШИНОЙ

Дома

На пороге дома, скрестив на груди руки, стояла женщина и как будто чего-то ждала.

Предавалась размышлениям? Вряд ли она так назвала бы свое состояние. Она пыталась нащупать что-то неуловимое в своем подсознании, вытащить его на свет и дать этому «нечто» определение; в последнее время она все чаще стала «примерять» на себя, словно платья с вешалки, разные мысли и идеи, приходившие ей на ум. Она переваривала в себе избитые, как детские считалки, слова и фразы: критические моменты жизни принято отмечать определенными, довольно стереотипными выражениями. *Ах, первая любовь!.. Старость — не радость... Это мой первенец, сами понимаете... С любовью не шутят!.. Брак — это компромисс... Увы, где моя молодость!* Разумеется, выбор того или иного из этих освященных временем штампов зависит скорее от социальной среды говорящего и от непосредственного окружения, в котором он в данный момент оказался, нежели от его личных качеств и эмоций. Об истинных чувствах человека можно судить либо по улыбке, о которой сам он порой не догадывается, либо по горькой складке, залегшей в уголке рта, а то и по вздоху, невольно вырвавшемуся после такого, к примеру, заявления: *Детство далеко не всегда безоблачно!* Эти пущенные в обиход клише, словно взятые с образцового рекламного стенда, обладают такой внушительной силой, что многие твердят и твердят, не задумываясь: *Юность — лучшая пора жизни* или: *Для женщины любовь — это все* — до тех пор, пока в один прекрасный день не поймают в зеркале собственное выражение лица в момент произнесения одной из подобных деклараций или же пока не перехватят невольную гримасу собеседника или собеседницы в ответ на свои откровения.

Женщина стояла, скрестив руки, на пороге своего дома и ждала, когда закипит чайник.

Бастовали электрики, и в доме почти весь день не было света. Тим, младший сын женщины, и дочь Эйлин съездили рано утром за город, в Эппинг-форест, набрали там хворосту и под непрерывные шутки и смех разложили в саду посреди гравиевой дорожки костер, смастерив над ним треножник из обломков металла, которые они откопали среди хлама в углу гаража. Этот костер — возня вокруг него, при-

готовление завтрака и ленча, шутки — стал центром жизни семьи на весь день. Но женщине было не до шуток, суета вокруг костра скорее раздражала ее. Целых двадцать минут ушло только на то, чтобы вскипятить чайник,— уже много лет не слышала она, как он поет. Электричество, не успеешь оглянуться, доводило воду до кипения, так что чайник даже не успевал запеть.

Может быть, она просто невосприимчива к окружающему? А может быть, и Тим и Эйлин — в общем-то уже взрослые люди: одному девятнадцать, другой двадцать два года — тоже не настолько увлечены затеей с костром, как казалось; возможно, они просто притворяются из деликатности, чтобы не нарушать общего настроения? И их поведение — всего лишь подтверждение старой народной мудрости, оправдывающей условность, от которой люди не способны отрешиться ради правды жизни, какова бы она ни была?

Как не способна это сделать и сама женщина.

А правда жизни сейчас заключалась в том, что женщина все чаще и чаще с тревогой сознавала, что не только слова, которые она произносила, и многие мысли, которые приходили ей в голову, были сняты с чужой вешалки и надеты ею на себя,— самое главное, что чувства, одолевавшие ее при этом, никак не соответствовали ни этим словам, ни мыслям.

Женщина разомкнула руки, подошла к нелепому сооружению посреди гравиевой дорожки, подкинула хвороста под чайник, свисавший с треножника, и прислушалась: изменился ли тембр песни чайника хоть сколько-нибудь? Ей показалось, что изменился. Если завтра опять не будет света, как грозятся электрики, то, пожалуй, не мешало бы приобрести походную плитку или что-нибудь в этом роде; бойскауты — мастера на всякие выдумки, спору нет, только вот что́ делать, если дождь зарядит надолго... Ходят слухи, что забастовка скоро не кончится. Что-то зачастили эти забастовки: вроде бы совсем недавно последний раз отключали электричество? Судя по всему, эти энергетические кризисы, приводящие к нехватке топлива, света, горючего, будут повторяться все чаще, и рачительная хозяйка должна позаботиться кое о каких запасах. Возможно, Гим и Эйлин были правы: грузовик дров в хозяйстве не помешает.

Женщина вернулась к порогу, прислонилась, как прежде, спиной к стене и скрестила на груди руки.

Бывают события, которые затрагивают судьбу всего народа — войны, забастовки, наводнения, землетрясения; они считаются стихийными бедствиями. И если вдуматься, то крутыми поворотами в жизни многих и многих людей были именно такие потрясения: нашествия, войны, междоусобицы, эпидемии, голод, наводнения, землетрясения, отравление почвы, пищевых продуктов и воздуха. Любопытно, что штампы, применяемые в разговоре об общенародных бедствиях, выражают чувства более искренне, чем те, что служат для описания личных несчастий.

Она услышала, что чайник стал затихать, и, протянув руку, взяла с кухонного стола, находившегося у нее за спиной, огромный фарфоровый кофейник, в который уже заранее был насыпан кофе. С кофейником в руках она стояла у костра, наблюдая, как под давлением пара начинает плясать крышка чайника.

Судить о жизни только по высшим точкам ее напряжения нельзя: в конце концов события личной судьбы, равно как и общенародной, совершаются не в один день. Проходят месяцы, а то и годы, прежде чем человек наконец скажет: *Боже, как изменилась моя жизнь,* имея в виду большую любовь, вдруг вспыхнувшую в нем, или ненависть, или

брак, или просто окончание испытательного срока на службе. *Изменилась жизнь, потому что изменился сам человек.*

Пар так и подбрасывал крышку чайника и уже выбивался из носика.

Надев на руку толстую стеганую варежку, она сняла чайник, залила кофе шипящим, стреляющим горячими брызгами кипятком и поставила чайник возле костра, подальше от травы, чтобы на газоне не осталось желтого круга. Затем раскидала недогоревшие ветки из середины костра; не забыть бы убрать весь оставшийся хворост под навес на случай, если хлынет дождь. Ведь она не бойскаут, это тем ничего не стоит развести костер из сырого хвороста.

Взяв чайник в одну руку, а кофейник в другую, она пошла на кухню.

Я попала между жерновами, ох и крепко же меня перемалывает жизнь... Такое обычно говорится или ощущается не без некоторого самодовольства. Это ли, мол, не удивительно? А что здесь удивительного? Чувство победы над собой? В конечном счете это чувство испытывают и те, кто придерживается мнения, что человеческая жизнь стоит не больше жизни какой-нибудь тли — таких сравнительно немного,— и те, кто по старинке считает, что люди ответственны за свои поступки перед лицом всевышнего, ибо человек — создание бога. Или богов. Но почему, собственно, человек должен придавать значение тому, что он что-то преодолел, чему-то научился, созрел, поднялся на ступеньку выше, если он всего-навсего тля? Потому что испокон веков бытует мнение, может быть, самое стойкое в нашем сознании: живя, человек приобретает жизненный опыт — вот что важно.

К сожалению, порой уходит масса времени и тратятся непомерные усилия, чтобы познать даже очень малое...

И она действительно ощущает это на себе? Да, ощущает.

Женщина поставила кофейник на поднос, где заранее были приготовлены чашки с блюдцами, ложки, сахар и ситечко, и взяла поднос в руки; прежде чем выйти из кухни, она обернулась и взглянула на стол, заваленный грязной после обеда посудой. Посуда, оставшаяся после завтрака, тоже находилась там. Может, попросить Тима снова развести костер, вскипятить побольше воды, чтобы хватило на всю накопившуюся за день посуду, и перемыть ее разом? Нет, пожалуй, не стоит трогать его сейчас, он в каком-то взвинченном состоянии; лучше уж вымыть попозже.

Женщина вышла из боковой двери на давно не стриженный газон, на котором тут и там красиво белели островки маргариток, и направилась к дереву, единственному на весь сад. Женщину эту звали Кейт Браун, а точнее — Кэтрин Браун, или миссис Майкл Браун. Она осторожно несла поднос, обдумывая, как лучше справиться с завалом посуды на кухне, и в то же время где-то подспудно в ее сознании текли другие мысли: женщина вела свою бухгалтерию, калькулировала, подводила баланс... Она хотела, чтобы нынешняя стадия ее жизни — неважно какая по счету — поскорее завершилась. Если рассматривать жизнь только в виде точек высокого накала, или пиков, то у нее ничего такого уже давно не было; и в будущем ее ничего не ждет, кроме медленного, но верного увядания с постепенным сведением на нет ее роли матери и хозяйки дома.

Иногда, если повезет, процесс — или стадия — старения проходит в ускоренном темпе. Для Кейт это лето обещало обернуться именно таким — до предела напряженным, концентрированным отрезком жизни.

Что ожидало ее впереди? Обыкновенная старость — и больше ничего. Старость, разумеется, никого стороной не обходит. *Ах, как*

летит время!.. Не успеешь оглянуться, а жизнь уже прошла... Что ни говорите, а зрелость — это уже закат. И так далее, и тому подобное. Но случай с Кейт не вполне обычный; старость не будет подкрадываться к ней исподволь, едва заметно, осознаваемая лишь в моменты отчаянных усилий удержать стремительный бег лет, своевременно подкрашивая волосы, поддерживая в норме вес, внимательно следя за модой, чтобы всегда выглядеть элегантной женщиной, а не молодящейся старушкой. Почти у всех людей старение — процесс многолетний... если только старость не наступает мгновенно — под влиянием тяжелых переживаний, во время землетрясения, когда почва уходит из-под ног, когда родному городу грозит наводнение или когда у тебя на глазах гибнут под бомбами дети, и сердце каменеет от горя, и нет сил жить. Молодость сменяет средний возраст, но отметить момент перехода из одного возраста в другой — трудно. Позднее приходит старость, но опять же человек не замечает, когда это случилось. Однако перемены в самом человеке все-таки произошли,— и еще какие! — например, в его отношении к окружающим; но ему самому это вряд ли заметно, ибо душа его обрастала ледком медленно, день за днем. Приходит время, и однажды, на склоне лет, человек вынужден признать: *Как это ни грустно, молодость уже позади.* У большинства людей бывает именно так. Но у Кейт Браун все было иначе: ей суждено было покончить с этой проблемой разом, в течение нескольких месяцев. И хотя могло показаться, что все перипетии того лета носили сугубо внутренний характер и испытанию подвергались ее терпение, добрый нрав и запас стойкости, в действительности же чисто внешние факторы оказали влияние на ее скромную судьбу, спрессовав ее жизнь и заставив Кейт почувствовать, что старость неотвратима и уже стучится у порога. Ни личные добродетели, ни свойства ее натуры никак не повлияли на события того лета.

Если бы к тому времени, когда старость уже вошла в жизнь Кейт, ее спросили, какой путь к ней она бы предпочла, она не задумываясь ответила бы, что именно такой и никакой иной; но выбрать именно такой вариант сама она не смогла бы, поскольку у нее не хватило бы ни опыта, ни воображения. Нет, она отнюдь не стремилась к тому, что с ней должно было случиться в недалеком будущем, хотя интуитивно чувствовала: что-то происходит! Стоя под сенью дерева с подносом в руках, она не могла отделаться от одной мысли: со мной творится что-то неладное, что именно, не понимаю.

Она поставила поднос на столик, сделанный из какого-то материала, изобретенного в последнее десятилетие. Столик выглядел как металлический, но на поверку был почти невесом, и казалось, его можно было поднять двумя пальчиками, однако стоял он вполне устойчиво и не опрокидывался, если на один конец его ставили что-нибудь тяжелое.

В выборе этого стола она не участвовала — его выбрали без нее, равно как и эти вот чашки из пластмассы, искусно имитирующей фарфор.

Женщина вышла на середину лужайки, откуда видны окна верхнего этажа, и, прежде чем крикнуть и позвать к столу мужа, перевела дух и мысленно представила себе картину, которая откроется ему, когда он, высунувшись из окна, откликнется: «Иду!»

Он увидит стоящую посреди газона женщину в белом платье с розовым шарфиком вокруг шеи и в белых туфлях.

Вот это был ее выбор, сознательный и хорошо взвешенный: ее внешность с головы до пят — воплощение утонченного вкуса и умеренности, отвечающей духу буржуазного пригорода, где она жила, и

ее положению жены своего мужа. Ну и, разумеется, матери своих детей.

Платье с этикеткой «Jolie Madame» было в меру строгим и очень к лицу. Неотъемлемой частью туалета были чулки и туфли. Волосы — и здесь мы дошли до того объекта, на котором сосредоточивалась вся энергия и выдумка нашей героини,— были уложены крупными, мягкими волнами вокруг лица, где она милостиво оставила несколько веснушек — на горбинке носа и на скулах. Муж всегда говорил, что веснушки красят ее. Волосы были с рыжеватым отливом, не слишком бросавшимся, однако, в глаза. Это была здоровая, миловидная, готовая во всем пойти навстречу женщина.

Заслонившись рукой от солнца и выждав мгновенье, она позвала:

— Майкл! Майкл! Кофе!

За стеклом, в котором отражалось яркое солнце, появилось расплывчатое пятно — лицо мужа, и он крикнул в ответ:

— Идем!

Женщина вернулась к столу, осторожно ступая, чтобы не запачкать травой туфли. Будь ее воля, она бы предпочла пробежаться босиком, скинув чулки и туфли, распустив волосы, в свободном балахоне типа гавайского му-му, в сари или в саронге — в чем-нибудь этаком.

Она не позволяла себе никаких экстравагантностей ни в одежде, ни в прическе, ибо давно, когда дети были еще подростками, видела, как их шокировало, если она давала волю фантазии. Мэри Финчли, соседка, живущая в доме напротив, одевалась как бог на душу положит, не считаясь ни с мужем, ни с детьми; ребята не выносили этого и не упускали случая показать матери свое к этому отношение.

И хотя Кейт была согласна с Мэри, когда та говорила: «А с какой стати потакать их капризам, подлаживаться под их вкус? Дети не должны быть тиранами», сама Кейт всегда старалась приспособиться к своим детям. Она считала, что в подобной ситуации ее дети будут вести себя не лучше, чем дети Мэри.

Кейт расположилась в тени дерева, выставив на солнце только ноги, словно в чулках они могли загореть. Она рассматривала свой большой дом — прямоугольный, окруженный обширным садом. Как будто прощалась со всем этим — такое настроение было навеяно состоявшимся недавно у нее с мужем разговором о том, что дети скоро станут совсем взрослыми и пора подумать, не сменить ли этот громоздкий дом на что-нибудь поменьше. Может быть, купить квартиру в городе? Или приобрести на паях с друзьями — с Финчли например — домик, где-нибудь подальше от городского шума, и навсегда поселиться в провинции.

Кейт частенько думала об этом, но всегда как о далеком будущем.

Пока же стоял май — английское лето, непостоянное и зыбкое, преддверие осени,— а с его приходом начинались перебои в жизни семьи, этого небольшого организма, который размеренно и четко работал в южной части Лондона, точнее, в Блэкхите. Здесь ежегодно происходили взрывы — тем более сильные, чем взрослее становились дети, и организм выбрасывал вовне частицы себя, с каждым разом рассеивая их все шире и дальше по планете. Организм ежегодно как бы делал выдох поздней весной и вдох в сентябре.

В прошлом году в июле Майкл, довольно видный невролог, поехал на очередную конференцию, проходившую в Америке; воспользовавшись случаем, он остался на три месяца поработать в бостонской клинике и возвратился только в октябре. Кейт тоже поехала с мужем на конференцию, но вскоре ей пришлось вернуться домой по семейным

обстоятельствам, правда, в сентябре она вырвалась к нему еще раз — поездки ее туда и обратно зависели, естественно, от передвижения по белу свету их отпрысков. А это беспокойное племя курсировало между домом и самыми отдаленными уголками Европы на протяжении всего лета.

В этом году Майклу по обмену опять предстоит работать четыре месяца в той же клинике в Бостоне. Старший сын Стивен, двадцатитрехлетний студент последнего курса университета, собирается с друзьями на четыре месяца в поездку по Марокко и Алжиру. Двадцатидвухлетняя Эйлин поедет вместе с отцом в Штаты — в гости к своим друзьям, с которыми познакомилась прошлым летом во время туристской поездки по Испании. Второго сына, Джеймса, пригласили до начала занятий на первом курсе университета в археологическую экспедицию в Судан. Что касается самой Кейт, то на этот раз она решила не ехать с мужем в Штаты. Такое решение было отчасти продиктовано стремлением не портить поездку дочери — она знала, что уже самим своим присутствием будет мешать ей. Кроме того, ехать всем троим — очень дорого. И в довершение всего она не была уверена, что не помешает мужу... Эта мысль вызвала у нее улыбку, более похожую на гримасу, которая с успехом могла бы сопровождать такое клише: *Брак строится на взаимных уступках;* вникать в эту сферу глубже она не имела ни малейшего желания, это она знала твердо.

Была еще одна проблема — Тим; ему уже исполнилось девятнадцать, и в семье всячески поощряли его самостоятельность, но на сей раз он не собирался уезжать на лето из дома. Он всегда был, что называется, «трудным ребенком». Словом, получалось, что ради одного только Тима будет функционировать целый дом в южном Лондоне. Ей, матери, придется вести хозяйство. Ближайшие летние месяцы пройдут так же, как проходили уже не раз. Ее дом будет базой для семьи, бороздящей земной шар вдоль и поперек: то после учения домой на каникулы, то проездом куда-нибудь с остановкой на день или на недельку дома — и так без конца; а она будет их всех кормить, сбиваться с ног, заботясь об удобствах своих детей, их друзей и друзей их друзей. Всегда к услугам, всегда готовая бежать по первому зову.

Она предвкушала это время не только потому, что предстояло появление новых лиц; она радовалась самой суете, связанной с устройством молодежи, а главное, предвкушала сознание своей необходимости; возможность посвятить больше времени своему саду тоже радовала ее. Когда они, Кейт и Майкл, распрощавшись с активной жизнью, уедут отсюда, то не о доме будет тосковать Кейт, а о саде — поистине прекрасном, каким бывает только английский сад после почти двадцати лет неусыпных, любовных забот. Глядишь на него, и кажется, что не человеческие руки взрастили его, а он сам, как по волшебству, поднялся из земли, раскидав тут лужайку, там — группку лилий, подальше беседку из вьющихся роз и повсюду островки разнотравья. Круглый год там пели птицы. Нежно дул ветерок. Там не было клочка земли, которого бы Кейт не знала, к которому не приложила бы рук, который не возделала бы сама — с помощью земляных червей, конечно.

Она сидела, вдыхая аромат роз, лаванды и чабреца, и наблюдала, как от дома к ней идут муж и его гость.

Звали гостя Алан Пост, и он не имел никакого отношения к медицине; он был международным чиновником и служил в одном из учреждений Организации Объединенных Наций. Познакомился он с доктором Майклом Брауном в зале ожидания Лос-Анджелесского аэропорта — самолет, которым оба должны были лететь, задержался

из-за тумана. Коротая время, они играли в шахматы и потягивали виски, а под конец обменялись адресами. Неделю тому назад они случайно столкнулись на Гудж-стрит и зашли куда-то пообедать. После этого Майкл пригласил Алана к себе провести воскресный день в семейном кругу.

Если бы не было перебоев с электричеством, то Брауны приготовили бы традиционно-английский воскресный обед — не ради себя, конечно, ибо они давно уже отошли от старинных обычаев, а ради того, чтобы угостить Алана; у них даже была давняя семейная шутка о том, что они, как крестьяне, наживающиеся на туристском буме, неизменно предлагают своим друзьям-иностранцам блюда английской национальной кухни. Но сегодня шеф-поваром была Эйлин, а ее помощником — Тим. И перед тем как куда-то убежать по своим девичьим делам, Эйлин подала на стол холодный турецкий суп из огурцов, шиш-кебаб на вертеле и ледяной абрикосовый шербет — холодильник работал на газе. За обедом было выпито немало «Сангрии»[1] — рецепт привез в прошлом году из Испании средний сын.

После обеда Майкл и Алан Пост не сразу встали из-за стола и с увлечением продолжали разговор, который они позднее перенесли наверх, в кабинет хозяина. Кейт налила кофе в симпатичные пластмассовые чашечки, которыми стала пользоваться для сервировки стола на воздухе с тех пор, как однажды к ним в сад в погоне за каким-то своим недругом ворвалась соседская собака и вдребезги разнесла ее лучший фарфоровый сервиз. Подав кофе и шоколадные вафли, она изобразила на лице вежливую улыбку, за которой, как за хорошей ширмой, можно было думать о чем-то своем. В данный момент она думала о муже.

Когда он вот так поглощен захватывающей беседой с друзьями, особенно с приезжими иностранцами, он отдаляется от нее, становится чужим. Объяснялось это вовсе не тем, что он принадлежал к людям, которые ведут себя по-разному в зависимости от окружения,— просто когда он бывал, например, с Аланом Постом, создавалось впечатление, что вокруг Майкла образуется особая, более утонченная атмосфера, атмосфера окрыленности, плечи его расправлялись, словно у него вырастали крылья... В прошлом году, когда Кейт сопровождала мужа в Штаты, она не раз была свидетельницей такого душевного подъема; она почувствовала тогда, будто все годы их совместной жизни он хранил в своих внутренних кладовых нерастраченный запас духовных сил, которым не находил применения в рамках семьи; Кейт и Майкл, разумеется, проанализировали ее впечатления и ощущения. Она питала тайную надежду, что и он ответит ей таким же признанием, но муж ничего не сказал. Она сидела и думала, что вот в этом году целых четыре месяца он будет один, без жены, лишь время от времени встречаясь с дочерью; и другая улыбка — сухая, ироничная — появилась у нее на лице. Она отдавала себе в этом отчет, она, как говорится, «отработала» эту улыбку. При других обстоятельствах — если бы, скажем, какая-нибудь женщина помоложе (не ее ровесница, не такая, как Мэри Финчли) стала искать у Кейт ответа на этот животрепещущий вопрос — она бы, наверное, откинувшись небрежно на спинку стула и укрывшись за броней иронии, тоном умудренной опытом женщины ответила: «Все мы в молодости придаем слишком большое значение пустякам — кто из мужчин не флиртует? Право же, это не в счет в здоровом прочном браке!» На смену прежней полуулыбке-полугримасе пришло нечто весьма смахивающее на ликование: удалось-таки обойти расставленную ловушку, из-

[1] «Сангрия» — род коктейля. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

бежать опасности... Сидя под раскидистым деревом, слегка касаясь ручки кофейника, как бы давая этим понять: кофейник полон, пейте сколько угодно,— и не переставая улыбаться, она вдруг услышала внутренний голос, говоривший ей: «А ведь ты сама себя беспардонно обманываешь! Чудовищно! Зачем все это нужно? Есть в этом что-то такое, от чего ты сознательно отводишь глаза». Она прислушалась: кажется, мужчины заговорили о чем-то, касающемся и ее.

Конференция, на которую приехал Алан Пост, столкнулась с рядом организационных трудностей. Вернее, не сама конференция, а одна из ее комиссий; организация, под эгидой которой проходит конференция, называется Всемирной продовольственной организацией и занимается изучением того, чем и как питается человечество. Или не питается. Когда члены комиссии собрались за столом заседания, выяснилось, что из-за цепи роковых случайностей работу начать нельзя — одного переводчика свалил грипп, другой сломал бедро, третий скоропостижно умер в Лиссабоне. И если найти квалифицированных переводчиков с французским, немецким, испанским языками было проще простого, то найти людей, в совершенстве владеющих португальским и английским одновременно да вдобавок еще достаточно эрудированных, оказалось куда труднее. Португальский язык требовался потому, что одна из подкомиссий занималась проблемой кофе; в Бразилии же, ведущем мировом производителе кофе, официальный язык — португальский. Заседание подкомиссии пришлось отложить, пока не подберут переводчиков. Двоих уже нашли, не хватало еще двоих; Алан Пост и Майкл вопросительно смотрели на Кейт, ожидая, что она с радостью ухватится за эту возможность и станет третьей. Три года назад Кейт перепечатала на машинке для подруги, которая сама печатать не умела, популярную книгу о разведении кофе и его рынках сбыта. Поэтому она разбиралась в существе предмета. Кроме того, у нее были прекрасные способности к языкам. Французский и итальянский она знала хорошо; португальским владела в совершенстве, так как была наполовину португалкой. Она рано окончила школу, и у нее образовался трехлетний перерыв перед поступлением в университет. Один год из этих трех она провела в Лоренсу-Маркише [1] в гостях у своего деда, филолога по профессии. Там она говорила только по-португальски.

Чему еще научилась она за этот год, живя в городе на берегу Индийского океана? Дед был приверженцем старых взглядов на место женщин в обществе и относился к внучке со всей строгостью. Правда, он исполнял любое ее желание, но в то же время не давал забыть, что ей, существу женского пола, раз и навсегда отведена второстепенная роль в его жизни, так же как его жене и дочерям. Вот Кейт того периода, какой она себя помнит: юная, хрупкая, как камелия, девушка с молочно-белой кожей и густыми каштановыми волосами, в льняном белом вышитом платье — воплощение такой притягательной женственности, что молодые люди, окружавшие ее, дав волю воображению, не могли оторвать от нее глаз. Она обмахивалась шелковым вышитым веером, изящно вращая кистью, как ее учила старая нянька, а юноши, которые должны были испрашивать разрешения деда даже на то, чтобы разговаривать с Кейт, сидели полукругом в плетеных креслах и наперебой расточали ей комплименты. Шел 1948 год. Она пользовалась огромным успехом в Лоренсу-Маркише — отчасти потому, что ей, англичанке, как она ни старалась, трудно было следовать нормам, которые дед считал идеалом; отча-

[1] Лоренсу-Маркиш — столица бывшей португальской колонии (теперь — Мапуту, столица Народной Республики Мозамбик).

сти потому, что сочетание коротких рыжеватых волос с карими глазами было редкостью в краю знойных сеньорит; а отчасти потому, что при нетерпимости деда к любым вольностям поведение Кейт и высказываемые ею взгляды производили порой впечатление тонко рассчитанной, ловкой игры, которая расценивалась в колонии как скрытый вызов дедовым установлениям.

Вернувшись в Англию, Кейт снова и снова переносилась мыслями в тот далекий город, окутанный тяжелой испариной и полный загадок; одной из них была бабка Кейт, которая — если деда не подводила память — до конца дней осталась дочерью своего народа. Признанная красавица, прекрасная мать, великая искусница по части кулинарии, обаятельнейшее существо без единого недостатка... Возможно, так оно и было, однако все эти дифирамбы возымели неизбежное обратное действие, и Кейт вернулась из Португальской Восточной Африки, горя желанием поступить в университет на факультет романских языков и литературы. Она успешно сдала вступительные экзамены и, став студенткой, переехала жить в Оксфорд. Вскоре она встретила Майкла, который, после войны и учения урывками — на то и на другое ушло в общей сложности десять лет,— только теперь начинал свою карьеру. Она переселилась к нему, и они с энтузиазмом вступили в Первую фазу, как они сами называли первые годы совместной жизни.

Если бы не замужество, могла бы она стать чем-то выдающимся в своей области? Преподавателем университета, например? Женщины как будто не так уж часто становятся профессорами. Впрочем, подобные мысли почти не посещали ее: она была довольна своей долей, и дети не были ей в тягость. Кроме того, и муж держал ее в курсе своих интересов, знакомил с интересными людьми. Иногда она делала переводы для него или для его коллег. Однажды даже перевела с португальского целый роман, что, правда, принесло ей не так много денег, зато немало похвал. Она встречалась с людьми из всех стран мира, особенно с тех пор, как дети повзрослели и стали привозить домой своих друзей и приятелей, разбросанных по белу свету.

Если бы не замужество... но, бог ты мой, какой же непроходимой идиоткой надо быть, чтобы отказаться от семьи ради романских языков и литературы!.. Майкл и Алан Пост налили себе еще по чашечке кофе и ждали, что скажет Кейт. А Кейт между тем была на грани паники. От сознания этого она разволновалась еще больше. Глупо и нелепо так страшиться. И чего, собственно? Она бы никому не призналась, даже Майклу, но когда перед ней встал вопрос о работе, самой обыкновенной и вполне в пределах ее возможностей—к тому же, по всей видимости, ненадолго,— она почувствовала себя как узница, которая долгое время провела в заточении и которую поутру ожидает свобода.

— Но я не представляю себе, как это получится,— пробормотала она.— Ведь Тим будет наезжать домой время от времени.

Она заметила, как муж сжал губы: частые разговоры о Тиме не привели супругов к согласию. Майкл считал, что его младший сын слишком засиделся под крылышком матери. Кейт же, признавая, что сын действительно немного избалован, отнюдь не считала, что положение нужно исправлять таким варварским способом: «Вышвырнуть из дома и пусть сам барахтается». То есть как это вышвырнуть? Куда? В чем мальчик провинился, чтобы применять к нему такие крайние меры? Дуется, грозится убежать, ненавидит порой родителей, но ведь через это проходят все дети, только каждый по-своему. Кейт была убеждена, что если она и отдает предпочтение Тиму, то лишь потому, что муж бывает несправедлив к нему; у Кейт были свои

взгляды на воспитание мальчика, и она защищала их как в семейном кругу, так и вне его.

— Но ведь комиссия прозаседает не дольше... сколько, вы сказали? — обратился Майкл к Алану.

К этому времени Алан сообразил, что между мужем и женой существуют какие-то трения; глядя мимо них в сторону дома, откуда к ним направлялся юноша, он ответил:

— Самое большее — месяц.

— А вот и Тим,— воскликнула Кейт, как бы давая этим понять: «При детях — ни слова».

Когда Тим подошел к столику под деревом, оказалось, что он старше, чем выглядел издали,— такое впечатление создавалось из-за его мальчишеского сложения и легкой, стремительной походки. Он был не в настроении. Посмотрев исподлобья на мать, он произнес:

— Мам, прости, но у меня изменились планы, Фергюсоны зовут с собой в Норвегию. Лазать по скалам. Я поеду с ними, если не возражаешь.

— Конечно, нет, милый, какой разговор,— машинально ответила Кейт.— Непременно поезжай.

Она обрадовалась за сына так, будто ей самой предстояло ехать в Норвегию, а Тим тем временем успел переглянуться с отцом и получить от него одобрительный кивок.

— Значит, заметано,— сказал он матери,— побегу собираться. А то ведь выезжаем сегодня вечером.— И бросился к дому, словно спасаясь от погони.

Мать крикнула ему вдогонку:

— Тим, постой, вскипяти-ка еще чайник, мне нужна горячая вода для посуды.

Но он либо не слышал, либо сделал вид, что не слышит.

— Итак, Кейт, когда вы можете приступить? — спросил Алан.— Завтра можете? Выручайте, на вас одна надежда.

Кейт молчала — только по улыбке видно было, что она согласна. Она боялась расплакаться у них на глазах. У нее было такое ощущение, словно почва ускользает из-под ног. Она почувствовала — пользуясь ее собственной, еще не до конца сформулированной метафорой, которая последнее время все чаще и чаще приходила ей на ум,— будто вдруг ей прямо в лицо дохнуло холодом из будущего.

Наконец она сказала:

— Да я хоть сейчас. Только можно сначала посуду вымою?

Мужчины рассмеялись, и она — тоже. Алан сказал:

— Вот и отлично. А что, если вы пойдете позвоните, а посудой займется кто-нибудь другой?

Он дал Кейт фамилию человека, с которым нужно было договариваться, номер его телефона и проводил ее в дом с милой предупредительностью, которую можно было бы принять за интимность, не будь она столь непринужденной и обезоруживающе бесхитростной; на Кейт повеяло атмосферой международных форумов, в которую ей предстояло вскоре окунуться. Предупредительность Алана и подбадривала, и снимала напряжение; он стоял рядом, когда она говорила по телефону, и одними губами подсказывал ей нужные слова, которые ей самой трудно было подобрать, так как это были слова совсем другого языка, языка международных конференций и встреч. Когда она положила трубку, он расцеловал ее в обе щеки и, обняв за плечи, повел обратно к столу под деревом. Алан был красавец мужчина, почти их — Кейт и Майкла — ровесник, человек семейный, с женой и подрастающими или уже взрослыми детьми; он зарабатывал уйму денег и проводил почти всю жизнь на колесах, кочуя с одной конфе-

ренции на другую и обсуждая вопросы продовольствия с представителями десятков разных стран. Кейт он нравился. Она подумала, что в конце концов эта непринужденная атмосфера хоть ненадолго принесет ей своего рода разрядку, облегчение. Все в Алане нравилось Кейт: и то, как он одевался, и то, как держал себя в обществе, а Майкл в последнее время и одеваться стал плохо, и стригся не лучше. Однако стоит ли об этом думать, не это главное, в конце концов.

Причиной же такого ощущения, словно она теряет почву под ногами, было то обстоятельство, что с отъездом Тима исчезла последняя зацепка; теперь уже незачем все летние месяцы держать дом «на ходу».

Между тем на смену жаркому воскресному дню на землю медленно опускались сумерки. Мужчины в саду сменили тему разговора и обсуждали теперь что-то, связанное с медициной в Иране.

Много раз в семье Браунов обсуждали, стоит или не стоит сдавать дом на лето.

Шли горячие дебаты на эту тему, и каждый член семьи имел свое особое мнение. На споры уходили целые дни, а то и недели.

Теперь же Кейт сказала:

— Но мы никогда его до сих пор не сдавали, верно?

— Ну и что? — возразил Майкл.— Какие-нибудь приезжие с радостью снимут его и будут счастливы, даже если мы не заберем своих вещей из шкафов.

— Да, но где же будут останавливаться дети, если им случится заскочить в Лондон?

— Для разнообразия могут пожить у кого-нибудь еще, не все же у нас.

— Право, не знаю...

— Я сам завтра же позвоню в агентство,— заявил доктор Майкл Браун, и Кейт была пристыжена его словами, ибо уж кто-кто, а он работает с утра до ночи и, конечно, будет завтра занят не менее, чем она в своей комиссии.

Но главное было в том, что, разделавшись с проблемой дома так легко и бездумно, Майкл принизил роль Кейт, заставил ее почувствовать никчемность своего существования.

Что она будет делать, куда денется, когда закончится работа комиссии? Как-то само собой подразумевалось, что она где-нибудь устроится, приспособится. Оглядываясь на свою жизнь более чем за четверть века, она впервые осознала, что самой характерной чертой ее существования была пассивность, умение приспосабливаться к другим. Первый ребенок появился у нее, когда ей исполнилось двадцать лет. Последний — задолго до тридцати. Знакомые завидовали ей, когда она рассказывала о своей жизни; Брауны слыли завидной парой повсюду, где их знали.

Холодный ветер из будущего, поначалу такой легкий, стал крепчать: впервые в жизни она была никому не нужна. Без нее свободно обходятся. Она давно знала, что такое время не за горами. Даже строила планы на этот случай: надо будет найти себе хобби, путешествовать, заняться какой-нибудь благотворительной деятельностью. Словом, то, что происходило теперь с Кейт, не было для нее полной неожиданностью. Может быть, ей даже следовало бы почувствовать приближение этого состояния раньше?

Она никак не ожидала, что это случится нынешним летом. На следующий год или через год — да, но не сейчас. А пришлось столкнуться сейчас. Временно, конечно, так как в сентябре дом снова превратится в семейный очаг Браунов, отчий кров тех самых детей, кото-

рые все реже и реже нуждались в нем. Когда в последний раз вся семья собиралась вместе? Если подумать, то очень давно.

А теперь вот она, стержень, ось, вокруг которой вертится вся жизнь семьи, остается без дома с июня до конца сентября. Даже угла своего не будет. Странное это чувство, как будто с тебя сдернули теплое покрывало, как будто заживо содрали шкуру.

Супруги Браун не раз обсуждали будущее Кейт; обменивались соображениями по этому вопросу, делились переживаниями. Они всегда разбирали и анализировали все наболевшие вопросы, это было основой основ их брака. Оба верили, что невысказанное точит душу человека изнутри, а стоит выговориться — и то, что наболело, сразу теряет свою разрушительную силу.

Немало умственных усилий было затрачено ими на то, чтобы понять друг друга и разобраться в своих взаимоотношениях.

К примеру, настольными книгами, лежавшими в их спальне, были «Завоевание счастья» Бертрана Рассела и «Идеальный брак» Ван дер Вельде: Майклу от Кейт — Рассел, Кейт от Майкла — Ван дер Вельде. На обеих книгах дарственная надпись гласила: «На память о Первой фазе. В знак нежной любви». Эта надпись отмечала веху, за которой осталась пленительная, добрачная пора их любви. Они предвидели, что их отношения со временем изменятся, что пылкость чувства угаснет. И вот теперь, если бы одного из них застали врасплох с книгой, открытой на странице с дарственной надписью, то от стороннего наблюдателя не укрылась бы ироническая гримаса... но если бы Кейт заметила такую гримасу у Майкла или Майкл — у Кейт, это послужило бы поводом для здорового, чистосердечного смеха (а ведь смех продлевает жизнь). Откуда все-таки берется эта ироническая гримаса? Ведь они оказались абсолютно правы относительно того, что́ именно в их отношениях пришло тогда к логическому концу и что́ у них в жизни начиналось — прочный, необходимый, приятный для обоих союз. Ирония здесь неуместна. Тогда почему же все-таки нет-нет да и промелькнет эта ироничность? И снова уже ставшие традиционными длинные и откровенные беседы о переменах в их отношениях, о переломе в жизни. Хотя Кейт частенько ловила себя на мысли, что все эти психологические изыскания в недрах собственных чувств, анализы поведения и громкие фразы, декларации, если угодно, которые сопровождали смену этапов их супружеской жизни, совсем, может быть, не то, что в таких случаях требуется.

Взять, к примеру, их разговор о холодном ветре из будущего. Состоялся он три года тому назад; были и торжественные заверения, и декларации, а жизнь продиктовала совсем другой, не предусмотренный ими вариант... Девятую — или девятнадцатую — фазу.

Губы Майкла плотно сжимаются всякий раз, как речь заходит о Тиме, например сейчас, когда он бросил свое: «Я сам завтра же позвоню в агентство». Тем самым он как бы отодвинул жену в сторону, выкинул ее за борт семейной жизни. Во всяком случае, сама Кейт расценила это именно так.

Готовясь к собеседованию для проверки умения переводить синхронно с английского, французского, итальянского на португальский и обратно, Кейт перемыла накопившуюся за день посуду с остатками засохшей пищи — к счастью, около десяти вечера снова дали электричество — и просидела всю ночь напролет, перечитывая ею же некогда переведенный роман и как бы заново мысленно переживая прогулки с дедом, их беседы, совместные трапезы. И под утро она вжилась в португальский язык настолько, что, случись ей ненароком толкнуть кого-нибудь на улице, она бы извинилась по-португальски.

Всемирная продовольственная организация

Все ее приготовления к собеседованию: и выбор приличествующего случаю туалета, и ее беспокойство по поводу прически — весьма и весьма провинциальной, Кейт это знала,— и ее стремление не походить на миссис Майкл Браун, жену своего мужа,— оказались ненужными. Как только она вошла в кабинет некоего Чарли Купера, тот воскликнул:

— Миссис Браун? Слава богу, что вы сумели найти для нас время. Вы сегодня же и приступите, да? Чудесно.

Алан Пост, друг и посредник, представил ее как солидную, высокообразованную особу, обремененную многочисленным семейством и оставившую дом без присмотра ради того, чтобы выручить из затруднительного положения уважаемую международную организацию. С первых же шагов Кейт попала в особую категорию сотрудников, работающих не ради куска хлеба, и ей сразу дали почувствовать, что своим присутствием она оказывает организации великую услугу.

Вскоре выяснилось, что из четырех переводчиков, заменивших первоначально набранных опытных специалистов, двое снова выбыли из строя: один по болезни, другой по семейным обстоятельствам.

— Что ни делай, все летит прахом! Как будто сглазили! — кричал Чарли Купер.— Но я уверен, вы принесете нам удачу.

И он повел ее по широкому коридору со множеством окон, где все блестело и сверкало; они вошли в просторный лифт, на одной стене которого висела картинка с изображением темнокожей, приветливо улыбающейся женщины, снимающей кофейные бобы с темно-зеленого куста; пройдя по другому, не менее внушительному коридору, мимо комнат, занимаемых комиссиями по животным жирам и по сахару, они достигли огромного длинного зала, в центре которого стоял сверкающий полировкой овальный стол такой величины, что при виде его каждый невольно задумывался над тем, что же представляет собой мебельная фабрика, специализирующаяся на создании подобных гигантских столов — прямоугольных, овальных, круглых, предназначенных для международных конференций.

Работа комиссии была в разгаре. Стол был уставлен стаканами с водой, повсюду были разбросаны карандаши, шариковые ручки и стопки бумаги для заметок. Но стулья были пусты и стояли в беспорядке вокруг стола; все делегаты спустились вниз выпить — по всей вероятности, кофе — и обменяться мнениями о полной несостоятельности сферы обслуживания; разговоры на эту животрепещущую тему слышатся все чаще и с каждым разом становятся все раздраженнее, но положение не спасают: по мере роста населения уровень обслуживания повсеместно падает. Только теперь тактичный Чарли Купер заметил, что Кейт ждали в десять утра, к началу первого заседания, а не сейчас, когда часы показывают полдень... но он понимает, что это не ее вина, вероятно, ее об этом не предупредили, вот всегда так... да-да, он прекрасно представляет себе, как это было, сказали, наверное: «Зайдите утром», да?.. Типично!

Не может ли она приступить сейчас, да, с места в карьер, вернее, когда делегаты, выпив кофе, вернутся на свои места... сегодня кроме Кейт дежурит всего один синхронный переводчик с португальским языком.

Кейт, полагая, что сегодня состоится только предварительная беседа, сказала своим домашним, что придет рано, накормит их всех обедом и отдаст в стирку белье. Поэтому нельзя ли ей отлучиться хотя бы на минутку и позвонить домой... На лице Чарли Купера от-

разилась несказанная мука: сейчас делегаты вернутся в зал заседаний, их позвали наверх из-за нее, из-за Кейт, и ей надо начинать работу немедленно. Только сейчас Кейт со щемящей тоской осознала, что ее лишают той ответственности за каждую мелочь в доме, к которой она себя за многие годы приучила. Домой от ее имени позвонит Чарли, он просто сообщит, что миссис Браун некогда, она занята. Очевидно, к телефону подойдет Эйлин; подавив в себе желание передать дочери хотя бы привет, Кейт покорно отдала себя в руки какой-то молодой женщины, которая должна была ввести ее в курс новых обязанностей. У каждого места в стол были вмонтированы аппараты, принимающие слова на чужом для делегата языке и превращающие их в его родную речь. И Кейт среди многих других стала участницей этого процесса. На приборной доске были расположены переключатели, каждый — дверь в страну чужого языка. Тут же лежали наушники. В застекленных кабинах, установленных в противоположных концах зала, находились другие аппараты с переключателями и тоже с наушниками. Кейт предстояло сидеть в одной из этих кабин, слушать через наушники выступления на английском, французском и итальянском языках и тут же переводить их в микрофон, соединенный с наушниками делегатов, говорящих по-португальски — в основном бразильцев, не знающих английского или просто предпочитающих свой родной язык. Таким образом, Кейт как бы превратится в машину: в уши ей будут влетать слова одного языка, а изо рта вылетать слова другого.

Несмотря на недостаток переводчиков, Кейт все же не будет целый день сидеть одна в кабине. Ее будут часто подменять, давая возможность отдохнуть и набраться сил; Чарли уже успел позвонить Браунам домой, но, считая это поручение не заслуживающим внимания, даже не поставил об этом в известность Кейт. Первое время, пока Кейт не освоилась, он сидел с ней в кабине, учил ее пользоваться переключателями и наушниками. Между делом он набросал в своей записной книжке обращение к делегатам, где говорилось, что оргкомитет приносит свои искренние и глубокие извинения за перерыв в работе, вызванный нехваткой переводчиков. Затем с книжкой в руке он побежал искать машинистку, чтобы отпечатать текст. Кейт, предоставленная самой себе, огляделась немного, и конференц-зал сквозь стекло показался ей очень красивым. Высокие окна. Стены обшиты деревянными панелями цвета меди с мелкими игривыми завитками по всей поверхности. Пол застлан толстым узорчатым ковром василькового цвета.

В этом зале решались судьбы миллионов маленьких тружеников: какой урожай им надлежит в этом году собрать, как им надлежит питаться, одеваться... и думать.

Чарли Купер еще раскладывал на столе листки с текстом — то самое обращение, чудом размноженное за несколько минут,— когда в зал, смеясь и весело переговариваясь, стали стекаться делегаты. Какое красочное зрелище они собой являли! Именно такую группу импозантных мужчин и женщин, представляющих разные народы и разные оттенки кожи, выбрал бы кинорежиссер, если бы захотел изобразить идеализированную картину объединенных наций. Только вот сумеют ли актеры передать эту совершенную, слегка небрежную величавость, эту несокрушимую уверенность в себе? По одному виду их сразу можно было отличить от помощников, секретарей и всякого рода обслуживающего персонала. Каждый делегат подходил к столу и, продолжая начатый еще в кулуарах разговор, занимал свое место с той неподражаемой хозяйской непринужденностью, которая буквально кричала: «Мы — сила». В каждом жесте, в каждом взгля-

де сквозила убежденность в своей полезности, в важности того, что они здесь представляют.

Началось заседание, и Кейт обнаружила, что ее мозг неплохо справляется с возложенной на него задачей. На несколько мгновений ее охватила паника, когда ей вдруг показалось, что она ничего не соображает и никогда уже не сможет четко мыслить, но это прошло, как только она услышала свой голос; слова слагались в осмысленные фразы, и по лицам делегатов Кейт поняла, что ее слушают.

Спустя неправдоподобно короткое, как ей показалось, время — на самом деле прошло два часа — Кейт сменил на посту в будке коллега-переводчик, и она пошла отдохнуть и перекусить. На свое рабочее место, в кабину, она вернулась полная уверенности в своих силах и к пяти часам вечера уже чувствовала себя такой же неотъемлемой частицей организации, какой была в своем доме, куда она явилась, опоздав к ужину, и обнаружила, что дочь, вопреки ожиданиям, прекрасно справилась со своими обязанностями.

К концу недели Кейт была посвящена во все сложности проблем, связанных с этим горьким благоухающим растением, плоды которого человечество поглощает в таких огромных количествах; ни о чем другом она уже почти не могла думать. Дом ее был приведен в порядок и стоял готовый к приему новых жильцов. Брауны сдали его до конца сентября и разъехались кто куда без всякой помощи со стороны Кейт. Она лишь сказала голосом, лишенным каких бы то ни было эмоций, хотя всего неделю назад это прозвучало бы у нее чуть не трагически: «Пусть кто-нибудь из вас возьмет на себя хлопоты по дому, мне сейчас некогда». И поцеловала на прощанье мужа, троих сыновей и дочь.

Сама она поселилась в одной из комнат квартиры, которую снимала ее новая коллега, работавшая поначалу переводчицей, а затем получившая повышение: сейчас она занималась административными вопросами. Переезд из родного дома со всем необходимым на несколько месяцев занял всего полчаса: побросала кое-какую одежду в чемодан — и все.

Впрочем, ни одно из взятых с собой платьев не могло ей пригодиться. И вот как-то на неделе она решила вырваться в магазин, чтобы обзавестись гардеробом, который, как паспорт, открывал бы ей доступ в новую жизнь. Правда, и миссис Майкл Браун, домохозяйка, никогда плохо не одевалась, но к Кейт Браун, сотруднице Всемирной продовольственной организации, предъявлялись совсем иные требования.

Перед тем как отправиться за покупками, она на всякий случай спросила Чарли Купера, на какое жалованье может рассчитывать. Его смешное круглое лицо с выражением вечной озабоченности, которое как бы припечаталось к нему от постоянных треволнений по поводу работы бесчисленных комиссий, болезненно исказилось — настолько виноватым он почувствовал себя перед ней.

— Голубушка! — воскликнул он.— Простите великодушно! Что же вы раньше-то... Ума не приложу, как это меня угораздило позабыть.

И он назвал цифру, услышав которую, Кейт чуть не ахнула. Произнес он это без тени бравады — сразу было видно, что для него это дело привычное и будничное, как будто в мире нет ни профсоюзов, ни жестокой конкуренции, ни бедности, ни мук голода и ничто не может помешать выплачивать такие бешеные деньги международным чиновникам, этим баловням судьбы, без которых человечество просто не в состоянии обойтись.

Она купила себе полдюжины платьев — к концу двухнедельной

службы во Всемирной продовольственной организации у нее будет вполне приличный гардероб, который позволит ей беззаботно провести лето где-нибудь за пределами Лондона. Правда, ее намерения не выходили за рамки поездки к старой подруге в Суссекс или к тетушке в Шотландию.

Вторая неделя работы Организации была не такой напряженной. Со своими обязанностями Кейт справлялась так же легко, как и с домашними делами — кто бы мог подумать об этом всего несколько дней назад! Она переводила автоматически. А в перерывах между заседаниями сидела в кафе и наблюдала. В общем-то она была здесь посторонним человеком. Просто залетная птица — через неделю все кончится. Но сейчас она ощущала себя частицей элиты — новые туалеты очень ей в этом помогали — и, потягивая превосходный кофе, наблюдала. Все это было похоже на международную ярмарку. Или на бесконечно длинную, веселую вечеринку.

Как хорошо здесь все одеты. Какие холеные, пышущие здоровьем лица. И как свободно и непринужденно они держатся; войдет какой-нибудь мужчина или женщина, обведет взглядом сидящих за столиками коллег, встречая повсюду улыбки и приветствия, помашет сам в ответ и сядет где-нибудь в отдалении, всем своим видом говоря: мне необходимо побыть наедине со своими мыслями, и остальные считаются с его желанием. А то бывает и так: еще в дверях, несуетливо, с оттенком некоторого высокомерия, осмотрится по сторонам и выберет компанию, к которой и подсядет. Ни намека на нервозность, которая непременно возникла бы в первые же минуты в любом другом месте. (Там, на улице, в магазинах, в семьях, движутся, перекрещиваются разные токи и создают новые, иные токи и течения.) Вне этого административного здания конфликты на каждом шагу. А здесь? Интересно, знают ли эти лощеные, отполированные большими деньгами избранники судьбы, почем фунт лиха? Знают ли они, что такое плакать в подушку? Знают ли, что значит желать недоступного? Знают, во всяком случае, должны знать, только не показывают вида. Приходилось ли им — впрочем, об этом, очевидно, бестактно спрашивать,— приходилось ли им когда-нибудь испытывать чувство голода?

Трудно в это поверить. Да и вопросы, которыми они в данный момент занимались, казались такими мелкими, почти смехотворными, если вспомнить о высоком предназначении всего института в целом и о проблемах, заставляющих тысячи и тысячи людей собираться здесь. Кейт сама уже жила этими проблемами. Жизнь ее претерпела изменения: она не была больше случайным человеком. Она стала Кейт Браун, которую в кулуарах Организации неизменно встречали улыбки и приветливые лица, которую все чаще останавливали в коридорах, чтобы спросить ее мнение, посоветоваться. Где купить тот или иной крем для лица или любимое лакомство; где находится такой-то ресторан, гостиница или магазин готового платья; где продаются лучшие изделия из прославленной английской шерсти или первосортное виски.

В первую неделю работы она валилась с ног от усталости и, засыпая, успевала лишь подумать, что превратилась в говорильную машину, в язык для двух десятков международных чиновников. Когда пошла вторая неделя, она уже не так уставала; лежа с открытыми глазами, она думала о том, что на смену ее первой роли, роли ученого попугая, пришла — и довольно быстро — другая, привычная.

Ну ничего, через несколько дней со всем этим будет покончено. Она перестанет быть попугаем, умеющим с пониманием и сочувствием относиться ко всяким мелким капризам и прихотям; скоро она

будет свободна как птица... Кейт обнаружила, что от одной этой мысли ей становится как-то не по себе. Сразу пришло в голову: «Лучше бы я поехала с Майклом в Америку». Затем Кейт поймала себя на другой мысли: «Поеду-ка к Розе, помогу ей с детьми». Роза была той самой подругой из Суссекса, к которой Кейт могла приехать когда угодно.

Но Кейт не имела ни малейшего желания проводить лето в чужой семье — просто она поддалась панике. Перед тем как заснуть, Кейт еще раз про себя отметила, какая же эта комнатка опрятная и насколько она безлика; и еще подумала: да, такое жилище намного лучше огромного дома, где она живет с семьей, или дома той же Розы — оба до отказа набиты всевозможными вещами и безделушками, каждая из которых связана с какими-то воспоминаниями, имеет свою историю и дорога тому или иному члену семьи.

Маленькая комнатенка, и в ней кровать, стул, комод и зеркало— вот идеал жилища, которое она выбрала бы для себя, если бы ей предоставили право выбора... Этой ночью ей приснился сон. Позднее, когда этот сон стал частью сюжета, первым словом саги или первым шагом на длинном пути, который Кейт преодолевала по ночам, она пыталась припомнить его во всех подробностях. Она ясно представляла себе атмосферу сновидения, его общее настроение — смесь тревоги и радости, которые никогда не ощущаешь наяву,— но детали куда-то ускользали. Когда она проснулась утром — задолго до рассвета, стараясь удержать в памяти хоть крупицы сна,— он показался ей началом эпического повествования, простого и ясного.

Она спускалась с какой-то горы в незнакомой холмистой местности, напоминавшей север. Чей-то голос произнес из пустоты:

«Смотри, что это такое? Во-он там лежит, темное».

Оказалось, это выброшенный на берег тюлень, беспомощный без воды, среди высоких холодных скал. Он жалобно стонал. Она подняла его. Он был тяжелый. Она спросила, не может ли чем-нибудь ему помочь. Он снова простонал что-то, и она догадалась, что он просит донести его до берега моря, до воды. С тюленем на руках она начала свой долгий путь с горы вниз.

Накануне того дня, когда истекал срок ее работы, Чарли Купер пригласил Кейт на чашку кофе. Они сели за столик, и он спросил, не сможет ли она поработать еще месяц. Комиссия по кофе заканчивала свою работу, но вот-вот начнутся заседания другой.

— Значит, я справилась? — спросила Кейт.

Она и сама знала, что с переводческой работой отлично справилась; но по теплоте, звучавшей в голосе этого многоопытного служаки, Кейт догадалась, что у него что-то иное на уме. Чего другого, а обаяния ему не занимать. Очевидно, за это он и получил свою должность? Но обаяние обаянием, а надо все-таки выяснить, что скрывается за его словами, чего он добивается.

— О, миссис Браун, дорогая, кто же в этом сомневался! Нам страшно повезло, что мы вас заполучили,— все так и считают. Вы просто находка! И как же было мило с вашей стороны при вашей занятости выкроить для нас время. Да-да, Кейт, уверяю вас — кстати, мы ведь можем теперь называть друг друга попросту: Кейт и Чарли? Особенно сейчас, когда вы любезно согласились поработать у нас еще немного,— будь на то моя воля, я бы оставил вас насовсем. Мы еще вернемся к этому вопросу чуть позже, не возражаете? Должен признаться, что дело не только в вашем великолепном мастерстве как переводчика,— ведь вы начали сразу, без всякой подготовки, а иных приходится неделями натаскивать, прежде чем подпустить к микрофону... Все в один голос вас расхваливают. Нет, серьезно. Например, миссис

Кингсмид из американской делегации только сегодня утром призналась мне, что не знает, как бы она обходилась без ваших добрых советов. Большая семья ко всему приучит, верно? Алан Пост рассказывал мне, какие у вас прелестные дети, какая дружная семья...

Да, так вот о чем речь. Я считаю, что если человек делает одно дело хорошо, то и с другим справится не хуже; если бы вы смогли поработать у нас еще месяц, но на административной должности, вы бы нас очень выручили. Конечно, досадно отрывать вас от дела, в котором вы так преуспеваете. Но если вы согласитесь, то ваш оклад, естественно, повысится. Всего месяц... если б вы могли уделить нам еще один месяц вашего драгоценного времени!

Конечно, она останется, какой разговор. Одно жалованье чего стоит: она ушам своим не поверила, услышав названную сумму. Ее вдруг охватило чувство вины перед мужем: подумать только, она — всего-навсего говорящий попугай, высокообразованный, правда, и с задатками бонны в придачу, но тем не менее попугай — зарабатывает приблизительно столько же, сколько муж, опытный врач с многолетним стажем, невролог-консультант. (В Англии, разумеется, не в Штатах; там он зарабатывает значительно больше.) Но в сложившихся обстоятельствах ей оставалось только примириться с мыслью, что в этом мире избранных общепринятые правила, ценности и нормы неприменимы. Чем же ей придется заниматься теперь?

В ее новые обязанности входили всякие мелкие дела, которыми она обычно занималась и дома. Она принялась за подготовку к очередной конференции: целыми днями висела на телефоне, согласовывая и уточняя с нужными людьми место и время их встреч... Потом внезапно произошла заминка. Вспыхнула эпидемия брюшного тифа, и началась паника. Извечные распри между ведомством по туризму и министерством здравоохранения смешали на время все карты; высказывались опасения, что въезд и выезд из страны будут разрешаться только в случаях крайней необходимости. И хотя эпидемию удалось вовремя локализовать, на смену этой заботе пришла другая: началась забастовка работников аэропорта. Газеты предрекали, что она продлится долго. Ко всему прочему обнаружилось, что по чьему-то недосмотру не были заблаговременно зарезервированы номера в гостинице для сорока делегатов — очередной пример никуда не годного обслуживания, ставшего притчей во языцех. Начальство горячилось и шумело, беспрерывно звонил телефон, летели во все концы мира телеграммы: в Нью-Йорк, Австралию, Канаду и обратно... В конце концов решили, что конференцию совсем не обязательно проводить в Лондоне. Речь шла о представительной конференции, посвященной обеспечению продовольствием развивающихся стран за счет более богатых стран, где оно в избытке. Назывались разные заманчивые и вполне подходящие для этой цели города — Париж, например. Нет-нет, в июле — это сплошной ад, яблоку негде упасть... Трудности, с которыми столкнулся организационный комитет, все дальше отодвигали дату открытия конференции; а между тем уже перевалило за середину июня. Кейт, как рачительная хозяйка, прикидывала, во сколько обходятся телефонные переговоры то о переносе сроков, то о выборе места конференции, то об отмене всего того, о чем говорилось накануне; одних этих денег хватило бы, чтобы кормить тысячи людей в течение нескольких недель. Однако ей платили не за то, чтобы она тут подсчитывала расходы; от нее требовалось нечто гораздо меньшее. А что именно? Она считала, что тратит непомерно много времени на обсуждение всех этих проблем с Чарли Купером и другими официальными лицами. Ей казалось, что она застряла на мертвой точке; время идет впустую, никакого прогресса, все опять откладывается. Она только и делала, что

говорила и говорила без конца. И вокруг нее тоже была сплошная говорильня. Интересно, это что же, постоянный стиль работы больших международных организаций? Если так, то не приходится удивляться, что...

Наконец Чарли Купер и Кейт Браун договорились о созыве трехнедельной конференции под эгидой Всемирной продовольственной организации в Стамбуле. Делегаты, все еще находившиеся у себя дома, были оповещены по телефону — по баснословно высокому тарифу,— что честь принимать их у себя предоставлена Турции, а не Лондону.

Вопреки первоначальным планам оказалось, что Кейт теперь будет занята до середины июля в лучшем случае, а если возникнут новые проволочки, то и намного дольше. Она хорошо понимала, что не имеет права плыть по течению. Может быть, именно сейчас самое время обстоятельно разобраться в своих ощущениях, постараться понять, что с ней происходит, что за леденящий душу ветер вдруг подул ей в лицо. Нужно же, наконец, проанализировать те неистовые и неуправляемые взрывы чувств, которые сотрясают ее душу, стоит ей подумать о муже и о детях — особенно о муже. Теперь, когда у нее оказалось так много свободного времени, она просто не знала, куда себя девать; давно позабыв, что такое досуг, она понимала, что ее эмоции растрачиваются впустую, их объекты находятся далеко, настолько далеко, что никак не могут проявить свое отношение к ее чувствам, соглашаться с ней или протестовать. Какой смысл любить, ненавидеть, желать, обижаться и тосковать — и все это порой на протяжении одного часа,— когда ты оторвана от своих, варишься в собственном соку, а вокруг вакуум; все равно что разговаривать самой с собой, безумие какое-то... В этом смысле даже хорошо, что у нее будет занятие. По крайней мере, еще на месяц. Она пошла по магазинам и накупила себе платьев. А потом докупила разные дополняющие туалет мелочи. И дело не в том, что новые ее вещи очень уж сильно отличались от тех, что она носила всю свою взрослую жизнь,— нет. Суть заключалась в том, как она собиралась их носить.

Перед огромными зеркалами магазинов останавливалась женщина и холодным критическим оком разглядывала свое отражение: женщину, которой чуть перевалило за сорок, с почти не изменившейся со времен юности фигурой — дюйм в ту или другую сторону не имел решающего значения,— с красивыми каштановыми волосами, подкрашенными, конечно, ибо седина пробивалась все стремительнее. Выражение холодного любопытства недолго оставалось на ее лице — оно сменялось другим, доверительным, какое бывает у женщины при сговоре с сообщницей, а отсюда недалеко уже и до разъедающей душу «иронической» гримасы...

Нет, нужно отступить на шаг, оглядеть себя всю с головы до ног и убедиться, что по ту сторону зеркала стоит миловидная светская женщина, находящаяся на пороге увядания. Все еще на пороге — она до сих пор не решилась перешагнуть невидимую грань. Бесстрастно, как бы со стороны рассматривая свое изображение, она, не покривив душой, могла сказать, что все, чем она обладала четверть века тому назад, когда покоряла своих молодых воздыхателей, в том числе и будущего мужа, не отличалось от того, что она видела сейчас в зеркале. Нет, не отличалось, а возможно, даже стало лучше: ведь недаром же она покупала столько химических препаратов и медицинских снадобий, так соблюдала диету, так ухаживала за волосами, зубами, глазами — на что она была бы похожа сейчас, в ее возрасте, если бы родилась где-нибудь в трущобах Бразилии?

Но что то действительно было в ней другим... что-то неуловимое, за что ей никак не удавалось зацепиться. Снова суть была в ее душев-

ном состоянии, в том невидимом, что она носила в себе. Причина того, что она в молодости, обладая тем же набором женских прелестей, что и сейчас, привлекала сердца мужчин, в то время как теперь этого не происходило или происходило, но не чаще, чем у любой другой женщины ее возраста (из того меньшинства, которое еще не отказалось от желания нравиться, в отличие от основной массы женщин, в силу ряда причин, в первую очередь из-за бедности, выбывших из игры), крылась в этом тонком вопросе «душевного настроя». Она не достигла той стадии женской притягательности, когда женщина сама начинает излучать флюиды, как бы зовущие: *Я всегда к вашим услугам, придите и вкусите.* С ней этого не произошло, потому что она слишком долго оставалась женой и матерью, которую никакие мужчины, кроме собственного мужа, никогда не интересовали, разве что изредка и ненадолго.

В отношении этой стороны брачной жизни, такой сложной, щекотливой и чреватой конфликтами, у супругов Браун был выработан свой семейный кодекс — штамп. Вполне на уровне сегодняшнего дня, без каких бы то ни было отклонений... Однако Кейт видела, что общепринятые штампы брачных отношений в жизни шли вразрез со всем тем, что они с Мэри Финчли во время их так называемого «бабьего трепа» считали непреложными истинами. Почему она так много думает о Мэри? Если говорить начистоту, то Кейт была неприятно поражена реакцией старинной приятельницы на сообщение о своем предстоящем устройстве на работу. Мэри рассмеялась ей в лицо — этот смех подруги всегда казался Кейт оскорбительно-грубым,— и заключила:

— Ну и слава богу. Давно пора!

Что там ни говори, а для Кейт, видимо, пришло время получше присмотреться к своему отражению в разных зеркалах и зажечь в себе огонек, включить внутренние токи в определенном направлении. Отнюдь не так, как бывало, когда ее уже в замужестве (время это Мэри саркастически называла «прощай, любовь») вдруг неудержимо, хоть и ненадолго, начинало тянуть к какому-то определенному мужчине. На этот раз было совсем иное. Кейт почувствовала себя словно молоденькая девушка, впервые осознавшая могущество своей женской власти над мужчинами и переключившая свой внутренний термостат с режима: *Эй ты, да-да, ты, смелее — я жду!* — на несколько иной режим: *Все вы просто прелесть; я, конечно, могу разрешить поухаживать за собой, только стоит ли? Ей-богу, куда приятнее греться в лучах общего восхищения, и до чего же тоскливо быть прикованной к одному.*

Обычно этого не может позволить себе ни одна замужняя женщина. (Кроме Мэри!) Подумать страшно, что пришлось пережить ее близким из-за легкомысленного поведения этой женщины,— нет, Мэри никоим образом не может служить предметом зависти или подражания; да и вообще слушать ее надо было поменьше, а тем более хохотать с нею без причины и болтать всякую чушь. Но при чем здесь Мэри? Ни одна по-настоящему счастливая в браке женщина не ставит реле своего внутреннего термостата на Тома, Дика или Гарри. Если, конечно, эта женщина дорожит своей семьей. (Или не прочь походить на Мэри, супружеская жизнь которой на протяжении тех пятнадцати лет, что они с Кейт знакомы, была настоящим фарсом на французский лад — правда, в несколько приглушенных тонах, свойственных южному Лондону.) А Кейт знала, и знала наверняка, что далеко не всякий брак — счастливый и что подобные браки встречаются в жизни все реже и реже. Самой ей повезло. Если вообще такие слова, как «повезло», применимы к женщине, которой можно поставить в заслугу, что она всегда была и продолжает оставаться (несмотря на влияние Мэри) хорошей и верной женой достойного человека. Участие в подобном

союзе означает, что ты можешь держать свой термостат только на одном определенном режиме и ни на каком другом. За исключением, разумеется, тех мимолетных и незначительных увлечений, которые Мэри не раз осмеивала, ибо, по ее убеждению, такие связи приносят максимум переживаний и минимум удовольствия...

Стремясь почувствовать себя полностью обновленным человеком, Кейт решила отправиться к очень дорогому парикмахеру; тот, как бы совершая некое таинство, встал у нее за спиной и, возложив руки ей на плечи, стал, равно как и сама Кейт, изучать ее отражение в зеркале. Они разглядывали сырой материал, с которым ему предстояло работать; спустя минуту он деловито осведомился, всегда ли у нее были волосы такого оттенка, как сейчас. Он все угадал с первого взгляда. Кейт призналась, что она действительно сменила свой природный цвет из опасения, что каштановые волосы будут выглядеть слишком экстравагантно для женщины ее возраста. Вздор, последовал ответ, и когда она вышла из салона, щек ее при каждом повороте головы касались тяжелые шелковистые волны темно-рыжих волос. И это ощущение перенесло ее в дни далекой юности.

В душе Кейт поднялась целая буря чувств. То ей вдруг страстно хотелось, чтобы Майкл увидел ее такой сейчас, то она не менее страстно благодарила судьбу, что его нет рядом, что он далеко, в Бостоне. Что это за скачки в настроении, откуда они взялись? Неужели причина в том, что она всю жизнь отличалась взбалмошностью и только сейчас это обнаружила? В одном она была твердо уверена: не хотела бы она, чтобы ее отпрыски видели ее в такую минуту,— о нет, редкие дети способны прийти в восторг от того, что их «старушенция» навела на себя лоск, что вся светится изнутри.

Однако дети были разбросаны по белу свету — один в Норвегии, другой в Судане, третий в Марокко, а четвертая в Новой Англии; равно как и делегаты — те, которые еще не так давно находились под ее опекой, или те, которые сейчас в разных странах у себя дома упаковывают чемоданы, собираясь в путь, и мужья прощаются с детьми и женами, а в редких случаях — жены с мужьями.

До вылета в Турцию оставалось три дня — если к этому времени закончится забастовка работников аэропорта; в противном же случае придется ехать поездом. Три дня. До начала конференции Кейт была абсолютно свободна. Она чувствовала себя неловко, получая такое высокое жалованье и ничего не делая, и намекнула Чарли Куперу, что хотела бы до конференции поработать на любом другом месте — например, помочь переводчикам. Впервые за время их знакомства она увидела, что Чарли Купер рассердился. Ему пришлось снова и снова повторять ей, как ее ценят... И все-таки чем же она была занята это время? Поглощала несметное количество кофе вместе с Чарли в его кабинете, обсуждала с ним разные разности, дважды в день начальник их отдела проводил совещания по организационным вопросам предстоящей конференции. И это называется работой? Господи, дали бы ей возможность преобразовать их отдел... нет, весь аппарат этого здания, которое кишмя кишит высокооплачиваемыми служащими... впрочем, зря она мучается, это не ее забота. Может, этот критицизм у нее от неопытности? Да нет, вздор, сущий вздор; эта организация с ее комиссиями, конференциями и еще черт знает с чем, где все тонет в словесах,— это же величайшее надувательство века, кормушка для сотен состоящих при ней бездельников.

От таких раздумий никому никакой пользы; но если ей платят за то, чтобы она сидела в кафе и думала, она будет сидеть в кафе и думать. Работа, которая происходила в ее голове, была поистине титанической — это она запомнила: сомнению подвергалось все подряд,

ею владел дух бунтарства, скрываемый за мягкой ласковой улыбкой, которая и раньше и теперь вызывала немало комплиментов.

Со стороны Чарли Купера, в частности. Она принесла с собой в Организацию атмосферу добросердечности, которая всегда служила как бы смазкой для семейного механизма Кейт. Но почему? Потому ли, что она почувствовала, как подуло холодом? Или побоялась застрять на должности переводчика, пусть даже квалифицированного, исправно выполняющего свою работу за положенное жалованье с девяти тридцати утра до пяти вечера? Почувствовала, что ей этого в жизни мало? Но ведь другие переводчики, четверо мужчин и одна женщина, вполне довольствовались этим. Разница в том, что они так и остались на своих старых местах, работая по специальности, а ее, Кейт, судьба забросила выше — и все благодаря тому, что она своим присутствием создала дружескую, теплую атмосферу. «Она такой отзывчивый, сердечный человек»,— так объяснили они ее назначение. «Душа человек», «simpática».

Это просторное, общедоступное кафе, уставленное столами, но не настолько, чтобы создавать тесноту, было самым подходящим убежищем, где хотелось спокойно, отключившись от всякой суеты, посидеть и отдохнуть; не парадоксально ли, что в таком многолюдном, оживленном месте можно чувствовать себя так, будто ты одна, и оставаться наедине со своими мыслями? Здесь намного уединеннее, чем в комнатке, которую она снимает на Берк-стрит, где ее сослуживица считает долгом гостеприимства болтать с ней перед сном и каждое утро навязчиво угощает Кейт чаем и тостами. Эта женщина была, в сущности, очень одинока. И она, как и все, находила Кейт Браун отзывчивой. Правда, кафе, где сейчас сидела Кейт, мало-помалу становилось для нее все менее уединенным местом; оно начало терять свой отвлеченный характер, появились стереотипы, и чем дальше, тем больше. На первых порах, когда она второпях заскакивала сюда в перерывах схватить на ходу сандвич, выпить кофе или перекусить, ей казалось, что здесь царит сплошной хаос. Теперь же, присмотревшись и немного привыкнув, она не могла оставаться безучастной и не восхищаться этой яркой толпой представителей нового класса — международных чиновников: они все были как на подбор молодые или моложавые, а если и попадались люди пожилые, то выглядели они весьма и весьма современно, считая старость своим врагом и искусно скрывая ее малейшие проявления. Какая уж тут безучастность, когда просто невозможно не восхищаться их одеждой, косметикой и бросающимся в глаза разнообразием оттенков кожи: коричневой, розовой, желтой. Какая гармония! И сколько надежд вселяет такое зрелище: так и видится будущее, когда на международные форумы будут съезжаться высокоцивилизованные люди, настроенные не воинственно, а миролюбиво, даже если в ходе дебатов в конференц-залах им и придется схватиться друг с другом в интересах своих стран.

Девушки, которые работали здесь, были из буржуазных и обедневших аристократических семей — «дебби», как их называют или, вернее, называли раньше.

«У нас здесь много дебютанточек,— говорил Чарли Купер.— Они просто прелесть до чего хороши, эти девочки, что бы мы делали без них, не представляю».

Это не были охотницы за мужьями, упаси бог, придет время, и, как положено, они выйдут замуж за молодых людей своего круга; здесь же их привлекала «захватывающая работа». Под этим подразумевалось общение с интересными мужчинами — и, разумеется, жен-

щинами — из разных стран и в перспективе возможность получить приглашение в одну из этих стран на работу.

«Я иногда самым серьезным образом думаю,— добродушно ворчал Чарли Купер,— что мы превратились в бюро по найму рабочей силы».

Присутствие этих девушек означало, что каждый гость Организации всегда мог рассчитывать если не на настоящую любовную связь, то уж, во всяком случае, на приятную компанию на время конференции. Что до делегатов, которые накатывались сюда заранее запланированными волнами, то эти девушки скрашивали им одиночество — было с кем пойти вечером в ресторан или в театр; не исключалась и легкая интрижка, никого ни к чему не обязывающая, а кроме того, всегда был большой выбор секретарш высшей квалификации для работы в конторе где-нибудь в Нью-Йорке, Лагосе или Буэнос-Айресе (правда, ненадолго — до тех пор, пока Эмма или Джейн не соскучится и не решит, что пора возвращаться в родные края).

Сидеть вот так в кафе, не привлекая к себе внимания, было все равно что присутствовать на спектакле в театре.

На следующий день начинались заседания новой комиссии — «Синтетические продукты питания для «третьего мира». Это будет событием меньших масштабов, чем предстоящая конференция в Турции, но тем не менее с континента продолжали прибывать все новые делегаты. И вот к одиннадцати утра все секретарши и девушки из отдела информации — кто в одиночку, кто парами — заняли в кафе свои места, делая вид, что и не смотрят туда, где вот-вот должны появиться их будущие партнеры — по сексу или по работе — на ближайший месяц или около того. Затем начали прибывать делегаты — разные по росту, цвету кожи, комплекции, степени привлекательности — как правило, по одному. Обе команды (трудно избежать спортивной терминологии — приготовиться, внимание, старт!) стали приглядываться друг к другу. Затем следовало знакомство:

«Разрешите присесть? Я — Фред Ванакер из Нью-Йорка».

«Если не ошибаюсь, вы — мисс Гановер? Меня зовут Хесукиа, из Ганы».

Многие пары «отпочковывались» уже к концу первого дня, а остальные намечались.

Театр, да и только — даже интереснее, поскольку Кейт сама была действующим лицом в этом спектакле.

Правда, она вовсе к этому не стремилась, кроме того, теперь она знала, знала почти наверняка, что ей не следовало поддаваться на уговоры Чарли Купера со всеми его соблазнами и, вместо того чтобы катить куда-то за тридевять земель, надо было остаться в Лондоне, снять комнатенку на лето и жить себе, хлопот не ведая. В полном одиночестве.

А теперь вот, несмотря на то, что ее термостат был поставлен на «холодно», ей то и дело приходилось уклоняться от попыток завязать знакомство. Мужчины всех оттенков кожи — черной, шоколадной, оливковой, розовой — столь часто предлагали ей свое общество («Это место не занято?»), что Кейт поневоле взглянула на себя со стороны, глазами этих мужчин. Она увидела, как и не раз до того видела во многих зеркалах, женщину с каштановыми волосами, на редкость белой кожей и добрым, как у верного спаниеля, взглядом. (Ей вдруг стало противно, что она всегда стремилась жить для других и заботиться о ком-то, она даже прозвала себя «собакой» и «рабыней», не преминув отметить, что это — нечто новое в ней, раньше она ничего подобного за собой не замечала.) Причем женщина эта, к которой как магнитом тянуло мужчин, была на двадцать лет старше

многих девушек вокруг. Значит, с первого взгляда ей нельзя было дать сорока с хвостиком. Она находилась в той стадии вечной молодости, ради достижения которой женщины не жалеют ни времени, ни сил. (Вернее — так Кейт стала все чаще последнее время думать, буквально одержимая этой мыслью,— далеко не все женщины, а только те, кому посчастливилось родиться в странах с высоким уровнем жизни, где женщина не выглядит старухой в тридцать лет.) Когда ей, откинув в сторону тщеславие и предвзятость, удавалось проследить за поведением претендующего на ее внимание мужчины, она замечала, что он, независимо от собственного возраста, обнаружив, что Кейт далеко не тридцать (как ему показалось издали), нерешительно приостанавливался — всего на миг, почти незаметно для глаза. Но, поборов мимолетное сомнение и окинув ее опытным взглядом (как проститутка или фотограф), каким оцениваются способности индивидуумов на аукционах секса и на бирже труда, он все же подсаживался к ней за столик и бывал весьма доволен тем, что нашел приятную собеседницу. Словом, ее внутренний термостат был явно послушен ее воле.

Однако хоть эта игра и доставляет ей удовольствие — действительное удовольствие, что греха таить,— сейчас не это главное. Надо еще что-то придумать, потому что одна регулировка внутреннего огня не очень спасает от навязчивости мужчин, ищущих приятного общества. А вот что именно — это вопрос. Уж не прикажете ли отказаться от косметики, обрядиться в старушечье платье и стать образиной, на которую взглянуть страшно?

Нет, это совсем уж нелепо: превратить себя в старуху только из-за того, что... Скоро Кейт сделала для себя открытие: достаточно принять безучастный вид, ссутулиться, грузно, всем телом, обмякнув на стуле, и как-нибудь непривлекательно расставить ноги — и ты спасена, тебя оставили в покое. Она могла поклясться, что это так. Между тем живая, подтянутая, с интригующе выставленными из-под стола изящно скрещенными ногами, она одним своим видом подавала сигнал.

И Кейт вдруг с острой болью осознала, что женщина, которая своим видом отпугивает людей и отбивает у них всякую охоту подойти и заговорить, может в мгновение ока, стоит ей только захотеть, преобразиться и привлечь к себе внимание: улыбка, живой взгляд, вздернутый подбородок, расправленные плечи и спина — вот и все, что требуется, чтобы мужчины потянулись к ней.

Откуда-то из далекого далека всплыл вдруг образ Кейт Феррейры в белом, тонкого льняного полотна вышитом платье, стоящей возле балюстрады и на террасе, сплошь заставленной кадками с белыми лилиями. Та далекая девушка улыбалась юношам, окружавшим ее. И она видела, как они пожирали ее глазами всю — с головы до пят.

Та далекая девушка — была ли она отзывчивой, душевной?

Возможно, и нет. Вполне вероятно, что эти качества развились в результате постоянной самодисциплины, необходимой жене, матери, хозяйке дома.

А что произойдет, если по приезде в Турцию она перевоплотится в женщину-невидимку — не только установит реле своего термостата на самый слабый режим, но и совсем отключит свою «душевность», если она откажется состоять бонной при делегатах? Любопытно, что люди, нанимавшие ее на эту работу и так настойчиво добивавшиеся ее согласия, сами не имели ни малейшего представления, почему они это делают: Кейт могла бы голову дать на отсечение, что это так. А Чарли Купер был двойником Кейт, только в мужском варианте. Стало быть, он тоже не знает, за что его ценят на работе?

Одна из переводчиц, из-за которой возникли трудности и которую Кейт пришлось заменить, была пожилой особой, ее ценили, по словам Чарли, «на вес золота». Пытаясь выяснить, какие качества делали ее такой ценной в глазах начальства, Кейт не смогла выжать из него ничего, кроме: «Пожилые женщины ко всему относятся с большим пониманием, чем молоденькие».

Членом комитета, к которому прикрепили Кейт в качестве переводчицы, когда она только начинала свою работу в Организации, была женщина — темнокожая делегатка из Северной Африки. Она была высокая, элегантная, остроумная, спокойная; в ней были и шик и изысканность. Иногда она носила национальную одежду и тогда выглядела экзотической птицей с ярким оперением, а порой одевалась по-европейски, в туалеты из Парижа; она была совсем не похожа на Кейт; обе женщины в один голос сказали бы, что у них нет ничего общего. Тем не менее ее отсутствие сразу чувствовалось в комиссии: все шло не так гладко. И разве ее манера держаться — такая независимая, резкая, улыбчивая, но начисто лишенная сердечности,— разве она не имела к этому отношения? Она вносила в работу комиссии свой особый стиль, как и Кейт при решении организационных вопросов.

Если ей, Кейт Браун, суждено перейти на постоянную работу в эту организацию, каков будет круг ее обязанностей? Ну, прежде всего ее ожидают бесконечные разговоры с Чарли Купером за чашкой кофе и, кроме того, всевозможные заседания по организационным вопросам. Работа.

Если Кейт действительно останется здесь, то, возможно, она вскоре унаследует должность Чарли, а его тем временем повысят на одну ступеньку — судя по всему, здесь так принято. Кейт вполне подойдет работа Чарли, а вот как приживется там, наверху, он — это еще вопрос: ведь может случиться, что он растеряется, почувствует себя не на месте, но никогда не поймет, почему так произошло.

У него было одно ценное качество: он умел создавать вокруг себя особую атмосферу, от него как бы исходили флюиды — совсем как от королевы термитов, которая насыщает воздух термитника своими биотоками (или еще говорят — электричеством) и этим объединяет разрозненных индивидуумов в слитный организм.

Такая роль предназначена природой каждой женщине в семье — и Кейт играла ее всю жизнь. И надо сказать, она успешно справилась с подобной ролью в недавно закончившей работу комиссии — как и красивая молодая африканка. Кейт намеревалась тянуть эту лямку и дальше — в Турции. Она уже сжилась с этой ролью. И примирилась с мыслью, что согласится остаться на предлагаемой ей должности в этой организации или в любой другой, потому что просто не способна отказать людям, ждущим от нее сочувствия, чуткости и душевного тепла. Она будет работать не потому, что нуждается в работе или обойтись без нее не может. А потому, что она, как робот, заведенный двадцать с лишним лет назад, не в состоянии остановиться, вдруг взять и перестать быть женой и матерью со всеми присущими им качествами.

Ближайшие три недели, а то и месяц она уже не сможет размышлять над всем этим — на ее попечении будут люди. Уже завтра в это время — накануне своего отъезда в Стамбул — все, что она передумала и перечувствовала за последние три дня ревниво оберегаемого одиночества, покажется ей таким далеким. Самое большее, она, по-видимому, будет помнить, что за время самостоятельной работы все-таки пришла к каким-то выводам, очень для нее существенным, и бу-

дет стараться не дать им ускользнуть из памяти. Даже если в запарке, ее ожидающей, сможет урвать для этого всего несколько минут.

В ту ночь ей опять приснился сон — продолжение того сна о тюлене. Теперь, когда он приснился ей во второй раз, она поняла, что это неспроста, что это имеет свой глубокий смысл.

Тюлень был тяжелым и скользким. Его было трудно удержать в руках. Она шла, спотыкаясь об острые камни. Где же вода, где море? Она даже не знает, в правильном ли направлении идет. Поддавшись панике при одной мысли, что идет в обратную от моря сторону, она повернула правее и пошла по небольшому плато; она почувствовала, что тюлень как-то забеспокоился, и по его поведению поняла, что первоначальный выбор направления был верным. Тогда она снова повернула на север. У несчастного тюленя все бока были покрыты ссадинами: переваливаясь с боку на бок, он изодрал кожу о скалы и каменистую почву, когда сам пытался добраться до моря. Кейт сокрушалась, что ей нечем смазать раны,— некоторые были совсем свежими и кровоточили. На теле тюленя виднелось много рубцов и от старых ран. А может, те низенькие кустики с горьковатыми листьями, растущие прямо на камнях,— может, они обладают целебными свойствами? Она осторожно спустила тюленя на землю, и он тотчас переложил голову с камней ей на ноги; свободной рукой она дотянулась до ближайших кустиков и сорвала несколько листочков. Разжевав их, Кейт наложила кашицу тюленю на ранки. Ей показалось, что ранки начинают затягиваться, но повторить всю процедуру заново у нее не было сил, и она, подхватив тюленя, продолжала свой трудный путь.

Кейт знала, что через несколько часов она будет передана из рук весьма предупредительной международной организации в руки не менее предупредительной авиакомпании. Благодаря телевидению, радио, рекламным фильмам Кейт, как и все мы, имела представление о международных авиалиниях. Но жизнь — не кино, и произошло все совсем не так, как Кейт ожидала. Накануне вылета забастовка технического персонала аэропорта была отменена, и Кейт уже почти уверилась, что полет состоится; но на следующее утро объявили забастовку административные служащие аэропорта. Тогда Кейт поехала поездом до Парижа, с тем чтобы там пересесть на самолет до Рима; однако в Париже ее ожидал очередной сюрприз: все дороги на аэродром были перекрыты из-за демонстрации, устроенной иностранными рабочими, в основном испанцами и итальянцами, и вылет самолета на Рим в этот день был весьма проблематичен. Тогда она решила ехать поездом Париж — Рим. Но в таком случае надо было переменить авиабилет на железнодорожный, и это превратилось в целую проблему. Начались мытарства: пробки на улицах, путаница и неразбериха в документах, всевозможные проволочки, но в конце концов механизм обслуживания сработал и ей удалось, хоть и в последний момент, переменить билет. В Турции, как она и ожидала, ее сразу же окружили вниманием: предоставленный в ее личное пользование блестящий лимузин провез Кейт по улицам города сквозь толпы людей, которые даже и не мечтали когда-либо сесть в такую машину,— за исключением тех, в чьи обязанности входило управлять ею и следить за ее исправностью; отгороженная от внешней среды, воспринимая ее только визуально, Кейт ехала по улицам незнакомого города и обменивалась замечаниями с шофером на французском языке. Отель по стилю и атмосфере напоминал Всемирную продовольственную организацию. Номер Кейт был точной копией безликой коробки, которую она только что покинула. Из-за задержек в пути она приехала к месту работы с опозданием, одновременно с делегатами — множество мел-

ких неотложных дел было недоделано; и вдобавок не хватало одного переводчика. Кейт забросила в номер свой чемодан и тут же поспешила к начальству; все накопившееся раздражение обрушилось на нее: в глазах начальства она олицетворяла ту халатность, на которую жаловались поголовно все делегаты, остановившиеся в этом отеле,— точно так же, как жаловалась она сама вчера и позавчера в Лондоне, Париже и Риме.

В распоряжение конференции был предоставлен целый этаж отеля. Зал для предстоящих заседаний очень походил на тот, в котором она только что работала и о котором уже стала думать как о своем втором доме. Как и лондонский, он был обшит блестящими деревянными панелями от пола до потолка — только здесь пол не был устлан толстым ковром, как там, а выложен кафельными плитами, образующими узор, скопированный с пола одной из мечетей. Посредине зала стоял огромный стол, на этот раз прямоугольный, с наушниками, переключателями. В обязанности Кейт входило, в частности, и обеспечение рабочего места каждого делегата всем необходимым: карандашами, ручками, водой и стопкой бумаги, на которой можно рисовать всякую всячину, спасаясь от скуки во время затянувшихся дебатов. Разумеется, она лично не занималась раскладкой всех этих предметов — просто она должна была проследить, чтобы служащий отеля не забыл это сделать. Служащего звали Ахмед. Это был полный, бледный молодой человек, услужливый, с обезоруживающей добродушной улыбкой, ее коллега с турецкой стороны, ее союзник, ее собрат. Он говорил по-французски, по-немецки и по-английски, и его крайне устраивало, что Кейт владеет языками, которых он не знает — итальянским и португальским. Он знал все порядки и правила, существовавшие в отеле, где он работал, но никогда прежде не обслуживал конференций — вернее, имел дело только с совещаниями бизнесменов и думал, что эта международная конференция будет совсем не похожа на то, с чем ему приходилось иметь дело раньше. С Кейт они разговаривали на общих для обоих языках. Когда к Ахмеду подходил бой в ливрейной курточке с галунами и блестящими пуговицами, Кейт слышала лишь короткие распоряжения Ахмеда и такие же короткие ответы боя. Находясь в постоянном общении с Ахмедом — обедая за одним столом, обсуждая нужды делегатов, встречаясь мельком в коридорах отеля, шагая бок о бок по каким-то делам,— она повсюду слышала турецкую речь, но воспринимала ее как невнятные звуки, не более. Вокруг нее, за стенами отеля, был мир, где ее уши, столкнувшись с незнакомым языком, становились невосприимчивыми, словно были забиты ватой. Чужой язык окружал ее со всех сторон, словно непромытое стекло, мутное и непроницаемое. Когда горничные перебрасывались репликами в коридоре, ее уши начинали болезненно ныть, как бы ощущая свою ущербность, они, точно живые, мыслящие существа, чувствовали, что должны что-то улавливать, и если им это не удается, значит, это их вина... Без Ахмеда Кейт была бы как без рук.

Он знал все о ночной жизни города: знал все рестораны, знал, где можно посмотреть восточных танцовщиц, знал наперечет все мечети и христианские храмы и вдобавок знал несколько коротких маршрутов для экскурсий в пригородах Стамбула — словом, как гид он был незаменим. Город, если смотреть на него, не слишком вглядываясь, с высоты, представлял собою россыпь заманчиво сверкающих крыш, серебристые воды залива и сеть улочек — таких же чужих и далеких, как и сам турецкий язык, улочек, где ключом бьет незнакомая жизнь, которую Кейт хотела узнать поближе, понять... Мимо окна, где она стояла, прямо на уровне ее глаз, пролетела птица. Таких птиц она еще не встречала. Ей подумалось, что это робкая попытка

незнакомого мира установить с ней контакт, и она долго провожала взглядом птицу, пока та, пролетев над Босфором, не удалилась к шпилям и куполам противоположного берега. Рядом стоял Ахмед и ждал указаний относительно питания делегатов. К моменту, когда последний делегат вышел из самолета, уже была готова обширная программа развлечений, экскурсий, знакомства с городом и предусмотрен широкий выбор популярнейших блюд любой национальной кухни мира. И, едва успев разобрать чемоданы, беззаботные и нарядные, щебеча на всех мыслимых языках земли, делегаты с энтузиазмом включались в водоворот светской жизни, словно и не было позади никакой дороги — усталость была неведома этим людям, привыкшим с необыкновенной легкостью пересекать целые континенты. По составу делегации сразу стало ясно, что конференция будет протекать в спокойной обстановке, без каких-либо осложнений. Делегаты явно импонировали друг другу. Впрочем, это было им свойственно, этим официальным представителям своих стран, тонким толкователям национальных интересов, галантным соперникам в делах. За столом заседаний они вступали в конфликты друг с другом, одни пытались бесцеремонно навязывать другим точку зрения своей страны и даже обвиняли их во всех смертных грехах вплоть до нечестной игры: *Это такая-то страна виновата, у них в прошлом году завелся жучок, и из-за него пострадал весь рынок!.. Ничего подобного, это у вас жучок, всему миру известно — не умеете выращивать урожай, так нечего валить с больной головы на здоровую... А вы только к своей выгоде стремитесь, вечно путаете другим карты!.. Вот уж пальцем в небо — наоборот, всегда хотим помочь нашим несчастным братьям в отсталых странах,* — да, прямо как дети, не поделившие игрушки; но сколь бы серьезно и сколь часто ни происходили такие перепалки, вне залов заседаний: в кулуарах, в барах, в кафе и ресторанах, уж не говоря о постели,— всюду царило полное единодушие и взаимопонимание. И ничего удивительного: всех этих людей роднило общее дело, связывал одинаковый образ жизни — все были одним миром мазаны.

В тот вечер Кейт присоединилась к маленькой компании, состоявшей из людей, которые, объездив полмира, как-то не удосужились побывать в Стамбуле; едва выйдя из отеля, она очутилась в мире легенд, тайн и романтики — таком, каким его описывают путеводители на всех известных Кейт языках и на многих ей неизвестных В группу входили мадам Пири, красивая, во французском вкусе негритянка из Сьерра-Леоне, некий мистер Даниэль из Бразилии и сеньор Ферруджа, итальянец. Они посидели в турецком ресторанчике, так как без этого немыслим ни один выход в город, зашли в два ночных клуба, где показывали танец живота и шпагоглотателей, и договорились в том же составе поехать в ближайшее время в деревушку, что в пятидесяти милях от города, и посмотреть там недавние, очень интересные, раскопки. Прощаясь в вестибюле отеля, все четверо заметили, что остались довольны проведенным вечером: видно было, что собрались знатоки и ценители экзотики. Разошлись спать рано, еще не пробило и часа ночи, так как на следующее утро начиналась конференция.

Перед тем как заснуть, Кейт вспомнила о Майкле, находившемся, как она полагала, в Чикаго, где он собирался провести несколько дней у старого коллеги, эмигрировавшего в Штаты. Вспомнились Кейт и четверо ее детей. При воспоминании о них ей взгрустнулось, но это чувство тут же прошло: она знала, что вступила в лучшую пору своей жизни, что настало время расправить крылья, показать себя — она

нужна, необходима людям; завтра с раннего утра до поздней ночи — нарасхват.

И теперь, в те короткие мгновения среди дневной суеты, когда она могла подумать о себе, она чувствовала, как в ней нарастает необыкновенный душевный подъем. К счастью, времени у нее было в обрез — ровно столько, чтобы любые мысли, едва родившись, тут же вытеснялись другими заботами; не будь этого и дай она возможность некоторым своим наблюдениям глубже проникнуть в сознание, они бы больно задели ее: сколько радости доставила она своим домашним, сказав, что в ближайшие дни будет по горло занята на конференции, проходящей в Лондоне, и не сумеет вырваться, чтобы собрать их в дорогу. Даже Тим облегченно вздохнул, когда она сказала ему: «Тим, милый, ты все собрал для поездки в Норвегию? Ты уж извини, но я просто не смогу тебе...»

Очевидно, ее представление о себе как об объединяющем начале семьи, источнике тепла, о своем сходстве в этом отношении с королевой термитов, устарело года на два, на три. (Или это память так подшучивает над ней? У Кейт все чаще складывалось впечатление, что в ее памяти неожиданно оказалось несколько обрывков воспоминаний, взаимно исключающих друг друга.) Если говорить со всей откровенностью, то вот уже года два-три, а может быть и больше — во всяком случае с тех пор, как выросли дети,— Кейт постоянно гложет чувство неутолимого голода, какой-то пустоты. Оно пришло не сразу, не в один миг, а исподволь; не было в ее жизни такого момента, чтобы как-то однажды, открыв глаза, она сказала себе: «Ну все, дети выращены — моя миссия окончена». Однако Кейт часто сидела одна в своей комнате, и в ней закипал гнев от чувства вопиющей несправедливости. Ощущение нанесенной ей острой обиды подстерегало ее на каждом шагу все последние годы. Но она не давала ему воли, а если и давала, то ненадолго. Наоборот, она всячески лелеяла в памяти образ своей семьи (соответствующий Десятой или Пятнадцатой фазе?), какой она представлялась ей в результате высокоинтеллектуальных разговоров на эту тему с мужем. Она не допускала, чтобы эти чувства взяли над ней власть — только в пределах иронической гримасы, не более того. Она не могла позволить, чтобы старая обида заслонила сегодняшний день. А одно время Кейт была на грани этого. Теперь, к счастью, она слишком занята — и как приятно занята. Всюду, где бы она ни появилась, ее встречали улыбкой: горничные и официанты, управляющий отелем и дежурные администраторы, шоферы такси и переводчики, и особенно Ахмед, который буквально боготворил Кейт. Равно как и она его. Их отношения походили на отношения двух евнухов в гареме. Он поддерживал все ее начинания, ко всему относился с пониманием, обеспечивал всем, что нужно. Пока шли заседания, Кейт находилась в соседней комнате, ожидая, когда понадобится ее помощь; и как только действительно наступал такой момент, она тут же занимала свое место в кабине и была готова переводить с французского, итальянского, английского на португальский; и все, для кого португальский был родным, считали своим долгом подойти к ней и выразить свое восхищение тем, как она знает и чувствует их язык. В часы коротких перерывов, в любое время дня и ночи, когда делегаты разбегались выпить чашку кофе, аперитив или пообедать, они знали, что всегда могут рассчитывать на услужливую, неизменно ровную в обращении, общую любимицу Кейт Браун.

Прошлым летом во время поездки в Штаты она имела возможность наблюдать нечто подобное...

Там по всему континенту разбросаны однотипные здания, похо-

жие на маленькие городки под одной общей крышей, иногда в несколько миль длиной; внутри помещение разделено на отдельные самоуправляемые секции, каждая из которых обслуживает какую-нибудь авиакомпанию. Крупные компании нанимают на службу девушек, похожих на девиц-тамбурмажоров, непременных участниц всех торжеств, съездов и карнавалов в Новом Свете. Эти девицы, одетые так броско, что не заметить их просто невозможно, патрулируют район конторы своей авиакомпании. Им вменяется в обязанность давать всевозможные справки, служить гидами и всеми иными средствами способствовать приятному путешествию своих клиентов. Когда их набирают на работу, то в первую очередь учитывают приятную внешность, задор и наличие дерзкой, идущей от молодости, а не от опыта чувственности. И вот они дефилируют по коридорам здания поодиночке, парами, а то и втроем и улыбаются, улыбаются, улыбаются (а часы в ожидании вылета идут) и прямо на глазах раздуваются от сознания своей власти над окружающими. Они буквально опьянены — да-да, без преувеличений — собственной неотразимостью и значительностью, которые делают их, соответственно одетых для исполнения соответственной роли, центром внимания публики. Они улыбаются и улыбаются без конца, и у вас создается впечатление, что девушки эти, распираемые любовью к человечеству, подогреваемой, в свою очередь, особым вниманием человечества к ним самим, того и гляди, вспорхнут и вознесутся на небо. Да, просто возьмут и вылетят из окон аэропорта, и будут парить в небе как воздушные шары, и улыбаться в иллюминаторы пассажирам пролетающих мимо самолетов. А на борту самолетов расхаживают точно такие же красотки — хозяйки воздуха, опьяненные ролью благодетельниц, готовые одарить любовью всех и каждого в поле зрения. Вышесказанное не относится к большим международным компаниям, где стюардессам приходится работать не за страх, а за совесть, окружая пассажиров вниманием и любовью, то есть заботясь об их желудках; речь идет о внутренних рейсах, сложной паутиной затянувших все небо над Новым Светом, которое день и ночь бороздят маленькие, верткие самолетики, набитые такими вот девицами, не загруженными, по существу, никакой работой. Время от времени они обносят пассажиров напитками. Заботливо, с интимной улыбкой, раздают подносы с расфасованной еще на земле едой в закрытых индивидуальных пакетах. И нежно произносят в репродуктор: «Мы любим вас, мы нуждаемся в вас, ждем вас снова, любите и вы нас, пожалуйста». И передвигаются по проходу туда-сюда, туда-сюда, расточая по пути улыбки, под восхищенными взглядами мужчин, да и женщин тоже. Вызывать восхищение — их обязанность. По мере того как идет время, начинает казаться, что девушка вот-вот взорвется от избытка восхищения. Ее буквально распирает от самодовольства; у нее, наверное, даже температура поднимается.

И она улыбается. Улыбается. Улыбается.

Легко представить себе, что и дома, после полета, ее не покидает возбуждение, она не может ни есть, ни спать, ни спокойно сидеть, ни перестать улыбаться. Она перевозбуждена, она не может отключиться. Если бы у нее был муж, то разве его будничная, пресная любовь могла бы сравниться с огромным зарядом восхищения множества мужчин, прошедших мимо нее за целый день? Даже представить себе страшно, что это будет за жизнь, если такая девушка выйдет замуж! А это неминуемо произойдет, и очень скоро: процент браков высок в этой среде, равно как и процент разводов. Но в течение года, двух, трех, а то и шести лет такая девица все время на людях, все время в фокусе внимания сотен пар глаз; каждую минуту

своего рабочего времени она, с одной стороны, предмет восхищения, желаний и зависти, а с другой — источник тепла, внимания, заботы. Потом — замужество. Для нее этот шаг равносилен уходу от ярких огней рампы, где еще слышны аплодисменты тысячной толпы, в кромешную тьму тесного, маленького мирка. По всей вероятности, она, бедняжка, и сама не способна разобраться в своих чувствах, понять, что с ней происходит, ибо если девушка берется за подобную работу, это значит, что она наивна. За всю свою жизнь она так ни разу и не заподозрит, сколь это чудовищно — использовать живое человеческое существо как приманку, в течение месяцев, а то и лет делать его объектом публичной любви — будь то девица-тамбурмажор, живая реклама или стюардесса, какая разница. Она спешит выскочить замуж, поскольку считается, что рано выйти замуж — значит утвердить свое женское «я»; а потом вступает в силу закон инерции: она уже не в состоянии остановиться, словно внутри у нее помещен особый орган, впитывающий в себя и отдающий вовне тысячи ватт Любви, Заботы, Лести; он работает на полную мощность, и она не в состоянии его отключить. Что с ней творится? Она не имеет представления. Почему ее гложет беспокойство, почему она не может расслабиться, заснуть, отдохнуть? Она — как маленькая девочка, которой взрослые полюбовались немного, а потом девочка им наскучила, от нее отвернулись, и она уже забыта; и как бы красиво она ни танцевала, как бы ни улыбалась, какими бы способами ни привлекала их внимания и как бы громко ни кричала: «Вот я! Да посмотрите же на меня!» — они будто оглохли. Наконец кто-нибудь снизойдет и скажет: «Ну, ладно, хватит, успокойся. Беги поиграй».

У молодой женщины начинаются головные боли. Холодная по натуре, она вдруг бросается в объятия мужчины и предается любви с такой необузданностью, что тот начинает подозревать измену. Затем следует развод. Она бы и не прочь вернуться на прежнее место, но, оказывается, уже стара для него. Она утратила свою щенячью игривость, и ее место занято девчушкой только что со школьной скамьи.

Скоро уже середина июля. Дня через два закончится конференция; делегаты разъедутся по домам, а на их место приедут новые, вместо них в этом отеле разместятся делегаты симпозиума по холере.

Кейт улыбалась, она вся сияла и, согретая улыбками, обращенными к ней, в свою очередь щедро одаривала теплом окружающих; мысль о том, что скоро она останется в одиночестве, придавала ее поведению что-то неестественное, несколько аффектированное. Она знала об этом. Она увидела себя со стороны — такой, какой казалась сейчас Ахмеду: энергичная, предприимчивая, приветливая особа, которая крутится словно заведенная, хотя завод уже кончился; он предложил ей таблетки от головной боли, признавшись, что сам страдает этим недугом и что вообще, когда такие мероприятия, как эта конференция, подходят к концу, он страшно изматывается, теряет сон, и жена постоянно ворчит на него. Кейт показала ему фотографию своей семьи; он в ответ — своей: на карточке была тихая, аккуратная женщина с маленькой девочкой, застывшей у матери на коленях. Кейт с Ахмедом разговорились в обеденный перерыв — они стояли у окна на лестничной площадке одного из верхних этажей. Ахмед не имел права сидеть в холлах отеля, как все постояльцы или служащие вроде Кейт. Стоя у окна рядом с Ахмедом, Кейт слушала его наставления о том, что надо, приняв таблетки, лечь спать пораньше, и тогда на следующее утро она будет меньше нервничать.

Кейт слушала и думала, что в данном случае это средство, пожалуй, не поможет: от того, что ее ждет, если только она поддастся

слабости, не спасут никакие таблетки. Ей предстоит вернуться в Лондон, поселиться где-нибудь на два месяца и в уединении осмыслить свою жизнь. По окончании конференции Кейт получила немало приглашений от делегатов и делегаток разных стран, с которыми подружилась во время работы — без этого не обошлось — особой дружбой, принятой в этом кругу: легковесной, ни к чему не обязывающей и ничего не требующей взамен, дружбой, которая, в общем, не что иное, как фикция, полное отрицание дружбы. Здесь никого не осуждали. Ни на что не притязали. Здесь не делали различия между нациями и расами. Здесь и в вопросах секса царила демократия. Разбитых сердец не было. И не могло быть, ибо карьера ставилась превыше всего — и любви, и секса. Вероятно, это прообраз интимных отношений будущего: романтическая любовь с ее тоской и приступами отчаяния канет в неврастеническое прошлое. Такие друзья, такие любовники — бывшие или будущие — свободно могли после тесных ежедневных контактов расстаться в Буэнос-Айресе, не обменяться ни словом на протяжении многих месяцев или даже лет, ни разу не вспомнить друг о друге за время разлуки, а потом вдруг неожиданно встретиться где-нибудь в Рейкьявике и как ни в чем не бывало, без лишних эмоций пуститься в новое любовное приключение на условиях, удобных для обеих сторон. Как актеры, которых на сцене объединяли минуты интимной близости и сопереживаний, расстаются, чтобы встретиться вновь лет через десять в другой пьесе, в иных костюмах.

А не поехать ли ей в Сьерра-Леоне с очаровательной мадам Пири? Почему бы и нет? Или остаться здесь — не так уж хорошо познакомилась она с Турцией: бегала по знаменитым ресторанам, посмотрела две мечети и одну церковь, только и всего. Правда, Турция — не место для одинокой женщины. Если бы это был Париж или Рим, тогда другое дело... А здесь поехать в глубь страны одной — и то риск; вернее, это риск с точки зрения Кейт, женщины, долго прожившей под крылышком мужа, не привыкшей обходиться без мужской опоры.

Она стояла в вестибюле отеля в ожидании мадам Пири, попросившей записать ее к парикмахеру. Это, конечно, можно было и даже следовало организовать через бюро обслуживания, но у милой Кейт все, за что бы она ни взялась, так складно и ловко получается.

Она стояла и ждала, а мимо проходили, кивая и улыбаясь, знакомые люди. Милая Кейт. Chère Катрин. Голубушка Катя, Катенька, Китти. Дорогая Кэти, моя единственная Катриона. Красавица Катлин, Катерлин, Кит и Катарина, Екатерина, любовь моя, мой ангел-хранитель Кэти. Карен, не представляю, что бы я делала без вас. Я буду скучать без вас, миссис Браун.

Она улыбалась в ответ, улыбалась без устали, мурлыкая от удовольствия про себя — не без смятения, однако:

Я буду скучать без вас, миссис Браун!
О, как я буду тосковать, миссис Браун!
Вы меня кормили, вы меня водили,
Вы меня обеспечили всем необходимым,
Но настало время — вам пришла замена,
И я буду скучать без вас, миссис Браун...

Кейт пришлось ждать мадам Пири гораздо дольше, чем она рассчитывала: та прощалась с кем-то наверху; неожиданно она заметила, что к ней направляется молодой человек, чье лицо показалось ей знакомым; не успела она сообразить, что к чему, как он предложил

ей поехать с ним на следующий день в Конью[1]. Оказывается, он уже и машину заказал.

Впервые они обратили друг на друга внимание неделю тому назад у входа в отель. Хрупкий темноволосый юноша в светлом летнем костюме стоял спиной к потоку машин и разглядывал здание отеля, словно измеряя его высоту. У него был вид постояльца отеля, даже делегата — спокойного тона элегантный костюм выгодно выделял его из толпы одетых кто во что туристов. Потом Кейт встретила его как-то в кафе. Он сидел за соседним столиком в компании своих сверстников и разговаривал. Сейчас же он был одет как все туристы и выглядел растрепанным. Темные волосы, ранее гладко зачесанные назад, мягкими волнами свисали ему на лоб. И он был далеко не юноша — Кейт ошиблась, омолодив его. Он сообщил ей, что он американец, что в Европе он отнюдь не новичок и после Турции намерен поехать в Испанию, где чувствует себя как дома. Она легко поверила ему: он был похож на испанца и в любой латинской стране сошел бы за местного жителя.

Нет, он не постоялец отеля, сказал он: это ему не по карману. Значит, его приглашение на завтра следует расценивать не как минутный порыв, а как заранее запланированный шаг? А он тем временем говорил ей, что, увидев ее тогда в кафе, сообразил,— не так уж это трудно в конце концов! — где ее скорее всего можно найти, навел кое-какие справки и вот явился. И пока он уговаривал ее согласиться («Так было бы чудесно, если бы вы смогли поехать, жаль, если пропадет свободное место в машине»), в его глазах, прикованных к глазам Кейт, прыгали чертики, сквозила неприкрытая насмешка — над нелепостью ситуации, над самим собой, но ни намека на тревогу за судьбу «горящего» места в машине. Ведь в машине-то они будут вдвоем. Обязанности Кейт вскоре заканчивались — формально, конечно, ибо она не сомневалась, что до последней минуты будет занята, если сама не поставит точку. И Кейт ответила, что с удовольствием принимает приглашение — несмотря на то, что перед ее мысленным взором, откуда ни возьмись, вдруг предстала Мэри Финчли и заявила, что Кейт окончательно рехнулась. Не желая огорчать Мэри, Кейт уже готова была положить конец знакомству с этим желторотым юнцом — не таким уж желторотым, как оказалось при ближайшем рассмотрении, правда, и сама Кейт выглядела моложе, чем на самом деле,— но тут к ним величаво подплыла мадам Пири, высокая, гибкая, с необыкновенно длинными, унизанными кольцами пальцами, на ходу принося пылкие извинения за то, что заставила Кейт ждать.

Кейт увидела, как ее собеседник окинул оценивающим взглядом с ног до головы эту красивую женщину. Он делал это с подкупающей непосредственностью: в его взгляде не было ничего вызывающего, лишь простодушное восхищение, которое мадам Пири приняла как комплимент; улыбнувшись и забавно кивнув несколько раз головой, она выплыла из вестибюля со словами: «Кейт, дорогая, я, кажется, уже опаздываю...»

— Что ж,— сказала молодому человеку Кейт,— ехать так ехать. Только я не знаю, как вас зовут.

Его звали Джеффри. Он сказал, что позвонит ей вечером, тем самым заявляя первые права на нее с той же прямодушной искренностью, которая минуту назад вызвала улыбку у мадам Пири.

В Конью они так и не попали. Однако поездка, оказавшаяся отнюдь не безоблачной (изнурительная жара в машине, неудобные си-

[1] Конья — крупный город в Турции.

денья, к тому же машина дважды ломалась и под конец остановилась совсем), быстро сблизила наших незадачливых путешественников; именно эти совместно пережитые неудобства да еще необходимость решать на ходу, что же делать дальше — продолжать путешествие на автобусе или нанять другую машину,— и толкнули их друг к другу. На эти-то трудности или на нечто подобное, что непременно должно было случиться в пути, молодой человек, разумеется, и рассчитывал, приглашая Кейт и резонно полагая, что она тоже должна быть к ним морально готова. Он даже не огорчился, что они не доехали до Коньи. Огорчена была Кейт, но досада ее быстро прошла. Они расположились на заднем сиденье машины и разговорились, а шофер тем временем куда-то исчез, чтобы добыть им какое-нибудь средство передвижения.

Темой их беседы был сам Джеффри. Он был уроженцем Бостона, работал в рекламном бюро в Нью-Йорке. Оказался умным, образованным, веселым собеседником, не лишенным чувства юмора, к тому же был очень хорош собой. Особенно привлекало в нем нежелание приспосабливаться к жизни: четыре года назад он решил расстаться с «золотой жилой рекламного бизнеса», как он выразился, словно радуясь лишней возможности посмеяться над собой; и он несказанно возвысился в глазах Кейт, упомянув, что принадлежал к сливкам общества и по собственной воле пренебрег высоким положением, которого добился на поприще рекламы за три коротких, но очень плодотворных года. Его ужаснул успех — и даже не сам успех, а легкость, с какою он его достиг. И он «выбыл из игры». Не впадая при этом, правда, в крайности: ни нищенское существование богемы, ни коммуны хиппи, которые к тому времени стали уже изживать себя, его не прельщали — он считал, что перерос подобные эксперименты. Не последнюю роль в его решении порвать с прошлым сыграло, конечно, то обстоятельство, что его родители были людьми со средствами. Словом, он отказался от карьеры и от прежнего образа жизни. С тех пор он кочует по Европе, спит в палатке и путешествует «автостопом». Ему стукнуло тридцать два года.

Слушая исповедь Джеффри, как если бы он был ее сыном, Кейт поняла, что ее спутник полон смятения и внутренних противоречий. «Выйдя из игры», он еще не нашел своего места в жизни. Все было впереди. В двадцать, двадцать пять лет «выйти из игры» ничего не стоит — все легко и просто. Просто сойтись с приглянувшейся девушкой на Маунт-Шаста — так уже было однажды; или в Вермонте — и так тоже было. Легко транжирить деньги, оставленные в наследство покойной бабушкой,— тут он не преминул оговориться, что живет не на родительские средства, а на «свои собственные». Но дело в том, что ему не двадцать и не двадцать пять, а за тридцать. И он до сих пор не знает, чего хочет от жизни, вот в чем беда. Правда, это участь многих миллионов современных молодых людей, бог знает сколько их таких разбросано по белу свету (к счастью, у самой Кейт дети не относятся к подобной категории, во всяком случае — пока, ибо еще неизвестно, что выйдет из Тима: этот действительно не знает, что ему с собой делать). Речь идет о молодом поколении процветающих стран, богатой трети человечества. Молодежь отсталых стран, где царит голод, выбора не имеет. Им, чтобы выжить, надо грабить, воровать, голодать. Не знать, как жить,— привилегия богатых.

Все это он с юмором излагал Кейт и по дороге в Конью, и когда они сидели в автомобиле, а мимо них со свистом проносились машины, направлявшиеся в Конью, и когда, не вынеся духоты машины, они вышли на обочину. Только к вечеру их шофер договорился со своим другом — владельцем такси, чтобы тот доставил путешествен-

ников обратно в Стамбул. Такси оказалось допотопным. Оно то и дело подпрыгивало и конвульсивно содрогалось всем корпусом. Двигаться приходилось в облаке желтой пыли, которая, оседая, сгущала краски опускавшегося на землю и без того удивительно красивого заката. А Джеффри все говорил. Они зашли в придорожный ресторанчик. Недорогой, так как приглашение исходило от Джеффри и ему предстояло расплачиваться, а он не получал жалованья в международной организации. За рестораном последовал ночной клуб, но Джеффри никого не видел и не слышал — ни танцовщиц, ни эстрадных певцов,— а продолжал говорить; слова лились неудержимым потоком. Кейт слушала. Она умела слушать, в этом ей нельзя было отказать. Но в то же время она думала свою думу: стоит ей пустить его к себе в постель или не стоит. Она мысленно обменялась несколькими репликами с Мэри. Кейт знала, что мужчины, которые стали бы увиваться за Мэри, окажись она здесь, были бы совсем иного плана, чем этот молодой человек. Да и самой Мэри — Кейт будто наяву услышала негодующий голос подруги — даже в голову не пришло бы взглянуть в сторону этого Джеффри.

Если бы на месте Кейт была Мэри, все обстояло бы иначе. В один прекрасный день она сказала бы мимоходом: «Помнишь того типа, что я подцепила на пляже в Гастингсе, я тебе еще о нем рассказывала? С таким не заскучаешь!»

Кейт внутренне согласилась с призраком Мэри; она сама уже разобралась, что этому кандидату в любовники, если Кейт позволит событиям принять такой оборот, важно одно: найти хорошего слушателя. Видно, пришло время подумать о предмете, который прежде не очень занимал ее мысли... Но ведь это ложь, очередная ложь. Все тот же обман памяти. Она должна во всех подробностях честно вспомнить, как относились в счастливой и добропорядочной семье Браунов к супружеской неверности.

Позиция, занимаемая супругами в этом вопросе, была ими выработана в ходе самовоспитательных бесед и отличалась большой реалистичностью. И между формулой и действительностью не было никакого несоответствия, так что легкая ироническая гримаса была бы тут неуместна. (Или все-таки уместна? Кейт почувствовала, как один кусочек ее памяти старается вытеснить другой; верх взял более привычный.) Их брак с Майклом был прочным и благополучным благодаря тому, что оба они усвоили и, к счастью, очень рано простую истину: причина зла, неудовлетворенности или своеобразного голода, если угодно, без чего не обходится ни один современный брак — и не только брак, а и вся окружающая нас жизнь, и это главное,— коренится не в самих супругах. И не в институте брака, как таковом. Она вскормлена и взлелеяна привитым нам представлением о семейном счастье как о чем-то хрупком и ненадежном. (О, это уже что-то новое! Как бишь говаривали в старину: жизнь — это юдоль слез?) На брак возложили чрезмерный груз. Все эти проблемы Кейт и Майкл обстоятельно обсудили в начале своего пути. Нет, не в самой Первой фазе, когда им было не до разговоров: они упивались друг другом; и возможно, даже не во Второй (Кейт сознательно умаляла первые две фазы, подтрунивая над своей и Майкла юношеской наивностью), но раньше, чем они достигли Третьей фазы, не говоря уж о Десятой или Пятнадцатой, этот вопрос перестал быть для них вопросом. Словом, вскоре после свадьбы, к чести их обоих будь сказано, они условились не винить друг друга, если окажется, что у одного из них этот так называемый голод не утолен полностью. Но что же все-таки это за чувство, этот голод? Они и сами не отдавали себе в этом отчета — просто не было времени задуматься.

Однажды они пережили целую драму, когда Майкл чуть не потерял голову от любви к одной молоденькой коллеге из больницы, где они вместе работали. К тому времени Брауны уже прошли сквозь множество неожиданностей и жизненных передряг. Они были женаты десять лет; уже появились на свет все их дети. Эта история настолько потрясла душу Кейт, да и Майкла тоже, хотя рассудком они все прекрасно понимали, что ничего подобного в их жизни больше не случалось. Правда, не случалось лишь в такой форме. Позднее Кейт поняла, он сам дал ей понять, что у него время от времени бывали связи — мимолетные, без лишнего шума, чтобы не дай бог не задеть самолюбия жены, — с молодыми женщинами, для которых эти интрижки тоже были чем-то вроде развлечения; приключения такого рода весьма популярны среди делегатов и в аппаратах больших международных организаций. С болью в сердце, хотя эту боль и можно терпеть, Кейт примирилась с таким положением. Правда, боль эту вопреки своей воле Кейт ощущала острее, чем следовало. Однако и после этих переживаний их семейная жизнь протекала довольно гладко. К их обоюдному удивлению, ибо, куда ни глянь, повсюду разведенные пары, чей союз не выдержал испытания супружеской неверностью... На этом месте мысли или воспоминания Кейт сами собой начинали рассеиваться. Кое-что из них соответствовало действительности: молодые Брауны были правы, раз и навсегда договорившись не ожидать слишком многого друг от друга и от семейной жизни. Что касается остального... Кейт потеряла уважение к мужу — вот в чем суть. Спрашивается почему, если он поступал так же, как другие мужчины в его положении. Она стала относиться к нему — и такое отношение сохранилось надолго — как к неисправимому лакомке, который не в силах превозмочь свою слабость. Он упал в ее глазах, это было ясно как день. У нее появилось материнское чувство к нему — раньше она этого за собой не замечала. Полюбить, как заболеть, до боли, до отчаяния — одно дело, Кейт была способна понять такое, у нее самой бывало нечто подобное. Но изворачиваться, лгать и ловчить, сознательно и целеустремленно «заметая следы», чтобы, с одной стороны, по-прежнему выглядеть «чистеньким» в глазах жены, а с другой — бегать за первыми попавшимися юбками, это совсем иное дело; муж стал казаться ей пустым и тривиальным. Вдобавок он еще изменил прическу... Когда он после очередной поездки за границу появился на пороге дома и Кейт впервые увидела новую прическу, которую он себе придумал, пытаясь повернуть время лет на пятнадцать вспять, ее затрясло от гнева и отвращения. Вскоре, правда, Майкл сумел ее переубедить — отнюдь не словами, которых он избегал, а всем своим видом красноречиво намекая, что в ней говорит самая обыкновенная бабья ревность: это мелко с ее стороны.

Однако в ту минуту, когда Кейт поняла, что он такой, какой есть, и вряд ли что-нибудь способно изменить его натуру, кроме старости — если, конечно, он не станет резвиться до гробовой доски, уподобившись молодящимся старушенциям, которые красят волосы во все цвета радуги и носят мини-юбки, дабы щегольнуть вроде бы неплохо сохранившимися ножками,— ей стало ясно, что муж растоптал ее человеческое достоинство, унизил в ней женщину. Она не могла объяснить, почему это вызвало у нее такую реакцию, но факт оставался фактом, и никуда от этого не денешься. И то, что ее Майкл — в общем-то неплохой супруг, за которым она жила как за каменной стеной,— превратился в самого ординарного бабника, в похождениях которого над всеми другими чувствами превалировал секс, ставило Кейт в крайне унизительное положение. Она бы предпочла, чтобы он признался — нет, не признался, а защищал бы свое чувство,

кричал, наконец, о своей любви к женщине, пусть даже к двум, трем, неважно, и утверждал бы, что это настоящее, что чувство будет расти и углубляться и потребует не только жертв с его стороны, но и понимания со стороны самой Кейт. Подобное признание не повергло бы Кейт в такое состояние духа, словно у нее открылась рана, через которую капля за каплей уходят все жизненные соки, все силы, пока она сидит у себя дома в южном Лондоне, а муж ее бегает — в свободное, разумеется, время, не жертвуя ради этой прихоти главными интересами,— в поисках легких любовных приключений. Вопреки доводам рассудка и, конечно же, вопреки тому, что предписывают жизненные каноны, она испытывала к мужу чувства, которые испытывают к человеку заблудшему, потерявшему себя.

Глупо давать волю таким чувствам. Противно правилам хорошего тона, вульгарно, невеликодушно даже. Кейт знала, что сказала бы по этому поводу Мэри: все это никчемные умствования, которые только отравляют жизнь. Но Кейт думала и чувствовала именно так, а не иначе и ничего не могла с собой поделать. У нее и в мыслях не было притворяться, будто она относится к этому как-то по-другому. Еще несколько дней тому назад она могла бы смело сказать, что какие бы чувства и мысли ни возникли у нее, когда, скажем, она решит, что довольно ей быть нянькой и улыбаться, улыбаться без конца, или, как сейчас, к примеру, не остановит себя на пороге приключения, обещающего быть трудным, но заманчивым, как вершина высокой горы, к которой не может не тянуть всякого уважающего себя альпиниста,— какими бы эти чувства ни оказались (Кейт так страшилась встречаться с ними лицом к лицу, что готова была на все, лишь бы оттянуть этот момент), они никак не будут связаны с тем обстоятельством, что ее Майкл самый заурядный юбочник. Этот удар она пережила давно. А может быть, именно его и следует считать переломом в ее жизни (коль скоро она дала себе труд над этим задуматься): ее инстинкт, детский и неразумный, но безошибочный, подсказывал ей, что это Майкл — и только он — виноват в том, что она с того времени чувствует себя куклой, из которой медленно высыпаются опилки.

Такие мысли и чувства одолевали Кейт, пока она слушала молодого человека, который сидел напротив и, подавшись к ней всем телом, искал в ней — в любом, кто был готов ему внимать,— чего-то такого, что заставляло его говорить без умолку, а она тем временем уже преодолела барьер: союзу «женщина в возрасте и молодой мужчина» — быть!

Житейская мудрость гласит, что, как правило, именно такая связь двух сердец бывает горько-острой, впечатляющей, нежной, поэтичной и изысканной, словом — самым утонченным блюдом любовного меню. Конкурировать с ним может разве что его антипод: мужчина в возрасте и юная девушка... (Если Кейт суждено пуститься в это приключение, если она отведает это блюдо, уже лежащее перед ней на тарелке, то будет ли это как-то связано с тем, что произошло у нее с Майклом? Эта ее безвольность, стремление плыть по течению, неумение сказать «нет», неумение поступать в соответствии со своими убеждениями — не было ли оно следствием того, что ее когда-то, как машину, запрограммировал Майкл?).

Любовное приключение, на пороге которого она стояла, не сулит ей ничего из ряда вон выходящего: ни утонченных наслаждений, ни душевных бурь. Партнер стар душой. Слишком заземлен. Относится к себе сверхкритически.

Но было в нем что-то и очень привлекательное для Кейт. Любопытно было наблюдать, как он занимается самоистязанием, терзаясь

вопросом, какую из множества дорог выбрать, терзаясь обыденностью жизни, этой юдоли слез.

В ту первую ночь по взаимному согласию они разошлись по своим комнатам: сначала он настаивал, чтобы она зашла к нему, но потом все-таки решили перенести встречу на завтра.

Кейт шла по коридорам отеля, мысленно представляя себе, как после недель любви или других видов человеческого общения за каждой дверью прощаются ее подопечные делегаты: произносятся последние нежные слова; сама Кейт тоже могла бы быть на месте этих женщин-делегаток, если бы походила по характеру на Мэри... Джеффри слишком молод для нее; нет, слишком стар; словом, он не в том возрасте, в каком нужно. Будь ему двадцать — двадцать пять лет... да, тогда он мог бы еще сойти за «юношу» для нее, женщины на склоне лет. Если бы ему было больше тридцати пяти, то он бы приближался к ее возрастной группе. Но тридцать два... А правомерно ли судить о людях по поступкам, которые они якобы должны совершать в соответствии со своим возрастом, в соответствии с принадлежностью к отряду млекопитающих или просто потому, что они члены человеческой коммуны? Во всяком случае, с такими мерками подходят к большинству людей, и лишь единицы способны подняться выше этих условностей. Джеффри в тридцать два года должен по законам своего круга быть одержим стремлением «выбиться в люди», сделать хорошую партию, если он этого еще не сделал, и зажить полнокровной жизнью. А он не пошел по проторенному пути, но и не свободен от пут условностей. Компромиссов он не желал, только «или» — «или»: «Или я устраиваюсь на подходящую работу, обзавожусь домом и детьми, или продолжаю плыть по течению, куда вынесет. У половины моих друзей есть приличная работа, дом, семья; другая половина живет беззаботно, не обременяя себя никакими обязанностями. Что меня ждет впереди? Свобода или силки коммерции?» В нем самом и в его дилемме было что-то очень несовременное.

Но он был ей определенно симпатичен.

Надо бы ей сейчас ехать домой в Англию, попроситься к кому-нибудь из друзей на квартиру или просто снять комнату — у друзей, конечно, будет не до отдыха, там она сразу же втянется в привычную упряжку домашних забот, которые поглотят все ее время,— и тихо сидеть, и пусть ледяной, пронизывающий ветер дует что есть мочи.

У нее было такое ощущение, будто ее уносит неведомая сила, как при отливе,— каким-то непонятным образом все это связано с мужем, но в то же время зачем зря его винить? Он не виноват в том, что с ней происходит, в том, во что она превращается, а она знала, что ей не стоит ехать с Джеффри в Испанию, не стоит становиться его любовницей. Она уже заранее предчувствовала, что потом, когда Джеффри станет ее прошлым, он будет казаться ей скучным и нудным. Но сейчас она почему-то никак не могла заставить себя вернуться в Лондон, снять там комнату и провести остаток лета в тихом одиночестве.

Стоило Кейт закрыть глаза, как ей снова приснился сон. Как будто она была в кино. Смотрела фильм столетней давности, виденный ею уже раньше — не во сне, а наяву, дважды. Фильм повествовал о злоключениях несчастной черепахи, которая после атомного взрыва на одном из островов Тихого океана потеряла ощущение пространства и, отложив яйца, вместо того чтобы по законам природы направиться к океану, пошла в глубь острова, в безводную его часть, где ее ждала неминуемая гибель. Кейт сидела в темном зале и смотрела, как на экране бедное животное медленно уходит от воды, навстречу смерти, и думала: «О, тюлень, мой несчастный тюлень, ведь я должна

спасти его, это мой долг, где ты сейчас, тюлень?» Думая так, она поняла, что видит все это во сне и что во сне ищет свой другой сон — сон про тюленя; для черепахи, которая все равно обречена на смерть, она уже ничего сделать не может, но тюленя она должна спасти во что бы то ни стало; только, словно заблудившись в лабиринте комнат чужого дома, она попала в другой сон и никак не могла найти дорогу в свой, нужный ей... Где же все-таки ее тюлень? Может быть, лежит, бедняга, где-нибудь среди острых скал, всеми покинутый, и ждет Кейт, вглядываясь в даль своими темными глазами?

Весь следующий день она провожала делегатов, разъезжавшихся по домам; это не входило в ее обязанности, все свои дела она уже закончила, но ее натура не позволяла устраниться. А ночью, когда разъехались в разные уголки мира последние участники конференции, Кейт примкнула к той группе постояльцев отеля, которые имеют обыкновение не ночевать в своих номерах, а возвращаться туда, крадучись, с ранними лучами солнца, когда в коридорах начинают появляться первые горничные.

Она провела ночь с Джеффри и дала согласие поехать с ним на август в Испанию. Безумие, конечно, ехать в Испанию на августовскую жару, но болтаться летом по европейским столицам тоже не сладко. Разумные люди всегда приурочивают свои отпуска к определенным сезонам. Не обязательно торчать на людном побережье, можно углубиться и во внутренние районы полуострова. Ведь это и есть истинная Испания — самобытная, единственная и неповторимая, по утверждению Джеффри, знающего ее как свои пять пальцев.

На отдыхе

Тридцать первого июля она вышла из дверей многоэтажного, сверкающего стеклом здания отеля в Стамбуле с его многонациональным населением, покинув тем самым мир международного планирования экономики, мир конференций, симпозиумов и всемирных организаций, мир денег — невидимых, но льющихся таким обильным потоком, что их перестают считать. Кофе и кусочек кекса, которыми она позавтракала перед отъездом из отеля, обошлись ей в два фунта, но она и не подумала справиться заранее о цене. Однако за порогом этого здания она сразу же столкнулась с проблемой денег и, путая три языка, стала препираться с таксистом, который пытался обсчитать ее на несколько пенсов.

В руках у нее был всего один чемоданчик — недаром она всю жизнь набивала себе руку, упаковывая вещи своих четырех отпрысков, детей своего века и класса, которые предпочитают путешествовать налегке, будучи непоколебимо уверены, что на прилавках магазинов главной магистрали любого города к их услугам будут товары высшего качества со всех концов земли. Перед отъездом Кейт отобрала несколько модных платьев из своего нового гардероба и отдала Ахмеду для жены, предварительно убедившись, что они придутся впору, и по легкому дрожанию рук, державших наряды, и по вот-вот готовому выплеснуться чувству внутреннего протеста — не против нее, Кейт, надо думать, а против судьбы — она поняла, сколько такта и сдержанности пришлось проявлять ему в минувший месяц, работая бок о бок с ней.

Она поднялась на борт самолета в ярко-розовом платье — настолько ярком, что будь цвет на полтона гуще, он бы уже не гармонировал с ее темно-рыжими волосами и белоснежной, совершенно не воспринимающей загара кожей, которая и без того бросалась в глаза здесь, в этой стране, где все смуглы от природы или быстро стано-

вятся таковыми. На дорогу она захватила с собой «Пари матч», «Оджи», «Гардиан», «Таймс мэгэзин» и «Монд». Джеффри купил парижскую «Трибюн», «Интернэйшнл таймс» и «Крисчен сайенс монитор».

К тому времени, когда они прочли все эти газеты и журналы — каждый свои, а затем то, что было у соседа,— самолет долетел до Гибралтара, а два часа спустя они уже потягивали аперитивы в Малаге.

С первых дней июня все побережье этого брызжущего солнцем полуострова заполняется людьми. Если сейчас поглядеть на него с высоты, то, наверное, покажется, что он как бы осел под тяжестью человеческих тел, а воды, омывающие его, наоборот, поднялись.

За столиком между высокими кустами гибискуса и свинцового корня, который при искусственном освещении казался пыльно-серым, а не голубоватым, сидели двое, отвернувшись от толпы, и, как бы демонстрируя свое полное пренебрежение к окружающему, время от времени поглаживали друг друга по руке, а порой сплетали пальцы. Раз или два они даже поцеловались; но только для вида, вроде бы шутя, едва коснувшись друг друга губами. При более пристальном наблюдении можно было бы заметить, что на самом-то деле не так уж они отрешены от действительности и поглощены друг другом, а порой посматривают по сторонам и даже подолгу задерживают взгляд на ком-нибудь вдали, на пляже, где резвится разноплеменная молодежь. Не в море — нет: это, увы, стало слишком сомнительным удовольствием. Вверяли свое бренное тело здешним водам лишь те, кто стремился к браваде: по тому, окунется человек в море сам или позволит своим детишкам побегать босиком вдоль кромки воды, как и по его меню, можно было определить, насколько он дорожит жизнью, насколько склонен искушать судьбу. В здешнем ресторане, например, если кто-нибудь заказывал блюдо из местной рыбы, то делал это так, словно бросал вызов судьбе: «Эх, была не была, где наша не пропадала!» Если теплым солнечным утром видели девушку, входящую в море, то на нее смотрели как на чудо и, скривив губы, цедили: «Такая вот ничего не боится, ей все нипочем. Но чтоб я стал рисковать жизнью? Ни за что!» И хотя плоть людская сторонилась этих теплых вод, где некогда чуть не за полночь плавали и плескались туристы, прибрежные пески и скалы были сплошь, на сотни миль, усеяны молодежью, собиравшейся здесь, чтобы потанцевать под гитару.

Взгляды, которые бросала на берег эта пара, были задумчивы и тоскливы: у него — потому что ему хотелось быть частью этой веселящейся молодежи; у нее — потому что она вспоминала в этот момент о своих детях. В то же время она не спускала глаз со своего мятущегося партнера, готовая в любую минуту пролить целительный бальзам на его раны, утешить.

Он был щуплым молодым человеком приятной, но вполне обыкновенной наружности, ибо ничто в его облике — карие глаза, гладкие темные волосы, оливковая кожа — не выделяло его из толпы местных жителей. До тех пор, пока он не начинал говорить.

Женщина была старше его на несколько лет и больше бросалась в глаза. Она была типичной представительницей рыжеволосых. Белоснежная кожа. Светло-карие, похожие на виноградины или крупные изюмины, глаза. Приятное, улыбчивое лицо в обрамлении красиво подстриженных, лежащих тугой волной густых волос. Все эти тонкости мог бы заметить и почувствовать романтически настроенный человек; официанты же на это смотрели другими глазами: они безошибочно определили, сколько стоит такая прическа, сколько стоит такой туалет, и соответственно оценке предвкушали чаевые.

Эту парочку, надо полагать, заприметили давно... сразу выделили

из толпы и наблюдали за ней внимательно. Чьи-то глаза следили за каждым их шагом с той минуты, как они спустились по трапу самолета, сели в маленький автобус, курсирующий от самолета до аэровокзала, и затем зарегистрировались в отеле (номер был заказан по телефону из Турции Всемирной продовольственной организацией). Занимались этим знатоки, которые в летние месяцы лишь наблюдают за прибывающими в страну путешественниками и дают им оценку — присматриваются, прикидывают их значимость, наклеивают ярлык и заносят в реестр.

Туристы распадались, грубо говоря, на три категории. Первая — путешествующие организованными группами; укомплектовавшись у себя на родине — где-нибудь в Англии, Франции, Голландии, Германии или Финляндии,— они ездят все вместе в туристском автобусе или летят в самолете, вместе селятся в гостиницах и мотелях и возвращаются домой опять же вместе. Потом следует категория под названием «конгломерат молодежи»; эти бороздят побережье гуртом, словно стайки птиц или стада животных, и от них за версту веет воинственной независимостью и самодовольством. Подобные вулкану, готовому в любую минуту извергнуться лавой страстей — ревностью, ненавистью, поклонением своему идолу, они придают курортным местам своеобразную экзотику; со временем, правда, из них могут получиться типичные представители первой или третьей категории. Третья, самая малочисленная, категория — обыкновенные туристы: одинокие волки, пары или семьи, которые разъезжают по белу свету, следуя собственным влечениям и ревниво оберегая выношенные заранее планы. В глазах зубров туристского бизнеса, людей с философским складом ума и с наклонностями азартных игроков, эта категория относится к разряду самых выгодных, так как в их числе может оказаться кто угодно: и миллионер, и нищий, и какой-нибудь эксцентричный чудак, и преступник, и просто нелюдим. Именно в этой категории попадаются влюбленные парочки, если, конечно, сбросить со счетов «молодежь», которой сам бог велел пребывать в состоянии влюбленности — платонической или более земной. Сейчас гораздо чаще стали встречаться парочки, которые путешествуют вместе и живут в одном номере, не состоя в законном браке. Раньше, скажем лет пять-десять тому назад, никому и в голову не пришло бы появиться в бикини или в платье с открытыми коленями и плечами в общественном месте — даже на пляже и приморской террасе: это было строго запрещено, и guardia civil[1] неусыпно следила за выполнением соответствующих предписаний; теперь же все эти запреты и ограничения рухнули под нажимом Золотого Тельца, равно как и неписаный закон, в силу которого люди, не связанные узами брака, не могли запросто войти в отель и снять номер. Правда, и тогда это было все же возможно, это делали, и не так уж редко, но с великими предосторожностями, прибегая зачастую к обману. В наши же дни на раскаленном жарой и страстями берегу в разгар туристской вакханалии «детки» резвятся и занимаются любовью прямо на песке, а хозяин отеля, добрый католик и порядочный семьянин, который, будь на то его воля, с презрением отвернулся бы от женщины, подозреваемой в прелюбодеянии, или случись не дай бог такой грех с его дочерью, безжалостно вышвырнул бы родное чадо из своего дома,— теперь радушно принимает в своем безупречном и уважаемом заведении женщин с чужими мужьями, предоставляет им свои постели, сажает за свои столы, улыбается, кланяется, балагурит, желает доброго утра, спокойной ночи и приятного аппетита, ни жестом, ни взгля-

[1] Жандармерия *(исп.)*.

дом не выдавая своего осуждения или укора... разве что иногда промелькнет едва уловимая тень, soupçon [1], дающий понять, что виноваты деньги, это они, проклятые, вынуждают его терпеть у себя подобное безобразие, оказывать гостеприимство этим людям, но сам-то он прекрасно понимает, насколько отвратительно все, что вокруг творится.

Наша пара была сразу занесена в разряд аморальных этими экспертами в области социальных отношений.

Им так же легко нашли место и в другой графе: вечная как мир комбинация — женщина в летах с молодым партнером. Клерк за конторкой в холле отеля, заглянув в их паспорта, чтобы списать необходимые для полиции данные, был поражен разницей в возрасте. Поведение их не было ни развязным, ни слишком застенчивым — они держали себя сдержанно и с достоинством. Возможно, охладели друг к другу?.. Только не это! Их взаимную предупредительность нельзя было приписать одним лишь хорошим манерам, нет, здесь что-то гораздо большее — так порешили эксперты, чей наметанный за многие годы работы глаз с первого взгляда схватывал и место приезжих в обществе, и накал любовной страсти, и финансовый потенциал. А может быть, эти двое никакие не любовники? Тогда кто же? Сын и мать... Нет и еще раз нет, это невозможно. Брат и сестра? Тоже нет, нельзя поверить, чтобы из одного и того же чрева вышли внешне столь разные люди. Неудачный брак? Нет, эти двое не несли на себе печати ассимиляции, схожести друг с другом, которая отличает супругов; кроме того, документы, лежавшие на конторке, говорили об обратном. Это, несомненно, любовники, нечего и голову ломать.

Словом, их занесли в категорию туристов, к которым положено проявлять максимум терпимости, поскольку нормы поведения в стране были еще строги и мужчины еще требовали супружеской верности от жен; а внутри этой категории причислили к разряду оригиналов.

Джеффри был в Испании уже трижды. Первый раз он приехал сюда двадцатилетним юношей и тогда веселился и развлекался, как сейчас веселятся на берегу эти «цветы жизни», за которыми он следил с такой нескрываемой тоской, что его спутница, мать с двадцатитрехлетним стажем, привыкшая всю жизнь приноравливаться к чужим настроениям, почувствовала почти такую же тоску. Она смотрела как он тоскует по тому чего уже не вернешь — по свободе молодости, ее беспечности,— и чувствовала, как его душевная неустроенность передается ей самой. Он уже не принадлежал к ним. Прошлым летом в Голландии он еще был одним из них. Но чувствовал себя не на месте, чужим. И теперь уже не мог просто сойти с террасы и влиться в компанию поющих и пританцовывающих юнцов. Хотя ему очень этого хотелось — хотелось туда, где царит дух товарищества и где так мало требуют взамен.

Когда ему было двадцать пять лет, сразу после окончания колледжа, он приехал в Испанию и жил в дешевеньком пансионате на побережье почти все теплое время года, с мая по ноябрь, с девушкой, которую звали Стефания. Поначалу они были беспредельно счастливы, но постепенно счастье стало меркнуть, и в конце концов она уехала от него с каким-то юным немцем, с которым познакомилась на пляже, а на прощанье оставила записку, где называла его безответственным эгоистом, бессердечным и вообще замшелым ретроградом. Позднее она вышла замуж за служащего юридической конторы своего отца в Сидар-Рапидс, штат Айова.

Два года назад Джеффри снова провел все лето в этих же краях,

[1] Намек *(франц.)*.

деля время между Кордовой и Севильей, где бродил по кабачкам и буквально упивался зрелищем фламенко. В свое время он мечтал посвятить себя фламенко, как другие мечтают стать матадорами. У некоторых мечты сбываются: они действительно выходят на арену и участвуют в корриде; у Джеффри как будто были все данные—и торс истинного танцора, и темперамент. Остановило его обостренное самолюбие и боязнь показаться смешным. «Так и вижу своих дорогих предков! Заявятся в один прекрасный день и потребуют отвезти их в ближайший табор: «Где тут у вас цыгане — они украли нашего мальчика!»

Сейчас он здесь в четвертый раз; идет август — и он чувствует себя чужим в этой стране, как будто попал сюда впервые. Ибо, как любой другой, проживший здесь более месяца сам по себе и на весьма скромные средства, он чувствовал себя скорее хозяином, чем гостем; и как таковой, в знак солидарности со всеми истинными испанцами, страдал—и не без оснований, разумеется,— от того, что их страна им не принадлежит, что она запродана туристам.

В этой разоренной, униженной стране процветала коррупция — не такой была Испания, когда он приехал сюда в первый раз.

Они много говорили об этом, глядя на золотую молодежь, развлекавшуюся на берегах отравленного моря.

Когда он впервые приехал сюда, в начале шестидесятых годов, это была гордая страна, исполненная чувства собственного достоинства; куда бы ты ни шел, куда бы ни ехал, всюду тебе готовы были оказать услугу, причем без всякой корысти, без лишних просьб с твоей стороны; испанцы настолько пеклись о своем добром имени, даже в наиболее популярных среди туристов местах, что это возвышало их над мелкими меркантильными расчетами. Была в них человечность... величавость... сила духа. Кейт улыбнулась своим мыслям, и он рассмеялся, вторя ей, но над собой. В его глазах стояли слезы — только не об испанцах он плакал, нет.

Она же впервые приехала в Испанию на машине со всей своей семьей — с мужем и четырьмя детьми; это было — она с трудом заставила себя выговорить — около двадцати лет тому назад. Брауны были тогда в числе самых первых туристов. Побережье, до отказа застроенное нынче отелями и кэмпингами, было в ту пору совсем пустынно — ни домика вокруг. Только пески — от одного мыса до другого — да островки жиденькой травки кое-где; раскинув палатку под соснами и обосновавшись там, они порой неделями не встречали ни души. В ее памяти тоже всплывали разные эпизоды тех дней.

Стоило в каком-нибудь городке появиться редкому автомобилю с иностранцами, как его тут же обступало чуть не все мужское население, наперебой предлагая покараулить машину ночью, в робкой надежде заработать какие-то жалкие шесть пенсов; стоило Браунам зайти в местный ресторанчик и приняться за довольно скромную трапезу, как тут же к стеклу прилипали дюжины голодных детских мордашек — живая иллюстрация к сказке о бедном мальчике, заглядывающем в окна богатых, но добрых людей, которые в конце концов снисходят до него и зовут к своему столу. Рассказывая, Кейт подумала, что тогда, не столь уж давно, такие вещи воспринимались как симптомы болезни, которые скоро, лишь только здравый смысл возьмет верх, будут выправлены; тогда они еще не складывались в картину общего состояния человечества, которое вскоре приобретет еще более мрачный и безысходный характер. Она подумала, что в то время подобный рассказ о людской беде прозвучал бы как сигнал, призывающий к переустройству общества, как проявление глубокой озабоченности. Сейчас же от ее слов веет душевной черствостью, не

больше. Еще немного, и они, Кейт и Джеффри, станут участниками словесной игры, столь популярной в среде буржуа: игроки будут стараться перещеголять друг друга, взахлеб живописуя чужие страдания, ища одобрения слушателей.

Это не была ее собственная мысль — так думал ее сын Джеймс. Он впадал в бешенство, когда дома кто-нибудь упоминал о бедноте (обычно это были Эйлин или Тим, принимавшие участие в разного рода благотворительных мероприятиях). С точки зрения Джеймса, проблема решалась просто: революция. Все другие меры — оскорбление для угнетенных масс и напрасная трата времени. Классический пример революции — кубинская революция Кастро.

Но у каждого из четверых молодых Браунов было свое, отличное от других, отношение к этому вопросу. И каждый по-своему смотрел на туризм, на неутомимое бродяжничество по разным странам.

Стивен, первенец, был самым передовым по своим убеждениям. Правительства всех стран мира он считал реакционными, и это позволяло ему ехать куда угодно, не поступаясь своими принципами,— с таким же цинизмом, как это делают эгоистичные и аполитичные мещане, которых он сам всегда нещадно поносил. Эйлин была далека от политики и благодаря этому путешествовала без всяких предубеждений, подобно своему старшему брату. Самая запутанная концепция была у Джеймса: он, например, наотрез отказался ехать в Грецию [1], но в то же время в прошлом году посетил Испанию, утверждая, что это необходимо ему для самообразования; считая Израиль фашистским государством, он объезжал его стороной, но военные диктатуры в отдельных странах Ближнего и Среднего Востока не отпугивали его, и он, отбросив сомнения, побывал там. Тим считал, что конец цивилизации не за горами, что мир, погрязший в бюрократизме глобальных масштабов, будет ввергнут в пучину варварства и хаоса и скоро мы с завистью будем оглядываться на сегодняшний день, который завтра покажется нам безвозвратно утерянным золотым веком; к каждому новому путешествию он подходил как гурман, смакующий последнюю бутылку редкого вина.

Вернемся, однако, к матери. Она сидела на открытой террасе кафе в Испании со своим молодым любовником (да, другого слова не подберешь, мельком подумала она) и потягивала аперитивы; завтра они идут смотреть бой быков — он обожает это зрелище. С чисто эстетической точки зрения.

Прежде чем вернуться в свой номер, Кейт и Джеффри спустились к морю по тропинкам, где пахло олеандрами, прованским маслом и мочой, и постояли немного на вспаханном тысячами пар ног песке, глядя на толпу юнцов. Было уже довольно поздно, серп луны поднялся высоко над морем, ряды посетителей за столиками прибрежного кафе поредели, и некоторые молодые люди и девушки поторопились устроиться на ночь в объятиях друг друга. Кое-кто еще топтался в танце на брошенных на песок циновках — развевались волосы, сонно мерцали глаза. У кромки воды другая группка пела под аккомпанемент гитары, на которой играла девушка, сидевшая на скале словно русалка.

Кейт старалась не смотреть на своего спутника; она понимала, что, когда он в полном разладе с самим собой, лучше его не трогать, это только будет его раздражать: она это знала по своим детям. На нее нахлынули воспоминания — не о юности, нет. Кейт вспомнила, как десять лет тому назад она полюбила того мальчика. Тогдашняя ее боль, стремление преодолеть что-то, что находилось за барьером времени, была похожа на боль, которую сейчас испытывал Джеффри.

[1] Во времена режима «черных полковников».

Тогда она вынуждена была жить и любить, находясь по другую сторону барьера,— у нее не было иного выхода. Джеффри тоже смирится с этим. Но Кейт не любила вспоминать то время. Это было унизительно. Глядя, как эти прекрасные, юные создания двигаются, нежатся на песке, лежат в грациозных позах, застигнутые сном, она говорила себе: да, то время действительно было временем страшного унижения. Годы супружества, долгие годы приносящего удовлетворение секса поглотили сам секс, который стал для нее привычным и легко доступным языком чувств... а у того мальчика не было подобного опыта, он понимал только игру воображения, только романтическое. Чувственность Кейт отпугивала его... или отпугнула бы, если бы Кейт не подавляла ее в себе, увидев, что разговор плоти чужд ему, что это язык людей зрелых и опытных, и тогда она впервые с тревогой осознала по-настоящему, насколько ей не хватает привычного супружеского общения. Бывая с ним, она все время чувствовала, будто носит в себе какую-то постыдную тайну или недуг, который нужно скрывать.

Она знала, что не имеет права усугублять и без того тяжкие душевные муки Джеффри, к которым примешивался какой-то чисто животный стыд — так похожий на ее собственный тогда, с тем мальчиком,— и поэтому не должна обнаруживать своего сочувствия, не должна показывать, что понимает и разделяет его переживания.

Когда они стояли на берегу, в каких-нибудь десяти шагах от молодежи, но отгороженные от нее глухой стеной времени, мимо прошла девушка — она шла улыбаясь, волоча по песку босые ноги; босые — просто потому, что ей нравилось ощущение песка между пальцами. Она взглянула на Джеффри, и улыбку словно смыло с ее отрешенного лица... но через мгновение она уже снова шла и улыбалась, как прежде. Кейт узнала это выражение: это была маска, которую надевают, сталкиваясь с людьми посторонними, принадлежащими к другой касте, группе или табору. Она попыталась поставить себя на место этой девушки — семнадцатилетней, с длинными тонкими коричневыми от загара руками и ногами, длинными черными волосами, вышагивающей босиком по ночному пляжу с видом непостижимой самоуверенности,— чтобы увидеть Джеффри ее глазами: не юнца, каким он кажется самой Кейт, а мужчину, на которого можно смотреть такими вот пустыми глазами, словно его и нет перед тобой. Ей удалось это с трудом. В возрасте этой девушки Кейт точно такими же глазами смотрела на всех мужчин старше двадцати пяти лет. Только кумиры ее юности, в отличие от сегодняшних, несли на себе печать мужественности и силы. Вернувшись к действительности из своего путешествия в прошлое, она увидела рядом с собой человека отнюдь не мужественного, а слабое существо, все усилия которого направлены на горькое осознание своей беспомощности и на то, чтобы не сломиться под тяжестью этого сознания. Он обернулся к ней и промолвил:

— Хорошо, что ты рядом, а то бы меня снова засосала эта трясина.

При таком предельно откровенном признании ее роли, роли при нем, сердце Кейт сжалось от обиды, но не слишком сильно; оно было переполнено горечью собственных воспоминаний, сосредоточенных почему-то на мелочах,— значительные события разных периодов жизни отходили на второй план, затушевывались почти до полного забвения. Если бы ее спросили, скажем в конце мая, в тот вечер, когда случайная встреча на улице привела к ним в дом приятеля мужа,— не тогда ли началась цепь случайностей, забросивших ее в эти края? — если бы ее спросили тогда, в какой момент и в какой обста-

новке было бы ей предпочтительнее столкнуться с реальностью и осознать тот факт, что она достигла особой стадии жизни, которую ей надлежит волей-неволей принять, хоть это и больно, она скорей всего выбрала бы именно такую ситуацию: полоска грязного, распаханного сотнями пар ног песка, залитого непременным лунным светом; неоперившиеся юнцы вокруг, многие младше ее собственных детей, и рядом — молодой мужчина, который вызывает в ней (не стоит закрывать на это глаза) только материнские чувства. У нее чуть было не сорвалось с языка: «Ну, полно, не горюй, все обойдется». Хотелось согреть его у себя на груди, как ребенка. Она, по существу, и думала о нем как мать: «Тогда иди туда, иди, через это надо пройти самому; и даже лучше, если меня не будет поблизости,— при условии, конечно, что я откуда-нибудь со стороны смогу следить за тобой и направлять твои шаги...»

Отель, где они остановились, был расположен далеко не в самой фешенебельной сверкающей огнями реклам части маленького курортного городка. Он прятался на задах, в старом районе, где в затишье, когда не было такого наплыва туристов, жили только испанцы. Но в вестибюле отеля, куда они сейчас вошли с темной улицы, было светло и оживленно, словно днем. Ресторан при отеле был открыт, и за столиками еще сидели и ужинали люди, а между тем шел второй час ночи. Портье за конторкой вручил ключ от номера мистеру Джеффри Мертону и миссис Кэтрин Браун, продолжая вежливо улыбаться,— только жесты его стали вдруг какими-то конвульсивными.

Они поднялись в свой номер, отнюдь не самый лучший в этом отеле среднего класса, скромном и старомодном. В номере был балкон, выходивший в небольшой городской парк,— оттуда неслись звуки веселой, бравурной музыки и голоса гуляющих. Кейт вышла на балкон. Он присоединился к ней. Они поцеловались. Затем он удалился в ванную комнату. Внизу, на освещенной луной улице, на порогах своих домов сидели жители городка и судачили. Детишки, даже самые малолетние, крутились у их ног и играли поблизости. Воздух был теплый и мягкий, отдаленные звуки музыки только подчеркивали тишину ночи. В этих краях принято спать во время сиесты, и поэтому ни у кого нет желания запираться в стенах дома, пока не начинает светлеть небо. Городок казался более оживленным и бодрствующим, чем при свете дня; жизнь била ключом. Любимое развлечение местных жителей в такие ночи — сидеть и наблюдать за прохожими, перемывать им косточки, словом, жить. Отовсюду неслись голоса — и с ярко освещенных улиц, и из темноты.

Джеффри вернулся в комнату. Она ушла с балкона и только хотела разобрать постель на ночь, как он бросился на кровать в чем был и ничком распластался на ней. В первый момент в Кейт заговорила оскорбленная женщина и уже начал где-то внутри назревать бунт: считается, что они любовники, а по существу они спали вместе всего только раз. Но в следующее мгновение она уже держала два пальца на его пульсе, а другую руку — на плече, пытаясь определить его состояние и температуру. Вид у него был изможденный, все тело горело, но ведь и воздух кругом был раскален. Лицо его, насколько Кейт могла разглядеть, пылало и было покрыто бисеринками пота. Пульс замедлен. Собрав все силы, она попыталась перевернуть его на спину, уложить на подушки и накрыть простыней. Буквально у нее на глазах краски стали покидать его лицо — оно сделалось изжелта-бледным. Температуры у него, может, и не было, но он был явно нездоров.

И хотя женское естество Кейт продолжало кипеть от возмущения, вернее, она вынуждена была с горечью констатировать, что ею пренебрегли и, следовательно, она должна бы чувствовать себя оскорбленной, Кейт чуть ли не с чувством облегчения вернулась на балкон. Она взяла из комнаты стул, поставила его в угол балкона и села. На ней было белое бумажное платье без рукавов, с открытым воротом, так что даже слабый ветерок приятно холодил руки и шею. И снова Кейт у постели, в привычной ситуации, в какой бывала много раз,— вся внимание, готовая по первому знаку ринуться на помощь.

На противоположной стороне улицы разговаривали двое мужчин. Двое солидных отцов семейств в мятых светлых костюмах, которые выглядели с того места, где сидела Кейт, ослепительно белыми — как песок на пляже, освещенный луной. Когда мимо не проезжали машины и не было слышно их сигналов, до Кейт отчетливо доносились голоса мужчин напротив. Слух ее жадно поглощал испанскую речь, но она почти ничего не понимала. Язык был между Кейт и Испанией точно завеса, которую она никак не могла уничтожить. Но это была полупрозрачная завеса. Кое-где она все-таки просвечивала. Когда Кейт перегнулась через перила балкона, чтобы отчетливее видеть выражения лиц, жесты и позы двух крепышей-испанцев, разговор которых привлек ее внимание, она стала понимать их речь лучше. Движение округлого плеча, резкий взмах руки добавляли что-то к интонациям — и Кейт почти понимала, о чем они говорят. Разговор шел о делах — это не вызывало сомнения: позы, жесты говорили о риске, доходах, корысти. Визг проскочившей мимо машины поглотил часть разговора и тут же выплюнул обратно. Теперь уже смысл его был почти ясен — как будто она смотрела в окно, где вместо стекла вставлена пластина кварца. Голоса смолкли. Потянуло табаком. Кейт подалась вперед и увидела, что мужчины закуривают сигары. Дымок поднимался маленькими облачками и таял в листве деревьев. Один из крепышей ушел; другой задержался, поглядывая по сторонам, словно искал, чем бы еще заняться, чтобы оттянуть возвращение домой, но потом тоже не спеша двинулся вдоль улицы. Через несколько минут оба облачатся в полосатые пижамы. Светлые костюмы лягут кучкой на кафельном полу в ванной комнате, а завтра жены подберут их и бросят в стирку. Еще немного — и толстяки нырнут в постели и улягутся рядом со своими толстыми бесцветными дражайшими половинами.

Вернувшись в спальню, она осмотрела ее, такую темную после ярко-холодного света снаружи. На кровати, раскинув руки, лежал ее любовник. Она слышала его дыхание. Оно ей не понравилось. Если бы перед ней вот так лежал один из ее сыновей, она бы уже стала подумывать, не вызвать ли утром врача,— нет, пора с этим кончать!

Было около четырех утра. Наконец-то улицы стали понемногу пустеть, хотя на площади все еще сидели люди, вдыхая в себя ночь, мечтая, покуривая. Ступеньки домов опустели. Только у стены отеля продолжали тихо играть двое ребятишек, а их отец сидел рядом на табурете, грея свои кости у кирпичной стены, по-видимому еще хранившей дневное тепло. Из дома вышла мать и стала звать детей; дети — везде дети, цепляются за свою ребячью независимость, которую родители хотят похоронить, отправляя их спать. Затем мать вынесла себе стул и села рядом с мужем; один из детишек забрался на колени к ней, другой — к отцу. Малыши тут же стали клевать носом, а родители продолжали вполголоса разговаривать. Кто эти люди? Может быть, прислуга здешней кухни, из этого отеля? Машин стало совсем мало. Город затих, как может затихнуть курортный городок в разгар туристской лихорадки.

Кейт было не до сна.

Ее, конечно, тянуло нырнуть в постель и забыться крепким сном, хотя бы для того, чтобы отдалить момент... когда она должна будет, рано или поздно, сделать неизбежное.

Кроме того, после стольких лет жизни в большой семье, где каждая минута рассчитана и приурочена к чужому распорядку дня, она еще была способна ценить и наслаждаться каждым мгновением полной свободы, когда над тобой ничто не висит, когда ты сама себе хозяйка. Она смаковала свою свободу. Вот захочу, думала она, и лягу на заре, кому какое дело. А завтра могу проваляться хоть до полудня; что хочу, то и делаю.

Кейт обрела независимость от чужих дел не более трех лет тому назад — это, несомненно, совпадало с моментом повзросления детей. Однако право на личную свободу она обрела на много лет раньше. Превращению Кейт, девушки, вышедшей замуж за Майкла, в Кейт, какой она стала три года тому назад, обнаружив, что ей есть над чем задуматься, предшествовала полоса неудач.

Толчком к перемене послужил инцидент трехгодичной давности, когда Тим, в то время еще взбалмошный шестнадцатилетний оболтус, вдруг ни с того ни с сего взъярился за столом на мать и истошным голосом закричал, что он больше не может, что буквально задыхается от ее опеки. Он просто сорвался. Ясно как божий день. Вся семья была в сборе, все были шокированы — о да, они понимали, что это событие из ряда вон выходящее, что оно может пагубно отразиться на союзе, который они собой представляли; все, как один, сплотились, тактично сглаживая поистине гнетущее впечатление от этого фортеля сына и братца, вселившего чувство глубокой тревоги в обоих — и в мать, и в мальчика. Это был крик души; самого Тима потрясло, что в нем накопилось столько ненависти — ведь он был просто не в силах совладать с собой. Обычно в этом благовоспитанном семействе — во всяком случае, таковым они себя считали и прилагали немалые усилия, чтобы выглядеть соответственно,— подобные конфликты сразу же становились общим достоянием: их обсуждали на семейном совете, как правило, ирония делала свое дело, и все вставало на свои места. Обсуждения были нелицеприятными и подчас даже жестокими. Можно сказать, что дух Второй фазы жизни старшего поколения Браунов — открытое обсуждение наболевших вопросов — был спустя годы подхвачен подрастающим поколением, и, таким образом, традиция семьи жила.

Однако тот факт, что мальчик неожиданно на глазах всей семьи сорвался,— не означает ли он, что, может быть, и добродушное подтрунивание, и психоаналитические копания в чужой душе, и критические разборы того или иного поступка — это не здоровая, благотворно действующая искренность, как раньше полагала Кейт (и не она одна, все в семье так думали), а очередная форма самообмана? Семейное folie как безумства любовников, которые отравляют друг другу существование. Если существует folie à deux [1], то непременно должна быть folie à... сколько угодно.

В тот раз, когда Тим взорвался, она вышла из-за стола, как только почувствовала, что может сделать это, не произведя впечатления обиженной девочки, с ревом выскочившей из комнаты. Но все равно она была похожа на кошку или собаку, которую пнул ни за что ее друг — так просто взял и пнул. Идя от стола к двери, она спиной чувствовала, как пять пар глаз намеренно стараются не смотреть на нее. Она ушла к себе в комнату, а мальчик готов был провалиться сквозь землю от стыда и, уткнувшись в тарелку, доедал пудинг.

[1] Безумство, которое совершают вдвоем *(франц.)*.

У себя в комнате она села и стала думать, во всяком случае пыталась думать, а внутри у нее все клокотало: застарелая обида буквально сводила с ума. Это несправедливо, чего они от меня еще хотят?

Неужели она виновата в том, что Тим вырос таким жестоким по отношению к себе, к другим... к матери? Остальные трое как-то не так болезненно пережили переход от детства к юности. Были, конечно, и у них свои срывы, свои трудности, но взрывчатость Тима в этот период потрясла всех его близких. Они все понимали, эти современные вундеркинды, они не жалели слов, чтобы продемонстрировать свою эрудицию. Тиму они прилепили ярлык «кровожадный изверг», а Кейт считали его жертвой. Но ни равнодушия, ни попыток обойти инцидент молчанием — Кейт вновь и вновь возвращалась мыслями в былое,— ничего этого, слава богу, не было. В те годы, когда она особенно остро чувствовала, что всю жизнь обречена находиться в одной большой коробке с этими живыми вулканами — собственными детьми, она утешала себя мыслью: зато у нас в семье нет друг от друга секретов, все говорится начистоту, в глаза. Сравнивая свою семью с другими (не с Финчли, они вне сравнений, у них свои законы), она видела, что во всех семьях, где есть взрослеющие дети, можно наблюдать одну и ту же картину. Мать — родник, питающий все дела и начинания семьи; она всегда в центре, но как бы в противовес ей юные души, словно галька на песке во время шторма, собираются в свой лагерь. Неужели она переусердствовала, подавляя волю детей своим авторитетом, не давая им шагу ступить без ее опеки, как будто они совсем еще несмышленыши? Но, с другой стороны, кто, как не она, прилагая массу усилий, чтобы дети как можно раньше почувствовали себя свободными и независимыми, обращалась с ними как со взрослыми? Может быть, в этом и состоит ее ошибка, и в конечном счете права Мэри, которая никогда не задумывалась, как ей поступить в том или ином случае,— действовала по наитию, и все. Однако дело не в том, подавляла Кейт их личности или нет. Главное, что она слишком отдавала себя детям. Она слишком жила их интересами, растворилась в их жизни настолько, что дети перестали видеть в ней опору, на которую можно положиться. Но ведь в каждой семье есть еще мужчина, отец, который должен быть такой опорой для своих детей. Может быть, в конце концов Майкл был прав, а она, Кейт, не права, осуждая его: мера его участия в жизни детей была как раз такой, какая нужна. Так ли уж необходимо, чтобы мать превращалась в своего рода жернов, перемалывающий все, что попадается на пути? Оглядываясь назад, она видела, что всегда была в роли мальчика на побегушках, всегда была готова услужить, всегда оказывалась мишенью для критики, по капле отдавала свою кровь, чтобы насытить этих... извергов. Сравнивая свое отрочество с отроческими годами своих детей, Кейт не находила ничего общего... Конечно, у нее были близкие, очень доверительные отношения с матерью вплоть до ее смерти, за год до поездки Кейт в Лоренсу-Маркиш; то, что отца почти всю войну не было дома, особенно сближало мать и дочь; однако характер этих отношений в родительском доме был совсем иной, чем в ее собственном.

Какой смысл, однако, ворошить прошлое, переливать из пустого в порожнее... стараясь найти оправдание поступку сына? Она ведь действительно подавляла его волю.

Но вот что интересно: подобно тому как сейчас, сидя на залитом лунным светом балконе, она трезво оценивала свое положение, понимая, что стоит у края бездны под леденящим, пронизывающим ветром, который в конечном счете сдует с нее все — и плоть, и живость

лица, и краски,— так и тогда она с самого начала сознавала, что отрочество последнего отпрыска в семье не будет безоблачным, хлебнет он в жизни горя. Конечно, только предчувствовать — недостаточно, иначе бы Тим не закричал на мать: «Отстань от меня ради всего святого, вздохнуть не даешь!»

А она всего лишь напомнила сыну, чтобы он не забыл что-то — что именно, она уже не может вспомнить... Если действительно ее слова послужили поводом для вспышки, то скорей всего дело было не в тоне, каким были сказаны эти слова, а в том, что за ними скрывалось, что именно он должен был не забыть?.. Теперь уж ей трудно припомнить, о чем шла речь,— забыла. Забыла, потому что не хотела помнить, умышленно поместив этот инцидент в один ряд с другими семейными событиями, хранившимися где-то на дальних полках памяти десять, пятнадцать, а то и все двадцать пять лет? Но ведь существовала же когда-то (или это опять каприз памяти?) некая девушка, у которой отбоя не было от поклонников и которая вышла замуж за ее Майкла. По истечении первого года совместной жизни из них получилась полная обаяния молодая пара.

Разительные перемены внес в их жизнь, как ни странно, не первый, а второй ребенок. С одним ребенком они еще оставались молодой четой, с энтузиазмом отдающей дань глупым условностям общества и легко несущей бремя светских обязанностей. С появлением же еще одного малыша их интересы обратились совсем в другую сторону. Увидев, как изменилось их существование, они решили завести третьего ребенка, «чтобы покончить с этим раз и навсегда»,— это было так не похоже на них; не успели они оглянуться, как купили в кредит дом, малолитражку, обзавелись приходящей прислугой и зажили упорядоченной семейной жизнью — и все ради детей. Приходится удивляться, как долго наша пара заблуждалась, считая, что все эти излишества — автомобиль, собственный дом и тому подобное — не имеют к ним лично никакого отношения, сами они без этого спокойно обойдутся, все вроде бы делается исключительно ради детей.

Что касается Кейт, то она стала понемногу постигать науку самодисциплины, приобретая навыки, которые обычно даются с неимоверным трудом. Оглядываясь назад, на красавицу девушку, заласканную сначала матерью, а позднее дедушкой, который души не чаял во внучке, Кейт едва сдерживалась, чтобы не закричать в полный голос: как несправедливо обошлась с ней жизнь, какую злую, чудовищную и циничную шутку с ней сыграла. В воспоминаниях она представлялась себе чем-то вроде разжиревшей белой гусыни. Ничто — ни дедушкина снисходительная почтительность к женскому полу, ни материнское воспитание — не подготовило ее к тому сюрпризу, который, не заставив себя долго ждать, преподнесла ей судьба.

С тремя, а потом и четырьмя детьми на руках она оказалась вынужденной воспитывать в себе такие качества характера, о которых раньше даже и не слышала. Терпение. Самодисциплина. Сила воли. Жертвенность. Воздержанность. Покладистость — это в первую очередь. И навечно. Кейт мало-помалу воспитала в себе все эти добродетели, столь необходимые, чтобы при ограниченных средствах поднять на ноги четверых детей. Она приобрела эти качества задолго до того, как нашла им определение. Ее забавляли высокие слова, обозначавшие качества, какими должна обладать всякая мать. Но считать их добродетелями? И вполне серьезно? Неужели это и впрямь добродетели? Если так, то они обернулись против нее, стали ее врагами. Взирая на минувшее глазами зрелой женщины сегодняшнего дня, с грузом многолетнего опыта жены и матери се-

мейства, и видя себя тогдашнюю — почти девочку, только-только начинавшую строить жизнь с Майклом, она не могла отделаться от мысли, что культивировала в себе не добродетели, а некую форму слабоумия.

На следующее утро после вспышки своего младшего сына Кейт пошла за продуктами и застряла у перехода из-за небольшой пробки на улице. В ожидании зеленого света она обратила внимание на молодую женщину с ребенком в высокой коляске-стульчике. Эта девушка примерно девятнадцати лет — того же возраста, что и Кейт, когда у нее появился первый ребенок,— в мини-юбке, с развевающимися темно-рыжими волосами, зеленоглазая, спокойно-энергичная, почему-то, будучи вполне реальной, походила на девочку, играющую в дочки-матери. Одной рукой она толкала коляску с ребенком, в другой несла огромный пакет с провизией. Походкой она напоминала женщин древних викингов. Отведя от нее взгляд, Кейт стала рассматривать других прохожих. Ей вдруг показалось, что улица заполнена одними молодыми женщинами, незамужними девушками или молодыми мамашами с детьми, и все они двигались — да, это особенно проявлялось в том, как они двигались,— со спокойной, мерной грацией, легко и раскованно неся свое тело. Это было чувство уверенности в себе. Как раз то, что Кейт потеряла, придавленная чувством ответственности за любой свой поступок.

Разгадав суть этих молодых женщин — как ни горько было Кейт сравнивать себя с ними,— она затем перенесла внимание на своих сверстниц, их походку и выражение лиц. Двадцать лет разницы сделали свое дело — эти лица, некогда смело смотревшие в будущее, превратились в маски, выражающие настороженность и подозрительность. Иные несли на себе печать наивной доброты, какой-то незащищенности и хрупкости, словно жалкое хихиканье, готовое в любую минуту обернуться слезами. Их движения были как бы замедленными, будто эти женщины все время опасались попасть в западню, боялись подвоха; они вели себя так, словно были окружены невидимыми врагами.

Кейт все утро бродила не спеша туда и обратно по этой длинной, людной улице, с каждым шагом все больше проникаясь убеждением, что лица и жесты большинства женщин среднего возраста делают их похожими на узниц или рабынь.

На одном конце длинного жизненного пути, поглощающего личность с ее индивидуальностью, находится молодая, смелая, полная уверенности в своих силах девушка, на другом — пожилая женщина: сама Кейт.

После этой прогулки Кейт неделями присматривалась к себе, к своей речи, к своим жестам, ко всем привычкам и поступкам, но уже с другой точки зрения, чем раньше, и пришла к заключению, что она — законченная психопатка. Вот к чему привели многие годы культивирования этих так называемых добродетелей — она сама и ее ровесницы превратились в машины, приспособленные выполнять только одну функцию в жизни: вести дом, хлопотать, организовывать, улаживать конфликты, строить планы, распоряжаться, беспокоиться, тревожиться и крутиться целый день как белка в колесе. Суетиться.

Ее домашние — она только теперь осознала это — прекрасно поняли ее назначение. И каждый — и муж, и только что вылупившиеся из яиц птенцы-дети, скинувшие с себя груз подростковых эмоций и в силу этого особенно нетерпимые к чужим слабостям,— каждый по-своему относился к ней, как к обузе, с которой волей-неволей приходится мириться. Мать — это незначительная величина, нечто вроде старой няньки, отдавшей всю жизнь детям.

У нее открылись глаза на это еще за три года до скандала с Тимом. Продолжая по инерции выполнять роль хозяйки большого, требующего неусыпных забот дома, дома, который, на ее взгляд, стал ночлежкой для членов семьи, для их друзей и для друзей их друзей, она попробовала отдалиться от дел, уйти в себя. Решение было сугубо внутренним, тайным; вряд ли рискнула бы она упомянуть о своих намерениях вслух, усилив тем самым и без того тягостное чувство долга семьи перед матерью-прислугой, на которой держался весь дом. Дело осложнялось еще тем, что ее попыток самоустраниться никто не замечал. Муж был в то время особенно занят, и Кейт понимала, что он загружает себя намеренно, ибо сама на его месте поступила бы точно так же — не лишила бы себя возможности где-то лишний раз показаться, покрасоваться, пустить пыль в глаза, лишь бы как-то отсрочить приближение старости, а он был старше Кейт на семь лет. Дети, естественно, так же мало вникали во внутренний мир Кейт, как и все другие дети в мир своих родителей. Но она обнаружила, что все исходящее от нее, матери, они неизменно встречают в штыки,— даже совсем, казалось бы, безобидные вещи вызывали у них внутренний протест.

Но почему, собственно, она должна молчать, а не объявить во всеуслышание, что она переживает душевный кризис, что собирается изменить образ жизни? Да потому, что это был бы глас вопиющего в пустыне. Они воспримут это как покушение на их свободу, желание вызвать в них жалость.

Вскоре после скандальной истории с Тимом, когда он кричал на мать за столом, она поехала погостить к одним своим старым друзьям. Старшей в доме оставалась дочь Эйлин. Всеми правдами и неправдами старалась Кейт продлить свое пребывание в гостях. Ей казалось, что если она подольше побудет вне семьи, то этим самым разрушит какой-то стереотип и распахнет двери клетки... Однако ей пришлось вернуться домой раньше, чем она намечала, потому что Эйлин надумала как раз в это время куда-то поехать сама.

И хотя Кейт по приезде сразу же засосала домашняя кутерьма, от которой она бежала, пребывание вне семьи помогло ей другими глазами взглянуть на себя, задерганную наседку, на которую осмелился повысить голос собственный сын: она увидела, что действительно свихнулась.

События того лета — безобразная сцена за обеденным столом и последующее бегство Кейт из дома — послужили как бы толчком, повлекшим за собой важное событие лета нынешнего, ибо, не будь их, она бы не поддалась на уговоры Алана Поста, даже если бы тот прибег к помощи Майкла,— да-а, теперь она поняла, чем был так раздражен муж: тем, что Кейт не подскочила от радости, получив предложение Алана.

Что же все-таки помешало Кейт сказать тогда прямо, что у нее другие планы, что ей хотелось бы снять комнатку где-нибудь в городе и пожить летом, пока дом сдается, совсем одной? Ровным счетом ничего — просто не повернулся язык!

Ей нужен был трамплин.

А теперь она сидела на балконе, с которого ушел последний блик луны, смотря поочередно то вверх, где звезды почти слились с бледнеющим небом, то вниз, на улицу, совсем опустевшую наконец. Если бы вдруг она оказалась одна, абсолютно одна, и могла бы пожить в этой стране так, как ей хочется... Это и был бы тот самый трамплин.

Будь она сейчас одна, просидела бы она на балконе всю ночь до зари, а потом спала бы весь день, сколько душе угодно, а вече-

ром отправилась бы бродить по городу — ведь он не только база для туристов, но и порт Средиземного моря.

А вместо этого ей приходится сидеть сейчас в прохладе ранней зари на балконе чужого города, думая о том, что пора в постель, а то он проснется, освеженный сном, а она будет валиться с ног после бессонной ночи. Если она не слишком заблуждается, то перед ней мужчина-самец, и ему непременно захочется оправдаться в ее глазах, так как вчера вечером, вместо того чтобы заниматься любовью с Кейт, как принято в подобной ситуации, он замертво свалился и заснул.

В конце улицы показался какой-то человек. Блондин, северянин — видно, турист, как и она. Где же он был всю ночь — на берегу с молодежью? Пьянствовал где-нибудь? Танцевал? Заболтался в кафе? Или в прохладном подвальчике? Он поравнялся с ее балконом как раз в тот момент, когда на улице выключили свет. Полуночник какой-нибудь, застигнутый рассветом, подумала Кейт. Нет, он гораздо старше, чем казался издали: весь седой, а не белокурый — Кейт ошиблась, это был испанец, возвращавшийся, вероятнее всего, домой после ночной работы. Он прошел между рядами олеандров и остановился у фонтана сполоснуть лицо и руки. Потом энергично тряхнул головой, направился к ближайшей скамейке и растянулся на ней лицом к спинке, отгородившись от улицы, от прохожих зевак. Так, значит, он нищий? Бездомный бродяга? У Кейт вдруг что-то дрогнуло внутри. Ее так и тянуло спуститься вниз, на площадь, тронуть этого бродягу за плечо — осторожно, конечно, чтобы не испугать,— и спросить, не нужно ли ему чего-нибудь, предложить свою помощь. Интересно, а на каком языке она собирается к нему обратиться? Да, надо взяться за испанский!

Этот робкий всплеск чувства был точно таким же, как тот, что заставил ее после сцены с Тимом взять в дом бродячую кошку. Она испытывала к этой кошке нежную привязанность.

Домашние прекрасно понимали, какую роль играет кошка в жизни Кейт и какие мысли у нее вызывает; не было для них секретом и их собственное место в этой истории с кошкой, и, уж конечно, они отдавали себе отчет в своем отношении к ней. Они были ироничны и снисходительны: «Ну ладно, подобрала эту доходягу и радуйся; а все нам в отместку — потому что мы с тобой не лижемся!»

К Кейт в последние годы относились в семье как к инвалиду, а ее приблудную кошку считали чем-то вроде лекарства.

Однажды она услышала, как Тим сказал Эйлин: «А знаешь, в критическом возрасте такая забава для женщины — самое верное средство».

Она еще не вступила в критический возраст, но разубеждать их было бесполезно. Порой она чувствовала себя раненой птицей, которую забивают до смерти ее здоровые собратья. Или животным, замученным жестокими мальчишками. И что любопытно: она считала такое отношение вполне заслуженным — настолько она сама себе была отвратительна; поистине это был мрачный период ее жизни: мрачная весна, пришедшая на смену не менее мрачной зиме. Постоянно пребывая в состоянии раздражения, она стала опасаться за свой рассудок. Вскоре, правда, старшие дети почти перестали бывать дома, посвящая все свое время университету и друзьям, и мать воспрянула духом. И не просто воспрянула, а обрадовалась, хотя ей и было стыдно, что она способна испытывать подобную радость. Впрочем, все это уже позади. Самое скверное миновало. Но если это действительно так, то зачем она сейчас здесь, с

этим мужчиной, который, как с первого взгляда определила бы Мэри Финчли, не мог предложить Кейт ничего такого, чего бы она еще не знала, или такого, к чему бы она стремилась... Когда солнце выкатилось из-за моря и его горячие лучи упали сначала на воду, а затем и на крыши домов, Кейт ушла с балкона. Она чуть не падала от усталости. Когда глаза Кейт привыкли к темноте, она увидела, что Джеффри смотрит на нее с кровати. Улыбнувшись, она хотела было заговорить с ним... но потом поняла, что он все еще в полузабытьи: в глазах застыл животный страх, тонкие руки танцовщика как бы хранили воспоминание о сне, который он еще окончательно не сбросил с себя, лицо выражало тревогу и готовность при первом же сигнале опасности бежать без оглядки. Она тихо окликнула его:

— Джеффри! — Но он в ответ издал какой-то резкий, бессвязный звук и опрометью кинулся в ванную комнату. Она услышала, как его рвет. Немного спустя он появился, еле волоча ноги, цепляясь руками за что попало — вначале за дверную раму, затем за край сундука. Наверное, он думал, что находится в комнате один, потом, увидев ее, подался вперед и, схватившись за край кровати, вперил в Кейт пристальный взгляд. Она поняла, что на фоне ярко освещенного солнцем дверного проема должна казаться его больному воображению таинственной тенью, наблюдающей за ним. Наконец губы его раздвинулись в улыбке: до его затуманенного сознания дошло, что раз она в этой комнате, он должен знать, кто она. Улыбка была данью хорошему тону, пустой учтивостью, которой требовала ситуация, но не была согрета чувством. Он кое-как взобрался на постель и мгновенно забылся мертвым сном.

Она села у изголовья кровати и сидела так в своем белом с оборочками халатике, еще хранившем в складках приятную ночную прохладу, которую она принесла с балкона. Она давала себе клятву, что, проснувшись, не станет по-матерински опекать его, не предложит вызвать врача, не станет замечать его состояния вообще.

Опершись на локоть, осторожно, чтобы не потревожить его сон, на что способна только истинная мать по отношению к своему больному ребенку, она склонилась над ним, вглядываясь в его черты. Даже теперь, когда все его тело пылало, он ухитрялся выглядеть так, будто ему зябко. Лоб покрыт холодной испариной. Нет, даже пылко влюбленная женщина и та не могла бы приблизиться к нему с ласками. Было что-то в его состоянии, что начисто исключало всякие мысли о физической близости.

Кейт заснула и тут же очутилась на знакомой скале. Да, перед нею снова предстал измученный тюлень, медленно, с трудом ковыляющий к далекому, невидимому океану. Она взяла это выскальзывающее существо на руки... и зачем только она бросила его одного на этих скалах. Он совсем ослаб, в темных глазах стоял укор. Кожа пересохла — надо во что бы то ни стало добыть хоть немного воды. Вдали она увидела какой-то дом. Пошатываясь от тяжести, она неверными шагами добрела до него. Сейчас в доме не было ни души, но он был обитаем: в маленьком камине еще тлели угли. Она опустила тюленя на камень у камина и попыталась раздуть огонь. И ей удалось растопить камин, хотя в доме было совсем немного дров. Тюлень лежал спокойно, только тяжело вздымались и опускались его бока. Глаза закрыты. Он медленно умирал без воды. Тогда она перетащила его в примыкающую к дому баньку и стала брызгать на него водой из деревянных кадок, что стояли вдоль рубленых стен. Наконец животное приоткрыло глаза и, казалось, стало понемногу оживать. Она подумала, что у нее впереди масса всяких дел по хозяйству: навести порядок в доме, набрать в лесу хвороста, по-

ка еще не выпал первый снег, запастись кой-какой провизией, достать из сундуков теплую одежду для себя и для обитателей этого дома, которые — она это знала — были членами ее семьи. В комнате второго этажа она встретила высокого светловолосого юношу с голубыми глазами. Она знала его. Это был ее возлюбленный. Всю жизнь. Они легли в постель. Они ждали этого момента много лет, и благодаря долгому ожиданию и сильному влечению друг к другу их близость была упоительной... Вдруг она вспомнила о тюлене. Ведь он пропадет без нее, покинутый, один на полу в бане; он ждет ее. Она объяснила своему светлокудрому юноше: «Прости меня, я бы осталась с тобой навеки, но у меня есть одно неотложное дело — я должна донести своего тюленя до моря».

Она проснулась как от удара: яростно било в глаза солнце и не менее яростно обрушился на нее Джеффри, которому вдруг захотелось любви. Хотя ее собственный опыт — довольно ограниченный, как уже говорилось,— не дал ей случая узнать, как любят американские мужчины, она, разумеется, знала об их болезненном самолюбии в этой области.

Как бы то ни было, вчера вечером Джеффри уклонился от проявления чувств и теперь считал себя обязанным доказать свою мужскую силу.

Она хотела было обратить все в шутку: мол, недурно бы ему сначала чем-нибудь подкрепиться — он сам любил над собой так подшучивать,— но по его угрюмому виду и налитым кровью глазам поняла, что шутки на эту тему сейчас неуместны. Часы показывали шесть утра — и часа не прошло, как она заснула. Когда волна агрессивности схлынула, стало очевидно, что он совсем болен,— не лучше ли им сейчас мирно расстаться, как делают цивилизованные люди, и пойти каждому своим путем?

Лежа на своем халатике со смятыми белыми оборками, она всматривалась в угрюмого молодого мужчину, которому по его поведению никак нельзя было дать больше восемнадцати, и думала, что, если у него есть хоть капля здравого смысла, ему необходимо обратиться к врачу, и немедленно.

Нечеловеческим усилием воли она заставила себя сдержаться и не произнесла этого вслух.

Они оделись и пошли завтракать на террасу, к тому времени уже заполненную многоязычной публикой; Джеффри трижды выходил из-за стола и, наконец, признался, что у него расстроен желудок и ему надо сходить в аптеку за лекарством.

Она осталась одна и от нечего делать стала наблюдать за мужчиной лет пятидесяти, сидевшим с девушкой, которой на вид было лет двадцать, не больше. У мужчины была прическа как у Майкла: волосы свободно, без пробора падали от темени вниз; а на шее и на лбу были подстрижены по прямой; у женщин такая прическа называется «под пажа». Кейт сама когда-то носила такую, правда довольно давно. На красивом, дочерна загорелом, сухом лице мужчины, старавшегося казаться ироничным, чтобы не уронить себя в собственных глазах, застыла мольба, обращенная к его ослепительно молодой партнерше; та была польщена его вниманием и в то же время умирала от скуки. Мужчина производил впечатление человека неглупого. Mon semblable [1] назвала она его про себя. Где-то в Штатах ее Майкл, с такой же прической «под пажа», с таким же сухим и красивым лицом и такой же многоопытный, тоже, может быть, сидит, прикрывшись, как и этот, спасительной броней иронии,

[1] Мой двойник *(франц.)*.

а с ним такая же девчонка — воплощение юности в оболочке искусительной плоти,— которая и чувствует себя польщенной, и в то же время от скуки еле сдерживает зевоту. Правда, на сей раз с ним Эйлин, поэтому он, конечно, связан по рукам и ногам; и очень может статься, что юная дева, сидящая напротив него, просто-напросто его родная плоть и кровь, и он гордится ею и держится подчеркнуто предупредительно, как все пожилые отцы со своими взрослыми дочерьми...

Между столиками пробирался Джеффри, нагруженный пакетиками с целым набором медикаментов. Они поговорили о планах на ближайшее будущее; все это время он угрюмо поглядывал на праздную толпу вокруг и неожиданно заявил, что ему хотелось бы уехать отсюда в глубь страны, в «подлинную» Испанию.

Возникла проблема денег. Купить билет на самолет или нанять машину было ему не по карману. Он мог ехать лишь междугородным автобусом или поездом, поэтому и Кейт нельзя было думать ни о каком другом виде транспорта. Правда, это ее вполне устраивало: она любила так путешествовать.

С террасы был виден пустынный в этот час пляж. Двое мужчин огромными граблями выравнивали песок для новых орд молодежи, все еще нежившейся в постелях; впрочем, некоторые продолжали видеть сны, лежа прямо на песке под стенами террасы. Вот уж кого не мучили денежные проблемы: всю наличность они делили поровну. Если по многим признакам Джеффри и подходил для «детской» компании, то уже один тот факт, что он не мог принять деньги от Кейт— у него, как он сам выразился, при этом переворачивалось все внутри,— делал его чужеродным здесь элементом.

— Дальше по побережью есть одно дешевое местечко,— сказал он.— Там можно снять комнату за доллар в сутки.

Он сидел в зыбкой тени олеандрового куста, полуприкрыв веки, и держал руку на груди, точно заслонялся ею. Грудь под его рукой вздымалась и опускалась еле-еле, как у спящего. Он подолгу молчал; другая его рука свободно лежала на столе — иногда он судорожно сжимал ее и то впадал в забытье, то снова приходил в себя.

— Мне кажется, тебе разумнее было бы лечь в постель и не вставать, пока не станет лучше.

Эти слова неожиданно сорвались у нее с языка, и он, услышав их, как-то норовисто вздернул голову и с неприязнью уставился на нее.

— Зачем это? — спросил он ледяным тоном.

Еще не прошло и суток с момента их прибытия в Испанию, а они уже снова тряслись в автобусе, который вез их вдоль побережья на север, против волн туристов, движущихся на юг. Они направлялись в еще не загаженную туристами деревушку. Это даже и не деревушка, сказал он, а просто полдюжины рыбацких хижин; жены рыбаков там буквально с ног сбиваются, чтобы услужить приезжим, и не берут денег, пока насильно не заставишь. Они добрались до места к вечеру, но, приехав туда, обнаружили, что на берегу вырос большой новый отель, а пляж кишмя кишит отдыхающими.

Джеффри, всю дорогу проспавший у нее на плече,— Кейт постаралась сделать так, чтобы он даже не догадался об этом,— увидев эти новшества, тотчас направился обратно к автобусу.

— Куда же мы теперь?

— Дальше вдоль берега. Там есть еще одно подходящее местечко.

— Может быть, хотя бы поужинаем здесь? Или переночуем, а утром двинемся дальше?

— Нет, нет, нет, это рукой подать, всего каких-нибудь двадцать миль отсюда, садись!

И снова дорога. Внизу, справа по ходу автобуса, вилась изрезанная бухтами и мысами, особенно заметными на фоне коричневой земли, лазурь Средиземноморья и пляжи с белым песком, сплошь усеянные телами.

Время от времени автобус останавливался подобрать какую-нибудь крестьянку, возвращавшуюся домой от родственников или с базара с полной корзиной продуктов. В одном маленьком городишке в автобус села групка ребятишек, а час спустя на холме, где не видно было ни строения, ни огонька, они высадились. И растворились в черноте, держась за руки и громко разговаривая о своих детских делах,— испанские слова, словно незнакомые экзотические птицы, улетали вдаль, в море.

Джеффри спал. В полночь они доехали до конечной остановки. Миновав Альмерию, они оказались в небольшом городке, в миле от побережья. В городе была гостиница, совсем неприспособленная для туристов. Портье молча подождал, пока они заполнят регистрационные листки, и так же молча проводил их в ресторан, где еще сидели за ужином местные жители, не туристы. Джеффри заказывал одно горячее блюдо за другим, с сосредоточенным видом подносил вилку ко рту, но при первом же запахе пищи снова опускал ее. На лице его было написано недоумение и беспокойство: почему это его рука, будто по собственной воле, снова и снова опускает вилку с едой на тарелку. На десерт он заказал персики и, съев их, попросил еще. Это была их первая еда за день, и Кейт, быстро разделавшись со своей порцией, увидела, как он, доев пятый персик, опрометью кинулся из ресторана.

Когда она вошла в комнату, он лежал, раскинувшись на кровати; свет лампочки бил ему прямо в лицо. Он прикрыл глаза рукой, точно защищаясь от слепящего солнца. Увидев ее, он еще больше нахмурился.

— Джеффри!

— В чем дело?

— Тебе нужно показаться врачу.

Он резко повернул голову в сторону, как солдат, услышавший команду «Направо!» — и тоже словно по команде вытянул руки по швам. Потом рывком повернулся на бок и потянул на себя простыню, пытаясь прикрыться ею. Он лег не раздеваясь — даже туфли не снял. Что же до Кейт, почти не сомкнувшей глаз в предыдущую ночь, то она заснула, едва прикоснувшись к подушке.

Проснулась она рано; он был уже на ногах и заглатывал целыми пригоршнями таблетки, купленные накануне в аптеке. В семь утра он решительно заявил:

— Мы едем в Гранаду. Вглубь. Это совсем рядом.

Разумеется, она не возражала.

Пока она пила кофе со сдобными булочками и наблюдала, как осы лакомятся абрикосовым джемом, Джеффри в ресторан не входил, а стоял со стаканом содовой в руке, обсуждая что-то с портье. Оказалось, что из этого местечка нет прямого автобусного сообщения с Гранадой. Им придется вернуться назад в Альмерию и там пересесть в гранадский автобус. На дорогу уйдет весь день.

Он подошел к дверям ресторана, чтобы вызвать ее в вестибюль; она заметила, что он избегает смотреть на пищу и вдыхать ее запахи. Он решил ехать дальше по побережью. Там все-таки должно быть одно спокойное местечко, он хорошо помнит. Ясно, что дорога в Альмерию плюс долгое ожидание на стоянке и потом целый день

тряски в автобусе — это ему не по плечу. И однако какая-то сила гнала его вперед — не сиделось на месте. Кейт понимала, что это ему необходимо.

— Гранаду мы оставим на потом,— объявил он и понес оба чемодана, ее и свой, к автобусу, маршрут которого пролегал на север до Аликанте; по расписанию автобус прибывал туда около трех часов дня. Но до самого Аликанте они не доедут, так как, чтобы попасть в деревню, которую он имеет в виду, нужно, насколько он помнит, сойти раньше.

Автобус был до отказа набит местными жителями — туристов видно не было, если не считать двух юношей с побережья, отдавших, видимо, предпочтение более дешевому виду транспорта. Испанцы были веселые, общительные пассажиры; они переговаривались, громко обмениваясь новостями,— она, разумеется, их совсем не понимала, ни полслова. Да, это было поистине самое удивительное приключение в ее жизни — пожалуй, даже более удивительное, чем вся эта ситуация, когда она оказалась по воле случая с молодым мужчиной на руках, которого не могла бросить на произвол судьбы из-за того, что он то ли болен физически, то ли переживает какой-то духовный кризис, и что-то гонит его все дальше и дальше по вьющемуся серпантином берегу на север.

В полдень автобус сделал более долгую, чем до сих пор, остановку, чтобы дать возможность пассажирам выпить глоток вина и перекусить. Кейт оставила задремавшего Джеффри в автобусе, а сама пошла выпить лимонаду и выкурить сигарету. Вернувшись, она увидела, что шофер пристально разглядывает спящего. Он показал на него пальцем, давая понять, что тот болен. Она закивала и беспомощно улыбнулась: язык словно к нёбу прилип. Еще раз покачав головой, шофер вернулся на свое место, и автобус тронулся. Становилось все жарче, нестерпимо слепило глаза, и они с Джеффри обливались потом. Его пот отдавал чем-то нездоровым, лицо было очень бледно — до желтизны. Что у него, желтуха? Хотя он такой смуглый, что все равно будет выглядеть желтым при любом заболевании.

Автобус доехал до Аликанте к вечеру, и Джеффри проснулся. Он был весь мокрый, его бил озноб. Но стремление ехать дальше на север было непоколебимо. Она взяла его за плечи и сказала:

— Ты болен. Слышишь? Ты серьезно болен. Надо сейчас же лечь в постель и вызвать врача.

Он стряхнул с себя ее руки, словно освобождаясь от паутины или от сучка, за который случайно зацепился рукавом. Подошел к ближайшему автобусу и сел в него, даже не взглянув, куда тот идет. Она стояла в растерянности, не зная, что делать — звать на помощь? Кого? Полицию?

Так ничего и не придумав, она подняла чемоданы, брошенные им на обочине, и понесла к автобусу, где сидел Джеффри (тот, на котором они приехали, уже развернулся, отправляясь в обратный путь). То, что этот сверхвежливый американец позволил ей, женщине, нести тяжелые чемоданы и даже не заметил этого, достаточно красноречиво говорило о его состоянии.

На автобусе висела табличка с названием конечного пункта; Кейт понятия не имела, где это и далеко ли. Да какая разница в конце концов? Она купила бутылку содовой в кафе и отнесла в автобус. Джеффри стал пить воду, но с уже знакомым ей видом, как человек, у которого питье вызывает определенные ассоциации, словно у животного, одновременно испытывающего и голод, и отвращение к пище. Он судорожно подносил стакан к губам, жадно отпи-

вал... и долго держал воду во рту, не глотая, словно опасался, что ему дали отраву. Наконец он выпил всю содовую, и рвоты на сей раз не последовало. Значит, от обезвоживания он не умрет — и то хорошо. Он откинулся на спинку сиденья. Становилось все жарче. На улицах не было ни души — сиеста; только в кафе да на скамейках пыльного сквера сидели сонные люди. Городок словно придавило зноем, и, когда автобус тронулся, он был почти пуст.

Джеффри сидел, обмякнув; тело его скользило и дергалось, следуя поворотам автобуса. Поначалу автобус ехал прямо на север, но спустя полчаса свернул в глубь страны. Джеффри, казалось, даже не заметил, что вид Средиземного моря больше не сопутствует им. Спустя некоторое время он произнес с довольной улыбкой:

— Вот теперь все идет как по нотам, эта дорога как раз в ту деревню, я вспомнил.

Автобус шел по равнине, где изредка мелькали возделанные куски земли. Потом дорога стала подниматься на низкие холмы предгорья. Отсюда, обернувшись, можно было увидеть далекую синюю гладь моря. Затем оно исчезло за холмами. Каменистая дорога вилась по склону холма вверх. Джеффри мотался в полудреме из стороны в сторону. Она обняла его за плечи, чтобы он сидел более устойчиво и не падал. Один раз он открыл глаза, и в них вместо мрачной угрюмости больного появились проблески того недавнего прошлого, когда он еще только начинал искать ее расположения. Он улыбнулся ей просветленной улыбкой и сказал:

— Кейт! Просто великолепно, правда? Изумительно! Просто...

И, не досказав своей мысли, снова впал в забытье.

Наконец солнце спряталось за вершины более высоких холмов, чем те, среди которых пролегла дорога. Наступил вечер. В какой-то деревушке, похожей на деревушки Северной Африки, где нищета проглядывала в облике каждого крестьянина, лезла из щелей глинобитных домов, автобус остановился, выбросил из своих недр проволочную клеть с обалдевшей от жажды птицей, бочку сардин в масле и корзину апельсинов. Здесь же автобус подхватил двух монашек, совсем больных от жары, и немного задержался в ожидании Кейт, которая пошла в кафе купить еще содовой для Джеффри. Затем автобус двинулся в глубь полуострова.

Кейт укачало. Скоро, надо думать, это ужасное путешествие подойдет к концу. Дело в том, что Джеффри к этому времени стал вести себя как-то неровно: то вдруг встрепенется, начнет весело болтать, хохотать, а затем так же внезапно снова впадает в сонную апатию. Скоро ему самому станет ясно, что он серьезно болен и надо прервать поездку. А то и какой-нибудь шофер откажется везти их дальше. В восемь часов вечера, когда почти полная луна залила своим светом все вокруг, они остановились на крохотной деревенской площади. В центре находился фонтан, из которого уныло капала в водоем вода; на парапете белела потрескавшаяся фарфоровая чашка. Вокруг росли редкие, сплошь покрытые пылью деревья. Строение на другой стороне площади походило на кафе: большое окно-витрина было изнутри затянуто от солнца каким-то материалом, на улице стояли два столика, за которыми потягивали вино мужчины. Тут же на площади расположилось старинное, солидного вида здание, которое не чем иным, кроме гостиницы, быть не могло. Кейт нашла деревушку на карте. Оказалось, что они заехали на пятьдесят миль в глубь страны.

(Окончание следует).

ДЮЛА ИЙЕШ

В ладье Харона,
или Симптомы старости

РОМАН-ЭССЕ

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

Мчащийся замок

Один старец в доме воздействует умиротворяюще. Словно ощущаешь добротный фундамент под собой. Или прочный якорь. Как будто и в стремнине времени человека может удержать этакая стальная кошка. Два старца в доме не усиливают чувства умиротворения. Ну, а если стариков трое? Мы удивлены, мы улыбаемся, но нам не по себе. А каково видеть три десятка престарелых под одной крышей?

Я переступаю порог необычного дома: в холле, в спальнях, в столовых и даже в коридорах его собрались пятьсот — а если быть совсем уж точным, здесь обитает пятьсот шестьдесят четыре человека, сплошь престарелые матроны и древние старцы... Весь этот люд спешит куда-то, семеня ногами, или ждет чего-то, стоя опершись на палку, на костыль иль подперев рукою поясницу. За окнами сыпал снег и холодало. Будь погода благоприятнее, большинство престарелых обитателей дома наверняка разбрелось бы по красивейшему саду, опоясавшему особняк. Теперь же все они теснились внутри дома; некоторые пристроились даже на лестничных пролетах, кто сидя, а кто стоя.

В протопленном помещении обволакивало приятным теплом. Дверные ручки, окна, пол и стены — все сверкало безукоризненной чистотой. Громадное здание некогда было владением какого-то магната. За исключением фамильных ценностей и мебели все остальное в замке сохранилось или было восстановлено: в том числе и молельная скамья вся целиком из мрамора и даже часовня, где отправляли службы многие священники, но во спасение душ лишь одной малочисленной семьи. Точно так же в первозданном виде сохранены окрестности, и даже более, с тех пор удвоены заботы о том, чтобы из окон и эркеров, как и в былые времена, можно было любоваться прекрасным пейзажем; это парк, похожий на дендрарий, красивый водоем, мраморные gloriette[1] на противоположном берегу и сад с

Окончание. Начало см. в № 5.

[1] Павильон, беседка барочного стиля *(франц.)*.

разбитыми на французский манер куртинами из роз. Там же прогуливаются и павлины в усладу старческому взору.

Хотя само здание расположено в захолустье, в краю, залитом озоном, и до столицы отсюда километров двести, питание стариков образцовое, а уход безукоризненный. Культурное и медицинское обслуживание выше всяких похвал. Имеется в доме небольшой лекционный зал, где стоит телевизор; есть и больничное отделение во главе с врачом — энтузиастом своего дела. Радио — в каждой комнате. Имеется даже биллиардная.

Однако именно благодаря своему функциональному совершенству заведение в целом разительно напоминает огромный железнодорожный вокзал с залами ожидания первого класса. Пятьсот пассажиров сидят, стоят, читают или закусывают, заводят знакомства или болтают друг с другом, но каждый ждет своего поезда. И поминутно кто-нибудь да семенит к окну, выглядывает наружу, чтобы не пропустить.

Но, в отличие от станционного здания, этот особняк, свежевыкрашенный в радостные для глаза желтые тона, с не меньшим основанием можно сравнить с твердыней, средоточием постоянного пребывания. С колонией термитов, бобровым поселением или гигантским муравейником. Ведь вступивший в обитель эту уже никогда ее не покинет. Даже законченный брюзга не пожелает возвратиться в прежний мир, все внешнее как бы проносится поверх их жизней: другой там ритм, иные краски.

Впечатление далеко не заурядное, если наблюдать, как эти усохшие, тщедушные существа проходят мимо друг друга: головы свешены, спины согбенны,— того гляди, оборотятся в четвероногих все обитатели отстроенного с аристократическим вкусом дворца, где стены покоев на двухметровую высоту обшиты панелями из дерева ценных пород.

Тонкие ценители искусства испытывают особое наслаждение, своего рода эйфорию при виде архитектурных шедевров Венеции, Брюгге, Кёсега, Праги — городов, коим удалось пронестись сквозь время и, освободившись от бремени былого, возродиться для нового бытия, притом что прежние их обитатели, которые создавали эти очаги культуры кропотливейшим трудом и прилежанием, подобно тому как улитка создает свой домик, исчезли века назад, уступив место сутолоке новой жизни. Современный человек, попадая в эти старинные города, чувствует себя замурованным в древний археологический пласт и одновременно как бы парящим в заоблачном потоке времени.

Каждый человек сто́ит ровно столько, сколько остается от его жизненного опыта и продолжается в опыте последующих поколений. Средний возраст обитателей особняка, не считая обслуживающего персонала,— семьдесят лет. Помноженное на пятьсот шестьдесят и округленное, это составит сорок тысяч лет. Выходит, что в двухэтажном и, если присмотреться, не таком уж и громадном — не больше обычной гимназии — здании сосредоточен многолетний опыт стольких жизней, что расположи их последовательно, друг за другом, — и цепь времен уйдет в глубины гораздо большие, чем отдаленная память человечества о первой династии фараонов. Старше древнейшей истории!

Но, к сожалению, весь этот опыт свален в кучу и непригоден для разумного использования.

Жизнь каждого отдельно взятого человека — самостоятельное здание. И рушится каждое такое здание тоже по отдельности, само по себе. Человеческую цивилизацию, наиболее значительные ее тво-

рения создаем — объединенными усилиями — тоже мы, отдельные люди: так было искони, а не только последние сорок тысяч лет. Но то совсем иная материя. Индивидуальная жизнь входила в общее лишь опосредствованно, примерно так же, как в будапештский парламент, скажем, или в парижский Нотр-Дам вложены жизни десятков тысяч землекопов и каменотесов.

Человек сторонний, даже если он забрел из соседней деревни, чувствует себя здесь, среди обитателей замка, как в иной из дальних стран: на незнакомом и в то же время знакомом континенте. Где-то неподалеку от страны пигмеев, но не воинственных, а миролюбивых. Среди обитателей замка множество людей, улыбающихся каким-то своим мыслям, иные даже разговаривают сами с собой. Когда же они собираются компанией, их беседы и веселье по-детски непосредственны.

На положение свое они не сетуют, даже ненароком. И не только потому, что материально замок содержат в достатке. Не оскудела и эмоциональная жизнь его обитателей. Здесь зарождаются и перекрещиваются привязанности; обручения чередуются с разводами. Любовь — что верно, то верно — сопровождает человека до гроба; разве что сменится пристяжная в упряжке. Сближению людей здесь благоприятствует и то обстоятельство, что на этой стадии жизни не только стираются общественные различия, нивелируются и уровни культурного развития. Прожиточный минимум также у всех одинаков: в месяц на каждого из обитателей замка обществом отводится 1400 форинтов.

Эти строки пишет лирик, но сейчас его долг — приступить к расчетам.

Хотя в сумму расходов на человека здесь не включена стоимость постройки здания — ведь его получили готовым, но именно здесь, как нам кажется, лежит путь к решению проблемы в целом. Сколотить такую сумму годового дохода — куда войдут пенсия, страховка и деньги от реализации имущества,— пожалуй, мечта не столь уж далекого будущего. Картина покойной, независимой старости — отнюдь не иллюзия. Ни тебе грубого зятя, ни сварливой невестки, ни докучливых внучат. Исчезнет наша зависимость от неблагодарных детей. Посетители в пансионате для престарелых редкость. А значит, нет и сутолоки, какую видишь по воскресеньям в больнице или на кладбище в День поминовения усопших. Установление для посетителей Дня престарелых не одобрили бы сами старцы. Это поколебало бы иллюзию их, будто время стоит на месте. А здесь, внутри замка, время действительно остановилось. Но тем стремительнее, сумасшедшим экспрессом сквозь годы мчится самый замок.

В края неведомые, в края более таинственные, нежели те, куда заводят читателя Дюрренматт или Кафка. Гопля, старцы, цепляйтесь за поручни, вскакивайте на ходу, не то проскочит мимо вас экспресс. А ведь хуже всего неприкаянным остаться на обочине.

Пора заметить: в том отдаленном крае, где вы прежде жили, клонится к закату день — или, может, период,— когда бабушек терпели в роли нянек, а дедов подкармливали, используя в качестве бесплатных репетиторов.

Клонится к закату не в том смысле, что старики исчезают.

Число престарелых людей пока что множится. И напротив, число внуков, чьи плечи могли бы служить опорой, неумолимо сокращается,— похоже, они захотели совсем и навсегда исчезнуть из сих краев, сложив с себя даже заботу о том, чтобы обеспечить топливом этот мчащийся к своей цели и ритмично постукивающий на стыках экспресс: наш замок.

Именно поэтому замок и производит неизгладимое впечатление. Неизгладимое по самым современным понятиям.

Дул ветер, лил проливной дождь иль сыпал снег, и стояла непроглядная предрассветная тьма, но в любую погоду моя бабка по отцовской линии, разве что набив для тепла немного соломы за голенища сапог (все равно под подолом не видно), брала в левую руку молитвенник, наматывала на запястье четки и, покрыв голову толстой шалью, неизменно отправлялась в церковь. Так начинала она свое каждодневное единоборство со смертью.

Спасать молитвами только душу бабка могла бы и дома. Так даже времени на поклоны оставалось бы куда больше. До храма было неблизко: сначала надо было добраться до Домбовара, а там от площади Хуняди вниз, к «Короне»,— и непролазные лужи на дороге вызывали у бабки не благоговение, а даже, невзирая на мое присутствие, частенько и брань. Но те же лужи, когда они оставались позади, как видно, давали ощущение одержанной победы.

Вот и еще один день — понапрасну распускают слухи, будто она уже не жилец,— когда ей снова удалось преодолеть немалый путь до храма, да, она снова отстояла обедню и возвратилась домой, как победитель с трофеями. Для обитателей Домбовара бабка была «из благородных», пусть и ходила она в широкой крестьянской юбке, а все-таки — мать нотариуса! Допустимо ли предположение, будто бы в церковь бабка наведывалась всего лишь с целью утвердить свой престиж? Нет, это не верно: ведь она проделывала тот же путь и в безлюдном сумраке зимних рассветов. Торила путь жизни. Наперекор смерти. И тем самым брала верх над быстротекущим временем.

Должно быть, поначалу духовная жажда, своего рода вдохновение — бабка очень любила церковные песнопения — влекли ее с окраины пусты в храм, по делу и без дела. Однако под старость бабка научилась управлять своим религиозным рвением точно так, как правят своим вдохновением иные стареющие писатели, которые во времена своей буйнокудрой сумасбродной юности заставляли Музу по нескольку раз описывать возле себя круги, прежде чем они соизволят взяться за перо; но теперь, по прошествии лет, они чуть ли не с пунктуальностью чиновников в определенное время дня усаживаются за стол и поджидают Музу, которая тоже постепенно свыклась с этим режимом.

Уподобить себя бесстрастно отсчитывающему мгновения часовому механизму! Несомненно, это лучший способ бросить вызов самодурству бренности. Измерить неизмеримое. К сожалению, полностью это никому не удается. Но соблазн велик, и заманчивые попытки небезрезультатны. Они кое-что возвращают человеческому достоинству, ущемленному и кажущемуся беззащитным перед лицом старости.

Так какое же духовное содержание можно усмотреть в поведении внешне набожной крестьянской женщины, если мы примем за истину, что не религиозность направляла ее стопы ежедневно, в гололед и поземку, к размалеванным статуям девы Марии? Легкое помешательство? Пусть так, пусть именно одержимость навязчивой идеей помогала ей с гордо поднятой головою и державным спокойствием упорно перебираться через лужи и даже себе самой не признаваться в той боли, из-за которой она вдруг застывала на полдороге, но потом закусывала губу и, упрямо вскинув голову, шла дальше.

Лично я не ищу утешения в религии. Но по утрам, отрабатывая свой ежедневный урок, я спускаюсь по склону Семлё к купальне

Лукач — теперь, в зимнее время, больше скользя, чем ступая,— и плаваю там в открытом бассейне даже в снегопад. Дорога к купальне для меня почти столь же символична, что и для бабки моей путь из села в Домбовар, когда она в сумерках шлепала по грязи к рорате[1]. Это так успокаивает душу! Ежедневные паломничества «успокаивали» ее крепкое, выносливое тело.

Велико ли утешение, что́ реального и практического может дать религия,— это мы уточним позднее, столкнувшись лицом к лицу со смертью. Однако в трудные этапы старения немалым утешением могут служить нам и прочно установившиеся привычки. Не потому ли, что внушают нам чувство незыблемости бытия? Раз в день спуститься в город, зайти в кафе на партию в шахматы — точно такой же ритуал, источник повседневного самоутверждения, каким для моей бабки были рорате или песнопения при литании. Впрочем, точно так же и муж ее, а мой дед, в поисках душевного успокоения ежедневно карабкался вверх на гору, к давильне.

Стало быть, не последнее средство защиты против телесных и душевных недугов старости — твердо установленный для самих себя распорядок и неотступное следование привычным делам и занятиям. Иными словами, необходимо самим держать время в узде. Иначе оно заставит нас плясать под свою дудку: в угоду своей сумасбродной и бесчеловечной прихоти.

Итак, нет совета душевнее, как пожелать стареющим людям активной, до конечного мгновения длящейся деятельности. У человека единственная возможность посрамить смерть — не ждать ее сложа руки.

Дни мои сочтены. Хотя сам я их не считал. Это было бы абсурдно, ведь я не знаю, до каких пор вести счет. В действительности же дни свои я как бы взвешиваю чувствами, осознаю. Сейчас он здесь, этот солнечный субботний день, но вот, хотя еще не минуло и утро, а день проходит, удаляется... скоро минет, исчезнет. И вот я держу уходящие сквозь пальцы часы свои, осознаю, ощущаю их; я как будто леплю снежки, но то и дело вытираю руки: так быстро они тают.

Чего у нас мало, что наперечет, то нам и ценно. Мне жаль впустую истраченных часов. Мне думается, будто каждый из них нес для меня нечто стоящее, но не успел передать мне, а вернее, это я не сумел взять от них нужное. Или взял не полной мерою.

Правда, от минувшего часа всегда остается хоть что-то, но теперь я уже не довольствуюсь крохами. Проведенное за чтением время я, к примеру, воспринимаю лишь как времяпрепровождение, то есть более деликатную формулировку праздности. Если после просмотра фильма выясняется, что он глуп, я чувствую себя обкраденным: из кошелька моих жизненных ценностей, из самого потаенного отделения выброшен на ветер ворох векселей, каждый из коих имел хождение лишь единожды! Случается все чаще, что в компании я подаю жене условный знак глазами: мол, подыщи предлог, и levons l'ancre[2]! Я стал разборчив; окружающему миру все реже удается доставить мне радость.

Не сегодня осознал я парадоксальный факт: что в моих глазах приобретает ценность тот час, который сам же я наполнил содержанием, который именно я и сделал ценным, в течение которого я создал нечто стоящее. Иначе говоря, трудился. Или — выражусь строчкой стиха:

Тянул ярем проклятый человека.

---

[1] Утренняя служба у католиков перед рождеством.

[2] Поднимем якоря! *(франц.)*

А именно: если за день мне удавалось создать нечто кажущееся непреходящим, я ощущал тот быстротекущий день менее печальным, а себя — не столь несчастным. Подрезать виноградные лозы в саду — уже дело не пустое, а наконец-то расположить ступенями каменные плиты позади дома — что я собираюсь сделать много лет — труд еще более достойный, после чего меня определенно ждал бы спокойный сон. Закончить стихотворение или сбить странички полторы из прозы, да так, что уж если не кому другому, то Х. Х. они явно придутся по душе,— от этого я способен, пожалуй, что целый вечер, а то и всю вторую половину дня провести в праздности, чувствуя себя беззаботным.

Отсюда следует вывод, что веру — ладно, не веру, а скажем так: суеверие! — относительно бесконечности бытия разумнее внушать себе не молитвами, не паломничеством к ранней службе, но иным путем: приучая себя к полезной деятельности. Наполнить достойным содержанием каждый миг своей жизни, возвести ее в ранг непреходящей ценности, придать прочность и целесообразность своему бытию вплоть до аккордного, в высшей мере насыщенного или, наоборот, бессодержательного мгновения жизни.

Наиболее гуманное достижение современной жизни — это гарантированная пенсия: из повседневной суеты перенестись в альпийские луга свободного времяпрепровождения. После подневольной принудиловки попасть в новый, раскрепощенный мир, подобный предсказанному Кропоткиным: мир добровольного труда или вольной же праздности.

Наиболее жестокое изобретение современной жизни — это гарантированная пенсия; и вот уже с альпийских высот свободного времяпрепровождения миллионы низвергаются в трясину безделья. В свободном крае от добровольного труда отстраняют тех, кто трудится по склонности души; примерно так же поступили с крепостными: освободили их демократическим путем и лишь забыли дать демократические вольности.

Отстраненные от полезного труда, составляющего смысл их жизни, старики оказываются столь же беззащитными перед лицом старости, как оказалась бы и бабка моя Анна Чима, если бы какая-то злая сила вдруг лишила ее не только самоотверженных хождений к ранней обедне, но и самих молений — каждодневных бесед с девой Марией.

Как бы это ни звучало парадоксально, но факт остается фактом, и его следует отнести к наиболее существенным завоеваниям нашей современной жизни: столь необходимую для человека радость труда общественные формации, более или менее совершенные, в первую очередь гарантируют старикам. Что, безусловно, является обязанностью общества. И притом обязанностью столь серьезной, что пренебрежение ею чревато катастрофой: оно может нарушить равновесие всей структуры общества. Может дать лишний аргумент уже кое-где наметившимся теорийкам о рациональном сокращении чрезмерного числа людей престарелых как бремени для общества.

В старости, в пору пониженной работоспособности,— испытать радость труда... Вне сомнения, у людей язвительных, скептического склада ума это вызовет насмешку: прекрасно, скажут они, прекрасно, но почему бы не пойти и дальше, почему бы, к примеру, и любовные утехи не отнести на период пониженной потенции или окончательного затухания функций. Здесь тонкость в том, что и любовь для человека — безразлично какого возраста — определяется в первую очередь не его гусарской дееспособностью, а отношением к объекту любви. Получать радость, испытывать страсть означает способность

дать радость другому. Так и в труде: каковы бы ни были наши возможности, но мы лишь тогда способны испытать радость, когда оделяем радостью окружающих, тем самым очищая и просветляя мир.

Иными словами, занимаясь разумной деятельностью.

Отрадное зрелище наблюдать за старцем, подстригающим кусты роз, или смотреть, как почтенная матрона перетирает фамильный фарфор. Но это радости идиллические, наслаждения, отфильтрованные, как дистиллированная вода. Хотя можно себе представить и другие, ненарочитые — с привкусом хлеба и запахами обыденной жизни. Они — опора для души в моменты, когда рушатся последние из бастионов, они способны дать не меньше, чем молитва уму и психике человека, верующего в загробный мир.

Оттесненные на пенсию старики в известном смысле выполняют задачу провозвестников будущего. В обществе, основанном на механизации труда, все более снижается возрастной ценз лиц, вынужденных заниматься механической работой: освобождается дорога молодежи. К тому же время людей, находящихся в расцвете сил, сокращается. При социализме плановые институты, к примеру, предвидят годы, когда обязательный труд ради хлеба насущного будет занимать четыре-пять часов в день. А потом — и три-четыре. Можно представить себе контуры общества, которое потребует от своих сограждан двухчасового труда в день по обслуживанию машин, взявших на себя всю механическую работу. Тем самым запасы свободного времени откроют большой простор для развития личности и поставят перед обществом еще больше дотоле неведомых проблем. Ведь вполне допустимо, что люди, все раньше уходящие на пенсию и доживающие до все более долгих лет, возьмут на себя дополнительную работу — и не только ради пустого времяпрепровождения, но руководствуясь своими прирожденными наклонностями.

Они, к примеру, могли бы на практике проверить определенные теории.

Одобрительно кивая, наблюдаем мы идиллическую картину: старик, подстригающий розы. А что, если завтра ему вздумается не ухаживать за розами, а жать пшеницу — и не по принуждению, а по душевной наклонности, себе в удовольствие? Но прежде ему, конечно, надо посеять эту пшеницу. А до посева следует вспахать землю: значит, пришлось бы держать в хозяйстве тягловый скот. И даже корову — чтобы всегда иметь свежее молоко и масло. А это в конечном счете означало бы, что на определенной, достаточно высокой стадии развития общества возродился бы вновь — или, пожалуй, вернее: только тогда и стал бы осуществим — известный жизненный уклад, который завещал человечеству один из наиболее героических гениев нового времени — Руссо.

Монтень, поскольку он всегда смотрел в самую суть вещей, первым в истории христианства счел излишним перед лицом смерти (и в старости) прибегать к так называемому утешению в религии. Однако сам он почил смертью доброго христианина. В час кончины он велел служить мессу близ своего ложа. При выносе святых даров сложил руки, хотел было встать на колени и на том испустил дух. Так утверждает одна из хроник того времени.

Согласно другому источнику, философ на пороге смерти сетовал лишь на то, что некому открыть сердце, поверить заветные чувства.

Эта версия поражает, потому что в ранних своих произведениях философ писал, что хотел бы умереть в уединении. Он заранее испы-

тывал отвращение перед воображаемой картиной: рыдания женщин, детей и слуг, снующие подле умирающего священники, врачи, затемненная комната, мерцающие свечи. Охотнее всего он отдал бы богу душу в пути, сидя в седле: Plutôt à cheval que dans un lit, hors de ma maison et eloigné des miens[1].

Добровольное одиночество советует он избрать и в годы старости. Сам Монтень не дожил до преклонного возраста — он ушел из жизни в возрасте пятидесяти девяти лет,— но уже на тридцать восьмом году жизни он счел себя достаточно пожившим, чтобы, оставя суетность, в мире и покое беседовать лишь с музами. Монтень жил и умер в замке близ Бордо. Не знай я, что с точки зрения истории мое предположение абсурдно, я готов был утверждать, что дух тулузцев давних времен — катаров — продолжал жить в нем втайне.

Протестантизм с подозрением относится к мирной кончине. Благочестивому христианину должно покидать землю в страхе и страданиях. Это последнее — как ни парадоксально — служит важнейшим подтверждением догмы, что теперь мы сподобились вечной благодати: ведь еще на земле мы очистились от скверны. С улыбкою умирает и распоследний бродяга, и Сократ: то есть люди, полной мерой изведавшие терзания conditions humaines[2] обстоятельствами! А ревностный сторонник распятого Христа, причастившись истинной благодати последовать за мессией до креста, расстается с жизнью, стеная и скрежеща зубами. И терзают его сомнения, как терзали Учителя, Всеправеднейшего. Перед Высшим судией — Отцом небесным — должно испытывать трепет до последнего вздоха. Только так можно не сбиться с пути праведного. С пути веры.

Нелегкое наследие, эта вера. И немало повинна она в угнетенном душевном состоянии людей престарелых из самых разных уголков Европы; в том архаическом страхе, что неизбежно поражает цивилизации, верящие в царствие небесное.

Ну а теперь у нас на повестке дня — успокоительная вера в бессмертие души или же мирная и беспечальная кончина. Воображению нашему здесь неведомы пределы; как долго желали бы мы самолично — в виде никому не нужных воспоминаний — хранить свою индивидуальность здесь, на этой земле? Вечно! У нас и в мыслях того нет, чтобы посвятить свою старость мукам покаяния ради загробной благодати. Ведь мы не припоминаем за собою никаких грехов. То пресловутое яблоко, что якобы символизирует грудь Евы? Да и теперь мы готовы простереть к нему руки, жадно приникнуть устами. Поскольку жажда — начало начал! Познание стоит проклятия; ведь и само представление о святости могло зародиться только в пробужденном сознании. Или мир всего лишь игрушка для богов? Пусть это фантастично, но логические выводы за нас — или мы станем богами, или же черт приберет нас к рукам.

И все же по преимуществу именно перед старцами разверзается некая пучина — с водоворотами, конечно,— влекущая к обожествлению их земного существования. Рачительное отношение к прошлому поможет старцу собрать в своей памяти такую уйму воспоминаний,

[1] Лучше смерть в седле, вдали от своих, чем дома в постели *(франц.)*.
[2] Человеческого удела *(франц.)*.

что они уже сами по себе составят частицу вечного бытия. Наделенный живым воображением и знаниями, человек преклонных лет, чуть углубившись в раздумья о прошлом, не только Наполеона воспринимает как своего незадачливого современника, но и Навуходоносора, и старину-неандертальца. Остается другая половина времени: его протяженность в будущее, столь же «вечное». Но в грядущее даже боги никогда не заглядывают с веселой беспечностью. Страшно подумать, но это так: у Властителя Вечного Бытия, Распорядителя Высшей Благодати, среди ликов Божественного Откровения мы не найдем ни одного изображения с улыбкой на устах. Нет и не было ни единого лика хотя бы с улыбкой умиротворения. Брови божества, начиная с первых его явлений перед смертными, сурово сдвинуты, взгляд тревожен: словно бы и сам он со скорбью взирает на уготованное судьбой.

Зато наиболее необоримый источник смеха и юмора скрыт в раздвоении личности. Пусть кто попробует взглянуть на свое отображение в далеко отстоящем зеркале — или на кинопленке, — но не как на самого себя, а как на кого-то из своих знакомых. В подобном случае человек либо чувствует себя уязвленным, либо — подавив удивление — улыбается. По мере того как до него доходит, с кем, собственно, он столкнулся нос к носу, начинает смеяться; подчас смех этот переходит в безудержный хохот. Вряд ли можно увидеть зрелище забавнее, а по сути своей трагическое, когда человек, изрядно подвыпивший, с изумлением ощупывает правой рукой свою же левую руку, точно какой-то посторонний предмет, потом несколько раз приподнимает ее над столом: вот так диво — неужели и эта рука моя?! Извечный комический персонаж — трусливый воин, который пугается собственной тени,— встречался еще в микенских цирках. Или, скажем, после ужина в приятельской компании запустим — с ведома присутствующих — звукозаписывающий аппарат; а затем, этак через полчасика вывалим на стол все, что в самозабвенном упоении насплетничали наши приятели, к примеру, университетские профессора и их супруги; человеческий инстинкт и тут громким хохотом заглушает попытку самопознания, сопоставления с собственным «я». Эту возможность мгновенно взглянуть в глаза нашей собственной жизни.

Потому что обозреть свою жизнь — сформулируем так — человеку дозволено лишь по прошествии известного времени.

Чему и споспешествует старость, даже самое начало ее.

Неотъемлемый спутник старости — это, как мы видим, своеобычное раздвоение. Сия безобидная шизофрения — первый доброкачественный симптом вызревания мудрости. И впрямь, кого мы считаем мудрым?

Того, кто способен видеть объективно. В том числе и самого себя, глазами стороннего человека.

Того, кто отделяет грех от совершившего его.

И больше того: добродетель от ее носителя.

Да, именно так: объективная оценка и — к чему говорить обиняками? — собственные мои грехи помогли мне отделить самого себя от многого в себе.

О нет, отнюдь не замалчивание своих грехов! Напротив, полное их признание.

Вот уж где подлинный юмор.

Да, похоже, что тут я валяю дурака, вышучивая самого себя. Для увеселения собственной сиятельной персоны.

Под стать цирковому клоуну.

Нет, до чего же эта смерть банальна, она и шуток-то требует таких же заурядных.

Утонченной шутке я всегда покорный слуга, даже когда нахожусь в подавленном настроении. Но от пошлого гаерства уныло отворачиваюсь, будь я в самом добром расположении духа. Следовательно, прежде всего нам необходимо навести порядок среди самых разных по стилю и по духу несуразностей, связанных с надвигающейся старостью.

Юные — и относительно молодые — самой несуразною в поведении стариков считают ту их особенность, что престарелые люди, зная о немногих, скупо отмеренных им летах, тем не менее не ропщут и не помышляют о самоубийстве, а напротив: выписывают газеты, покупают новую одежду, писчую бумагу, задумывают романы — и сочиняют их. И это на пороге смерти! Свойственная молодости оценка старших как людей несколько «тронутых» остро ощущалась мною в сорокалетнем возрасте, хотя помню время, когда я и сам тоже на сорокалетних смотрел как на обреченных в камере смертников. Это мое воззрение сохранилось и поныне, четверть века спустя после того, как самому мне минуло сорок лет. Положение стариков тем безотраднее, чем преклоннее их лета. Установленный факт касается и меня самого; я, однако, и сейчас не могу оценить ситуацию иначе, нежели оценивал ее в момент зарождения теории «о престарелых»; столь явное противоречие непроизвольно вызывает у меня улыбку. Мнится, что здесь я улавливаю юмор более тонкого свойства.

Приведу цитаты:

«Я сделала для себя открытие: отрадна мысль, что за тобою такое долгое прошлое»,— Симона де Бовуар.

«С годами человек в чем-то становится тверже, в чем-то мягче, но ни в чем и никогда не становится более зрелым»,— Сент-Бёв.

Согласно учению альбигойцев — читаю я в заметках Эрвина Шинко [1],— убийство потому является грехом, что «душа есть творение бога, плоть же — порождение дьявола, и душе, скованной плотью, потребно время на очищение. И потому всяк живущему необходимо достичь преклонного возраста». И далее: «Современный человек не умеет видеть в старости столь же глубокий смысл».

Юлишкин нос

Стареющая Юлишка прирезала и выпотрошила утку, после чего заходит в комнату, где окна тщательно притворены и занавешены во спасение от жары и пыли. Юлишка пришла за распоряжениями на дальнейшее. И тотчас бросается вон. Не задерживаясь даже на кухне. Торопится во двор, точно ее вот-вот вырвет. И действительно, ее мучит приступ тошноты.

Дело в том, что Младшая Барышня два дня назад поставила в вазу лилию. А запаха этого Юлишка не переносит.

[1] Эрвин Шинко (род. в 1898 г.) — югославский писатель, пишущий по-венгерски.

С некоторых пор она точно так же не переносит и запаха жасмина.

— Оттого я с начала июня не могу даже ходить к обедне.

Да и к вечерней службе тоже.

Перед выносом святых даров — будь это хоть на самое рождество! — Юлишка норовит отступить поближе к двери.

Она не терпит также и запах ладана.

— О, сад цветущий Вельзевула...— начинает было очередную остроту муж Барышни, но, прочитав во взгляде жены упрек прирожденного педагога, меняет тему.

Ему остается только поинтересоваться, переносит ли Юлишка запах бузины.

Да, переносит.

— А болиголова?

И болиголова тоже. И всех сорняков, какие есть. А ведь некоторые из них — если уж говорить начистоту — такие пахучие, что руки не сразу отмоешь.

— Велик был бы от меня прок, будь я эдак привередлива! — заявляет Юлишка, но все же не отказывается от стаканчика рома, почти насильно всунутого ей в руку.

— Ну, а липа, когда цветет? — не унимается муж Барышни. По нему, любой предлог хорош, лишь бы затянуть разговор и увильнуть от собственных дел.

Но Юлишка даже по мимолетным укоризненным взглядам Барышни улавливает для себя обидное, вернее, отдаленную тень предполагаемой обиды. Она ставит на стол стаканчик. За облегчающий страдания напиток демонстративно благодарит одну только Барышню и поворачивает к выходу, ее ждут домашние хлопоты.

— Время от времени следовало бы заново составлять особые словари запахов, в точности так, как составляют философские словари. С годами не только запахи для человека меняются: помимо возрастного при нака здесь надо учитывать и род занятий...— начинает муж Барышни, и он, очевидно, намерен долго еще развивать эту тему, но Юлишка соизволила выслушать лишь первые несколько фраз, чуть задержавшись в дверях. А потом отправилась по своим делам, как механическая пила, которую вдруг остановили на секунду, или как человек, который проходит мимо чирикающей стаи, и чириканье это для него лишено всякого смысла.

Рассветная заря сменяется вечерней, за весной неотвратимо следует осень, листья деревьев опадают, и вянут цветы: надо, стало быть, примириться и с концом человеческой жизни, со смертью; так проповедуют многие теории бытия и многие религии мира — сколь прекрасны пассажи этой мысли, ее баюкающая мелодика, к примеру, в буддизме.

За исключением христианства. И на старости лет изумляюсь я тому отчаянному бунтарству, с каким оно, вопреки очевидности, стоит на своем. Вглядываясь в глубь истории, осознаю я ту дерзостную и почти безумную отвагу, с какой оно много веков назад бросило вызов реальности, обыденной косности! Ведь этот протест, эта ненасытность жизнью — с самого детства, еще подсознательно — была и моей верой тоже.

Человек, по Библии, был создан для жизни вечной. Адаму и всему его роду даровалось бессмертие; и потому в момент пробуждения разума первая чета людей не знала смерти. Коварные, чуждые силы украдкой протащили смерть в их дотоле безгрешный мир. Но сила зла

не вечна. Сам творец ужаснулся подлости содеянного и единородному сыну своему вверил конечное спасение человечества.

Но чтобы такое благо, как бессмертие, и променять на яблоко! Нет, здесь бессильны любые толкования, даже когда обращаются к пресловутому подсознанию. Подобную легенду нельзя принять. От бунтарской мысли — что бытие логично! — не так-то просто отказаться. То место Библии, где говорится: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь», или тот вариант его, который в силу своей древности звучит с доподлинностью райского первоисточника: «Воньже аще день снѣсте оть него смертію оумрѣте», — не более чем дешевый розыгрыш; поелику и сам Адам не ведал тогда, что значит смерть. А знай, он наверняка отверг бы яблоко. (Да и Еву тоже, если уж принимать навязчивое фрейдистское толкование, по которому яблоко-де означало нечто большее, нежели насыщающий плод.)

Все же в возникновении многих неприятных симптомов старости повинно христианство: именно тем, что оно сулит человеку надежду — а точнее, обрекает его — на посмертное бытие. Поскольку христианская старость и есть те последние дни из отпущенных нам на земле, когда мы способны направить душу свою, провозглашенную бессмертной, к спасению, иначе ее удел — муки мученические навечно.

Старость для древних греков протекала более идиллически. Она приносила человеку годы покойного созерцания, полного отдохновения от суетной жизни. Платоническое продолжение жизни или переселение души в царство идеи не носило характера всеобщего принуждения. После гибели тела душу вовсе не обязательно ждало бессмертие; душа тоже могла кануть в небытие. Так было ли чего страшиться старику? «Quid igitur ti meam si aut non miser post mortem aut beatus etiam futurus sum» [1],— с удовлетворением признавал и Цицерон. Или осенит меня бессмертие, и тогда я (при любых обстоятельствах) буду счастлив, или же бессмертие минует меня, но с ним минуют и беды,— эта дилемма даже с практической точки зрения идеально соответствовала образу мыслей оратора.

Для христианина же вечное блаженство достигалось способом, отчасти напоминающим игру в «палочку-выручалочку»: успей только в последний момент подскочить к заветному дереву или стене и хлопнуть ладошкой.

Из всех основанных на вере в загробный мир религий наиболее логичный и гуманный путь к достижению вечного блаженства — а тем самым и к обретению счастливой старости — предлагает религия альбигойцев. Их вера зиждется на непреложной убежденности в победе души, но сама эта победа достигается лишь после деликатного — сродни убеждению — смирения плоти. Кто принимает обет катаров — обет совершенства,— тому надлежит отринуть все земные соблазны и искушения и жить, уподобясь Христу. Однако к сей святости следует направить ум и сердце чуть ли не перед самой смертью. После того как, обдумав и взвесив все должным образом, человек добровольно отказывался от мирской суеты, единоверцы окружали его почетом, близким к молитвенному поклонению. Итак, вступить в жизнь вольным трубадуром, провести ее эпикурейцем и завершить святым — немало людей прошли этот цикл, переняв воззрения тулузцев на бытие и человека.

[1] Чего же бояться мне, если после смерти я либо не буду несчастен, либо буду счастлив? (Марк Туллий Цицерон. Избранные сочинения, стр. 379).

Может статься, я впадаю в повторы. Не помечая датой, веду я эти свои почти дневниковые записи. И даже не в отдельной тетради. На первом попавшемся под руку клочке бумаги, на помятом конверте от завалявшегося в кармане письма. Мои наброски копит старая канцелярская папка, где вольно им по-новому тасоваться всякий раз, как я их перебираю.

Правда, порой мелькала у меня мысль: а не облечь ли свои заметки о столь жгучей проблеме времени в четко скомпонованное произведение? Я уже представлял себе разделы и главы книги, достойно обобщающие столь значительную тему. Только вот времени у меня для этого нет. И не потому, что я не мог бы выкроить дни. Нет его потому, что для стратегических планов, для приведения в порядок моих боевых сил требуется покой. А именно покоя мой неприятель и не дает мне! Он наступает ежеминутно. Что ни мгновение, то теснит меня на другие позиции, вынуждает отходить на новые оборонительные рубежи. Да и оборону мою можно сравнить с отчаянным сопротивлением арьергарда в захваченном неприятелем городе. Стало быть, каждая из этих отрывочных заметок — как одиночный выстрел из окна или из-за печной трубы. Но после каждого шага вынужденного отступления лишь настойчивее и упорнее моя оборона; я бы даже сказал, вдохновеннее. Потому что она успешна.

Чтобы пресечь или побороть глупые выходки старости, существуют два пути, не сегодня открытые. Первый — это ранняя смерть; непрошеное, но и неотвратимое решение, навязанное самой природой. Другой путь — смириться, терпеливо нести бремя свое, не бояться заглянуть смерти в лицо и еще уйма куда более обтекаемых формулировок, которые предлагают нам философы.

Рассмотрим — в их очередности — сначала первый, а затем и второй путь, если, конечно, первый не даст ответа, удовлетворительного для человека нашего времени.

Но в обоих случаях прежде всего необходимо само понятие старения перевести на язык критериев разума.

Процедура все более хлопотная с течением лет. Не только лет нашей жизни, но и с точки зрения эволюции исторических эпох. В глазах современного шестидесятилетнего человека восьмидесятилетний стар. В рыцарские же времена тридцать и тридцать пять лет — появление первого седого волоса на голове или в бороде — как бы знаменовало собой пограничную веху следующей, более суровой зоны существования.

По сравнению с другими жизнеощущениями человека, которыми он наделен с незапамятных времен, чувство старости — понятие современное. А потому и само определение старости проблематично и не окончательно.

Быть может, старость адекватна спаду жизненных сил? Но сколько молодых людей и даже младенцев оказывается нежизнестойкими! В таком случае можно степень старения определять близостью человека к смерти. Ну, а если представить полк новобранцев за миг до рукопашной схватки? Итак, остается принять за меру измерения старости отрезок жизни до естественной смерти человека, то есть до кончины от старческой дряхлости.

Все так, но ведь и смерть тоже — понятие современное. Больше того, оно до сих пор не укладывается у нас в голове. Собственная смерть для каждого из нас невообразима; и эта наша неспособность вообразить ее, судя по всему, является предпосылкой того, что мы до-

водим до конца другую цепь нецелесообразностей — ту, что называем жизнью.

Что нам остается противопоставить, что возразить на все это? Покуда грубые выходки смерти похожи на озорство разнузданных подростков или подгулявшей солдатни, ответ подсказывает нам жизненный опыт: махнем рукой, встанем, отряхнем одежду и, не теряя самообладания, продолжим путь. Коль скоро мы верим в действенность воспитания, удовлетворим заложенный в каждом из нас менторский инстинкт и пошлем несколько назидательных сентенций в адрес виновницы нашего конфуза или ее равнодушных свидетелей.

Если заигрывания грубы, ответ наш — спокойное презрение. И чем они грубее, тем непоколебимее наше презрение. Если же каверза переходит в подлость, все равно нет иного ответа, кроме презрения. А если в этой игре нам переломали кости и недостает уже сил тащиться дальше, припадем лицом к земле, накроем голову полою одежды и, если не сможем молчать, дадим себе право на стенанья, подобно Монтеню. Если отнимут у нас и последний лоскут одежды, то, прижавшись к земле, ладонями прикроем голову. Если же удары в лицо вынудят нас подняться, если нас лишат даже права на стенания, по Монтеню, тогда всю силу презрения выразит наш взгляд. Если будет наложен запрет даже на презрение во взгляде и в складках рта, спрячем презрение в сердце, надежно укроем его упорством: нет, я не сдамся, не таков был уговор; это не справедливо; это неправда, что нет избавления.

Гостиница была старая — по меньшей мере столетняя,— но чистая и надраенная, как океанский пароход. Она захватила в длину довольно большой участок между озером и склоном холма, поросшего дубравой. Состояла гостиница из нескольких зданий, связанных между собою крытыми галереями и крытыми же мостками. Нет, не одинокий корабль здесь плыл через лета, но целый караван судов. Внутри все сверкало: медные ручки и задвижки до блеска начищены мелом, на створках дверей блики свежей масляной краски, в коврах — ни пылинки, окна не захватаны грязной рукой.

Девственная чистота ветхих зданий — это кажущееся противоречие — благотворно действует на человека. Освежающий запах, распространяемый старинными вещами, приятно поражает не только обоняние, но и разум. Впрочем, в этой гостинице заезжего подкарауливали и другие, не менее приятные и бодрящие мысль сюрпризы.

Кому из нас не доводилось переступать порог комнаты, где обосновалась чета одиноких стариков; где пол под ногами у нас деликатно прогибается, понуждая к легкому, столь же деликатному поклону кресло, к которому нас подвели хозяева дома и предлагают сесть.

Судя по узорам, паркет в гостинице, возможно, был выстлан еще во времена австрийской монархии. А в таком случае не удивительно, что настил под паркетом, тесанный, очевидно, из сосны, давно изъеден древоточцем и поврежден. И тем не менее нас поражало, когда этот паркет из дерева твердых пород прогибался под ногами, как неокрепший ледок под ногой конькобежца. Отчего же податливость паркета так удивляла нас и вызывала скорее улыбку, нежели хмурые складки на лбу? Потому что на паркете невозможно было заметить ни пятнышка грязи; сухое и окостеневшее за годы дерево много раз циклевали, щедро покрывали воском, ежедневно наводили глянец и, судя по всему, перед самым нашим въездом снова тщательно на-

терли. Стоило сделать шаг, и тотчас же навстречу вам учтиво кланялось кресло. Изящный шкаф из дальнего угла и зеркало напротив него учтиво приветствовали нас. К тому же поклоны эти отвешивались как бы сами по себе, независимо от движений человека, поскольку сложная сетчатка паркета резонирует совсем иначе, нежели прямой дощатый пол. Наша улыбка, все более широкая, была на это ответом. Мы простили старине его слабости, обезоруженные его опрятностью.

Лишь повзросление подростка так же глубоко меняет суть человека, как наступление старости. Чтобы этот процесс созревания действительно обрел гармонию, чтобы не стал он мешаниной полуотвердевших черт, для этого вряд ли нужно что другое, кроме содержания в чистоте внешнего, равно как и внутреннего нашего облика: если потребуется, ежедневно скоблить себя щеткой, начищать порошком, наводить восковой глянец. Как туманное детство есть преддверие отрочества, так примерно в последние годы зрелого возраста смутно предугадывается старость человека. Этой поре жизни свойственна своя прыщеватость, взбалмошность, настороженный интерес к миру, открываемому женщиной, алкоголем и томиками стихов; здесь неизбежны ночные пробуждения от будоражащих мыслей: уповать ли на будущее, надеяться ли на бога, какова цена человеческого достоинства?

Старость, даже вызревающая закономерно и естественно, то есть в отведенные ей годы, существенным образом меняет человека, так что многим людям — в особенности наделенным недюжинной силой воображения — приходит мысль: а не изменить ли и само имя свое? Костолани, ступив на стезю старения, все чаще уходил в плотскую оболочку любимого героя Корнеля Эшти [1]; еще один писатель, в годы зрелости Синдбадом бороздивший землю — Дюла Круди [2],— под старость лет чуть ли не каждую неделю перевоплощался в того или иного персонажа своих новелл из прошлого. Общеизвестно, что в последние годы жизни Эрнё Сеп [3] представлялся следующим образом: «Меня звали Эрнё Сеп». Как-то однажды, когда он в очередной раз произнес эту фразу, я, оставшись с ним с глазу на глаз, спросил, как он намерен называть себя отныне. «Давай-ка посидим за стаканчиком вина, отведем душу»,— предложил он.

Частое явление, когда переступающие порог отрочества чувствуют долее невыносимым зваться именем, которым их нарекли при рождении. Для многих молодых людей мучительно зудящей змеиной кожей становится необходимость носить свою фамилию — имеется в виду отцовская, с фамилией матери они бы еще как-нибудь смирились. В дальнейшем подобный душевный зуд, потребность внутренней линьки у человека вызывает лишь климат самого долгого периода жизни: нашей старости. Сходство, конечно, поверхностное. Ведь и юноша стремится не просто освободиться от пут отцовской фамилии, но и обрести независимость.

Все эти отступления должны объяснить, почему именно автора сих строк на рассвете первой ночи, проведенной в старенькой гостинице, обуял неудержимый зуд высвободиться — из чего и отчего, спрашивается? Но вырваться во что бы то ни стало из теснейшей оболочки, не боясь остаться нагим! Не дожидаясь естественной линьки, вырваться, сдирая живую кожу!

---

[1] Герой одноименной новеллы Д. Костолани.
[2] Дюла Круди (1878—1933) — известный венгерский писатель.
[3] Эрнё Сеп (1884—1935) — венгерский поэт, прозаик, журналист.

Да, зодчество — это приверженность стариков. Подобно тому, как насаждение деревьев или разбивка садов — тоже стариковское занятие, совершенно независимо от того, есть у нас внуки или нет, любим ли мы орехи или определенный сорт абрикосов. Как зодчество, так и садоводство суть искусство и мировосприятие перспективы. А старики заглядывают далеко в будущее. Порядок и гармонию они желали бы утвердить на долгие годы вперед после себя.

Одна из причин тому — необъятные просторы пережитого, оставшиеся позади.

Другая причина — ответ самим себе на вопрос: в чем суть непреходящего?

В упорядочении и в утверждении гармонии. Той естественной гармонии, что предстает перед нами: застывшей — в ячейке медовых сот — и точно тою же, но непрестанно изменчивой в чарующем глаз хороводе планет и звезд.

Вовлекать ли в миропорядок, утверждаемый Человеком, все более широкие пространства?

По бестактности удивления — зачем-де пестует плодовые саженцы старец, кому не суждено собирать плодов,— соперничает другой вопрос: почему кафедральные соборы Европы, несравненные по красоте и совершенству своих пропорций, проектировали и начинали строить папы в престарелые лета жизни, а прочнейшие крепости воздвигали князья в закатные годы своего правления? Не оттого ли, что к преклонному возрасту они постигали, чего требует от них бытие и как эти требования удовлетворить? Не оттого ли, что для понимания велений времени — даже в этом смысле — также необходимо время? Но первопричина глубже.

Сколько членов семьи, столько же и тихих закутков должно быть в квартире; именно так и мы сами прежде представляли себе совместную жизнь в семье, когда цивилизация обеспечивает человеку исконное право на уединение, хотя бы в виде крохотного спасительного прибежища. Запросы моей жены и посейчас остались неизменными. В себе же я опять подметил некие предательские поползновения, когда наша дочь, чтобы можно было устраивать дома студенческие вечеринки, упросила нас сломать перегородку между двумя комнатами. Стремление к простору, жажда захватить его и подлинное опьянение пространством овладевали мною, и чем дальше, тем сильнее, так что в конечном счете я готов был всю нашу квартиру превратить в один общий зал. Ну, а как же тогда быть с извечным правом человека на уединение? Естественно, что его тоже следует сохранить. Иными словами: столько залов, сколько человек в семье? Или точнее: сколько в семье стариков, потому что каждому нужен свой уголок тишины? Впрочем, я не намерен сам себе ставить логические подножки, коль скоро сама мысль идет верным путем. Мне хотелось бы в окружении близких и в тишине раздвинувшего свои стены зала, расхаживая взад-вперед, вынашивать планы: как оделить предельно широкий круг людей своим жизненным опытом — по-княжески богатым и в то же время поддающимся делению на армейские пайки,— как осчастливить тех смертных, которые моложе меня по возрасту настолько, что я вправе смотреть на них почти как на своих подданных.

Почему обретают радость в строительстве жилья именно те, кому уже недолго осталось жить на земле? Подобное противоречие объяс-

нимо: старые люди верят в непреходящие ценности, собственно говоря, они оставляют по себе памятники, воздвигают мавзолеи сообразно своему духу и замыслу, возводят созвучные времени пирамиды.

Радость, которую они обретают, разводя сады, закладывая города или внося свою лепту в переустройство общества, объясняется точно так же. Старики верят в будущее. Верят в род человеческий. Верят в возможность переустройства будущего и совершенствования человека. Верят даже в возможность укротить бег времени. Верят в борьбу со злом и в то, что оборимо Наихудшее из Зол. А поскольку для достижения своей цели старики создают необходимые средства — орудие и оружие,— то вера их, прошедших свой жизненный путь, более действенна, чем убеждения тех людей, о ком принято говорить, что они стоят на пороге жизни. Старики по природе своей — бунтари в лучшем смысле этого слова, и требования их максимальны. Старики — вот кто поистине молод!

Исайя и Иеремия

Одиннадцать часов утра, день святого Сильвестра[1]*. Однако на небе ни тучи, ни облачка, как подобало бы закату года.*

Напротив, по небу и по земле разлито такое сияние, что человек с седыми прядями волос невольно сдвигает свою меховую шапку на лоб, потом нахлобучивает по самые брови. Он проделывает это впервые в жизни, но этот жест он еще в детстве подметил у парней из пусты, когда те, уже вскочив на коней, поправляли шапку и осматривались по сторонам: ну так куда?

Причина ослепительного сверкания очевидна: повсюду, насколько хватает глаз, все горы и долы покрыло снегом. К тому же снег этот выпал позавчера, вчера его прихватило морозцем, и он заискрился алмазными переливами.

Вперед и по сторонам обзор до самого горизонта: ширь открывается необъятная. Глаз достает дальше, чем могло бы достать ядро старинной, приземистой, влекомой конной тягой пушчонки. Озерная гладь просматривается до противоположного берега и по контрасту с ослепительным бело-голубым сверканием кажется совершенно черной.

Но не меньшее наслаждение испытывает человек, когда он оглядывается назад. С двух сторон чередой встают горы — они повыше, и холмы здесь более пологи. Не слитная цепь холмов и не единый горный хребет, а словно бы свободная россыпь гор и холмов, случайно притиснутых друг к другу, как дома в городе.

Горы скрыты под лесом. На вершинах — светло-зеленый ельник, ниже по склонам — охряно-рыжие кроны дуба. Листва на дубе держится целую зиму.

Зато на безлесных холмах — торжественность зимних кладбищ. Куда ни кинь взгляд: что холм, то и новое кладбище. Со своими часовнями, расставленными почти на одинаковом одна от другой расстоянии.

Дело в том, что холмы эти — сплошь виноградники. И параллельные ряды виноградной лозы в их зимнем уборе донельзя напоминают припорошенные снегом могильные холмики. Даже в крестах и надгробных памятниках нехватки нет: виноградные жердины скорбно торчат, повторяясь сотнями тысяч.

Исполинское кладбище: не обойти его и не измерить.

[1] 31 декабря.

И ни души вокруг.

Один только седовласый мужчина упорно карабкается вверх по склону; он намеревается выступить в качестве маклера по приобретению недвижимости. Вот он уже обзавелся палкой: вырванная среди виноградника тычина хоть немного облегчает подъем.

Время от времени человек осматривается по сторонам. У него назначена встреча.

В селе ему сказали только, в каком направлении идти.

Но в этих краях он не впервые.

Мужчине надо добраться до старой давильни, которая, неведомо с каких времен, стоит без соломенной крыши и с обвалившейся трубой, и узнать цену и условия продажи этой развалюхи. «Примечайте,— посоветовали ему,— где поднимается дымок, там давильня, неподалеку от той, что вам нужна».

Предметом торга сейчас могут быть только стены давильни, прежде содержимой в порядке и приносившей доход. В длину строение занимает метров тридцать с лишком. С оголенными перекрытиями — прокопченными стропилами и потемневшей опорной балкой — давильня застыла на поле подобно скелету гигантской рыбины, как будто в половодье выбросило ее когда-то давно на сушу.

Ну, так где же он, тот самый дымок, который должен направить путника к хозяину допотопного чуда-юда?

А, вон из той небольшой лощины поднимается струйка.

Небесно-голубой дым (значит, жгут сучья плодовых деревьев) штопором ввинчивается в голубое небо, и идет он не из трубы и вообще не из самой халупы. Костер под открытым небом раскладывает какой-то угрюмый старик — на приветствие он попросту не отвечает.

Эта давильня не годится и в дальние родственники той, что, как говорили, намечалась к продаже. Она даже в лучшие свои времена, по-видимому, больше походила на погреб, вырытый на склоне холма. Спереди к погребу пристроили небольшую клетушку, какая требовалась, только чтобы поставить виноградный пресс да хранить садовый инвентарь и опрыскиватель.

Но время разрушило и эту пристройку, да так основательно, что некогда сложенные из бутового камня стены ее теперь едва доходили до колен. Так что дверь собственно погреба стала наружной дверью самой давильни.

А перед дверью погреба, ныне же под открытым небом, горит костер из плодовых деревьев; от него вздымается дым, красивый в своей строгой прямоте и удивительно гармонирующий с замкнутостью и неподвижностью самого старика.

Потому что первой фразой его было:

— Не продается.

У старца глаза домашнего кролика: красные. Хотя вообще-то у него красноваты одни только веки, лишенные ресниц. И краснота эта отражается в светло-голубых глазах, как розоватость небес — в стоячих водах. Седовласый мужчина сдержанно отвечает: зачем-де тогда его заставили топать в такую даль, да еще по бездорожью и в снег.

Старик меряет взглядом незнакомца. И только потом удостаивает ответом, в тоне его звучит такая же сдержанность:

— А я никого и не звал сюда. Сказал только, что буду здесь. Да еще зятю велел передать, пусть заходит с бидоном, если пожелает.

Но все же старик привстает, не снимая ладоней с колен. Точно аршины, поочередно выпрямляет свои сухопарые, острые, как доски, ноги. Приличия ему известны:

— Присаживайтесь, раз уж вы добрались сюда.

И поворачивает к винному погребу.

В погребе старик возится так долго, что, когда выносит оттуда глиняный щербатый кувшин, седовласый мужчина успевает сдружиться с костром, как с собакой: ломает ветки и сует их в благодарную пасть огня.

— Подвал этот тоже ваш?

Нет, оказывается, старик снимает его в аренду с прошлого года, за полбочонка вина.

Гость не допытывается, почему так задешево; тут и самому догадаться нетрудно.

Наверняка и подвал не слишком надежен; и протекает, должно быть. Потому что этот подвал для бочек вырыт не в горе позади дома, а прямо внизу под ним. Отчего и самый дом кажется двухэтажным; давильня с открытым очагом и отгороженная каморка с отдельной печуркой, которую можно протапливать снаружи, подбрасывая угольев из очага.

— Собираетесь отремонтировать? — спрашивает гость.

— На какие шиши?

Эта сторона дела гостю знакома лучше, чем хозяину. На ремонт хибары и погреба понадобилось бы тысяч тридцать — сорок.

— Давильня не простоит и зиму. А сейчас могли бы получить за нее хоть какие-то деньги...

— На что?

То есть зачем ему деньги? Пауза перед фразой позволяла понять слова старика в более широком смысле. Зачем ему теперь и вся эта жизнь?

Гость про себя согласился с ним. Красная цена этой развалюхе — давильне — восемь или десять тысяч форинтов. Невелико богатство.

Правда, на будущий год, когда постройка окончательно рухнет, упадет и цена на участок. Понизится ровно на ту сумму, что придется отдать, чтобы вывезли ни на что не пригодный бутовый камень, за расчистку земли.

— Сколько виноградника пойдет за домом?

— Это вино — бурда, если сравнить его с тем, что давал виноградник в прежние годы, а в хороший урожай я получал до тридцати гектолитров! Но самый участок откупили у меня три года назад, за тысячу форинтов. Теперь, по крайней мере, хоть эта забота с плеч долой.

— И вы отдали за тысячу форинтов?

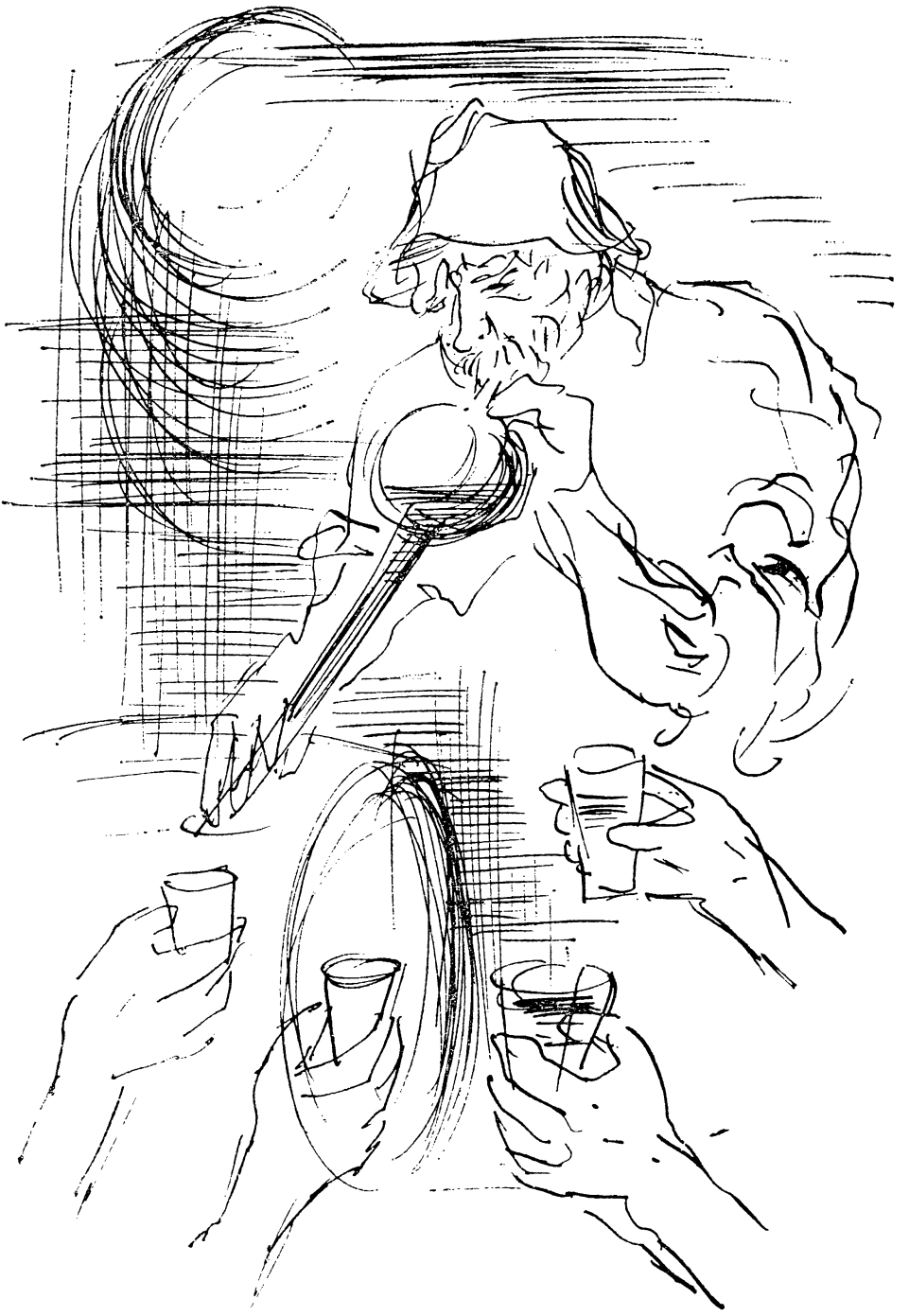
— Не я отдал, могли бы догадаться: откупили у меня.

Из этих слов можно понять: слава богу, наконец-то землю прибрали к рукам; неважно, кому она отошла: сельскохозяйственному кооперативу или государственному хозяйству. Зато хоть налог платить не придется.

И с тех пор участок никто не обрабатывает. Нерентабельно. Технике сюда не добраться, пожалуй, что даже трактору не вскарабкаться.

Эти виноградники у подножия леса — мертвы. Когда сойдет снег, будет видно, что виноградной лозы не касалась рука человека четыре-пять лет; если не все десять — пятнадцать. Почва по крутым склонам способна дать урожай, но лишь тому, кто не пощадит для нее пота и крови. Правда, он и получит взамен настоящее жидкое золото.

Гостю все это доподлинно известно. Он поднимает стакан, смотрит вино на свет, затем окидывает взглядом ближайшие ряды виноградника.



— *Это вы мотыжили?*

— *Я, еще нынешним летом. Тут покамест еще полито моим потом.*

— *А что будет дальше?*

— *Теперь мне подняться сюда и то тяжко.*

Старик делает паузу, и смысл ее ясен без слов: уж, видно, придется поискать другого дурака, кто полезет сюда мотыжить ради одного удовольствия покопаться на клочке своей земли.

Гость отпивает вина, но стакан опорожнен лишь на три четверти. Таковы неписаные правила приличия при угощении в любом винном погребке, когда тебе не наспех сунули в руку стакан, а усадили за стол и принимают как званого гостя.

Хозяин — тоже блюдя приличия — хотел долить. Но рука его вдруг так легко подняла кувшин, что он не мешкая отправился в подвал, чтобы наполнить кувшин снова.

Гость последовал за хозяином.

Початая бочка находилась в самой глубине подвала. Пришлось зажигать огонь. Свечу взял гость и держал ее над головой, пока старик возился с цедилкой. При язычке свечи тускло блеснул старый садовый нож, каким подрезают лозу. Гость взял его с полки. Широкое серповидное лезвие и наружную сторону, используемую в качестве топорика, покрывала сплошная ржавчина. Гость провел большим пальцем по обеим сторонам ножа.

— *Давно же его не точили.*

— *А ведь раньше я сам его и точил. Острый всегда был, что твоя бритва...*

— *Таким вот ножом и подрезали?*

— *Пока не завелись эти новомодные секаторы, только им я и управлялся. Потому как он лучше старых ножниц для подрезания. А вы почем знаете, для чего годен эдакий нож?*

Гость не отрицал: ему только по книгам известен этот надежный, но давно уже списанный в расход инструмент. Рисунок его встречается в фолиантах, повествующих еще о жизни древних римлян. В точности такой формы ножом обрезали, прививали, отсекали верх лозы античные виноградари. А может, и раньше еще им орудовал праотец Ной.

Старик без лишних слов сливает обратно в бочку втянутое стеклянной цедилкой вино, а длинную трубку вставляет в отверстие другой бочки, поменьше, после того как молотком с короткой ручкой выбивает из бочки деревянную затычку.

— *Отведайте вот этого вина.*

Гость шагает назад к двери, поглядеть, каков оттенок вина на свет.

А вот и старик становится с ним рядом, он тоже поднимает свой стакан вровень с лицом. Не для того, чтобы любоваться оттенком вина, а чтобы чокнуться с гостем.

Поскольку хозяин на сей раз опорожняет стакан до дна, положено, чтобы и гость тоже выпил все до капли.

После чего мужчины снова подсаживаются к огню, который, правда, до поры до времени таился и ждал терпеливо, но с неизменной жадностью пожирает сучья, подкладываемые в четыре руки.

Теперь оба они, и гость и хозяин, вновь сидят друг подле друга, но чувствуют себя совершенно иначе, не так скованно, как вначале. Поэтому даже затянувшееся молчание хозяина не мешает гостю пуститься в воспоминания:

— *Ни в один праздник не было у нас такого паломничества в давильне, как в день святого Сильвестра. Предлог, конечно, был подходящий. Если в канун любого другого праздника иной человек и об-*

ходился без выпивки, то уж в этот день никто не ленился карабкаться в гору и всяк норовил встретить Новый год со стаканчиком вина в руке. И получалось, что на Сильвестра народ к виноградникам валом валил, почти как во время сбора винограда. Народу по склонам было густо, однако определить это можно было разве что по голосам. Туман возвращал эхом и многократно усиливал все звуки. А уж если где заводили песню... Редкий год выдавался, чтобы в день святого Сильвестра сияло солнце.

— Здесь — никогда.

— Вверх по круче лезли, карабкались все, будь то зажиточный крестьянин или батрак. В руке у каждого — палка, на шее — сумка, ремень от которой перехлестнут через правое плечо, а сама сумка прилажена по левую сторону, чтобы ладонью придерживать тяжесть. Хотя случалось мне видеть, как флягу или деревянный жбан носили и вовсе без всякой сумки; тогда и ремень не перехлестывали накрест, а он свисал с того же плеча. А у вас как, тоже, небось, не было такого в заводе, чтобы бочонки с вином хранить в погребе при доме?

— Только что зараз на тачке спустишь.

— На свадьбу там, на крестины или на именины. Вино расходилось за день, от силы за два. Было традицией, что хороший хозяин хотя бы через каждых два дня должен подниматься к давильне и в баклаге, понемногу, переносить вино в дом. Существовало поверие, будто бы наши вина не выносят перевозки. И что распивать их следует тут же на месте, как можно ближе к винограднику. Вернее, что вина эти не переносят колесной тряски. Поэтому и корчмари с равнины приезжали к нам закупать вино только на санях.

— Сюда тоже.

— Считалось, будто бы наши вина, в особенности лучшие сорта, переносят только санный путь; иначе, мол, они утрачивают прозрачность; а еще лучше, считалось, когда хозяин сам вино нес — в штофной бутыли, засунутой в суму. Явное суеверие...

Гость замолкает, непреднамеренно, но короткая эта пауза служит затравкой. Хозяин впервые, не дожидаясь вопроса, заговаривает сам. Он спрашивает:

— Какое же тут суеверие?

— Таков был обычай по всему комитату. Люди карабкались на гору, лезли в этакую даль не потому, что слишком уж привередливое да привязчивое к своей лозе было у нас вино. А для того, чтобы там, наверху, повидаться друг с другом. Чтобы доброе то вино распить в приятной компании.

Пауза. Гость нарочно делает эту паузу, чтобы заставить хозяина разговориться.

— На виноградниках, в своем кругу можно было судить да рядить — переворошить все новости, большие и малые! Ну и песен попеть. Подальше от забот по хозяйству и от женских языков...

Пауза. И снова безрезультатная.

— Да, суеверие это было простой уверткой, хитростью. Ведь на самом-то деле наши добрые вина можно было перевозить. Перевозили не раз, если уж нужда заставляла. И вино ничуть не мутнело и не менялось ни на цвет, ни на вкус.

На этот раз пауза находит своеобразный отклик. Старик разливает вино, причем стакан гостя оказывается полон до краев, что тоже имеет свой определенный смысл.

— Обычно об эту пору и у нас тут народу собиралось немало.

Гость встает, пересекает из конца в конец эту комнатку без потолка, под открытым небом, где, однако, обозначено было свое место и

столу, и постели, и двери, и окну. Гость останавливается у зияющего провала двери и долго всматривается в бескрайние ряды черных подпорок и белых гребней сухой лозы.

— Ни души кругом.

— Разве что зять мой где тащится.

На сей раз пауза подстегивает гостя:

— Словом, среди виноградников на верхних холмах редко когда еще, кроме дня святого Сильвестра, мужчины собирались такой вот компанией. А оттого, что об эту пору обычно все вершины заволакивал плотный туман и молочно-белые клубы наползали чуть не на самые крыши, казалось, будто бы все окрестные холмы и горы полнятся не людским гомоном, а небесными голосами, песнями, музыкой... На то и день святого Сильвестра, на то и праздник для непоседливого народа: музыкантов. Тогда еще по стране крепко блюли обычай: на Новый год сельским музыкантам обязательно обойти все дворы, чтобы всех оделить счастьем в новом году. А в виноделческих краях, бывало, музыканты уже на Сильвестра начинали свой обход с холма на гору, от одной давильни к другой.

— Так оно и было.

— Да, обычно в Сильвестров день только мужчины, да молодые парни, каким я тогда был, взбирались на окрестные холмы, невзирая на туман. Но в день Нового года — а каждый, у кого лучшие годы жизни за плечами, помнит, что в этот день всегда сияло солнце, — и пестрые юбки и яркие платки расцвечивали все тропинки, ведущие к виноградникам. В особенности сразу после обеда, когда народ успевал отоспаться после полуночной мессы. Бордово-красным, ржаво-коричневым, купоросно-синим или травянисто-зеленым — всеми цветами отливали эти платки и юбки на белом холсте припорошенного снегом края. Потому что в светлых вспоминаниях о прошлом день Нового года видится обязательно со снежком. А ехать в соседнее село, чтобы поздравить кума или сватью, полагалось на санях с колокольцами. Поневоле вздохнешь: жаль, что минули те времена, когда и погода всегда знала свой правильный день в году.

— Да, но кому это понадобилось, чтобы они миновали?

Старик впервые смотрит прямо на собеседника. Смотрит долго, так что гость успевает подметить, как в повлажневших голубых глазах старика мелкой рыбешкой всплескивает хмель.

— Вы ведь прекрасно понимаете, отец, что я шутки ради представил прошлое в розовом свете.

— Пока еще хватает ума отличить, что в шутку сказано, а что правда. Сам знаю, что времена меняются, доводилось и мне жить в городе, и не только в солдатской казарме, а так...

— Это как же — «так»?

— А так, что я и сам по силе-возможности способствовал переменам... Сейчас же речь идет о другом: отчего это, хочу я спросить, даже хорошее и то норовит испортиться, тогда как всяк человек хотел бы только перемену худого на лучшее? Когда каждый горой стоит за хорошее, так что даже и среднее-то готов пристегнуть к хорошему!

— А хорошего все-таки больше становится.

— Кабы так-то во всем! Вот не знаю, в шутку вы тут расписывали или как, когда говорили, что под Новый год, бывало, уж такая благодать на селе, будто сами ангелы небесные играли да пели в голубых небесах. А Новый год в здешних краях и правда встречали в точности так, как вы говорили. Сюда, на виноградники, высыпало все село. Потому как в народе чтили обычай, чтобы каждый не позднее Сильвестрова дня попробовал, удалось ли вино у соседа. Если, конечно, раньше не успевал отведать!

— То-то весело было у вас, можно себе представить.

— Ну, тут вы как раз ошибаетесь, если думаете, что обычая того держались только ради желания опрокинуть лишний стаканчик. До дня святого Павла, считалось, еще можно было подправить молодое вино, улучшить процеживанием, разлив на пробу по бутылкам. Новогодний обход погребков был все равно что врачебный обход. Знающие люди устраивали консилиум, советовали, как уберечь от порчи, назначали лечение тому вину.

— Похвальный обычай.

— А знаете ли, что будет завтра здесь, среди всех этих бескрайних виноградников? Пусто здесь будет! Даже я не приду. Да, пожалуй, и никогда в жизни больше уж не загляну сюда.

Из двух грустных тем гость выбирает менее болезненную. Дабы отойти от другой.

— А сколько давилен в округе пока еще «действуют»?

Пауза. На сей раз необходимая для подсчета.

Старик помогает собственной памяти: он встает и выходит наружу. При счете его костлявый указательный палец выпрямляется, и впечатление такое, будто старик держит в руке желтую бамбуковую указку. Он охватывает взглядом эту живописнейшую картину — виноградники, простирающиеся до самого горизонта. Подобно учителю географии у карты, старик уверенно тычет пальцем то в один холм, то в другой. И как будто перечеркивает что-то в воздухе.

— Та пустует. Дальше — тоже заброшена. И вон та — без хозяина.

Очень редко палец его замирает неподвижно.

— Та, слева, на будущий год опустеет.

Рядом — уже пустует. И вон та без дела; и та, сбоку,— тоже.

Из двадцати восьми давилен бездействуют двадцать шесть.

И старик, махнув рукой, бросает считать.

Собственную давильню он не перечеркнул крестом.

Но сейчас взгляд его останавливается на завалившихся стенах.

— И все они продаются?

— Здесь вам не купить ни одной, нипочем!

— Отчего так? Кому они нужны?

Лицо старика внезапно багровеет.

— А потому что все здесь пошло к чертям. Потому что сами вы все эти давильни и виноградники столкнули в тартарары!

Гость не понимает. Не понимает ни слова из сказанного. Как видно, недоумение яснее ясного читается на лице гостя, и старик, поутихнув и отхлебнув вина, принимается объяснять:

— Потому и не продаются, что нет у них хозяев. Выкупить-то их выкупили у крестьян, все до единого. А виноградники все равно без хозяина.

— Как это может быть? — силится понять гость.

— Очень просто. Хозяин у нас тот, кто мотыжит землю, кто ухаживает за виноградником. А если все брошено на произвол, если ветер срывает крыши — о каком хозяине может идти речь? Отсюда уволокли все бочки, все лежни из-под бочек, и даже корзины для сбора винограда пошли на протопку, двери давилен и те не прикрыли. Если только не утащили и сами двери! Вот и выходит, здешние виноградники все равно ничейные, все полетело в тартарары, и теперь уже безвозвратно.

По лицу гостя видно, что он разобрался в ситуации. И следующий его вопрос звучит вполне дельно:

— *А разве кооперативы не вправе перепродать бесхозную недвижимость?*

— *Только с разрешения Министерства, и еще — кто их там разберет! — сколько надобно всяких справок. А сказать по правде, такого разрешения не получить никому, даже если святой Иосиф принесет прошение, подписанное самим Иисусом Христом.*

— *Тогда почему же вашу давильню можно продать?*

— *Потому что не сдал я свою.*

— *Не уступили?*

— *...Не-ет!*

Снова пауза. Но гость разбивает молчание. Скользнувши взглядом по лицу старика, так что глаза их на мгновение встречаются, гость говорит:

— *Одно время существовала теория... Будто управление землями рано или поздно должно перейти в руки тех, кто занят производством, и что «править» страной должны те, кто всех кормит. Испокон веку продуктами питания любую страну всегда снабжали крестьяне. Но прежде сами они не правили никогда, ни единого часа. Тут, мягко говоря, вкралось колоссальное недоразумение.*

— *Знаю.*

— *Недоразумение всегда можно исправить.*

— *А черт? Он другое нашептывает!*

— *Вы верите в бога, отец?*

— *В дьявола я верю! И в ад!*

— *Другая сторона той же медали. Кто верит в ад, тому приходится верить и в святой рай. А в конечном счете человек не может жить без веры в какую-либо благую цель.*

— *Так-то оно так, дьявол другое нашептывает.*

— *Должно быть, мы только к нему и прислушиваемся. Потому что мы — старики. И слух наш огрубел. А вот молодые, те, пожалуй, слышат более светлые голоса. Уверен, что слышат!*

— *Кабы они тут были.*

— *Кто?*

— *Да молодые! Но что-то давно их не вижу. Давно уже не стало молодежи. Вот радио есть, телевизоры по домам, кино...*

— *Где это?*

— *В мое время каждое воскресенье устраивались гулянья с песнями да танцами, и на них шли все от мала до велика, так что иной раз, случалось, музыка играла сразу в трех местах. Даже на лугу, за околицей, и там устраивались пляски и забавы для молодежи, а ребятишки играли в «догонялки». А старики смотрели на них. Вот развлечение для старых людей. Не то что там кино какое. Или театр, потому как теперь и в театр уже ходят.*

— *Разве это плохо?*

— *Пусть они у себя представляют, что хотят. А только неподходящее это зрелище для старых глаз — все эти наряды фальшивые; и разговоры фальшивые — не для старых ушей. Не по душе мне все это.*

— *А что вам по душе?*

— *Сами знаете не хуже меня. Главное, чтобы дело человеку в радость было. И чтобы в семье согласие, для того и съезжались частенько дружки да приятели, устраивали всякие там именины, хлебосольство свое показывали. И не только по воскресеньям. Много их было в старину, этих праздников...*

— *Теперь, выходит, и праздников, что ли, не стало?..*

— *А где они? Нет, уж и праздник нынче не в праздник... Да и от чего теперь отдыхать человеку? И перед какими трудами?*

— *От работы отдыхать. Дела-то остались, а значит, и усталость есть.*

— *Кабы так все и обстояло! А только и дела-то теперь стали другие. Да и тех почитай что нет.*

— *Это для нас, стариков. Ну а молодым-то хватает.*

— *Подумаешь, велики дела! Вот заработок есть! Всякие там мудреные расчеты-подсчеты. Обмеры разные. Беготня, болтовня. А потом сразу трах! — и все в черепки; вот как и здесь примерно: своими глазами можете убедиться. А кончили тем, что и людей-то всех как ветром сдуло. Вот помяните мое слово: замрет тут вскорости жизнь, разве что суслики останутся, да еще галки. Так и будет: летом — суслики, зимою — галки.*

— *Преувеличили, старина.*

— *Там, в долине, конечно, знай себе будет раскатывать на тарахтелке какой-нибудь механизатор. Но здесь, по склонам, даже сусликов и полевок и тех не останется, всех пожрут лисы. Сроду в этих краях не бывало столько лис, сколько теперь расплодилось. Выходит, только и останутся что вороны да галки. Выклюют, выщиплют все подчистую, а потом выживут отсюда и вашего механизатора.*

— *Ну, это уж вы чересчур, конечно.*

— *Машин-то хватит, только докуда они дойдут?..*

— *Как понять «докуда»?*

— *А так понимайте: докуда они смогут добраться по круче. Вот здесь, к примеру, им никогда не бывать. Выходит, будут обрабатывать те участки, где машина возьмет. Ведь к черешням они так и не смогли подобраться, ага? Черешня их оставила с носом!*

— *А что с черешней?*

— *Да взгляните сами. Только по этому склону, как прикинуть на глаз, не меньше пятисот стволов черешни да вишни. И всем стоять необобранными, теперь уже до скончания веков. На дрова пойдут! С них уж и в этом году, что сегодня кончается, не собрали ни горсти ягод на продажу. Да и в прошлом году — то же самое. А знаете почему? Если желаете, могу объяснить вполне по-научному.*

— *Во всем мире так. Сбор черешни не окупается.*

— *И вишни тоже?*

— *Судя по всему, и вишни тоже. Работа кропотливая. И оплата труда за час обойдется дороже выручки за собранную ягоду.*

— *Ну, а смородина? Видели вы теперь на рынке смородину? А в детстве, я помню, кизилом и тем торговали.*

— *И терном!*

— *Теперь даже сливу не обирают, вся как есть уходит на падалицу.*

— *А бывало, ее возами возили. Обменивали на муку.*

— *Загляните-ка сюда как-нибудь летом, сами увидите, сколько добра тут гниет под деревьями; и абрикосы, отборных сортов!*

— *Что поделаешь, если некому собирать.*

— *Может, и есть тоже некому? А вся эта орава худущих ребятишек в городе? Да и мой единственный внучек там же!*

— *Не возить же детей специальным поездом из Пешта, чтобы каждый собрал себе сколько съест!*

— *А это было бы самое лучшее! Приходилось вам когда-нибудь лакомиться черешней прямо с дерева и крюком подтягивать к себе ветки?*

— *Еще когда на дерево подсаживала мать...*

— *А позже, стоя под деревом, мы сами для милой пригибали крюком тяжелую от ягод ветку. Верно я говорю? А нынче тут даже абрикосы, привитые когда-то, гниют на земле, могу хоть с завязанными глазами показать все участки!*

— *Не только у нас, ведь рассказывал я вам: по всему свету так. Слыхали вы, может быть, об оливковых деревьях? Для испанцев или французов плодоносящее оливковое дерево — все равно что откормленная свинья; с оливы так и капает жир, то бишь масло,— и все достается почти что даром! Ведь оливы не надо окапывать, и обирать их тоже не надобно. Оливки тогда хороши, когда они спелые и осыпаются сами. Ну, так вот, теперь считается, что и оливки собирать тоже нет резона. Жать из них масло, процеживать, разливать по бутылям, потом еще расходы по перевозке. Импортный жир обходится дешевле.*

— *Это маргарин, что ли? Ну и скажите, хорошо ли это, коли человек даже самый дар божий попирает ногами! Просветите меня вы, всезнающий!*

— *Дар этот нами получен от предков, а не от бога. От тех людей, кто додумался до прививок, черенкования и всех прочих премудростей садоводства. И после передавал эти знания от отца к сыну, из поколения в поколение, пока — неприметно для нас — это прекрасное наследие само не свалилось нам на голову.*

— *А теперь снова все пойдет прахом! И не будет на земле ни виноградников, ни вина.*

— *Скажете тоже...*

— *А что, как подсчитают и докажут: виноградарство, мол, тоже не окупается. Пасынковать лозу надо, обезвершивать!*

— *Ничего, найдут свой подход и к трудоемким работам, не стоит тревожиться.*

— *Особую машину придумают, чтобы она за них виноград собирала? Я уж и то прикидывал... Только у этой машины разных там винтиков-шпунтиков должно быть больше, чем у той, на которой на Луну летают! По мне, пусть себе обзаводятся машинами. Глядишь, тогда и жизнь другая начнется.*

— *А я бы еще по одной причине отказался от уборочной машины на виноградниках. Из-за праздника сбора винограда. Вот уж где мы веселились так веселились.*

— *Праздники сбора винограда! Да вы видали хоть когда эти праздники? А если и видали, то все же далеко им до тех, какие устраивал, бывало, мой отец: с гуляшом из барашка, с ружейной пальбой да с песнями дотемна вокруг костра на просторе. Нет, не видывать нам больше настоящих гуляний в дни сбора винограда. Не стало такого праздника. Извели под корень. И не возродиться уж ему никогда.*

— *Ну, допустим, вино-то всегда будет.*

— *Для кого? Или, может, вам оно по карману станет? Вот палинка, та определенно будет. Но только не грушевая и не сливовая домашнего приготовления, а заводская, химическая. И жизнь тоже будет. Но для кого, спрашивается? Кому она станет в радость? Выходит, и жизнь тянуть дольше тоже нет смысла.*

— *Смотря по тому, кто какими радостями эту жизнь мерит.*

— *А чьей и какой еще радостью мне ее мерить? Вот вам можно умничать, вы не из наших краев... А у меня перед глазами — только здешние люди, а какие сады были — сказка! Разве узнают они, теперешние, какую здесь жизнь вели прежде, когда человеку по силам было обрабатывать весь этот край.*

— *Люди преследовали свои интересы.*

— Черта они преследовали! До самой двери в кино. Все бы им поскорей от работы отделаться. И нет чтобы в корчме посидеть, все в кино рвутся. Вот и бросает народ село. Как в туннель какой ныряют. А я заранее предсказывал любому и каждому, что, если кто повадился ходить по кино да в духотище этой сидеть в темноте, тому рано или поздно захочется оттуда на волю, ан только выскочит он из этого туннеля уже по другую сторону, где-нибудь в Пеште!

— Ну, здесь я с вами не соглашусь. По себе знаю, есть фильмы, которые я и сам бы не прочь посмотреть по второму разу. А работа... Что ж, ведь любому хочется как можно скорей покончить с работой!

— Рабочей скотине, к примеру. Да-да, не ослышались, именно так я и думаю, как сказал, хотя, может, вы на меня и обиделись. Потому как только скотина, которую гонят, работает из-под палки, без ума и охоты, хочу я сказать, то есть не в свое удовольствие.

— Понимаю, понимаю.

— А коли так, чего же мы с вами воду в ступе толчем! Зачем друг перед другом выламываемся, обоих нас жизнь уже выставила за порог, и свою пенсию вы тоже получили сполна, чистым серебром... на висках, конечно, на макушке-то голо.

— А разве каждый сейчас может работать в свое удовольствие? Когда еще это будет!

— Тогда куда же мы идем? И зачем нужны были эти громкие слова — и я их повторял за другими,— что человечеству уготована лучшая участь? Что человек не обречен до скончания века влачить ярмо, точно тягловый скот: ярмо тяжких мук и бессмысленного труда?

— В труде всегда немалые муки. Оттого-то каждый и норовит уменьшить бремя. А уж славить труд, радоваться тому, что труд множится, что работы подвалило, желающих не находится. Таков уж извечный закон.

— И вы смеете извергать хулу здесь, на самом жертвеннике труда! Просто чудо еще, как это земля не разверзается от неслыханного святотатства. Именно эта, благородная и благодатная земля! Оглянитесь вокруг. Знаете ли вы, что на каждом клочке тут все цвело, наливалось? И так всегда было, сколько помнили и деды наши и прадеды! В точности как вы сказали: славить труд! Потому что трудиться всяк шел сюда как на гулянье и заранее настраивал себя на праздничный лад. Ну, а теперь вопрос: как, по-вашему, может, сто лет назад мотыга тянула меньше тех двух килограммов, что нынче?

— Должно быть, не меньше.

— Легче с ней было управляться, чем теперь?

— Навряд ли.

— В таком разе почему же тогда все спорилось? Я имею в виду, отчего же мотыжить тогда было легче? А это именно так, тут я сам свидетель.

— Тому, что было сто лет назад?

— Дались вам эти сто лет: еще в пору моего детства так было. И не прикидывайтесь опять простофилей. А было так потому, что люди в те годы жили с умом. Всякое дело умели так повернуть, что и тяжелая работа шла играючи. Могу даже открыть, как это им удавалось: работали тогда с охотой.

— А теперь и охота пропала?

— Почему же, и теперь бывает по-разному. Вот вам, к примеру, мой зять. В Пеште у него и служба, и положение. А женился он на моей дочери из-за земли. Вникните толком. Сам он любил землю и видел, что дочь моя тоже любит, ну и в остальном характерами сошлись.

— Сколько земли вы дали за дочерью?

— Опять не поняли. Не земля ему была нужна, а то, что связано

с ней, не в приданом тут дело! Да у него самого, то есть у его отца, было больше, чем у меня. А сын наезжал по воскресеньям, чтобы хоть один день да покопаться на винограднике — тогда еще у родителей. Когда подвязывать надо было, когда обрезать или обезвершивать, и работу начинал чуть свет. «Это для меня лучший отдых, отец»,— говаривал он позже, когда приезжал уже на мой виноградник, вместе с дочерью.

— А теперь почему не приезжает?

— Теперь и дочь-то сюда не заглядывает. Вот какие у нас дела. Да так оно идет не только у нас, везде одно и то же. Уходят люди из деревень.

— Нет, во всем мире дело обстоит далеко не так. Но расскажите, как это произошло у вас.

— Не понимаю я своих. Ну, что хорошего торчать в этой пештской квартире, в духотище? А факт, что теперь они даже в летние месяцы не часто сюда заглядывают. Знай себе ходят в кино да по театрам, как выдастся свободный час.

— Да ни при чем оно тут, это злополучное пештское кино, а театры тем более. В кино ведь они и здесь могли бы ходить, а театры и в Пеште наперечет, если верить лицам более сведущим, послушать слезные жалобы директоров театров, к примеру. Дело в том, что большинство горожан вообще никуда не ходят. Утром бегут в свои конторы, там поворчат, поворчат, потом разбегаются по домам — опять брюзжать. Самая же заветная их мечта — чтобы путь между домом и учреждением проезжать не в трамвае, где так и подмывает сорвать зло на другом, а в собственной машине; тогда можно через опущенное стекло обругать пешехода, если тот не спешит отскочить в сторону, или других автомобилистов, что не по правилам ездят. Вернее, даже не столько самих автомобилистов, как автомобили. Потому что и за рулем они прежде всего видят машину, а не человека.

— Вот-вот, под этим и я подпишусь. Да только сюда уже больше никто не ездит — покопаться в земле в свое удовольствие... Вон и тот погреб стоит без хозяина.— Старик указал на обрушенную давильню, которую ранее опустил при подсчете.

— И что же, везде у вас так?

— По нашей округе везде.

— Потому что и в других краях то же самое.

— А жаль!

— Не просто жаль — вся душа переворачивается! Только вот если работы действительно не окупаются...

— Неправда.

— Как это неправда?

— Тогда к чему было придумывать всякие указания и распоряжения, чтобы специально извести здешние виноградники? Пусть бы крестьяне на собственном опыте убедились, что не стоит овчинка выделки. Не стоит, мол, ради вина копаться в земле.

Гость побагровел. Он вдруг стремительно сорвался с места, точно ударившая в голову кровь толчком подняла его на ноги.

— А палисадники перед домом — «окупаются»? Или газоны у привокзальных зданий? Там и подавно приходится держать садовника, кто бы ухаживал за ними! А парки в самих городах, прямо-таки сады из роз? Разве пользу от них можно пересчитать на деньги? Или, может, за их аромат и радующие глаз краски брать с прохожих наличными?!

Старик молча следил за гостем. А тот, охваченный возбуждением, стремительно расхаживал из угла в угол и говорил не переставая:

— Как будто в любом труде — сколько раз приходится твердить это! — только одно и следует учитывать: окупается ли он. Словно и нет у человека других стимулов. А если заторканная хозяйством и усталая женщина битых полчаса возится, чтобы красиво, волосок к волоску, причесать своего малыша? В чем здесь выгода? Ну а какая, скажите мне, выгода, что мы сидим тут вдвоем, коротаем время? Да, конечно, мне приятно распить с вами стаканчик-другой доброго вина прямо в самой давильне, вот у этого костерка. В этом, между прочим, я усматриваю прок, чтобы копаться в земле. Но ведь и копаюсь я, обихаживая виноградник, тоже с радостью, никто не стоит у меня над душой; сколько сделаю, то и ладно. Сам решаю, гнуться ли мне до ломоты в пояснице или кончать на сегодня. Иными словами: раз я копался на винограднике до тех пор, пока меня это занятие радовало, значит, уже вот этой радостью труд и был для меня полезным. Тем для меня вся работа и окупилась! Задолго до срока, как мне отсчитают денежки за вино. Верно я говорю?

— Верно! Все как есть верно! Вот я зятю своему толкую то же самое, слово в слово. Точнее, раньше так говорил, до прошлого года...

— А теперь что, перестали?

— Потому что зарекся я. Вроде как напрочь отступился я теперь от людей, уважаемый. На мой взгляд, безнадежное это дело их переубеждать. Должно, засела в них какая-то неизлечимая хворь.

— Зачем же о всех людях судить так огульно?

— Потому как везде видишь одно и то же, куда ни глянь. Вроде крестьянин теперь как совсем лишний. Уж отзвонили по нем. Вы, сдается, человек грамотный. Читали, должно быть, немало. Тогда должны знать: повсюду в мире хиреют деревни.

— И читать и видеть приходилось немало, но такое вот запустение встречаю впервые. Деревни нигде не безлюдеют. Чище они становятся и здоровее, во всех отношениях процветающими.

— Где же это видно?

— Повсеместно, где люди — не дураки. Где не ленятся умом пораскинуть.

— Весь вопрос: когда? Может, в давние времена? А с тех пор, скажу вам, многое перевернулось!

— Именно что с тех пор дела и пошли на поправку. В начале столетия, правда, были такие края, где крестьянам жилось совсем туго. А все же справились и с этой бедой, когда засучив рукава сами взялись за дело.

— Где это случилось?

— В тех местах, где прежде, бывало, крестьянам не позавидуешь.

— Что-то впервые слышу...

— Не от кого было! У кого наклонности и фантазия направлены только на разрушение, те о хорошем не скажут. И ведь это куда как удобно: ликвидировать и упразднять! Сегодня одно разнести в пух и прах, завтра — другое, и все это под разглагольствования, как много хорошего можно-де воздвигнуть на месте разрушения. А на деле не хитро убедиться, каков результат. По всему комитату не насчитать и десятой части виноградников, что плодоносили здесь сотню лет назад. Зато эти площади, где вырублена лоза, в изобилии дают лопух, бузину и даже низкорослый камыш. Хоть бы разок заехали сюда администраторы да полюбовались бы на урожай от своей «писанины». И чем скорее, тем лучше.

— Какой от них пользы ждать?

— А чтоб истребить волокиту. Чтобы поскорей спохватились и взялись за дело. Пусть закладывают крупные виноградарские хозяй-

ства там, где площадь позволит. На пологих склонах, чтобы можно было до них машиной достать. А самую крутизну да скосы эти распрекрасные, куда и человек-то если взберется, то не прямо, а петляя по тропке, пусть-ка лучше оставят тем, кто не ленится ползать по круче.

— Теперь уж поздно, даже если и отступятся...

— Покончить со злом никогда не поздно.

— Теперь, пожалуй, и не сыскать таких дурней, кто согласился бы вернуться к старому. Видать, уж не возродится здесь жизнь. Вот, к слову будет сказано, даже мой непутевый зять и тот нос воротит.

Последние слова его явно адресовались другому: именно в эту минуту у бывшего порога давильни показался какой-то человек с большой оплетенной бутылью.

Зять собственной персоной. Хозяин давильни был очень стар; при появлении зятя первой его реакцией было раздражение, и лишь потом он осознал, что источник этого недовольства — во плоти, во крови — стоит перед ним.

Зять выглядел молодцом: долговязая фигура, несколько втянутая в плечи голова и — одно загляденье — настоящий грачиный нос. Вот уж кого, по-видимому, никак нельзя было заподозрить в неуживчивости: широкая ухмылка красноречивее любого приветствия располагала к дружелюбию.

— Слышу, гремит с холма само правосудие! Я даже задержался чуток на дороге: дай, думаю, ума наберусь. Отец за десять лет не сказал столько слов, как сейчас перед вами. Наверное, вы с ним давние друзья?

Хозяин давильни не ответил. Губы его вновь сковала немота, которую гостю удалось было преодолеть. У него был вид человека, которого поймали с поличным и он боится дальнейших разоблачений.

Но в госте еще не утихло желание излить душу. И потому он заново изложил зятю цель своего появления здесь. Однако на сей раз невесть сколько всего было примешано к изначальной основе!

Да, все обстоит именно так, он обходит окрестные холмы, осматривает старые винные погреба. Может, и приглядит давильню — из числа заброшенных. Не беда, если она чуть порушена, лишь бы крышу удалось привести в порядок без особых затрат, а будет крыша, значит, сохранятся и стены. И чтобы худо-бедно, а можно было бы в ней жить. Хоть переночевать на первое время, пусть даже на чердаке. И во сколько примерно такая покупка могла бы ему обойтись теперь, когда в здешних краях заброшенных погребов и давилен не счесть? К давильне можно бы прикупить небольшой участок запущенного виноградника. Ничего, если лозы лет пять не касался секатор, а борозду не рыхлила мотыга.

Как и давильню, постепенно, глядишь, и виноградник привели бы в порядок внуки...

Ведь тот погреб, что можно бы подремонтировать, он, собственно, подыскивает не для себя. А для кого-нибудь из внуков. Пока что он и сам не знает, для кого именно. Но кто-нибудь из молодых, может, и клюнул бы на эту приманку.

Одна из его внучек сейчас выходит замуж. А у жениха заветная мечта обзавестись мотоциклом или малолитражкой. Так что, пожалуй, их можно бы зажечь идеей: какое, мол, это прекрасное путешествие — из Веспрема наезжать сюда по субботам и здесь, у самого леса, над озером, проводить конец недели! Да и его самого, их деда, тоже могли бы иной раз прихватить с собой; а там уж он при случае когда и задержится на денек-другой, чтобы обходить запущенные фруктовые деревья, лозу... Вернуться к делу, ко-

торое раньше было источником и заботы и радости для наших предков.

Нет, он имеет в виду не прямых своих предков! Правда, какая-то из его прабабок была родом отсюда, но он замышляет обосноваться в этих краях вовсе не в память о ней.

Ведь если бы ему удалось эту внучку — ее зовут Кати — на лето заманить сюда и поселить в такой вот старой, но радующей взор давильне, за Кати наверняка потянулись бы и остальные внуки. Постепенно у них войдет в привычку наезжать сюда: здесь и развлечение, и отдых. У него лично денег хватит, чтобы купить только такой вот погреб. Но когда один участок перейдет в его руки, тогда и другие скорее решатся приобрести по соседству развалюху. А привести в порядок такой погреб можно играючи. Внуки привезут своих приятелей, за субботу-воскресенье кое-что подремонтируют — и дело сделают, и вроде бы себе в удовольствие. Или прихватят неделю из каникул. Ведь в любой из таких давилен, кое-что подправив, вполне можно жить, хотя бы временно, на чердаке.

И если их опыт удастся, то-то будет славный пример для всех!

— Пример — чего же?

— Что хорошее можно начать и с малого и заново возродить то, что было упущено пусть даже и ради важных дел.

— Чтобы внуки заменили здесь виноградарей прежних времен?

— О замене я не говорю. Но здесь кругом такое запустение, что больно смотреть. И только молодые способны на свой лад оживить этот удивительный край. Они принесут сюда, вложат в землю свою нерастраченную энергию. Тогда, пожалуй, и крестьяне из сел тоже выкроят час, чтобы заглянуть сюда, а с ними вернется и опыт потомственных виноградарей. Только бы затеплилась хоть какая-то жизнь. А где жизнь пустила свои ростки, там жди чудес!

— По скольку стаканчиков вы тут опрокинули до моего прихода? — поинтересовался зять.

— Что, такая уж чепуха все, что я говорю?

— Мечты и грезы! — с благодушной снисходительностью ответил зять.

Хозяин давильни вновь наполнил оба стакана.

— А ты, если хочешь выпить, неси себе стакан.

Зять нырнул в погреб, принес оттуда стакан и протянул его старику.

— Мечты — это лучший поводырь, — сказал гость. — Не грезы из ночных сновидений, а те мечты, что занятый повседневностью человек создает сам для себя. Для себя и других людей.

Намеренно завышать свой возраст, чтобы не только каждый отмеченный праздник принимать за Новый год, но и всякое памятное событие хранить в сердце, будто это прожитый год, — вот, пожалуй, наивернейший способ разбить оковы календаря. Отвоевать себе какие-то свободы или автономию у самого варварского, самого грубого и, как мы видели, самого разнузданного нарушителя границ нашего бытия: у Времени.

С близким мне человеком, который с улыбкой поправляет меня всякий раз, когда я, называя возраст, прибавляю себе годов, я соглашаюсь лишь на людях; дома же, с глазу на глаз, я сбрасываю путы условностей и даю волю: пусть резвится, как ему вздумается, тот инстинкт, который по справедливости следовало бы назвать Мафусаиловым; при повторном одергивании я лишь снисходительно отмахиваюсь: предоставь мне решать, я лучше знаю, в чем суть вопроса,

куда заведет меня эта прихоть! И действительно, при определенном повороте разговора — ближе к вечеру — бывают моменты, когда я чувствую в себе бремя двух столетий жизненного опыта, а несколькими часами позже, когда пройдет ужин, я воспринимаю себя как шестисот,- семисотлетнего старца. К чему это приводит по своим побочным результатам? Отметим главное. Под безмятежным взором семисотлетнего мудреца скрыт мой собственный цепкий взгляд человека двадцати-, тридцатилетнего, и этот свежий глаз впитывает все, достойное созерцания, вбирает живо, готовый к схватке, и топорные шутки Времени отражает шуткою же, но более тонкого свойства, а стало быть, отражает успешно.

Далее. Самовольно захваченная власть над Временем приближает меня к людям — не только к современникам, на них мои преклонные годы позволяют смотреть несколько свысока или во всяком случае снисходительно, но и к поколениям минувшим, давно ушедшим. Я оказываюсь ближе к общечеловеческому, к изначально человеческому, ближе к нему как бы физически.

В те годы, когда писательский труд заставил меня с головой уйти в историю движения богумилов-альбигойцев, мне ничего не стоило душой и телом перенестись в далекую эпоху. Один-два шага к окну, затем к письменному столу, и вот уже, слышу, в соседней комнате идет совет, там решают до последнего вздоха оборонять Безье. Еще один заход от окна к столу, и вот уже я самолично выступаю на том совете.

Быть кумиром молодежи — по своей воле или помимо воли — положение заведомо шаткое, уже хотя бы потому, что оно временное. Кумирам точно так же, как и юнцам, положено расти. Конечная ипостась возвышения кумиров — в примитивном обществе, равно как и в сообществе примитивно мыслящих,— превратиться в богов. Иначе они рассыплются в прах. А богами они, естественно, стать не могут.

От кумиров своей юности я по мере взросления вначале ждал какой-то помощи свыше, позднее же — поскольку таковой не последовало — я стал желать, чтобы они убирались с моей дороги, и чем скорее, тем лучше: тогда я мог бы сам справиться со своими невзгодами. Почти всех своих идолов я с какой-то ницшеанской — или, правильнее сказать, с чисто вольтеровской — запальчивостью в пору зрелости разнес вдребезги, чтобы потом, много позже, окидывая взглядом прошлое, заново собрать их по кусочкам, но на сей раз для объективной их оценки: чтобы воздать им почести по заслугам, чтобы вновь восхититься ими.

Предрассудок, будто бы история постоянно повторяется, а человечество не изменяется из века в век, то есть застыло без развития,— этот предрассудок снова и снова возрождается к жизни потому, что в ходе так называемой истории действительно норовят повторяться одни и те же человеческие страсти и инстинкты: Наполеон якобы был так же одержим манией властолюбия, как и Навуходоносор; а Людовик XIV точно так же отнял у преданного ему воина жену, как и царь Давид. Но это не верно.

Новоявленные тираны гораздо мельче стародавних. Они лишь потому нам кажутся равновеликими древним, а иной раз даже и более зловещими, что сильнее возмущают нас. И потому, что нам они изрядно надоели. Они уже не интересны нам: сам факт их существо-

вания изжил себя. Развитие человечества нагляднее всего прослеживается по изменению вкуса.

Новоявленные кумиры и полубоги, хотя на время их принимают даже за совершенных богов,— это прежде всего порождения дурного вкуса. Они смешны, даже когда руки их не отмыты от крови. Даже если увидим их у подножия нашей собственной виселицы, все равно они будут смешны.

В течение всей жизни руки с неизменной жадностью хватаются за неотложные дела, а шея вытянута, глаза присматриваются к делам более отдаленным, последующим, так что, если глянуть со стороны, вся фигура — под стать благородному скакуну — проникнута одним стремлением: обогнать. В течение целой жизни! И кого же? Да самого себя. Склоненное лицо сгибало, горбило спину. Нет ничего достойнее подобного горба! Кто не замечает особой пленительности очертаний в сутуловатости неизменно хлопотливых пожилых крестьянок и работящих женщин-матерей, на ком держится семья, тот начисто лишен понимания женской красоты. Скупщиком краденого был такой человек, когда на жарком ложе касался алебастрово-белых плеч, упругих грудей, горделиво утверждающих собой бессмертие, когда восторгался божественной линией девственно-стройной талии.

«Нынче оно держит ответ»,— говорят на задунайском диалекте о садовом дереве, плодоносящем первый год. И ответ этот по сути своей ничуть не отличается от показаний, даваемых перед судом. Приговор не минует и плодовое дерево. Если «показания» удовлетворительны, дерево сохраняют, даруют ему жизнь. Если же нет, то по снятии «допроса» на следующий год его срубят и предадут огню по всей строгости Нагорной проповеди.

Так вот и мы, точно отборные груши и яблоки, вызреваем на древе нашего рода в течение единожды отпущенной нам жизни. После сбора плоды укладывают в семенной ячмень или же выставляют на краю буфета. Потому как спеем и наливаемся соками мы лишь по завершении времени года; мы — плоды зимней поры, не скороспелые южане, даже те, что родились под солнцем юга. Оттого и следует нам, как садовнику, имеющему дело с зимними сортами, осматривать и прощупывать себя с двойственным интересом, чтобы в душе сопоставить собственную зрелость с истекшими годами жизни и одновременно предугадать возможности дальнейшего совершенствования. Это деление на субъект и объект — не означает ли оно раздвоение личности? Все так в точности похоже на двойственное чувство, когда мы, прижав руку к груди, улавливаем в сердце серию взрывов, вызванных посторонними обстоятельствами, взрывов, неотвратимых после того, как отгорит запальный шнур нашей радости или ужаса.

Как вывод из сказанного выше: все содержание нашего бытия может раскрыть себя полностью лишь по осени нашей жизни. Нигде, ни в чем другом, помимо процесса созревания человека, не проявляется с такой последовательностью теория детерминизма, мучительная для человеческого рассудка, поскольку для рассудка она и по сей день непостижима.

Созрев годами, мы принесем плоды — те самые, что сулила пора цветения нашей жизни. Да, существуют определенные методы ухода: прививки, культивация и — неусыпнейший надзор. Потому что, имея дело с человеческой поросльо, достаточно хоть на некоторое время ослабить свой присмотр — и зреющий плод утратит лучшие из

качеств, снова выродится в дичок. Если не погибнет на корню; тем самым дикость мстит разумнейшим усилиям человека. Самый же этот закон вызревания во всем своеобразии наиболее полно проявляет себя на примерах, свободных от насильственного вмешательства извне. Точно так, бывало, в руках у наших дедов-прадедов «дозревали до кондиции» пенковые трубки; сделанные вроде бы из одинакового материала и одинакового назначения, эти трубки приобретали каждая свои индивидуальные качества в зависимости от того, как часто ее обкуривали и поглаживали-шлифовали ладонью.

Вдовец

У него шестидесятилетняя жена, сорокалетняя дочь и внучка двадцати лет.

Эти трое ютились в одной комнате — вместе с двумя манекенами, портновскими ножницами, утюгами. Повсюду шитье. Как паутина в пору бабьего лета, так плавали в воздухе, опускались на пол, липли к чему попало обрывки белых и черных ниток.

Он, мужчина, жил в другой комнате. И все больше обособлялся. Хотел, чтобы как можно меньше из внешнего мира проникало к нему за дверь: его раздражали холод, кошка, жужжание швейной машины, а в последнее время также запахи пищи.

Единственной его привязанностью было ружье, целые десятки лет.

От многолетнего употребления охотничья двустволка сверкала, точно отполированная, и так и просилась в руки. Ружье он унаследовал от своего отца. Еще мальчиком он полюбил ружье безраздельной детской любовью, таким, как его увидел: в той же самой комнате, висящим на специально сделанной для одного ружья доске под зеленым сукном.

Он нечасто пользовался ружьем, так как не был заядлым охотником. А если и охотился — поначалу, в первые годы женитьбы, после смерти отца, — то, собственно, делал это ради ружья. Проветривал его. Любил бывать с ним на лоне природы.

Но, по правде говоря, его удовлетворяло общение с ружьем у себя в комнате. Он снимал ружье с подставки, разбирал его, смазывал и, собрав снова, заботливо протирал и вешал на место. Точь-в-точь как и его отец.

Историю эту я узнал от его жены.

По мере того как он старел, двустволка снималась все чаще. Теперь для ружья высвободилось больше времени. Он отдалился от своих приятелей: ему прискучило карабкаться в гору к винному погребу, надоела пустая болтовня.

В той же мере, как постепенно пустели его стариковские дни и вечера, опустошалось и его сердце. Он пришел к убеждению, что эти пустоты может заполнить только возня с ружьем. Эта страсть изгнала из его будней серость, вернула ему детскую увлеченность, скрасила существование.

Началась война, всех обязали сдать ружья.

В том числе и ему пришлось сдать свою допотопную фузею, которая, пожалуй, не могла причинить бы вреда даже зайцам, так давно из нее не стреляли.

Но столько волнений, столько тревог затопило тогда людское

сердце, что даже и сам старик лишь годы спустя ощутил потерю. Почувствовал, что его лишили ружья.

Где оно может быть? Кому оно могло понадобиться, это ружье?

В конце концов он наведался в местный совет.

— Даже если бы оно совсем не стреляло, его все равно бы вам не выдали на руки. Да и то сказать, отец, уж если оно действительно ни на что не годно, тогда к чему оно вам?

Я понял переживания старика, когда он с чьих-то слов, по ошибке, обратился ко мне за советом. С присущей старым людям чисто ребяческой хитростью он обиняками старался прощупать, можно ли в этом деле хоть чего-то добиться, не поскупясь на определенные расходы, и долго еще надеялся.

Нет, добиться ничего нельзя — это было ясно. Во всяком случае, пока что нельзя. Конечно, со временем и это распоряжение, о конфискации ружей, может быть отменено.

Слабой надежды оказалось достаточно, чтобы старик повторил свой визит ко мне. И даже не столько надежды, а всего лишь факта, что где-то его выслушали и отнеслись с пониманием.

С той поры он навещает меня каждый сезон. Думаю, с тем же чувством, как иной человек преклонного возраста наведывается на кладбище.

Иногда мы встречаемся на улице, киваем друг другу, приостанавливаемся, но никогда не заговариваем о постигшей его утрате. Иной раз я вижу старика идущим бок о бок со своей женой или в обществе дочери или внучки, задорно стреляющей глазками. «Вдовец», — проносится мысль, прежде чем я успеваю вспомнить, как его зовут.

От души, как младенцы, заливаются безудержным хохотом старики, когда смерть щекочет их в чувствительных местах. Сколь невысок юмор смерти, нагляднее всего выявляют именно такие случаи. Особенно же пересказы разных сцен. Нет, даже солдаты в перекур, когда валяются на траве учебного плаца, не разражаются таким гоготом, каким собравшиеся за укромным столиком деды награждают очередную историйку кого-либо из своей компании:

— И вот под конец торжества заглядывает мне в глаза этакая славненькая молодка с ямочками на щеках и заявляет: «Вот если бы от такого мужчины, как дядюшка Шани, можно было ребеночка заполучить, я бы рожала хоть каждый год!» У меня уже готово было сорваться с языка, за чем, мол, тогда дело стало, но я вовремя удержался: кругом стоят учителя, рядом сын-директор, тут же невестка, ребятишки.

— Ну и?..

— Расчувствовались все до слез: они так поняли, будто лучшего комплимента и придумать было нельзя.

— Ха-ха-ха! В самую точку попал! Ха-ха-ха!

В Советском Союзе, по последней переписи населения, зарегистрировано 21 708 человек в возрасте старше ста лет. При последующей переписи число долгожителей поднимется как минимум до двадцати пяти тысяч, а в дальнейшем — и еще того больше. И представьте только: если всех их собрать в одном месте. И не то чтобы в одном городе, а в одном районе.

Около двадцати пяти тысяч человек, должно быть, жили в том крае с десятком деревень, который в годы детства казался мне не-

объятным царством. Я мысленно заселяю тот край столетними. Пусть бы жили они так, чтобы их доходы — отчисления пенсии — также вкладывались в хозяйство края, а поскольку долгожители составили бы подавляющее большинство населения, то, естественно, к ним перешло бы и известного рода самоуправление. Они всецело руководят и теми, кто обихаживает их, и теми, кто их обслуживает, равно как и обслуживающим персоналом при самих обслуживающих. Представляю себе структуру общества столетних.

Представить это весьма полезно, я бы даже сказал полезно и с чисто практической точки зрения. И то правда: разве реальный наш труд и страстные наши мечты не сводятся к тому, чтобы всем нам жить по крайней мере лет до ста? Чтобы стал реальностью мир столетних людей, а там, глядишь, со временем и более старших, нежели столетних! Что в ходе естественного развития рано или поздно привело бы к их правлению.

Невозможно представить себе правления более деспотического. Ведь совершенно ясно, что к ста годам мы будем подходить предельно требовательно, что и объяснимо: именно тогда мы больше всего станем нуждаться в комфорте и особенно в любви. Не того рода любви, какою мы наслаждаемся по заслугам, а другой, и скажем больше, преимущественно той, которой принято добиваться насилием, домогательствами. Посредством какого же неотразимого довода? «Мы умираем! Снизойди к уходящим из жизни!»

Да, престарелых людей становится все больше, и с годами число их будет неизменно расти. Чем больше отдано душевных сил, тем сильнее человек цепляется за тело. Сегодня стариков в десять раз больше, чем было сто лет назад. А еще через столетие их станет больше в тысячу раз. Близится время, когда на земле останутся жить старцы. И править будут тоже они, вот так-то.

В наше время горы романов завершаются бракосочетанием: герои их по возрасту совсем зелены, не старше двадцати четырех лет. Океанский вал поэзии отображает душевный мир людей еще более юных, которым далеко до вступления в брак; это мир приблизительно двадцатилетних. В дальнейшем литература утратит сию молодежную направленность. В поле зрения писателей попадут старики. Будут созданы художественные произведения о них, для них и — благодаря им.

Эти заметки отнюдь не первые ласточки в писаниях подобного рода. Цель их — не возвеличивание старцев, а напротив: предупреждение, предостережение.

Допускать подобную гипотезу — господство стариков — совсем не значит одобрять его.

Юноше мы прививаем черты, достойные мужчины. В том же духе следует напутствовать и старца.

«Чем больше я старею, тем сильнее во мне готовность жить».

Другими словами: тем естественнее я ощущаю, что живу, что жизнь — вот она. И что она будет длиться впредь, всегда.

Так говорил человек преклонных лет, который, однако, и смолоду был мудр. Сказано это в подтверждение мысли, что душа наша уже в течение нашей жизни проходит определенный отрезок вечности. Что вечность для нее естественна. Что душа *там*, даже когда она *тут*, в нас. Стало быть, взаимосвязь существует.

Наверняка мудрец говорил это в шутку. Или же с легкой улыбкой на устах. Но для меня и этой улыбки вполне достаточно: это дверца, чтобы заглянуть по ту сторону глухой стены.

Так как помимо нее другой лазейки нет.

Можно вести беседы с божьей коровкой, зная, что та не поймет ни звука,— и никто не сочтет это чудачеством. Можно хоть перед виноградной улиткой декламировать стихотворение, написанное в архаически-старинном ритме, то бишь в ритме четырех- или трехстопной средневековой латинской просодии, — и тут всё воспримут как должное. И в то же время мы осуждающе смотрим на старца, если тот вслух — наконец-то! — беседует с весьма значительной личностью, имеющей для него жизненно важное значение, то есть с самим собой.

Чаще всего старик утешает самого себя: «Ну и черт с нею, разбилась и ладно!» — доносится из кухни вслед за тем, как звякнули черепки. «Ну приврал я, и пусть приврал!» — произносит другой, пригревшись под осенним солнцем. Кто же предполагаемый слушатель? Смерть. А в действительности прислушивается ли кто-либо ко всем этим монологам? Нет, даже и смерть их не слышит.

Вверх, к дому, ведут ступени, вырубленные на склоне холма, и одна из этих ступеней — перед самым домом — насыпная площадка, идущая вдоль крепостной стены. Когда человек, поднимаясь, проходит этот участок, то поверх площадки видна только его голова.

С книгой в руках я устроился перед домом, взгляд мой прикован к странице; но все же краем глаза я вижу: над площадкой плывет голова — кто-то сюда идет. К тому же, судя по белому платку, это женщина. Я вскидываю взгляд.

Всего лишь белая бабочка порхает над краем площадки.

Вскоре мне снова приходится поднимать глаза.

Опять никого, теперь там скачет какая-то птаха.

И так раз пять-шесть на дню я уличаю свой глаз в заговорщицком заигрывании с окружающим миром. Я смотрю вправо, а в поле зрения слева за деревьями шагает какой-то мужчина. Но нет, это всего лишь качается ветка, одна-единственная, и качается как-то чудно.

Не трудно истолковать эти симптомы. Образ, захватываемый сетчаткой, мозг воспринимает уже далеко не с прежней свежестью и точностью. Может, здесь своего рода дальнозоркость или, вернее сказать, близорукость — вполне допускаю.

Мы сидим за обедом, и мой глаз поверх края тарелки замечает вдруг, как вдоль плинтуса противоположной стены крадется мышь, и весьма неторопливо. Не бежит, а как бы неспешно прогуливается. За ней — другая, и тоже не спеша. И вторая мышь — точно такая же, черная. Черные мыши? Здесь, среди бела дня, в комнате, где ежедневно моют пол? Я поворачиваю голову, пытаюсь взглянуть сбоку и понять, что скрывается за этим явлением.

Нет, не мыши и не в четырех-пяти метрах вдоль стены, а много ближе, в каком-нибудь метре от меня, по краю стола прогуливаются две мухи, перебирая лапками то чуть быстрее, то медленнее.

Сходным образом — меняя угол зрения — приглядываюсь я и к самой истории. И потому одерживаю верх над кратким отпущенным мне временем.

Диспут с В.

— Как бы ты определил основные черты революционера? Кого можно назвать революционером? По-моему, революционер — это человек, который, сделав выводы, готов последовательно и неуклонно подтверждать их собственным примером.

— Все зависит от того, о революционере какого типа речь. Ведь революции бывали в разные времена и протекали по-разному.

— Я хотел бы определить духовные особенности такого человека. Исходя из мысли, что революция — это высший миг нетерпимости: когда эксплуатируемые не в силах больше терпеть, а эксплуататоры не могут больше удерживать власть, приводя по памяти формулировку Ленина. Стало быть, первый признак революционера: человек, который отказывается терпеть, который любой ценой стремится к новому.

— Ты сказал не так уж много.

— Во всяком случае, самое существенное! Я пытаюсь обрисовать облик человека, который любой ценой желает утвердить в этом мире новое. Даже ценою собственной жизни. Понял дальнейший ход моей мысли? Облик человека, который иные ценности ставит выше собственной жизни. Свобода или смерть! Такой девиз подошел бы к знамени любой революции. Любая революция без исключения как плату за достижение начертанной на ее знамени цели — если опасность угрожает самой цели — допускает смерть.

— Все так. Но что из этого следует?

— Противопоставление любой философии именно с позиций самой философии. Тот, кто готов умереть ради чего-то, верит в некую реальность, стоящую за его собственной жизнью. Стало быть, в вечность?! Мне хотелось бы обрисовать облик именно современника, верящего в вечность.

— Поскольку в старые времена...

— Были святые.

— Понимаю. Революционеров ты хотел бы возвести в ранг своего рода святых нашего времени.

— Никоим образом. Я ищу лишь сходства. И те и другие — люди таких моральных принципов, что даже свое собственное существование используют лишь как средство для достижения цели. И доказывают это, жертвуя собой.

— С радостью.

— Этого я не говорил. Просто они готовы на жертву. Они считали бы себя трусами, если бы поступали иначе.

— И из этого ты хочешь сделать вывод о вечности как реальном понятии? Коль скоро есть цель, обращенная к векам грядущим.

— И этого я не утверждаю. Я говорю только, что цель направлена на будущее. И эта целенаправленность ставит человека выше ограниченной жизни — ограниченной во времени единичной жизни.

— Не каждый, кто отказывается от жизни, ставит перед собой высокие цели.

— Этого я не говорю. Самоубийцы ведь тоже не щадят своей жизни. Я говорю лишь о тех, кто способен пойти на смерть ради чего-то.

— Влюбленные, которые умирают ради друг друга.

— Влюбленные кончают с собой не ради, а из-за друг друга, оттого, что не могут жить друг без друга.

— Есть и такие, что во гневе не помнят себя, кончают с собой по дурости.

— В их смерти тоже лишь отрицание. Я же ищу иные душевные мотивы, когда человек готов отдать жизнь во имя позитивных начал.

— Здесь нить Ариадны?

— Да. Меня интересуют лишь до конца продуманные самопожертвования.

— Титус Дугович [1].

---

[1] Титус Дугович (?—1456) — герой освободительной борьбы против османского ига. При защите Белградской крепости увлек за собой в пропасть турецкого знаменосца.

— Именно. Он в порыве ярости обрубил канаты. Но ярость эта была обоснованной. Как я себе представляю, Дугович точно так же пожертвовал бы собою, следуя самому трезвому расчету. Или ты другого мнения?

— В тот момент судьба крепости находилась в его руках. А отстоять крепость тогда — означало отстоять судьбу всей страны, да, пожалуй, и других христианских стран. А Дугович был профессиональным солдатом.

— Мелкий дворянин из комитата Зала. И был он не профессиональным солдатом, а профессиональным защитником родины. Но он сознавал, на что идет. И как ты думаешь почему?

— Вижу, куда ты клонишь. Дугович или Гектор и другие подобные им герои шли на смерть добровольно — по сути вещей вполне трезво, и даже более того, с точным деловым расчетом, — потому что дело, ради которого шли на гибель, они считали вечным. Ему они отдавали свою жизнь, и жизнь их продолжалась в нем.

— Так оно и есть.

— Но жертва не есть доказательство вечности дела. Разительнейший пример тому — именно гибель Гектора: то, ради чего он умер, не сбылось; Троя не стала вечной. Впрочем, можно найти и не столь отдаленный и менее возвышенный пример. Подавляющее большинство матерей готовы пожертвовать жизнью — трезво и обдуманно, — чтобы спасти своего ребенка. Хорошо понимая умом, что жизнь их ребенка не вечна.

— Но это жизнь, переданная одним поколением людей другому, в ней — вечность.

— При формуле, что жажда жизни вечна в каждом из нас? Но где гарантия, что существование рода человеческого вечно? Скорее наоборот.

— Почему «наоборот»?

— Что имело начало, тому положен конец. Так стоит ли обольщаться?

— Вот если ты мне откроешь, что и когда «имело начало», то я, пожалуй, готов слушать дальше, готов узнать, когда ждать конца. А до тех пор я буду отстаивать свою независимость, вернее сказать, убеждение: что я не приму ничего неправого и несправедливого.

— Того, что нельзя терпеть.

— Да, нетерпимость. Чем и определяется революционная ситуация. Настала пора нам сплотиться, чтобы восстать против смерти. Против самой грязной тирании, против самого подлого угнетения.

— Восстать здесь, на земле?

— Именно так.

— Без всякой помощи свыше?

— А какой помощи ждать нам, людям, свыше?!

— Стало быть, полагаясь только на себя. Тогда я согласен. Можешь рассчитывать на меня.

— Я не без умысла затеял этот диспут, вернее, подвел разговор к этому. Я помню еще один давний наш спор именно с тобой.

— На эту же тему?

— Всецело. Тогда нам было по двадцать два года, разговор произошел в комнате, где я жил, на острове Сен-Луи, в Париже. Ты пришел сразу после заседания забастовочного комитета, ситуация в тот момент складывалась крайне напряженно; с тобой пришел кто-то из товарищей. Ту забастовку необходимо было выиграть во что бы то ни стало, любой ценой! И когда прозвучало это «любой ценой», то кто-то из нас вспомнил о дьявольском искушении: обрати камни в хлеб! Как толковали его когда-то и что эта фраза значит —

насколько иной она получила смысл сегодня? В конце концов я не удержался от вопроса: а что бы ты ответил на такой искус — допустим, после забастовки реальная заработная плата французских рабочих, занятых в автомобильной промышленности, поднимется на полтора процента, зато первая пуля залпа по бастующим демонстрантам ударит в твое сердце.

— Догадываюсь, что я ответил. Иного ответа я и не мог бы дать.

— Буквально твои слова: «Где она, эта пуля!» Но как, каким тоном ты сказал?

— Очевидно, спокойным. Сознавая, что иначе и не могу ответить.

— А теперь с каким чувством ты вспоминаешь об этом? С гордостью?

— С чувством удовлетворения: оттого, что было оно, это мгновение, когда моя жизнь принадлежала не только мне. Кажется, оттого и поныне я теснее связан с миром.

Я ничего не имел бы против того образа смерти, какою ее изображают на картинах: закутанная в саван, сознающая смысл свой и долг, со свитком имен в руке. В таком виде она пусть бы и останавливалась иной раз у двери, прежде чем переступить порог. Естественно, слух ее чаще ловил бы стоны, и скрежет зубовный, и шмыганье носом — всхлипывания родственников.

А между тем — и нередко! — приближение ее вызывало хихиканье и даже неприкрытый смех. Потому что вначале она наведывается не затем, чтобы подкосить свои жертвы, а чтобы подготовить их для разящего удара. Иными словами: чтобы сломить их сопротивление; парализует, почти как змея, прежде чем заглотить пичугу.

Стыд иной раз бы мог пронять и пресловутую Старуху с косой, в этом ее нелепом балахоне. Редко встретишь такое неуемное веселье, как в компании, где собрались мужчины, чтобы отдохнуть на бренном пути и за стаканчиком вина поделиться друг с другом опытом: какими приемами околдовывает свои жертвы змея. Об уловках смерти там говорят точно о работе жука-точильщика под корою живущего дерева.

Выше мы уже приводили несколько примеров. И чем больше подобных случаев, тем лучше. Ведь удовлетворение нам может принести только наша реакция.

Душевное равновесие и утешение для рассудка — в доводах философии.

Вот история, приключившаяся со мною недавно; приятели моложе меня смеялись над ней до упаду.

Уходя из дому, уже в пальто, я напоследок вымыл руки. В конце сада меня настигает ветер, холодит шею, подбирается к чувствительным миндалинам. Я плотнее укутываюсь шарфом. В конце виноградника вновь поправляю шарф, потому что холод пробирает все сильнее.

В третий раз, поправляя шарф, я наконец замечаю, что дома, вымыв руки в ванной, я вместо шарфа повязал на шею полотенце.

Это бы еще не беда! С кем не случается подобных промашек? Но вот, уже повернув было к дому, я замер на месте как вкопанный: нет, это никак не может быть полотенце, на шее у меня должен быть шарф, потому что ведь я отчетливо помню, как вешал полотенце обратно на крюк — готов дать голову на отсечение, что это именно так,— ибо даже сейчас в мускулах рук жива память о привычном жесте, каким я, фанатик порядка, особенно в мелочах,

расправил полотенце на вешалке. Теперь уже я решил вернуться просто из принципа; шаги мои все убыстрялись, возбуждение росло по мере того, как передо мною все ярче вставала картина: я аккуратно вешаю полотенце на отведенное ему место.

На вешалке, аккуратно расправленный для просушки, меня ждал мой мягкий шерстяной шарф.

Но и тем объяснение не исчерпано.

Существует и еще один подспудный пласт сознания.

Имелась особая на то причина, почему я повесил взамен полотенца именно этот шарф, столь аккуратно его расправив.

Дело в том, что этот шарф я получил в подарок. Но получил не новым и не по случаю какого-то юбилея, а лишь потому, что свой собственный шарф я в тот день где-то забыл. В холодный и ветреный вечер, перед долгой разлукой — моим отъездом из Парижа на родину,— этим шарфом обмотал мое хилое горло один мой французский друг прямо на улице, сняв его с себя; теперь я могу назвать и имя доброго самаритянина: это был Андре Френо [1]. Я долго отказывался принимать его шарф, хотя действительно сильно хрипел и кашлял, однако у друга нашелся убедительный довод: мне предстоит долгий путь, а он сейчас возвращается к себе домой. Одно обстоятельство мешало ему предлагать свой дар более настойчиво. Шарф его действительно был сильно поношенный. Мне даже пришлось пообещать тогда, что по приезде домой я его либо выброшу, либо отдам подштопать и выстирать. Давнее обещание совершенно вылетело у меня из памяти. Но, как оказалось, не из подсознания.

Существует, стало быть, такого рода рассеянность, в истоках которой лежит не забывчивость, а, напротив: цепкость воспоминаний.

Что такое абсолютное одиночество? Даже среди ледовых полей человек — не единственное живое существо; я не могу сказать, что я в полном одиночестве, если в хижине щебечет канарейка. Или просто тикает будильник!

В их обществе я теряю преимущественное право на экстерриториальность. В чем выражается эта потеря? Когда я начинаю подпадать под власть иного, отдаленного от меня мира, перенимать его обычаи?

Инстинкт подскажет мне, когда мое одиночество будет абсолютным, когда станет доступным мне символический язык того далекого — но приближающегося — царства.

Я читаю, книгу держу в левой руке и вот уже в третий раз ловлю себя на том, что правой досадливо отмахиваюсь: отстань, подожди, не мешай мне, и до тебя дойдет очередь.

Жест мой не имеет отношения к прочитанному. Это было примерно полстолетия назад, на троицу; через задунайскую речушку Коппань был переброшен тополь. Не для того, чтобы по нему переходили на другой берег, так как ствол даже не стесали топором, просто лежал кругляк. Может быть, его хотели перетащить на ту сторону, а может, тополь сам повалился и перегородил речушку. Компания наша направилась к пешеходному мостику, я же — в воскресном костюме — решил перебраться по бревну, очевидно, чтобы порисоваться перед девушками. Однако, ступив шаг-другой, я все же одумался и повернул назад. Не знаю почему, но тогдашнее мое отступление кажется мне одной из самых постыдных промашек

[1] Андре Френо (род. в 1907 г.) — французский поэт.

в жизни, и с возрастом оно мучает меня все чаще. Именно к этому воспоминанию относится мой раздраженный жест: скройся опять средь книжных строк или во тьме моих мозговых извилин, откуда— черт его знает по какой ассоциации — вдруг всплыло на поверхность моего сознания. В последние годы именно эта сцена открывает собой сарабанду неприятных воспоминаний.

Отрешиться от звуков и от запахов, по мне, еще не одиночество. Не испытывать ни холода, ни жара, когда притуплены болевые ощущения кожи,— и тогда одиночество коснется лишь органов осязания. Отстраниться от забот, отринуть мысли — и тогда я не чувствую себя в одиночестве. Вот уж и обычный импульсивный всплеск воспоминаний, и тот мне кажется чрезмерным! Чем обусловлена потребность в нетревожимой тишине, в покое? Потребность, что зреет во мне. Непреднамеренно, подспудно. Потребность со стороны, краем глаза увидеть, как возле тебя кружит смерть, и впервые осознать, что нет аргумента против нее,— здесь и начинается нечто новое, новый период жизни.

Блага преклонного возраста — те, что может дать нам лишь старость.

Шедевры обретают зрелость не только на книжных полках и в музеях. Но и в памяти нашей, причем не обязательно их видеть или заново перечитывать. Подлинный Musée Imaginaire [1] всегда с нами, у нас в голове; воображение наше непрестанно реставрирует его шедевры, и произведения искусства — как бы в благодарность за это — лишь теперь раскрывают перед нами подлинную свою природу и сокрытые в них тайны, а раскрывая себя, они разом и сторицей вознаграждают нас, как состоятельные больные — своих врачей сразу за все предыдущие визиты.

Многие годы я не видел картин Ленена [2], не перечитывал «Фауста», и тот концерт, что Барток дал при расставании с Будапештом, никогда не повторится. Однако вот сейчас привычное мое кресло, которое ласково снимает мою усталость, возраст словно приподнял выше и горизонты мои расширились настолько, что к непосредственности своих давних впечатлений я теперь могу добавить наслаждение истинной оценки. Ленен — титан, несмотря на все слабые его стороны, а «Фауст», если рассматривать его прямое назначение — как пьесу для театра — несовершенен; Барток же на том прощальном вечере в Музыкальной академии сумел так передать в звуках свою судьбу, что, казалось, она заполнила собою альпийскую долину, а сам он стоял — да и по сей день стоит — на вершине Монблана, запечатленного вдохновенным стихотворением Вайды.

Добротную деревенскую корчму — одноэтажную, но вместительную — строили при герцогах, еще до союза с Австрией, строили по тому же типу, как сооружают огромные хлева для убойного скота: длинный-предлинный коридор, а по обе стороны его — комнаты. (Будто стойла для волов.)

А поскольку местный часовщик был пьяницей и обретался преимущественно в корчме, то в каждой комнате этого заведения, и слева, и справа от коридора, висели свои часы с боем. Что, кстати,

---

[1] Воображаемый музей *(франц.)*.

[2] Ленен — французские живописцы XVII в., братья Антуан, Луи, Матье. Наиболее известен из них Луи Ленен, писавший преимущественно сцены из крестьянской жизни.

было вполне оправданно, так как каждая комната представляла собою отдельный мир. Одна служила питейной для управляющих имениями и агрономов, другая — для ремесленного люда, третья, где стояли простые крашеные столы без скатертей, предназначалась для крестьян. Наезжающим из пусты даже столов не полагалось: они могли угоститься, присев на скамью возле стойки. Размеры часов были пропорциональны величине помещения. Часы покрупнее висели в так называемом казино, солидности которому придавал стоявший там биллиард; еще более массивные — в танцевальном зале, где столовались завсегдатаи корчмы, внесшие деньги заранее. А совсем маленькие ходики висели на кухне.

И как скотина в хлеву, часы ждали часа кормежки: указания точного времени. Точное время для них приносил ежедневно в двенадцать часов дежурный по станции, холостяк в фуражке с золотым кантом; он переходил улицу от вокзала к корчме. Поезда пролетали мимо станции лишь рано утром и после полудня, случалось, что и опаздывали, но часы в диспетчерской со стрелками-указателями из желтой меди — в неразрывном единстве с аппаратом Морзе, тоже из желтой меди, а значит, и в единстве с прочим миром, со всем мирозданием — были символом безукоризненной точности. В тот момент, как открывалась дверь пристанционного здания, на колокольне ударяли в колокол. В момент, когда открывалась дверь в корчму, в комнатах по обе стороны коридора начинали бить стенные часы, соразмеряя свой бой с шествием дежурного к танцевальному залу; с каждым его шагом часы били все звонче, все восторженнее; так по строю солдат, завидевших полководца, нарастающей волною прокатывается «ура».

А там вплоть до следующего полудня время ничем не напоминало о себе или, во всяком случае, напоминало не столь явно. Иной раз, если ветер дул от железной дороги — со стороны основной магистрали, потому что наша линия была всего лишь боковой веткой,— слышно было, как там, в отдалении, со свистом проносится скорый поезд. Чужой, со своим временем.

Отсчет более крупных единиц времени вели не по часам, а... по собакам. Рождение и смерть нашего дворового пса по кличке Султан — это начало и завершение моих школьных годов. За ним последовало летосчисление Витязя. А календарь пастушьих овчарок и пули, пожалуй, удерживался в памяти только нашего деда. Часы-месяцы и часы-годы, конечно, можно было отсчитывать и по домашней птице, по поросятам и баранам — ведь всей этой живности мы тоже давали клички (а в особенности петухам),— но их часы останавливала не смерть, а мы сами: мы их попросту съедали; на том и кончалось их время.

Частица вечности

Царство Мертвых не всегда печально. У жрицы смерти Персефоны и ее придворных дам губы сложены в полуулыбку, а глаза иной раз загораются лукавством.

Не менее радушно принимают нас и здешние жрицы усопшего, служительницы гигантского некрополя. Любезно опекаемые ими, мы совершаем большие пешеходные экскурсии, осматриваем достопримечательности из автобусов и даже с лодок.

Рассчитанная на два-три дня, познавательная поездка с самого начала удалась превосходно — в значительной мере благодаря сим жрицам. И обещает быть еще приятнее.

Отвлечься от повседневной жизни удалось полностью. Тот мир, где мы доныне жили, наш будничный, двадцатый век, кажется отсюда смутным, призрачным сном. Настолько далеки мы от него сейчас!

И чувствуем себя прекрасно, оказавшись погребенными глубоко под пластами действительного времени, у меня чуть не сорвалось с пера: глубоко под землею.

В Стратфорде все подчинено тому, чтобы сохранить прошлое, любая мелочь столь предупредительно — тактично, но с полным сознанием цели — уводит нас назад, к блаженным дням Шекспира, что наше ощущение погребенности под временем, под настоящим, своего рода духовное перенесение в другой пласт бытия не подавляет, а напротив, возвышает. Вашингтон Ирвинг[1] *дал очень меткое определение Стратфорду: город-мавзолей.*

Трудолюбивый и жизнерадостный искони, да и поныне сохранивший неизменной свою натуру деятельного и радушного провинциального городка, Стратфорд обручился со смертью. Союз пошел на пользу обоим.

Страна Теней не во всех своих проявлениях мрачна и безотрадна.

В витринах Стратфорда полно цветов, разнообразных свечей и подсвечников. У человека заезжего могут возникнуть ассоциации с катафалком и с церемонией похорон, но похоже, такое впечатление возникает лишь у прибывающих издалека.

Коренные жители города торгуют этими предметами как изделиями исстари высоко развитого художественного литья. Кстати, темные, мрачные тона отнюдь не преобладают, городок выглядит скорее пестрым.

Уроженцы Стратфорда не чувствуют, что, проходя опрятными мощеными улочками своего города, они, в сущности, гуляют по кладбищенским аллеям, ходят по погосту; вернее, как мы увидим дальше, это чувство у них трансформировалось в эмоции иного рода.

По обеим сторонам ухоженных аллей белеют домики; коричневые дубовые двери, зажатые двумя колоннами, отполированы, точно крышка гроба; на них безукоризненно сверкают медные ручки и медные таблички с именем владельца, но без указания дат жизни — знак того, что в эти двери входят и выходят пока еще живые аборигены города. Обитель Вечного Успокоения не скрывает знаков довольства и делового процветания. Верно понятое предназначение Стратфорду пошло на благо.

В надписи над сводом кладбищенских ворот после «Мы воскреснем» в большинстве стран Европы обычно ставят восклицательный знак. Это провозвестие — «Мы воскреснем!» — допускает двоякое истолкование. Оно может звучать ободряюще, как самоутверждение, тогда оно как бы исходит от живых людей. А может быть понято и как угроза скалящего зубы черепа, обещание мести всем живущим. Стратфорд, этот город-мавзолей, заслуживает быть занесенным на географическую и духовную карту мира уже потому, что знаменитой надписи он сообщает новое, третье значение.

В стенах Стратфорда происходит воскресение, вернее, воскрешение из мертвых, но оба процесса протекают мирно, чуть ли не в узаконенном порядке. Это Долина Призраков, однако забредший туда живой человек не закричит от ужаса; у него не округлятся в страхе глаза и волосы не встанут дыбом. Здесь свершается союз,

[1] Вашингтон Ирвинг (1783—1859) — американский писатель.

примиряющий явно непримиримое: да, верно, я отдал бы полжизни, чтобы увидеть покойную мать, но умер бы сам, восстань она из могилы.

Под властью Великой Тени смертные здесь живут своей обыденной жизнью, воссоздавая меж тем некое подобие вечности пока что неосознанно, но для нас первое знакомство с вечностью все же состоялось.

Затея Тутанхамона не удалась. Свою усыпальницу он выложил золотом, предполагая, что если золото не подвластно времени, то под его защитой останется нетленным и он сам. Однако время разметало золотые пластины со знаками власти и изображениями фараонов. В просторных склепах полуденных стран хозяйничали ветры и развеяли последние надежды сына солнца на вечное бытие. Да там и не было ни крупицы вечности. В золоте нет жизни, сколько бы жизней ни покупали на золото и сколько бы их ни отдавали взамен него.

В этом отношении исполинская пирамида, воздвигнутая англичанами, гораздо надежнее хранит свои ценности. Здесь во все вдохнули жизнь, даже в золото.

Достоинство и оригинальность замысла заключается в том, что этот гигантской протяженности мавзолей со сложной системой сокровищниц и лабиринтами ходов воздвигнут на поверхности земли, однако не является частью земной оболочки. Пирамида существует, но в плане чисто умозрительном.

Четыре треугольных грани ее вершинами сходятся где-то возле Солнца или на Солнце — ведь прозрачные, условно намеченные стены пирамиды легко раздвинуть. А стало быть, внутри нее нет серости и сумрака. Для послежизненного пребывания такое место нам вполне подходит; вписывается в стиль нашей эпохи. Там светло даже в дождь. А вечерами, должно быть, зажигаются неоновые огни.

Это лишь мое предположение. Потому что вчера после роскошной трапезы я блаженным сном проспал весь вечер в гостинице и ночью мне еще не довелось бродить по этой системе надземных катакомб.

Сейчас утро, время наиболее благоприятное для осмотра места поклонения и для приобретения паломниками реликвий, как то и рекомендует брошюрка-путеводитель; она напечатана на разных языках, но шрифты — все одинаковые, старинные.

И на кладбища ходят не только затем, чтобы лить слезы. Спросите об этом хотя бы стареющих дам, особенно где-нибудь в странах Центральной Европы. И местности, отведенные под кладбища, далеко не всегда наводят страх.

Стало быть, и царство мертвых в мировом масштабе ждет еще своего первооткрывателя и нового, более обстоятельного описания.

Мы не утверждаем, что Стратфорд — сердцевина потустороннего мира или, скажем, идеал современных представлений о нем. Это привал на полдороге, манящая уютом почтовая станция, где можно сменить лошадей, или заправочная колонка на том пути, который — если прокладывать его как следует — действительно приведет нас в новые сады Эдема.

Средь милых, воссоздающих атмосферу старины улочек города впечатлительный чужеземец ощущает близость одного из самых

удивительных — и, пожалуй, глубочайших — душевных состояний, доступных роду человеческому. Готовность к постижению великих истин.

Мы как будто проходим сквозь очистительный огонь. Этот феномен интересен и с чисто научной точки зрения. Стратфорд взывает к человеческому разуму, открывает нам истины, заставляет углубленно, философски мыслить.

Заблуждается, стало быть, тот читатель, кто за несерьезным — в сравнении с величием темы — тоном нашего повествования усмотрит лишь острословие, изыскивающее парадоксы, а смешение необычайного и естественного примет за шутку. В дальнейшем это заблуждение возрастет. Поскольку дисгармония кроется в самой действительности. В том повседневном и вечно повторяющемся противоречии, когда мы ухитряемся не замечать явлений, происходящих у нас на глазах. Охваченные благоговейной страстью, мы не отрываем взгляда от заветного окна, тогда как предмет обожания давно стоит рядом и держит нас за руку. Так и смерть невозможна лишь до тех пор, пока она противоречива.

Приходится только удивляться, до чего скудны наши знания о потустороннем мире. Просмотрев все труды на эту тему, проверив их фактографию, можно утверждать, что мы не знаем ничего точного и определенного.

Отцы церкви — те, что столь непререкаемо предписывали художникам сюжеты, пасуют перед любознательностью к будничным деталям; от столетия к столетию и в разных частях света духовные пастыри предлагают все новые и новые толкования, причем они иначе перетолковывают даже собственные прежние объяснения. И философия здесь тоже не рассеивает тумана. Тем больший интерес вызывает тот факт, что наконец где-то — и именно здесь, в Стратфорде! — можно увидеть зримые контуры потустороннего мира.

Преисподняя древних греков не тождественна христианской геенне огненной.

Каково же оно, это подземное царство? Европеец чаще всего представляет его в пространственном отношении, как край по ту сторону Леты. Здесь царит полумрак, но по соседству, в непосредственной близости от него, то есть тоже под землей, находится Элизиум, и оттуда, с асфоделийских полей, время от времени пробивается свет. Между этими двумя мирами существует и проход — вполне удобный.

Да и правосудие здесь гораздо гуманнее, снисходительнее; в греческой мифологии при вынесении приговоров над душами, как и при исполнении оных, нет того вопиющего садизма и нездорового смакования при осуждении грешников на разные муки, что впоследствии христианская фантазия запечатлела в каменных статуях своих соборов.

Побродить по улицам — здесь выпить пива, там полакомиться мороженым: довольно и полутора дней знакомства со Стратфордом, этим удельным княжеством смерти, чтобы из памяти нашей выветрились ужасы Данте.

Гений великого флорентийца достоин удивления хотя бы уже потому, что он сумел простым гусиным пером — и ничем более — возвести такие преграды на пути к потустороннему миру, что их и поныне не сдвинуть, хоть рви динамитом. Однако не все из повествуемого Данте — и в плане психологическом — может быть нами принято на веру: слишком пылка страсть, направляющая его художественный

талант, слишком ощутима поэтическая и национальная предвзятость. Нас, взращенных на иных страстях, в наших поисках наиболее приемлемого прообраза потустороннего мира, Данте может увести на ложный путь. Ад Алигьери создавался почти исключительно в расчете на итальянские умы.

Эта пристрастность Данте утешительна для остальных католиков мира, особенно же если принять ее в качестве своеобразного противовеса пристрастности иного рода, в согласии с которой с 1003 года — со дня смерти француза Сильвестра II — каждый новый папа избирался из числа итальянцев. В наших поисках собственного пути нам не следует полагаться на этого флорентийца с пламенным взором. Точно так же не будем полагаться и на основной его источник информации — тоже уроженца юга и натуру поэтичную: на древнего Вергилия. В их картине потустороннего мира — можно сказать, нарисованной ими сообща — неугасающим пламенем горит долгие века одна доподлинная преисподняя: питаемая шовинизмом ярость приверженцев партикуляризма. Однако же довольно с нас лирических фантазий.

Мы — дети реальности, наследники земного на земле; такими же мы остаемся и в своей поэзии. Да, именно так: мы богоотступники! Мы настолько преданы реальности, что для нас и потусторонний мир — какой-то ненастоящий, пока мы не найдем к нему реального подхода, реальных объяснений. Поэтому и в провожатые себе мы выбираем другого. Более уравновешенного, а значит, и глубже понимающего юмор.

Поразительно, но факт: на юге, где, кажется, и былинка раскрывается в улыбке, на лице поэта улыбка — редкий гость; чаще оно искажено гримасой или ухмылкой. А потому рекомендуется поискать такие края для перехода к Аиду наших дней, где лицо чичероне спокойно и не предрекает заранее трагедии. Путь нелегок. И нам идти по нему.

Блуждать среди старинных домов приятно. Прошедшее успокаивает. Это вполне естественно: былое для всех нас — дом, родной дом, который одновременно является и истоком и устьем жизни.

Старинные дома — в особенности если они тщательно реставрированы — внушают надежду и сулят многое объяснить нам. Через них мы познаем законы бытия. Стало быть, любой старинный дом хранит свои скрижали познания. Кто вписал в них больше: воспитавший нас отец, его тяжелая рука, или длань пророка Моисея? Неграмотный пастух, наш прародитель, или же сам господь бог — высший наш отец, который также всем и вся предписывал без письма?

Тем из нас, кому этимология служит удобным в обиходе инструментом для изучения отдаленнейшего прошлого, нетрудно проследить, как в легендах боги — наши немощные прадеды — возносятся с земли на небо. Редко где наполняла меня большей убежденностью — и успокоением — мысль о земном начале богов, чем в Стратфорде. Хотя опорою мне служит вовсе не лингвистика. Да и не происхождение тех самых богов из преданий интересует меня. А нечто гораздо большее!

Жрицы культа смерти и здесь, в Стратфорде-на-Эйвоне, мило улыбаются в своих крохотных, схожих с часовнями лавчонках, когда протягивают вам почтовую открытку или фарфоровую кружку, пресс-папье или зажигалку, галстуки, косынки или носовые платки.

Все эти предметы украшает одна и та же толстощекая, с большими залысинами, малоприятная физиономия, я узнал лицо, которое

видел и раньше, на желтоватых страницах брошюр, и в котором — как нам кажется — Великий Усопший не узнал бы самого себя.

Это же изображение оттиснуто на мыле, оно — на бутылке виски и на жестяной банке с фруктовым соком. Повсеместно сверкают позолотой таблички с цитатами из произведений Поэта, властителя этого Царства Мертвых; стихотворные строки подобраны в строгой зависимости от назначения того или иного помещения. Стало быть, они не одинаковы у парфюмера и в цветочной лавке, свои особые — в аптеке, у мясника, в городской библиотеке, в церкви, в школе и во всех тех зданиях, где некогда бывал повелитель этой Страны Бессмертия.

Где теперь удостоились побывать и мы — песчинки средь нескончаемого потока тянущихся чередой паломников.

Паломник-одиночка здесь не заплутает: ему помогут разобраться в переплетении улиц расставленные на перекрестках высокие столбы-указатели, или же рука полицейского, взмыв вверх, укажет нужное направление. Благодаря этой помощи и мы смогли коснуться той страницы в книге метрических записей, на которой Anno Dei 1564 был отмечен факт рождения верховного правителя сих мест; поднялись мы также по деревянной лестнице, по которой некогда малым ребенком карабкался и он; обступив полукольцом, мы постояли подле ложа, где он был зачат и рожден и где впоследствии сам зачал свое дитя.

Существеннейшая особенность Стратфорда в том, что этот величественный некрополь и доселе длит срок своей помолвки с прошлым, не ведая забот и печалей. Жизнь его настолько беззаботна, что некому задуматься теперь, как именно и с кем полюбовно заключен этот и поныне далекий от заурядности союз и к чему он приведет в дальнейшем. Подобные мысли приходят в голову разве что заезжему сюда из дальних стран, где иные нравы и обычаи; но и заезжего человека этот союз с минувшим не настраивает на печальный лад, а скорее склоняет к веселью.

Городок уподобился преданной жене, готовой на все, лишь бы угодить супругу.

Есть населенные пункты, смысл существования которых в том и заключается, что они — железнодорожные узлы, центры шахтерских районов, места ярмарок или областные города. Стратфорд-на-Эйвоне, по всей видимости, процветает потому, что посвятил себя служению одному-единственному лицу.

Пример этот не нов. Города как таковые, а провинциальные городки в особенности, любят пристраиваться под бочок к какому-нибудь Бессмертному.

Однако взаимоотношения сторон не всегда складываются удачно. В Веймаре прибывший издалека чувствует себя не в своей тарелке: плохо сохранившийся, похожий на некрасиво стареющую женщину город злорадно намекает, что тот гигант с гордо поднятой головой и властным взором, перед которым он некогда падал ниц, ростом был всего сто шестьдесят пять сантиметров, да и вообще был не так уж велик. В Стратфорде же союз с Бессмертным вызвал к жизни отношения совсем иного рода.

Этот город — стар он или не стар — с юношеской непосредственностью и с неизменным благодушием следует велению судьбы. Поскольку своего великого избранника город не избрал, а получил в наследство от истории. От человечества! От единственно аутентичной формы воплощения человеческого — от Поэзии. Бывают ведь удачными и браки по расчету. И принцессам иной раз дано изведать любовь.

Служение отнюдь не кабала. Что может обратить монарха в конституционного правителя, а восторженного поклонника в спутника жизни? Ответное служение.

Великий Усопший сторицей воздает за то служение, которое так четко налажено в городе: продуманные автобусные маршруты, стоянки такси, речные трамваи, специально для паломников проложенная железнодорожная ветка, коммунальная телефонная служба, уютные кабачки и кондитерские.

Редки памятные места, где столько впечатлений получил бы путешественник, обладающий самыми скромными литературными познаниями, как здесь, на берегах Эйвона.

Сверхчудо материи — электроэнергию — бессмертный Фарадей получил посредством индукции двух сил. Здесь, в Стратфорде, действуют три силы: Великий Усопший, Город и блуждающий среди бессмертия Путешественник. Первый из них — зачинатель и побудитель — и посейчас сильнейший.

Ощущение его присутствия — живительное ощущение. Что неожиданно уже само по себе, поскольку исторические личности чаще подавляют нас своим величием, нежели воздействуют благотворно. Возрастающая вереница лет омрачает чело не только простого смертного, но делает суровее и лик пребывающих в бессмертии.

Шекспир в своем родном городе остается молодым. Редчайший случай. Творец «Отелло» не стареет и по ту сторону Леты. Он возвышается над нами, но не как суровый судия, в отличие от создателя «Божественной комедии» Шекспир умеет быть шутливым и задорным.

Тут я, растроганный и умиленный, замечаю, что Поэт становится моим наставником и провожатым. Не только в кружении улочек, заботливо воссоздающих облик XVI века, улочек, где мы от дома к дому следуем по его стопам, но и в лабиринте столь же старых и, пожалуй, заслуживающих обновления мыслей, кои прежде мне самому не удавалось привести в систему.

Я не один, я нахожусь в компании. И не могу обособиться от своих любезных сопровождающих. По-прежнему я участвую в беседе и обмениваюсь мыслями с ними и в то же время внутренним слухом внимаю поучениям и напутствиям великого сына этого городка: пилигрим — словам аборигена; более того, я даже приступаю к нему с расспросами, благодарный ему не менее, нежели флорентиец — разумеется, toute proportion gardée [1] — мантуанцу [2].

Однако приобретенный опыт и накопленные мною сведения — совершенно иные.

К счастью, и здесь скоро обнаружилась удивительная способность женщин быстро осваиваться с незнакомым местом и новой ситуацией. В невеликой нашей компании женщин — четыре; правда, меж ними есть отличие в образовании, но не в воспитании: у всех одинаково высокие духовные запросы. И вот — Эржи, Флора, Марика, Юдит — в два счета преодолели все, способное тревожить и мешать: они душою и сердцем наслаждаются этими двумя свободными днями, они прониклись настроением города и чувствуют себя как дома; секретничая и шушукаясь, они шагают впереди нас по улицам сего отнюдь не мрачного некрополя. Мы, мужчины, то есть Ласло, Золтан и я сам, в противоположность им, держимся стесненно, нам труднее

[1] Сообразуясь с величиной, значением *(франц.)*.
[2] Вергилий был уроженцем окрестностей Мантуи.

принять правила игры; труднее свыкнуться с утешением, что все-таки есть оно, инобытие.

Почитание предков, да, из всех вероучений сегодня именно это нам более по сердцу. Иными словами: из всех прочих именно оно оказалось ближе человеческому сердцу.

Быть достойным своих отцов и дедов, от кого брала начало наша жизнь и этот мир,— мысль сугубо земная, не заоблачная, не трансцендентная. Следовать деяниям предков и тем самым войти в их круг, вернуться в их страну воспоминаний: и это лишь одно из звеньев в цепи рационального. В качестве религии такого рода оценка бытия впервые утвердилась на Дальнем Востоке, в незапамятные времена. Рудименты ее можно обнаружить и в других краях, в более близких к нам тысячелетиях и близлежащих частях света. Возвратиться в лоно Авраамово — здесь также скрыта надежда возвыситься до предков.

Быть достойным великого кумира — лебедя Эйвона! — ко многому обязывающая религия. К счастью, это чувствуют лишь избранные. Те, кто прошел через искус: написать «Гамлета» своего времени!

Удача сопутствует нам еще в одном. Великому предку, Предмету поклонения в Стратфорде или — чтобы не ходить вокруг да около, поскольку многими он уже приравнен к божеству, — Отцу нашему не чужды веселые проказы. О многих ли кумирах новейших времен мы можем сказать подобное? Этот кумир не оторвался от людей.

Он знает Человека.

Сегодня мы можем со всей откровенностью подвести итог: наша эпоха мало что ведает о смерти, но каждой из религий, старых или новых, в качестве испытания задает вопрос: что эта вера предлагает нам после смерти, как объясняет она смысл нашего существования?

Не будем перечислять все расхожие модели, все прейскуранты цен. Одни сулят развитие по восходящей, другие — поворот вспять. Жить, чтобы жить, попросту существовать в отмеренный нам срок, нет, жить ради более возвышенной цели, а тем самым, значит, и жить посмертно,— вот что отличает человека от животного.

Прогулка по духовному царству величайшего знатока людских судеб и величайшего мастера драматургии — это своего рода соприкосновение с потусторонним миром, благотворное для наших нервов. Не следует только быть сверх меры требовательным. Тогда и получим мы больше.

И кто знает, быть может, получим все до конца? Изображение потустороннего мира в искусстве всегда исходило из безграничности времени и пространства. А к чему привели попытки изобразить этот мир иначе?

В Библии многое заслуживает внимания, в том числе и применительно к нашей теме. И правда, путь к ризам богородицы и сердцу Иисуса вполне очевидно ведет через колена Авраамовы. Тем же путем шла к завоеванию реальной действительности и философия Корана, а потому она с большим предубеждением относится к Новому завету. Но отсюда же проистекают и воззрения альбигойцев, которые, в свою очередь, присмотрелись к Ветхому завету, а затем безоговорочно отбросили и с отвращением отринули его.

Здесь, в Стратфорде, словно бы на наших глазах заново возрождается, разыгрывается действо возникновения религии. Все кажется, что мы во плоти узрели Отца нашего. Слова его не умерли, они звучат; ритм их живой, а рифмы остроумны; любое сравнение выхвачено из гущи жизни. Со словом Поэт в ладах!

Этот кипящий жизнью огромный некрополь — не задуманное кем-то творение. Он возник сам по себе с течением времени. Sponte sua[1]. *Поучительно было бы с исчерпывающей полнотою исследовать историю его становления.*

Искони сей городишко служил вместилищем будничного, бренного существования; давал приют кожевенникам, сапожникам или торговцам сукном. Незаметно превратился Стратфорд в хранителя вечности, не прерывая прежней своей обыденной жизни. Более того, в деловом отношении городок расцвел; просто сменилось назначение будней его жизни.

Точно так же было бы в высшей мере поучительно написать историю становления самого культа Поэта. Ведь поклонение ему, как и все значительные религиозные движения в истории, возникло sponte sua, естественным путем, как все живое — из единой клетки.

Дом, где родился Поэт, в общем и целом можно считать подлинным. Уже в то столетие, когда умер Поэт, к дому его относились как к памятнику искусства.

Затем так же поступили с домами его свекра, его дочери, — вернее, с домом зятя. Поэтому, как предполагают, в нем немногое подверглось переделке.

По мнению знатоков этой эпохи, ее обстановки и реквизита, граждане Стратфорда всюду, где могли, слегка переделывали, приукрашивали мебель и комнаты покойного поэта. Их подвергали критике за то, что они задним числом хотели включить великого Поэта хотя бы в ранг состоятельных буржуа, подняв его с уровня среднеимущих, к каковым он относился в действительности.

Отметим, что причину такого приукрашивания нельзя объяснять чисто буржуазной ограниченностью. Это идет уже от культа Поэта. Точно так же на большинстве полотен Crucification[2] *коленопреклоненные женщины из окружения Иисуса одеты в столь дорогие шелка и бархат, что на них должны бы смотреть с завистью самые богатые модницы Иерусалима, а, подкупив нарядами жену Каиафы или супругу Пилата, пожалуй, удалось бы избежать и самого распятия на кресте.*

Было бы вполне объяснимо, если бы наш сегодняшний Стратфорд приблизительно так же соотносился с городом XVI века, как картина Тинторетто из главного алтаря — с эпохой Августа. Все льет воду на нашу мельницу, подкрепляет нашу исходную посылку и душевную нашу настроенность. Здесь действует магия преклонения перед памятью Поэта, и мы сами удовлетворенно, чуть ли не потирая руки, погружаемся в атмосферу этого культа. Культа божественного барда — Шекспира!

Все члены небольшой нашей группы по воле случая оказались людьми, тонко понимающими искусство; они давно и не здесь впервые познали демиургову силу Поэта. И потому в беседе с ними долгие словоизлияния излишни — чувства мои понимаются с полуслова.

В кафедральных соборах Европы я не испытываю религиозного трепета; мои эмоции сугубо эстетические. Форма здесь поглотила содержание. Святилищам культа недостает именно того, ради чего их создавали: культа.

В этих же наземных катакомбах культ живой и действенный, вдыхаемый вместе с каждым глотком воздуха. Живительный и бодрящий, единодушный и возвышающий человека, коль скоро идет он от низов к вершине. Принцип культа сходен с принципом распростра-

[1] По собственному почину *(лат.)*.
[2] Распятие *(франц.)*.

нения тепла. Поклонение, почитание, насаждаемое сверху вниз, называется совсем иначе. У Гитлера и Сарданапала был не культ, а жестокая тирания.

Почему же глаз воспринимает изображения Шекспира, глядящие с кружек и стен общественных зданий, иначе, нежели портреты какого-нибудь Бенито? Да потому, что не сам Шекспир поместил их туда. Потому что, собственно говоря, здесь никто и не требует от нас почитания этих изображений. Этому вождю нации кто угодно может пририсовать лихо закрученные усы или завитой локон на залысине.

С этим кумиром мы можем себе позволить некоторое озорство; лик его поддается преображению.

Мертва религия, лишенная ребячества.

А сей стольный град смерти обходишь с чувством глубокой растроганности и — одновременно — ребяческой легкости; сказанное, конечно, в первую очередь относится к прибывшим издалека.

Ощущение потустороннего мира для нас, чужеземцев, в Стратфорде усиливается тем, что все вокруг нас говорят на чужом языке, точно служат мессу. До позднего средневековья клерикалы вели весьма основательные и животрепещущие дискуссии на тему: какой язык был принят в раю? Латынь или древнееврейский? Даже во время процесса над Жанной Д' Арк — если верить еретику Шоу — инквизитором был задан вопрос: на каком языке звучали Деве-Воительнице ангельские голоса?

Паломники из иных земель острее ощущают в Стратфорде атмосферу грядущего инобытия, нежели сами аборигены острова. Все семеро, составляющие нашу группу,— венгры. Однако у одной из наших спутниц не было возможности изучить язык своих предков. И потому вот уже третий день, как мы беседуем между собой не на родном языке, а на другом, усвоенном из книг.

Таким образом, само воздействие на нас чужого языка — воздействие двоякого рода.

Потому что далекая родина вопреки всему связывает нас. Тем более что в нашей компании представлены чуть ли не все слои того далекого маленького народа.

Как гадание на лепестках цветка «любит — не любит», так запала мне с детства в память бытовавшая у нас в пусте поговорка о том, чего можно добиться человеку в жизни: не выйдет поп, забреют лоб, не свинопас, так живодер, а на худой конец— барышник. Мужчины нашей компании ведут свой род от представителей всех сих достойных профессий, но среди женщин есть и такие, в ком течет баронская кровь,— об этом ведомо только мне, есть и особа графского происхождения, из гордости не желающая признавать в себе голубую кровь.

О чем же сейчас ведется беседа среди этих ученых женщин? Стоит прислушаться. По дороге от памятника к памятнику разговор их неизменно возвращается к одной и той же теме: женщины обсуждают новейшие достижения лечебной педагогики. Лучшей темы не придумать и профессионалам из ангелов-хранителей.

Истории свойственны не только гримасы, но и улыбки. Так, по случайности в нашей маленькой группе к делу практической помощи страждущему люду ближе всех стоят именно две женщины — непосредственно, в силу своей профессии. Одна из них, уроженка Пешта, видит смысл жизни в облегчении участи слепых и калек, другая врачует убогих в Лондоне. Нет ничего более возвышенного, когда две красивые женщины с профессиональным зна-

нием дела обмениваются опытом и мыслями, как облегчить человеческие боли — исправить мерзость судьбы.

Они ведут тему чисто по-женски — подробно вникая в детали, но с горячностью, благодаря чему втягивают в беседу и двух других женщин, можно сказать, подловив их на том, что те тоже умны и красивы. И тоже активны и деятельны.

Хотя причина того, что разговор наш идет на иностранном языке, вполне простая, однако в самом этом факте есть нечто возвышенное, внеземное; он хорошо вписывается в наши представления о потустороннем мире. Ведь чего, собственно, мы ждем от инобытия? Чтобы тот мир был иным, не похожим на здешний. И все же чтобы он был его естественным продолжением.

Помимо того, в этой беседе на чужом языке есть еще один трансцендентный подтекст. Благодаря ему удается вызвать из прошлого двух столь часто упоминаемых нами предков: тех, что некогда осели в долине Тисы и, казалось, отстояли отсюда дальше дальнего, а в действительности же оказались ближе всех. Именно у той дамы, ради которой мы отказались от обмена мнениями на родном языке — поскольку родителям ее выпал беспокойный жребий эмигрантских скитаний,— так вот именно в ее лице соединилось больше, чем в облике всех прочих, черт уроженки тисайской долины; а родословная ее уходила в глубину веков, к дальним предкам мадьяр, вплоть до знаменитого рыцаря Каплони, возглавлявшего наше крестовое воинство при короле Андраше II.

И нисколько не удивительно, что именно здесь, на улочках Стратфорда, время и пространство и все хитросплетения человеческих судеб с легкостью опрокидывают всякие границы.

Последовательность обязывает нас в заключение дать подробное описание тех достопамятных мест, где мы побывали,— метод великих южан соблазнителен.

При каждом более или менее солидном издании «Божественной комедии» в конце прилагается карта, которую эксперты составили с инженерной точностью, следуя топографическим описаниям флорентийца и мантуанца. Вертикальное сечение ада, к примеру, похоже на воронкообразный колодец, жара накаляется по мере нисхождения кругов, и у восьмого круга пекло невыносимое; здесь так называемые Злые Щели. Чистилище напоминает колонию термитов, тогда как рай своими концентрическими кругами — картонную мишень, какую вешают в тире.

Заниматься топографией Стратфорда для литератора — напрасный труд, потому что в любой писчебумажной или табачной лавке городка, в каждом магазине сувениров сотнями можно купить открытки с видами почти каждой улочки, а целостность картины воссоздают биографии Поэта, предлагаемые во множестве вариантов.

Есть ли резон прибегать к чарам слова, чтобы воспроизвести тот дом на Хенли-стрит с деревянными балконами и множеством закутков, где в одной из комнатушек второго этажа на свет появился он, Поэт?

Один-два квадратика сохранились от этой эпохи в окне — обращает наше внимание неусыпная жрица, любезная хранительница родного крова,— проникнув через квадратики стекол, свет впервые коснулся глаз великого Поэта. (Чем вызвано то рвение, которое иных посетителей заставило бриллиантовым кольцом нацарапать на стеклянном квадратике окна — нет, не имя Поэта! — а свое собственное имя? Что это, поклонение или бесцеремонность? Средь множества

безвестных имен встречаешь и прославленные, видеть их — уже само по себе событие: здесь луч высвечивает хранимый стеклом росчерк Вальтера Скотта! На низком потолке автографы Роберта Браунинга и Теккерея — последнего уже полустертый карандашный — утоляют нашу жажду проникнуться духом Шекспира во всей его достоверности. Вот ведь и у этого кумира нашлись свои церковные служки.)

Той же цели — воссозданию атмосферы шекспировских времен — служит и оборудованный в непосредственном соседстве с отчим домом Поэта небольшой музей, для чего заняли одно из зданий того столетия. Дом этот при жизни Джона Шекспира, отца поэта, был шерстопрядильней, а затем в течение долгих лет — известной в городке таверной. Заглянув сюда, посетитель получает возможность восхититься — и по праву — двумя достопримечательностями.

В небольшой — едва в две пяди — витрине размещены все те труды, в которых Поэт черпал вдохновение; здесь, стало быть, находится Первоисточник, и каждый волен притронуться к нему рукой.

А со стороны дома, выходящей на Гвилд-стрит, возделан крохотный садик в несколько шагов, где в живом цвету представлены все те растения, что хоть единожды да упомянуты в произведениях Поэта.

Тот великолепный дом, где жил Поэт в годы после своего успеха в Лондоне, к сожалению, теперь можно видеть лишь на рисунках и чертежах. Дом был трехэтажным, девять окон его смотрели на Черчстрит. (Именно для того, чтобы отвести постоянно растущий поток любопытствующих паломников, самый дом еще в 1759 году сломал, а посаженное Поэтом тутовое дерево срубил тогдашний владелец дома, высокочтимый Фрэнсис Гастелл, жаждавший покоя, чем и обрек свое имя на бессмертие, где, как видно, каждому достанет места.)

Неподалеку отсюда находятся видоизмененные столетиями ратуша и школа. Здесь протекали его ученические годы. Нам тоже хотелось бы войти в те залы, где некогда юный Поэт следил за солнечным лучом. Но нам не удалось. Поскольку в школе с тех самых пор учат грамоте все новые поколения. И потому здесь сопричастность давней той эпохе ощущается особенно живо.

Но зато мы добросовестно исследовали — поскольку туда можно было войти — дом дочери Поэта, Сьюзен, или, вернее, ее мужа, врача Джона Холла. Прогулялись в Шотери, на ферму родителей жены поэта, Энн Хетеуэй. Путь до фермы от городка остался прежним с тех времен. И проделывать его полагается пешком. Сохранились в неизменности окрестные луга, живые изгороди и те тропинки, коими великий в своем будущем юноша с неудержимым пылом восемнадцатилетнего пробирался к Энн, старше его на восемь лет; возможно, бывало такое и ночами, как то позволяет предположить известный факт, что их первого ребенка понесли к купели через шесть месяцев после бракосочетания родителей.

Исполненные благоговения, бродили мы по саду — надо сказать, прекрасному,— иной раз наклонялись, высмотрев яблоко в траве; и плодовые деревья были такими старыми, что, казалось, простирали ветви еще оттуда, из юности Поэта.

Чем углубить чувство священного благоговения? Даже вкус яблока был созвучен той отдаленной эпохе — чуть кисловатый. В доме мы обозрели медные котлы — само великолепие! — и усилием фантазии восстановили, как именно здесь проходила большая стирка. Была там еще одна чудесная вещь, вызывающая восторг и пробуждающая высокие мысли: этакая необычная медная посудина, которая в ту поистине достойную зависти великую эпоху служила исключительно для мытья

ног. Что еще осталось в памяти? Ах да, подсвечник, настроивший мысли мои самокритично.

В молодые годы я охаял — из-за отвлеченности сравнения, посчитав ее абсурдной,— распространенную на Западе поговорку, своего рода синоним безоглядной расточительности: «Жечь свечу с обоих концов». И действительно, у нас в Венгрии свечу зажигают сверху, воткнув в подсвечник; и конечно, не сыщешь способа, как поджечь ее с другого конца. Свеча Энн Хетеуэй, при свете которой она, должно быть, впускала в дом юного бога, а затем по узкой лесенке вела наверх, могла гореть с обоих концов в буквальном смысле слова. Железный подсвечник, выставленный на обозрение в спальне, служил для закрепления свечи, отлитой в дугообразной форме, а стало быть, ее действительно можно было зажигать по той поговорке — с обоих концов.

Способствует ли ознакомление с такими вот реалиями проникновению в творческий мир Поэта и более глубокому познанию его произведений? Не стоит обнадеживать путешественника, будто после коллективной экскурсии в Стратфорд ему полнее откроется душа Дездемоны или отверзнется подсознание Яго, скрытые до посещения Стратфорда. Но для ориентации совсем иного рода и проникновения в предметы более глубокие максимум открытий можно сделать именно здесь. В системе образов современного человека переселение в мир иной привычно ассоциируется с церберами, с черными реками и угрюмым перевозчиком, с железными вратами или в лучшем случае с ангелом, вздымающим огненный меч.

Первое и наиважнейшее достоинство стратфордского пути к теням прошлого состоит в том, что, начиная с городского вокзала, все эти мрачные атрибуты начисто улетучиваются из головы вновь прибывшего. Выглянув из окошка поезда, едва успев миновать края, сопредельные Лондону, путник, конечно, ощущает, что оказался в ином совершенно мире, но приметы этого мира не будоражат неприятно. Упомянем лишь одну. Нигде не встретишь разом такого множества футбольных полей, как близ Стратфорда. Кое-где вдоль железнодорожной насыпи их выстраивалось подряд до дюжины, у каждого аккуратно вычерчены центральные и боковые линии, однако вокруг них не было трибун и вообще никаких мест для зрителей. Поля вплотную примыкали одно к другому: точь-в-точь как теннисные площадки. Стало быть, эта форма физической закалки — не предмет пассивного созерцания; местные жители практикуют ее в наши дни столь же ревностно по-спортивному, как и столетия назад. Иными словами, опять же в духе того времени. Стало быть, это примета, в какой-то мере приоткрывающая характер аборигенов, а именно: их способность бережно относиться к достоянию той эпохи, используя его практически.

Если признать одним из насущных требований нашей эпохи решение вопроса о потустороннем мире и реальном наполнении этого понятия, то Стратфордские Врата с открытой душой можно рекомендовать любому. Как мы уже упоминали: переступив их, мы в состоянии проникнуть гораздо глубже, чем сами могли бы предположить поначалу; мы сознательно могли пойти бы дальше, чем старательные и предупредительные аборигены города.

Бог умер! — здесь не место гадать, что превалирует в известном возгласе Ницше: вопль торжества или стон поражения. И тем самым предопределять, было ли понятие пресловутого сверхчеловека порождением высокомерия или следствием приниженности? Иными словами, является ли оно предпосылкой того обожествления человека вкупе со всеми его слабостями, что на деле превращает его в дьявола, или же

здесь синтез нового бога, складываемого заново из миллионов частичек и частиц прежнего кумира.

Впрочем, выяснение этого вопроса может быть отложено и на потом, коль скоро бог и посмертное бытие, как мы видели на примере Стратфорда, могут сосуществовать и независимо друг от друга. Шекспир не верил в бога, конечно, в того боженьку, в которого и нам положено бы верить, особенно с поправкою на современность. Ничто, однако, не может в наше время воздействовать на человека более успокоительно, нежели сознание, что сам властитель царства вечной жизни — и вдруг безбожник! По торной тропке стратфордских реалий именно он способен дальше всех повести нас, даже и в понимании бога.

В Стратфорде Поэт создал только одну, последнюю свою пьесу — «Бурю». Если допустить, что место может определять характер произведения и его эмоциональный лад, то эту пьесу можно считать ключом к пониманию Стратфорда. Вне сомнения, среди всех возможных раритетов эпохи Шекспира «Буря» — самое доподлинное свидетельство былого.

Стратфорд тех времен в ней утвердился неколебимо — в ней он продолжает жить и посейчас.

Пьеса, как мы знаем, повествует о противоборстве небесных сил и ада. Она отображает ожесточенную борьбу Добра и Зла, причем Добро побеждает.

Да, расхаживая средь этих вот домов, поэт слагал свои простые, как Евангелие, советы: как объединиться Знанию, Власти, Долгу и Свободе, чтоб выстояло Право и восторжествовала Радость.

Быть может, так оно и есть на деле, как то устами Просперо подсказывает нам добрая слава Стратфорда, этого наиреальнейшего из потусторонних миров: великодушие сильнее мести!

Смеркалось. С легким чувством святотатства я еще раз окинул взглядом фронтоны зданий, по коим некогда скользил и взгляд Поэта. Потом я повернул к гостинице, которая также носила его имя. Прошелся из конца в конец по лабиринту коридоров, запутанность которых как бы убеждала, что и они «оттуда», из его эпохи. Мне хотелось еще до ужина прочесть хоть несколько страниц из давних откровений Поэта, пренебрегая очевидностью того довода, что бог мой вездесущ и, стало быть, к его строкам я мог бы приобщиться где угодно, хотя бы и в своей родной пусте.

Кто теряет, тот выигрывает: qui perd, gagne!

За последнее время не проходило недели, когда бы Сартр не повторял своей любимой фразы. Похоже, лишь ее как резюме усвоил сей французский ум из Гегеля и, более того, из Маркса.

Из всей диалектики.

Поистине, не часто встретишь столь меткое выражение. С годами мы все теряем и теряем, но поскольку, согласно основополагающему заверению Гераклита, все течет, все изменяется, то и потери могут обернуться выигрышем. Не часто слышишь столь прекрасное утешение!

Для седеющей головы в особенности.

По временам и мною овладевает некое самодовольство: немало духовных ценностей удалось мне обратить в свое достояние, многое удалось выиграть, приобрести, покорить за те годы, как я... теряю, теряю! И стенает над уходящим часть моего существа.

Вместе с новой статьей Сартра оттиснута также его фотография последних лет; снимок подобен карикатуре на судьбу. Ведь следы «потерь» видны и в поредевших волосах, и цвет лица не тот, и поубавилось блеска в глазах, столь привлекательно раскосых — вернее, широко поставленных. А уж как они заметны — эти уступки возрасту — в посадке головы, если сравнить ее с той мужественно-горделивою осанкой юного философа, когда он, бывало, тридцать лет назад пересекал бульвар Сен-Армен, спеша из «Кафе де Флор» в «Липп»; юноша, правда, не вышел ростом, но дама, которую он сопровождал, была божественно очаровательна. Вместе подняли они и вместе понесли — как несут по улице — тогда еще топорщившееся многочисленными складками, раздираемое разными ветрами свое знамя — экзистенциализм.

Qui perd, gagne! — да, и так до самой смерти. «Шей, жена, скорее знамя!» — накануне величайшего своего сражения обращался в стихах Петефи к нашивающей заплаты Юлии.

Qui perd, gagne! — боевым девизом, символом своей философии и труда всей жизни мог бы избрать Сартр эту фразу; он мог бы просить свою столь удачно избранную спутницу жизни и единомышленницу вышить этот лозунг на знамени, которое он пронес через столько бурь. Знамя философии, равно как и поэзии, взмывает и реет стойко вопреки смерти — верному проигрышу.

И стойкость эта вселяет в нас надежду.

Утверждение senectus ipse morbus, то есть старость — это сама болезнь, несостоятельно уже хотя бы потому, что может быть прочитано наоборот: болезнь — эта сама старость.

Старость как таковая — это отдых, когда покойно сидят в уютном кресле и покачивают головою в такт мыслям о былом. Беда лишь в том, что она неудержима. Но ведь и молодость столь же неудержима.

Смерть — дитя человеческое. Строго говоря, мы чреваты ею с момента рождения. Старость же берет начало с той поры, когда душевные и телесные признаки этой беременности явно обнаруживаются в нас. Когда приближаются родовые схватки. И в конце всех мук — не менее тяжких, чем те, что терзали некогда и наших матерей,— мы производим на свет собственную гибель, творим самоуничтожение.

По единодушному мнению геронтологов — этих специалистов по старению,— физиологическая старость есть не что иное, как возрастающая неспособность организма к приспособлению. Известен даже непосредственный ее виновник: обнаруженная в клетках мозга дезоксирибонуклеиновая кислота — чтобы уж наконец-то все назвать своими именами. Есть в организме клетки, которые не делятся, как, например, клетки нервных ганглиев. Если же нет деления клеток и образования новых, утрачивается и приспособляемость организма — отсюда истоки старости. Слабеет зрение, обоняние, вкус — и человеку ясно: то старость. Признаки старости скажутся и в нарушении кальциевого обмена. Если упомянуть к тому же и о старении коллоидов, потому что основное вещество в составе соединительных тканей организма — коллаген, то, можно сказать, по данному вопросу нам известно почти все, коль скоро даже ученые знают немногим больше. Ну, разве что добавят для полноты картины, что-

де физическое старение — симптом опасный и потому нам впредь рекомендуется беречь себя.

К чему и сводится смысл этих строк.

Так прямолинейно не скажешь о духовном старении человека. Духовная старость — или истинное дряхление — в немалой мере есть неспособность к восприятию нового. Если неспособность к адаптации — неизбежный предвестник старения физического, то лучшее из средств против старения духовного — восстановить восприимчивость к явлениям в реальной жизни. Старость духовная, стало быть, никогда не наступит вопреки нашей воле. И все-таки она неотвратима? Лишь в той степени, как усталость. Вернее, как утомление, отупение от чего-либо, а ведь бывает, устает человек, занятый каким-либо приятным и вдохновляющим делом.

Несметному числу людей удавалось это: сохранить себя духовно молодым. Настоятельнейшая задача геронтологии — изучить физические функции этих духовно молодых патриархов рода человеческого. Стопятидесятилетние старцы, если они просто влачат растительное существование, мне не интересны. Но люди, которые в преклонном возрасте остались духовно молодыми, интересуют меня гораздо больше, чем марсиане, прибудь они вдруг на Землю. Может статься, что именно через их посредство судьба намерена сказать нам нечто новое о жизни человека.

Зевс не был моралистом. При Перикле поклонение богам не связывало древних узами десяти заповедей. Боги — малые в особенности — не были обязательными наставниками добра, подобно сонму канонических святых. Более того, они, как правило, учили своих адептов разным плутням. А то и попросту обманывали их.

Трактовка потустороннего мира как идеального царства, где торжествует высокая нравственность, — вот одна из причин, в силу которых человек современный не может верить в загробную жизнь. Христианское мировоззрение — вместе с провозвестником его, Платоном,— делает ошибку, основывая свой мир добра и справедливости на некоем божественном промысле, на божьей воле, карающей или вознаграждающей простых смертных. Нет, и потусторонний мир должен быть таким же, каковы мы сами. Как продолжение нашей жизни. И старики — дозорными от рода человеческого — бредут, чтобы разведать его.

«Сигетское бедствие» написал двадцатишестилетний молодой человек — Миклош Зрини. «Бегство в Залу» — двадцатидвухлетний отрок Вёрёшмарти. «Витязя Яноша» — почти подросток: Петефи тогда был двадцать один год.

И даже мудрейшее творение, шедевр, приподнимающий завесу над потусторонней жизнью, «Трагедию человека», создал тридцатичетырехлетний Имре Мадач, дебютант в литературе.

По рескрипту царя Сервия Туллия, звание juvenis [1] в античном Риме носил мужчина до сорока пяти лет.

Но после сорока пяти мужчины сразу попадали в категорию seniores [2].

Пожилой, старый, престарелый — вот шкала для определения сего достойнейшего возраста. Следующая отметка за «престарелым» будет — «дряхлый».

---

[1] Молодой *(лат.)*.

[2] Пожилые *(лат.)*.

Зрелого возраста как бы не существует. Вернее, ему не уделено должного внимания. В головокружительной гонке от колыбели до могилы именно она — пора нашей зрелости — минует молниеносно, быстрее детства и старости. На деле нам дано лишь вообразить заранее или воспроизвести впоследствии по памяти ту пору, которая как будто бы и составляет нашу жизнь.

22 апреля 1968 года

С супругами Шарэр у Дёрдя Лукача. Его ответ на приглашение прочесть лекцию в Сорбонне: к сожалению, нет времени; сейчас ему восемьдесят три, а в замыслах — написать еще три объемные книги, после чего приняться за собственное жизнеописание. Хозяин дома сам затягивает наш визит; на каждый из вопросов у него находится что сказать в ответ — с пространную главу; речь льется легко, свежо, нет сбоев ни в ходе мысли, ни во французском языке. «Что поддерживает в вас такую бодрость духа, такую убежденность?» — «Ce qui me conserve c'est que je n'ai pas de vie intérieur. Je m'occupe de tout, mais je ne m'occupe jamais de mon âme»,— отвечает он. (Поддерживает то, что я не углубляюсь в себя. Я занимаюсь чем угодно, но только не копанием в собственной душе.) Затем, чуть позже: «В любую минуту я готов с головою погрузиться в работу».

Да, философу это под силу: заставить работать на полный ход свой разум и отключить душу. Пораженный, с завистью приглядываюсь, как бы и мне освоить этот метод: его modus vivendi[1].

Я передаю ему книгу Френо, он радуется книге; и особенно посвящению — совсем как ребенок. И вот уже упоминается «Богиня разума», то первое в венгерском переводе стихотворение, благодаря которому он познакомился с поэзией Френо — три года тому назад!

Столь же непосредственно он радуется и пригласительному билету на премьеру в пятницу. И привету от Ф. Он поистине живет в своей эпохе!

Мы расположились в крохотном рабочем кабинете, солнце от вершины Геллерт топит все в палящем зное. Хозяин этого не замечает; в одной руке у него чашечка с кофе, в другой — изжеванная сигара.

Каждое его мгновение — новая реакция. Ответ на жизнь. Что и отдаляет от него тень смерти. Он активен каждой клеточкой своего существа, причем его внутренняя энергия направлена на внешний мир; в том «секрет» его жизнестойкости. Что же до веры, то да, он верит, что социализм может быть построен, его надо отстоять. Чувствует он себя отлично, поскольку чувствует перспективу развития.

При этом он не верит в исключительное — для отдельных личностей — будущее. От нашего намека, что он уже сейчас монументом высится в ряду крупнейших философов современности, он отмахивается, рассказывает анекдот, а затем — для вящей убедительности — упоминает Метерлинка. Каким бессмертным драматургом представлялся Метерлинк ему, восемнадцатилетнему; а кто восторгается им сегодня? И кто станет говорить даже о величайших умах наших дней тысячу лет спустя?

— И хорошо работается с этой мыслью?

— Именно благодаря ей и хорошо.

И с прежним пылом — а возможно, и с большим — он снова углубляется в затронутую тему. На некоторые понятия социализма было нанесено немало пустого, сорного, однако их не следует отбрасывать; нужно лишь очистить. Социалистический реализм, к примеру, следует

[1] Образ жизни *(лат.)*.

утвердить в правах и сделать действенным понятием. Содержание его...

— Какое же?

— То, что ранее дал Горький, своим примером. И нужно развивать самокритику, нельзя отдавать ее на откуп карьеристам и негодяям.

Да. Ни для чего другого не требуется более острый ум и более чем твердый характер, как для самокритики: чтобы выйти победителем в споре с самим собой, пусть даже наперекор своим личным интересам.

Без чувства преклонения нельзя смотреть на этого утопающего в слишком большом для него кресле невысокого человека. Накал беседы проступает бисеринками пота на лице. Он не смахивает капли пота, попросту не замечает их. Сразу за спиной у него снизу вверх идут полки с книгами: выгоревшие на солнце корешки томов, переплетенных в коленкор и кожу; письменный стол перед ним завален ворохами рукописей и свежих номеров журналов, так что собственно для письма места едва отыщется с ладонь; и чашечка с кофе также ставится на кипу книг.

Запахи карандаша. Я ощущал их каждый в отдельности: запах краски, обструганного дерева, крошащегося графита. У складного ножа своя гамма запахов; я различал запах металлического лезвия, запах костяной рукоятки и запах того, что недавно я резал этим ножом.

И точно так же была пропитана своим ароматом каждая минута. Я так же вожделел и жаждал, смакуя каждое мгновение, но не одним лишь обонянием, а всеми тысячами нервных клеток.

И я умел наслаждаться временем. Знал истинную цену. Каждого часа! Каждого мгновения!

Все минуты и секунды зимних каникул в Цеце были на счету и исполнены райской прелести, в особенности же послеобеденные. Девочки Бери-Балог — мои ровесницы — привозили домой ворох впечатлений из средней школы в Сексарде, а их старший брат — из гимназии Фехервара. В оставленном им просторном доме царила счастливая анархия безнадзорных, хотя в семье жила нянька, которая пестовала еще их мать. В одном крыле дома (поскольку дом был угловым) разместилась сельская розничная лавчонка; и наши сверстники, по временам стекавшиеся сюда, доносили отголоски волшебной атмосферы Пешта, откуда двинулась тогда на покорение мира «Королева чардаша»: волной мелодий, не забытых и поныне. В Цеце всякий день обед начинали с первым ударом колокола. А четверть часа спустя в доме у Бери-Балогов уже сдергивали со стола скатерть, освобождая его для игры в домино. Звучала цитра, а бывало, что и скрипка, в руках Марты Зоммер. Собиралась компания—эта благодатнейшая аудитория для моего юношеского краснобайства и острословия, а я должен был дома перетирать все чашки-ложки!

Уже самый обед я глотал, готовый сию минуту вскочить и бежать. Бабка моя по материнской линии понимала это нетерпение подростка. Управясь с последним куском, она тотчас принималась мыть посуду, но своими воспитательными принципами не поступалась: у нас было заведено, чтобы каждый по мере сил помогал в домашних работах. Я готов был одну за другой разбить вдребезги все шесть тарелок, потому что хотя обедало нас только трое, но две тарелки на человека были неотъемлемой частью того изысканного ритуала трапезы, который бабушка переняла еще смолоду, в бытность свою прислугой в доме управляющего пивоваренным заводом; и от этого раз и

навсегда усвоенного ритуала бабушка, что бы ни случалось в ее жизни, впоследствии не отступала никогда.

Мне хотелось разреветься от злости. Меня захлестывала острая неприязнь к деду с бабкой, хотя я к ним был очень привязан: они урезывают мою жизнь! Не дают вздохнуть! Заставляют торчать на кухне и томиться, когда время уходит!

Чтобы вытереть три глубокие и три мелкие тарелки, ну и положенные ложки-вилки, требуется не больше пяти минут, как это теперь я подсчитываю задним числом. А в доме у Бери-Балогов мы засиживались до семи, нередко и до десяти часов вечера, напрочь забывая об ужине. Выходит, сколько же раз по пяти минут приходилось на каждый проведенный там вечер, не считая потраченных на мытье посуды?

И все-таки я ощущал потерю! И вспоминая остро щемящее чувство утраченного, я понимаю теперь: сколько тогда я мог бы получить за эти пять минут — какой гигантской мерой жизненной емкости были в юную пору пять минут.

А ведь даже в течение этих пяти минут кандальной неволи я наполовину жил в будущем. Готовился вечером не потерять ни минуты впустую. Еще до обеда я прятал в ближайшем к забору кусте роз влажную тряпку, чтобы позднее, когда я, выбрав кратчайший путь, через переулок Мадарас доберусь до крыльца гостеприимного дома, обтереть запылившиеся каблуки и ранты своих сапог.

Да, если бы так вот и до конца наших преклонных лет время было не менее наполненным, чем в детские годы, — то есть приносило нам столько же, насыщало столькими же переживаниями, прежде чем миновать, мы поистине достигали бы Мафусаиловых лет, и жизнь человеческую пришлось бы свести не к семидесяти, но по крайней мере к семистам годам. А сохрани мы живость восприятия младенческой поры — сравнение подойдет и к семи тысячелетиям.

Теоретически это вполне осуществимо в той же мере, как не исключена возможность — путем последовательной замены отживающих органов человеческого тела — жить вечно.

Мятежная молодость не оттого спокойна, то есть уверена в себе, а безмятежная старость не потому беспокойна, иначе говоря, напоминает об опасности, что смерть далека или — соответственно — близка. Разница между этими двумя состояниями не столько внешняя, сколько глубинная, внутренняя. Наше беспокойство и наше спокойствие зависят от нашей воли и от привходящих обстоятельств.

Не время продлевайте. Дайте средство, чтобы освежить мне нервы, чтобы обострилось и стало тоньше мое чувственное восприятие: тогда вновь распахнутся все окна и двери для насыщенных жизнью мгновений. Дайте тот субстрат, что снимет с инструмента мысли маслянистую пелену усталости. Найти бы средство, в тысячу раз действеннее кофе или чая, чтобы благодаря ему обрести способность не терять впустую ни мгновенья жизни. Да, он существует: эликсир жизни. Ибо это я был молод — именно я, а не мой возраст.

Умирать — невежливо. Первая заповедь подготовки к достойной смерти должна гласить, что умирать — это акт невоспитанности. Процесс отторжения от жизни людей обреченных — сам по себе сплошная безвкусица: хрипы, перешептывания, взад-вперед снуют женщины с тазами, а мужчины, сокрушенно покачивая головами, выходят в сени, соседи толкутся у плетня. Смерть — синоним злоупотребления, своего рода крестьянский эгоизм. Никогда не причиняем мы больших неприятностей своим близким, как во время кончины. А стало быть, одна из кардинальнейших задач — обороняться от невзгод, пришедших к нам со старостью, и, применительно к условиям, сделать нашу собствен-

ную смерть более человечной, что означает: легче переносимой. Смертью своею мы все впадаем в искус вымогательства, и притом в этакую сугубо провинциальную разновидность сего прегрешения: мы вынуждаем своих симпатичных свояков и милых свояченицы тащиться из пятидесятикилометровой дали, побросав все насущные дела и хлопоты, заставляем их садиться в поезд, покупать безбожно дорогой венок, часами выстаивать на солнцепеке в тесном черном костюме, смахивая пот. А если мы вынудим их вместе с каплей пота смахнуть и слезу — это лишь высшая степень того же вымогательства.

Добром умереть — оценивая этот факт с точки зрения наших родственников — никак не возможно. Мертвыми даже король или вчера еще вызывавшая восторги кинозвезда — не более чем груда зловонного мусора, который требуется как можно скорее убрать.

Смягчить всю эту неблаговидную процедуру есть некоторая возможность лишь у тех, на чей закат, как принято говорить, смерть заранее отбрасывает свою тень, то есть по преимуществу у стариков. Уважающему себя человеку преклонных лет перед лицом унижения смертью глубокое удовлетворение доставит мысль, что ему оказалось по силам смягчить для окружающих кошмар своего ухода из жизни.

Чему да помогут эти строки.

Стало быть, с достоинством приблизиться к своим последним дням человеку предписывает вежливость. Главнейшее в испытании хорошего тона на старости лет — сумеем ли мы пристойно закрыть за собою дверь. Весь вопрос: как исчезаем мы за тем занавесом, что завершает человеческую комедию. К этому последнему деянию мы должны готовиться, никак не упуская мысли, что даже смерть мотылька — и то скандальный абсурд.

Совсем уж стыдно было бы мне умереть сейчас, в Париже. Я болен (переправа в штормовую погоду через Ла-Манш разбередила во мне клубок застарелых хворей), однако здесь я в гостях. А умереть будучи гостем — пятикратная невоспитанность. Человеку как существу общественному и уважающему себе подобных по сути дела следовало бы удаляться в какое-нибудь скалистое ущелье пустыни Гоби, чтобы там умереть. Подобно тому как перед смертью скрываются в глухие места слоны. Или как исчезают певчие птицы. Смерть же на глазах людей можно себе представить разве что как форму мести. Как это дал нам почувствовать Пал Гуйяш [1] в своем великолепном по хлесткой злости и презрению венгерском семистопнике:

Пулю в лоб себе пущу
При всем честном народе!

Если же человек годы жизни своей растратил не впустую, если сумел создать нечто достойное, то в старости пусть найдет он такие слова:

— Дайте мне сойти со сцены на своих ногах. Не требуйте от меня новых свершений. Не обольщайте меня, не захваливайте понапрасну. Пусть не компрометирует назойливый старик образ того пылкого юноши, того полного сил мужчины, добрую память о коих храню я сам в душе. Поставьте передо мною стакан вина и разрешите поблагодарить вас только жестом: чтобы не пришлось мне обращать к вам лицо свое. Верьте мне, что смерть—преодолима, пусть сам я пал. Пусть все мы падем один за другим, как воины заслонного отряда, но выстоим до последнего, как давали клятву.

■

[1] Пал Гуйяш (1899—1943) — венгерский поэт.

Аннета фон Дросте-Гюльсгоф

Перевод с немецкого ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

Среди туристов, навещающих старинный, живописно расположенный замок Гюльсгоф, что под Мюнстером, в Вестфалии, нет-нет да и возникнет, наверное, праздный спор о сомнительных прелестях жизни прежних его обитателей. Помянуты будут и массивные, вечно холодные и сырые стены, и промозглость долгих зимних вечеров возле остывающего камина; подсчитано будет, сколько верст до ближайшего города и как часто наезжали сюда гости полюбоваться красотами пустынного пейзажа.

Аннете фон Дросте-Гюльсгоф, появившейся на свет в этом замке в январе 1797 года, выбирать не приходилось. Исконными установлениями предков, исчислявших родословную своего знатного, но не богатого уже рода от XIII века, было ей предначертано в этом фамильном замке просто жить, то есть получить приличествующее благородной девице домашнее воспитание и потом выйти замуж, дабы пестовать детей и скрашивать жизнь супруга в каком-нибудь другом замке.

А судьбой и призванием внутренним предначертано было иное: стать поэтом. И разные эти предначертания никак не могли и не хотели совпасть, и жизнь, раздираемая несовместимостями, очень скоро пошла наперекос, то безоглядно устремляясь вслед за мечтой, то понуро покоряясь обстоятельствам. Замуж она так и не вышла. Не по годам умной, не очень красивой и до заносчивости гордой девушке трудно было найти избранника по сердцу. На балы и иные уездные увеселения ее перестали звать, о чем она, впрочем, не сожалела. Развлечений ей не требовалось, но вот общество под стать, умный собеседник и, может быть, советчик нужны были очень. Однако жесткими установлениями предков это не было предписано, и постепенно ее девичья комната превратилась в стародевичью.

Читая теперь биографии Дросте, воспоминания о ней, нельзя не удивиться: как неподвижна поверхность этой жизни, как скудна на события! Несколько раз гостила у родственников на Рейне (видела «настоящий» пароход — целая сенсация) и на Боденском озере, где суждено ей будет в мае 1848 года умереть. Дни тянулись однообразно — в заботах о матери, к тому времени овдовевшей, и о престарелой няне-кормилице. Случайные визиты скучных гостей, поездки к родным и соседям — ее охотно звали, когда надо было выхаживать больного или дежурить у постели умирающего. Досуг ее погожими днями заполняли пешие прогулки, которые с годами давались ей, с детства болезненной и слабой, все трудней и становились все короче: чахотку тогда распознавали лишь в открытой стадии. Вечерами она вязала, перебирала гербарий и коллекцию минералов, музицировала, читала. И — писала стихи. Для чопорной родни все эти занятия, за исключением, пожалуй, вязанья, выглядели равно никчемными, но и не предосудительными. Однако, когда она, воспользовавшись случайным окололитературным знакомством, отважилась издать сборник стихов (обозначив свое авторство робкими инициалами), разразился домашний скандал. «Они набросились на меня скопом; все было объявлено чистейшей блажью, полной околесицей и ерундой; они не понимают, как это такая разумная с виду особа могла написать такой вздор и так опозориться».

Аннете шел тогда сорок второй год. Неуспех книги был полный, и издатель, с трудом сумевший сбыть за шесть лет 74 экземпляра, долго еще сокрушался, ибо любил печатать легкое чтение для современников, а не раритеты для потомков. Аннета была ровесницей Генриха Гейне, и неизвестно, кто из них начал слагать стихи раньше, но она росла — это можно сказать с уверенностью — в совершенно иной духовной атмосфере. Проблески редкого и мощного поэтического дара отыщутся в ее первой книге, наверное, на любой странице, но талант ее формировался самородком: веяния и поветрия тогдашних литературных вкусов его почти не затронули. Отсюда — неизбежный провинциализм, и некоторая инфантильность, и слишком очевидное и охотное следование немногим литературным образцам — Шиллеру и Байрону прежде всего. В сорок лет она еще во всех отношениях была дебютанткой, но — и в этом смысле ее первая книга была поступком героическим — она отважилась на дебют. Маленькое, хрупкое, замкнувшееся в себе существо, совсем не Жорж Санд, она рискнула пойти наперекор обстоятельствам, чтобы завоевать право быть собой — а не бессловесной принадлежностью мелкопоместного интерьера.

Но тут, на повороте жизни, словно бы в награду и в отместку за смелость, подстерегало ее событие счастливое и горестное. Счастливое — ибо она впервые полюбила, горестное — ибо полюбила безнадежно и нелепо, даже себе боясь в этом признаться, сына своей умершей подруги. Он был моложе ее на семнадцать лет. Левин Шюкинг, тогда начинающий литератор, после смерти Аннеты, будучи уже умеренно известным писателем, поведет себя вполне благородно: издаст ее наследие, опубликует о ней трогательную книгу воспоминаний и даже укажет места в своих ранних очерках, которые *ее рукой* были вписаны. Отдаваясь этому запоздалому и заведомо обреченному (ей еще предстоит дать «материнское» благословение на его женитьбу) чувству, не могла она не знать, что в этом потрясении души неминуемо ее судьбе — обломиться. Но именно тут, на обломе, в поэзии ее обнажились, сверкнув, пласты, дотоле не изведанные немецкой словесностью, и зазвучал, прорезавшись, голос неповторимый и сильный.

Ей недолго оставалось жить, а писать — и того меньше: последние два года рука держала перо с трудом и больше по привычке. Но, читая иные ее стихи («На башне», к примеру), можно ли догадаться, что слагала их стареющая, смертельно больная женщина? О любви своей она позволила себе в стихах только обмолвиться, да и то почти между строк, но любовь эта, исходя в безнадежности то тлением, то пожаром, сообщила ее стиху остроту и свежесть восприятия, казалось, только-только проснувшегося и ничем еще не траченного. И незаметно стало, что стих ее не вполне «гладок», и не раздражало больше ее наивное убеждение (не от чтения ли Шиллера?), будто хорошее стихотворение непременно должно быть длинным, ибо ее поэтическая речь обрела вдруг такую широту, такую неудержимость дыхания, такую легкость образных уподоблений, что пространство и в сотню строк бывало ей тесным.

Что, казалось бы, могла она дать немецкой музе, если стихи живых еще классиков романтической лирики, Эйхендорфа и Уланда — с их чистой напевностью, с их чарующей слиянностью души и ландшафта,— и то считались старомодными, а от злободневной, политической поэзии, что нарождалась тогда в гневных сатирах Гейне, в гражданственной лирике Фрейлиграта, Гервега, позже — Веерта, она, по понятным причинам, была далека? Она, однако, взорвала изживавшую себя романтическую поэтику изнутри, сменив привычную уже сладкоголосую музыкальность на шероховатую подлинность живой речи, расплывчатую условность навеянных «настроением» картин — на безусловность точной детали и безошибочность пристального наблюдения, туманное и невнятное «томление» — на определенность непосредственного и глубокого чувства.

Мир ее поэзии был тесен лишь по видимости. Действительность предстала в нем объемней и многокрасочней, чем у предшественников, ибо оптика ее поэтического видения была настроена на достоверность и чуралась возвышенной избирательности. Особенно поражают новизной словесной фактуры и меткостью взгляда ее ландшафтные зарисовки в теперь хрестоматийном уже цикле «Родные картины»: в ее лесах растут не только традиционные «липы» да «ели» — но и ольшаник, и ракита, и можжевельник, в их густой траве шуршат ежи и полевки, на луговинах цветут не только «фиалки» и «незабудки» — но и клевер, медуница, мята. Мир настоящий — зримый, слышимый, осязаемый — вошел в ее стих легко и запросто, будто ей это ничего не стоило. С той же пристальностью она вглядывалась и вслушивалась в душу человека, прежде всего в свою, открывая в ней — с редким бесстрашием — провалы таинственного и расщелины подсознательного. Именно в этом смысл ее обращения к теме двойничества, и тут Дросте ближе уже к Достоевскому, нежели к Эдгару По или тем паче к Гофману. Для нее двойник — не только воплощение разлада между идеалом и действительностью, между искусством и жизнью, но и средоточие всего непознанного, непреодоленного в собственном «я».

Как не было для нее в вещном мире неинтересных, незначительных, «непоэтичных» предметов, так не существовало в ее лирике и проходных, неприметных, якобы непоэтичных слов. «Поверь, что слов никчемных нет» — это не случайная констатация, это — принцип. Ее стих по тогдашним изысканным канонам намеренно грешил стилистическими «неправильностями», прозаизмами, просторечиями и ритмическими сбоями: слова в нем не желали подлаживаться к напевности, а, сохраняя каждое свою

«особость», будто бы падали — отдельно, тяжело,— возвращаясь к своей исконной сути, обретая древнюю силу заклинания. И какие это были слова! Поэты нашего столетия с благоговением возьмут их в ладони и бережно поставят в стих. Ей недолго оставалось жить, а писать и того меньше, но и за коротких шесть лет она успела обогатить немецкую поэзию (и прозу тоже, но об ее новелле «Бук иудеев» и вестфальских очерках в этой заметке можно лишь упомянуть) открытиями поистине бесценными. Она могла бы успеть и больше, сложись ее жизнь иначе.

Закономерности социального бытия принято проецировать на хрупкую материю искусства с осторожностью: всякое слишком жесткое, категоричное наложение для этой материи пагубно. Не следует, однако, забывать и о том, что жизнь художника — тоже не базальт, а социальные закономерности давят на нее подчас тяжестью немыслимой. Иную подминают внезапно, с безразличной свирепостью обвала, иную же гнут и корежат неспешно, нагнетаясь исподволь,— и порой хруст сломленной судьбы не современникам, лишь потомкам бывает слышен.

Сохранилось несколько портретов Аннеты Дросте-Гюльсгоф. Вежливые заезжие живописцы, стараясь смягчить нежеченственную резкость черт, выделяли взгляд — строгий, задумчивый, тронутый скрытой болью. Сохранился и дагерротип, сделанный в последний год ее жизни: бесстрастная техника нового времени беспощадно запечатлела на цинковой пластинке состарившееся, изборожденное морщинами лицо человека, которому осталось несколько месяцев умирания. Но взгляд, как и прежде, глубок, сосредоточен и будто обращен вовнутрь, в себя. Кто еще из поэтов ее поколения был «у времени в плену», столь же неуступчивом?

Останусь я, пока жива,
С собой наедине,
Со словом, полным колдовства,
Подвластным только мне.

(Перевод И. Грицковой)

Современники спохватились с опозданием.

Второй — и последний при жизни — сборник ее стихов вышел в 1844 году и стал сенсацией; среди восторженных рецензентов был и Фердинанд Фрейлиграт. Молодой Энгельс, отметив в ее поэзии «глубокое чувство, деликатность и оригинальность картин природы» [1], поставил ее рядом с Шелли и Байроном. Но ей слава была уже не нужна. «Не хочу быть известной сейчас, но хочу, чтобы через сто лет меня читали»,— призналась она в одном из писем. Ее стихи выполнили это желание легко и уверенно.

М. РУДНИЦКИЙ

На башне

Я выйду на башню. Наскучило спать,
Да птицы кричат спозаранку.
И будет мне волосы ветер трепать,
Дразня молодую вакханку.
Ну что же, приятель, покуда жива,
Готова к смертельному бою.
К тебе я прижмусь поплотнее сперва
И силой померюсь с тобою.

А там у прибрежной крутой полосы,
Внизу под моим балконом,
Волны ревут и резвятся, как псы,
И бьются о скалы со звоном.
И я бы смогла, не боясь, не дрожа,
Спрыгнуть к неистовой своре.
Ну а в награду большого моржа
Мне подарило бы море.

Потом я увижу в далекой дали,
Где волны безудержно хлещут,
Сквозь бурю идут напролом корабли,
И дерзкие флаги трепещут.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 2, М., 1957, стр. 556.

И я бы корабль по волнам повела,
С врагом захотела б схлестнуться.
А если б я чайкой морскою была,
Я неба смогла бы коснуться.

Хочу поохотиться в диких лесах,
Минуя глухие овраги.
Была б я бойцом, позабывшим страх,
Мужчиной, что полон отваги.
Но я на высоком балконе грущу
И злюсь на нелепую долю.
И волосы втайне от всех распущу.
Пусть ветер растреплет их вволю!

В лесу

Когда вконец измучил землю зной,
Жара сменилась свежестью ночной,
Я прилегла в лесу на мох глубокий.
И шелестела надо мной листва,
И щеки щекотала мне трава,
И запах луга слышался далекий.

И в темноте, нахлынувшей вослед,
Просачиваться стал неясный свет.
Он меркнул, вспыхивал и, вновь пылая,
Струился, падал сквозь проем ветвей.
И это был свет родины моей —
Тот, что недавно в комнате зажгла я.

Я различить могла средь тишины
Шуршанье листьев, тех, что с вышины
Кружась на землю опускаться стали.
Я столько передумала всего,
Биенье сердца слыша своего,
Уже не зная: я жива, мертва ли?

Сплетались мысли, словно кружева.
Мне годы детства вспомнились сперва.
Лицо и голос. Чей? Давно забыла.
Ну а потом, подхваченный волной,
День нынешний предстал передо мной.
Его ко мне, как к берегу, прибило.

Но словно бьющий из глубин родник,
Спешили мысли дальше, и возник
День будущий тотчас перед глазами.
Себя я вижу сгорбленной, больной,
И памятки родных, любимых мной
Я разбираю поздними часами.

На их портреты буду я смотреть,
В одеждах, что успели устареть,—
Мои любимые. Я трепетно достану
Записки, письма, выцветшую прядь.
И больше слез не в силах удержать,
Я в тишине над ними плакать стану.

И вот на кладбище увижу я себя.
Колени преклонив, молюсь, скорбя.
На сером камне имена читаю
Тех, кто всегда в моей душе храним.
И птица закричит, повеет дым.
Земля зовет. И я в нее врастаю.

Нет. Я очнусь. Прочна земная твердь.
И мне приснилась только эта смерть.
Пойду домой и долго буду тщиться
Понять, что значил этот свет в полночной мгле —
То был свет лампы на моем столе
Иль вечный свет, горящий у гробницы.

Детская игра

Как пальцы мои зелены.
Рвала я цветы в поле.
Гибли среди весны
Они по моей воле.
Касались они моего лица —
Безропотные страдальцы.
А я коверкала их тельца,
Калечила, комкала их сердца
Без конца.
Вновь и вновь.
Забрызгала белые пальцы
Зеленая кровь.
Смяты, разодраны лепестки.
...Не ярились цветы, не кричали.
Но сколько в них было тоски.
И сколько печали!
Они бы мне не спустили зла.
Нашли бы отмщенье.
Но до чего же сама я дошла
В безумном затменье?
В детстве жестокость нам сходит с рук.
Но в жизни все связано нитью.
И неспроста проявляется вдруг
Тяга к кровопролитью.
...Что зреет, теплится в груди?
...Кто знает, что там — впереди?

Carpe diem![1]

Срывай минуту, словно рвешь цветок.
Пускай он выцвел, вылинял, промок,
Пусть держится едва, качаясь в поле,
Пусть облетел, пусть он к земле приник,
Сорви его! Ведь самый горький миг
Есть воплощенье уходящей боли.

[1] Лови мгновение (буквально — день; *лат.*).

И свет не мил, и жизнь не хороша,
Когда страдает, мечется душа,
Когда тебя всего тоска изгложет,
Когда свинцом вокруг нальется тень,
Тебя издалека поманит день,
Который позабыт, но все же прожит.

И кто не хочет вновь ребенком стать,
Учить, зубрить и в букваре листать?
Любой из нас о детстве помнит свято.
И даже узник, запертый в тюрьме,
Поверь, не раз перебирал в уме
Слова, что по слогам прочел когда-то.

Но незабвенны и другие дни.
Коварно в память врежутся они.
От них не убежать, не откупиться.
Ты, словно крест, влачишь их на себе
За то, что в чьей-то сломленной судьбе
Твоя вина жестокая таится.

Но все отринь! Не мешкая — живи!
Вкушай минуты сладостной любви,
Дарованной и выпавшей счастливо.
Испей росу прозрачную до дна.
В ней синева небес отражена,
И кротко шелестит над нею ива.

Сочти за благость и за волшебство
Улыбку первую малютки своего,
Что нежно на лице его играет.
Ты будешь горд, когда он подрастет,
Но время так стремительно течет
И прелести младенчества стирает.

Возвеселись и радуйся, пока
Твой друг не превратился в старика.
А коль он стар, будь рядом с ним подольше.
Сольется белый саван с сединой.
Наступит срок, и никакой ценой
Его не встретишь, не увидишь больше.

Но кто же тот счастливейший из нас,
Кто вовремя постиг текущий час?
Мы все — глупцы. В нелепейшей гордыне
Себя же обрекли на маету,
Везеньем брезгуя и пестуя мечту.
И наше Завтра губит наше Ныне.

Отражение

Ты смотришь молча на меня.
В глазах поблекших нет огня.
Под стать туману бледность кожи.
И друг за другом две души
Шпионят в каверзной тиши.

Меня заверить не спеши,
Что ты — есть я! Нет, мы не схожи!

Но знаю я, кто ты таков —
Виденье из тревожных снов.
И страшно мне тебя увидеть.
Кровь застывает, холодна.
Но есть в твоих чертах вина.
И я еще понять должна —
Любить тебя иль ненавидеть.

Властолюбивей всех владык —
Ты править мыслями привык
Неумолимо и сурово.
Им, как рабам, даешь приказ.
...Но льется мертвый свет из глаз,
Холодный блеск... и я сейчас
Скорее убежать готова.

Улыбкой нежной на устах
Растопишь мой недавний страх.
Она приветливо засветит,
По моему лицу скользит.
...Но в темном взгляде гнев сквозит,
Черты коварство исказит.
Ты, как палач, что жертву метит.

Нет, я — не ты! Не прекóсловь!
Не схожи наши плоть и кровь.
И в этом трудно усомниться.
Мы — рознь друг другу. Сам гляди!
Отец небесный, пощади!
Неужто и в моей груди
Душа зловещая таится?

Но не понятно, отчего
Связует нас с тобой родство.
Одной мы спаяны судьбою.
Приди ко мне! Ступай вперед!
Пусть сердце в ужасе замрет,
Но мне известно наперед,
Что я заплачу над тобою.

Слово

Крылато слово, как стрела.
Сам на себя пеняй за спешку,
Коль произнес его в насмешку,
Или сказал его со зла.

Похоже слово на зерно.
Обронишь ты его случайно,
Но в землю твердую отчаянно
Корнями вцепится оно.

Подобно искре, хмурым днем
Погаснув, истлевает слово;
И на ветру воспрянет снова
И все заполонит огнем.

Едва родимся мы на свет,
Весь мир словами обозначим.
Смеемся из-за них и плачем.
Поверь, что слов никчемных нет.

Молитвам, господи, внемли.
Несчастным ниспошли спасенье.
Даруй слепому исцеленье,
Чтоб видеть красоту земли.

Словами одарил нас бог.
Но ты, всесильный, всемогущий,
Сокрыл от нас их смысл грядущий,
Чтоб их постичь никто не смог.

Зажги ж огонь средь темноты!
Пусть в цель летит стрела крылато!
Ведь то, что праведно и свято,
На свете знаешь только ты.

■

Критика

Г. ЗЛОБИН

КУСКИ КОВРА, ИЛИ МОСТЫ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

1

Неисповедимы пути и сроки появления русских переводов некоторой части иностранной литературы. Они подвержены действию многих обстоятельств, начиная с того, находятся ли люди, которые взяли бы на себя труд и ответственность выбора и перевода произведения, и кончая некой окололитературной модой, возникающей бог весть как и откуда. В конечном счете, однако, сцепление случайностей закономерно приводит к возникновению определенной общественно-литературной потребности. Но вот книга появилась, и, оказывается, иную не только читают вперегонки, чтобы быть в курсе. Неизвестный, не привлекавший к себе внимания, забытый или знакомый до того лишь группе узких специалистов, автор внезапно становится неизменным предметом литературных разговоров, до тех, впрочем, пор, пока не совершается новое открытие и соответствующее переключение читательских и критических интересов.

Случилось так, что на протяжении недавних месяцев, считай почти одновременно, наш читатель получил сразу несколько романов американского писателя Торнтона Уайлдера (1897—1975). В седьмой и восьмой книжках «Нового мира» за минувший год напечатан в переводе Е. Голышевой его роман, почти тридцатилетней давности «Мартовские иды». Журнал «Иностранная литература» (№ 6, 7, 8, 1976) познакомил читателей с последней, 1973 года, книгой писателя «Теофил Норт» (перевод В. Голышева). И наконец, издательство «Прогресс» выпустило под одной обложкой две его вещи — повесть «Мост короля Людовика Святого» (1927) в переводе В. Голышева (впрочем, публиковавшуюся и ранее) и большой роман «День восьмой» (1967), переведенный Е. Д. Калашниковой — последнюю крупную работу нашего подвижника англоязычной словесности. Таким образом, четыре произведения из семи, составляющих прозаическое наследие Уайлдера, вошли ныне в наш литературный обиход.

Торнтон Нивен Уайлдер — в апреле нынешнего года ему исполнилось бы восемьдесят — был ровесник Фолкнера, он на год младше Майкла Голда, Дос Пассоса и Фицджеральда, на два года старше Хемингуэя. Лишь за пять-шесть лет до его рождения умерли Мелвилл и Уитмен. В 1897 году еще здравствовал Фрэнсис Брет Гарт и только что завершивший книгу «По экватору» Марк Твен писал Хоуэллсу: «... продолжаю работать, словно до конца еще очень далеко... Торопиться некуда». Был в зените славы Генри Джеймс, окончила Радклиф-колледж Гертруда Стайн, выпустил первые книжки Эптон Синклер, пробовал силы в журналистике 25-летний Драйзер...

Уайлдер родился в городе Мэдисон, штат Висконсин, в семье журналиста. Отец его высоко ставил старых писателей и ценил хороший слог, у матери же, как сообщают биографы, были немалые художественные дарования. Оба родителя были набожны, а старший брат будущего писателя стал даже профессором геологии. Уайлдеры около пяти лет провели в Китае, где глава семьи имел дипломатическую службу, а Торнтон посещал немецкоязычную школу и прикоснулся к восточной культуре. Юношей Уайлдер учился в привилегированном Оберлиновском колледже в Огайо, где особо почи-

тались традиции духовной культуры. По мнению американских исследователей, занятия в Оберлине привили Уайлдеру чувства слитности истории и непреходящей значимости истинного искусства. «Всякий шедевр написан нынешним утром»,— говаривал его наставник. Тогда же Уайлдер испытал влияние идей «новых гуманистов» — консервативного философского и литературно-критического течения, ориентировавшегося на эллинистическую мысль и этику и опиравшегося на некую универсальную шкалу ценностей.

Потом были Йельский университет, служба в береговой артиллерии во время первой мировой войны, занятия в Американской академии в Риме, несколько лет учительства — преподавал французский... Впрочем, об этом периоде лучше поведал герой-рассказчик последнего романа Уайлдера, чья биография совпадает с фактами жизни самого писателя.

Т. Уайлдер писал спокойно и размеренно, так же как жил. Его проза проста по слогу, сдержанна, чуть старомодна и книжна: редкие страницы ее не отсылают к классическим гуманитарным традициям. Они как гулкие коридоры, в которых отдаются голоса прошлого. Некоторые романы созданы Уайлдером на далеком и чужеземном историческом материале. В его прозе нет тревожности, лихорадочности, деформации, которую западная критика часто принимает за непременный признак романа XX века. Тонкие нити иронии и скепсиса, кажется, еще прочнее держат гармоничную ткань текста. Различие способов письма, литературной техники, приемов лишь подчеркивает постоянство художественной цели.

Она, эта цель, по-разному толковалась и часто смущала критиков. Когда в декабре 1975 года Уайлдер умер, журнал «Тайм» писал: «Он был одним из потерянного поколения, но не был «потерян», и его поколение не простило ему этого». Однако неизменным оставалось одно — все более устойчивая со временем литературная репутация Уайлдера. Его книги не вызывали сенсаций, но читали их долго. Премии, почетные звания, награды дома и за границей множились в геометрической прогрессии.

Он и в литературу вошел словно бы исподволь. Начав писать, как и многие, еще в студенческие годы, Уайлдер увидел свой первый роман опубликованным и первую большую пьесу поставленной, когда ему было уже под тридцать, в 1926 году. Через два года он уже лауреат Пулитцеровской премии, которую получил за повесть «Мост короля Людовика Святого». После двухлетнего пребывания в Европе, где он предпринял пешее путешествие по Франции и Италии, где познакомился с Шоу и Фрейдом, Уайлдер возвращается в 1930 году в Штаты и в местечке Хэмден под Нью-Хейвеном, штат Коннектикут, строит дом, где проживет холостяком всю жизнь в обществе сестры. Он будто не видит кризисной Америки и пишет роман из эпохи античной Греции «Женщина с Андроса», основанный на комедии Теренция.

Энгус Уилсон, редактор влиятельного литературного журнала «Нью рипаблик», знал, что делал, когда предложил Майклу Голду разобрать творчество Уайлдера. Появись статья видного литератора-социалиста в «Нью массез», она не произвела бы такого взрывного эффекта, на который рассчитывал искушенный в литературных дебатах Уилсон.

В октябре 1930-го, когда либеральный «Нью рипаблик» опубликовал Голда, исполнился год, как произошел крах на нью-йоркской бирже. Рухнула эра «просперити». Начался кризис, какого Америка не знала.

Что до литературы, то она еще не успела проникнуться обнаженным радикальным пафосом, который скоро пронзит художественную речь Америки. Но и в двадцатые годы, в «век джаза», романисты, драматурги и поэты, избавляясь от тоски «потерянного поколения», принялись заглядывать на задворки процветания, особо выставляя напоказ мещанское самодовольство и узость Главной улицы, разрушительные страсти к обладанию — будь то под вязами фермерского дома или на фабрике воротничков и рубашек,— выморочные, бесплодные земли интеллигентствующих душ.

Кипение и подспудная встревоженность двадцатых годов были, казалось, чужды Уайлдеру. «Это музей, а не настоящий мир,— писал Голд, имея в виду его первые романы и сборник коротких пьес.— В его разреженной атмосфере движутся бледные призраки в «романтических костюмах», которых вызвал автор... Мистер Уайлдер старается быть духовным, но можно ли показать действительные метания или подъемы духа с помощью такой, словно по мерке сшитой, риторики... Она чужда великой грозовой музыке англосаксонской речи... Разве этим стилем выразить Америку?»[1].

Статья Голда вызвала яростную дискуссию, редакцию засыпали письмами «за» и «против», больше «против»: благопристойные читатели «Нью рипаблик» были шокированы резкостью тона. Однако сама постановка Голдом вопросов о насущности литературы совпадала с ходом событий в стране.

Что же в критике Голда продиктовано моментом, конкретной обстановкой разгорающейся литературной борьбы, а что сохраняет значение и ныне, когда есть возможность посмотреть на Уайлдера в известной перспективе? Что в самих книгах писателя имеет только историко-литературный интерес и какие стороны его творчества преодолели временно́е притяжение минувших десятилетий?

Ранние три романа Уайлдера удалены от Америки либо в пространстве, либо во времени. Литераторы и художники 20-х годов во множестве пересекали Атлантику. То ли их влекло в Европу величие старины и богатые культурные традиции, то ли они бежали от Америки, ища подходящих усло-

[1] Mike Gold. A Literary Anthology. Ed. by M. Folsom, N. Y., International Publishers, 1972, p. 199—200.

вий для творчества, то ли они просто примеряли давние ценности к Новому Свету.

Редко, очень редко писавшие в те годы не впадали в соблазн темы «американец в Европе». Не был исключением и Уайлдер. В чем-то следуя Генри Джеймсу, в первом романе, «Каббала», он сосредоточивается на сопоставлении молодого, только что из университета американца с умудренными, даже развращенными европейцами, членами кружка Каббалы. Для аристократов, составляющих кружок, весь этот послевоенный лихорадочный мир с его безысходным отчаянием, которое едва ли рассеивает непрестанная погоня за развлечениями, совершенно неприемлем.

Они целиком погружены в прошлое и, как древние иудеи-каббалисты, отрицавшие все предметное, материальное, живут исключительно интересами духовными. Они «теряют сон из-за массы представлений, которые остальной мир перерос несколько столетий назад»,— мягко иронизирует Уайлдер, отдавая вместе с тем должное их утонченности и культуре. Однако некоторые из этих архаических фигур наделены современными комплексами. Исполненный благих намерений, молодой американец словом и делом пытается помочь своим знакомым избавиться от них, но ему, неискушенному идеалисту, не одолеть их нравственные и психологические недуги, уходящие корнями в далекое прошлое.

Поезд, которым темной ночью герой прибывает в Рим, и корабль, идущий под ясным, усеянным яркими звездами небом за Атлантику,— это не одни лишь символические знаки биографии самого героя. Вергилий, явившийся во сне Сэмюэлю, внушает ему: «Ничто не вечно — вечны только небеса. Рим умирает. Ищи другой, молодой город. Загадка в том, чтобы построить город, а не просто жить в нем. И когда найдешь такой город, проникнись иллюзией, будто он вечен».

Таким образом, тема «американец в Европе» решается скорее в духе традиции, идущей от твеновских «Простаков за границей». Каббалистические ценности оказываются недостаточными. На смену одряхлевшему Старому Свету нужно построить новый «Молодой город». В самом раннем романе обнаруживается склонность писателя вглядываться в моменты жизненного пути, в периоды и эпохи кризисные, переходные, переломные. Нынешнее безвременье автор старательно засеивает семенами перемен.

Типологически похожая картина и похожий герой появляются в романе «Женщина с Андроса». Остров античной Греции, населенный конформистами и приобретателями, страдающий от засухи, и посреди этого языческого мира—узкий круг действующих лиц, группирующихся около умной, образованной гетеры Хрисиды и ее юной сестры Гликерии. Возлюбленный Хрисиды молодой Памфил терзается муками совести и отчаяния, причиной тому — взаимное чувство, вспыхнувшее между ним и Гликерией. Героиня великодушно благословляет Памфила и сестру, ибо так — естественно и правильно.

Хрисида не похожа на других, она — само воплощение понимания, терпимости, самоотверженности. Ее имя созвучно имени мессии. Именно в ее уста Уайлдер вкладывает то, что звучит как кредо: «...я познала все зло, которое мир причинил мне, и все же я возношу ему хвалу, миру и всему сущему. Все, что есть, благо. Вспомни обо мне, вспомни о той, которая все любила и все приняла от богов — и светлое, и темное».

Как и в «Каббале», писатель завершает роман многозначительно: над островом пронесся дождь, а «на востоке покойно мерцали звезды, освещая землю, которую скоро нарекут святой и которая уже сейчас несла в себе драгоценное бремя». Эту религиозную, христианскую ориентацию романа и выявил М. Голд, озаглавивший статью об Уайлдере «Пророк жантильного Христа». Другой критик, Малькольм Каули, определил роман как «греческую пастораль». И в самом деле, в обоих романах господствует умозрительность. Действующие лица — скорее условные фигуры, конфликты сглаживаются элегантно-благостным тоном повествования.

Между «Каббалой» и «Женщиной с Андроса» пролег «Мост короля Людовика Святого». Это было уже зрелое произведение Уайлдера — не потому, что оно открыло что-то принципиально новое, а потому, что, во-первых, именно здесь писатель нашел себя как блистательный рассказчик, и, во-вторых, потому, что оно показало особенности его исторического мышления.

Древнейшие формы литературы — если не иметь в виду исключительно жанровое значение термина — восходят к рассказу, то есть к изложению цепочки событий и фактов в определенной связи, за которой встает намерение рассказчика. Пожалуй, именно рассказ отвечает природной потребности человека получать удовольствие, узнавая о том, что происходило с другими людьми где-то и когда-то. Герой последнего, написанного через сорок лет, романа Уайлдера пытается «разглядеть миллион лиц». Случай из жизни, забавная или страшная история, приключение, вызывающее сопереживание,— все это входит в арсенал малой повествовательной формы. В ней всегда равно важно, что рассказывается, как рассказывается и кем. Отсюда и эпизодная композиция всех романов Уайлдера, и разнообразие типов рассказчика: иногда это автор, зримо и слышимо присутствующий в тексте или скрывающийся за ним, иногда герой, излагающий события только со своей точки зрения, иногда — повествовательное многоголосие, создающееся рассказами нескольких персонажей, по-разному смотрящих на вещи. В повести «Мост короля Людовика Святого» два повествователя: автор и его персонаж, некий францисканский мо-

---

Г. ЗЛОБИН

КУСКИ КОВРА, ИЛИ МОСТЫ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

нах, брат Юнипер, чью книгу-исследование будто бы использует автор,— прием, кстати сказать, тоже распространенный в прозе, особенно старой.

Соответственно в повести два прилегающих друг к другу пласта повествования. Первый — это «разыскания» брата Юнипера, задавшегося целью «научно» доказать, почему именно эти пятеро оказались на мосту в тот момент, когда он рухнул, и что это происшествие не случайно, а есть часть некоего высшего плана. Второй — стилизованные, но создающие эффект достоверности картины жизни перуанской столицы начала XVIII века и портреты нескольких ее обитателей, которые нарисовал никогда не бывавший в Лиме Уайлдер.

«Разыскания» брата Юнипера прокомментированы писателем в первой и последней частях, опоясывающих три новеллистических части, живописующих жизнь пяти погибших на мосту; их имена и вынесены в названия трех частей. Сколь ни прихотливо, кажется, сплетаются пути этих пяти — и непосредственно, и через других,— все равно видишь, как продуманно расставлены фигуры. Каждая жертва катастрофы, за исключением дона Хайме, малолетнего сына актрисы и дамы полусвета Камилы Периколы, имеет свою пару, человека, которому отдана не то что любовь, а какая-то всепоглощающая страсть, составляющая смысл и цель существования. Когда же обстоятельства вынуждают их примириться с утратой предмета своей привязанности и когда каждый готов, кажется, начать все сначала, судьбы их соединяются в гибельном конце.

Эта откровенная условность — знак завершенности индивидуального бытия каждого из пятерых. Им суждено остаться такими, какие они есть. Они выполнили, так сказать, свое жизненное предназначение. Всем суждено умереть и быть забытыми, резюмирует Мария дель Пилар, но «все эти ручейки любви снова вливаются в любовь, которая их породила. Даже память не обязательна для любви. Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь, единственный смысл, единственное спасение».

Жития и смерть пятерых, казалось бы, указуют на истинность убеждения брата Юнипера: происшествие на мосту короля Людовика Святого в полдень двадцатого июля 1714 года не случайное стечение обстоятельств, а определенный замысел всевышнего — ведь страдания, в конечном счете, даны человеку для его же блага. Но что очевидно для францисканского монаха — не истина для Уайлдера. Он не идет к теодицее, то есть не пытается примирить противоречие между верой в доброго и разумного бога с существованием зла, проявившегося в смерти пятерых, в том числе двух всвсе невинных и безгрешных душ. Он не склонен занимать и метафизическую позицию: либо то, либо другое. Он лукаво озаглавливает часть первую «Возможно — случайность», а часть пятую «Возможно — промысел». Он рассыпает по тексту отточенные изречения, которые мало что проясняют: «На сто ладов можно толковать одно и то же событие», «Искусство биографии сложнее, чем полагают обычно», «Кто больше знает, меньше доверяет словам». Он не выставляет себя всеведущим — как в классике — автором, которому доступны тайны сердца и ума своих персонажей. Он допускает, что и ему не открылась «пружина пружин».

«Одни говорят, что... для богов мы — как мухи, которых бьют мальчишки летним днем; другие говорят, напротив, что перышка воробей не уронит, если бог не заденет его пальцем».

Здесь уже заложен тот плюралистический взгляд Уайлдера на историю, которую он впоследствии уподобит цельнотканому ковру или гобелену со сложным узором. Нити и узлы человеческой жизни скрыты на изнанке ткани событий. Мы видим лишь лицевую сторону и часть узора. Толковать историю — что вырывать куски из ковра.

Через сорок лет Уайлдер закончит другой свой роман так: «Немало споров идет о рисунке на гобелене. Иным кажется, будто они видят его. Иные видят лишь то, что им велят увидеть. Иным помнится, что когда-то они видели этот рисунок, но потом позабыли. Иные толкуют его как символ постепенного освобождения всех угнетенных, эксплуатируемых на земле. Иные черпают силу в убеждении, что рисунка вообще никакого нет. Иные...»

Модернистская множественность допущений при чтении «рисунка» событий, многообразие вероятий их связи становятся структурным принципом в романе «Мартовские иды» (1948), рисующем последние месяцы Юлия Цезаря. Построенный исключительно на записях героя, его современников и всевозможных документах (разумеется, полностью вымышленных автором), он представляет собой характерную разноголосицу мнений и предположений об одном и том же, многообразие человеческих побуждений и поступков. Свыше двадцати действующих лиц, которые выступают в романе наблюдателями и участниками событий, предшествующих убийству Цезаря 15 марта 44 года до нашей эры, самовыражаются в деловых посланиях, частных письмах, дневниках, донесениях и представляют иногда совпадающие с другими, но чаще неожиданные, а то и противоположные точки зрения на факты и явления. Совокупность этих отдельных «текстов» — как сложная система разновеликих зеркал, отражающих ту иди иную часть целого.

Полилогический принцип повествования, полное самоустранение автора создают художественную иллюзию естественности разворачивающейся панорамы, вящей достоверности ее. Воссоздаваемая действительность настолько объективируется в сознании читателя, что принимается как безусловная, не нуждающаяся вроде бы в подкреплении историческими фактами.

Пользуясь правом романиста, Уайлдер сгущает и напрягает обстановку, вводя в

оборот уже умерших к середине I века реальных личностей — среди таковых первостепенно важны для сюжета лирик Катулл, красавица патрицианка Клодия и ее брат трибун Клодий Пульхер — и сосредоточивая на коротком отрезке времени то, что случилось за много лет до мартовских ид того рокового года.

Четыре книги-части романа понемногу раздвигают хронологические рамки событий. Последняя книга открывается самым ранним «документом» — письмом матери Марка Юния Брута сыну, содержащим призыв выполнить святой долг тираноубийцы, и завершается запиской новой жены Цезаря, Кальпурнии, набросанной сестре утром того дня, когда разыгралась кровавая трагедия. Однако в содержательном смысле важнее то, что, монтируя «свидетельства» очевидцев, Уайлдер не развертывает события во временной последовательности, а группирует их — если угодно — по проблемам и совмещает в пространстве. Каждая книга налагается на предыдущую, заполняя пробелы на картине или подправляя уже имеющиеся очертания и краски. На экран читательского восприятия проецируется, таким образом, сквозное четырехкратное изображение. Это сообщает узору на «ковре» объемность, но и размывает линии, ухудшает общую видимость.

Движение романа определяют три ключевые фигуры: сам Цезарь, государственный муж нового склада, аристократка Клодия, воплощающая алчное женское начало, и поэт Катулл. Персонифицированные Власть, Страсть и Искусство состоят в сложных, мучительных отношениях. Цезарь, выказывающий единственную, пожалуй, человеческую слабость, мечтает прожить великую биографию, запечатленную в поэзии, и старается приблизить к себе Катулла. Все чувства и помыслы лирика отданы Клодии, и его убийственные эпиграммы равно разят неверную возлюбленную и диктатора, в котором он видит могильщика республиканских идеалов. Клодия же добивается возврата высочайшего расположения, преследуя при этом далеко идущие, подобающие ее родовитости цели, а пока спит с кем попало, бросая вызов обоим и обществу.

Можно упорядочить хронологическую цепь событий в романе, реконструировать изрядно запутанный сюжет, выстраивающийся вокруг нескольких центральных эпизодов, к которым стянуты, перекрещиваясь и сталкиваясь, честолюбивые планы и слепые побуждения участников драмы, но причинно-следственные связи не раскроются вполне. Исторический смысл того, что происходит — согласно общей концепции произведения,— замкнут на частных, преходящих интересах, на тщеславной возне, на сомнительной борьбе за богатство, влияние, власть. Великий Рим предстает как развороченное осиное гнездо. В этом смысле служанка Помпеи Абра, поставляющая информацию о доме Цезаря тем, кто платит («Если мои письма вас устраивают, нам с мужем хотелось бы купить корову»), не сильно отличается от Клодии, которая ловко подсовывает недалекого и любвеобильного племянника диктатора Марка Антония («Египет несомненно Ваш») едва ли не в постель Клеопатре. Единственный, кто пытается выплыть из водоворота сиюминутного прагматизма,— это сам Юлий Цезарь.

Сосредоточив в своих руках, как известно, всю широту власти, исторический Цезарь стал своего рода конституционным монархом. Он единовластно распоряжался финансами и войском республики, цензурировал имущество общины, председательствовал в сенате, в качестве верховного жреца руководил духовной жизнью в Риме. С помощью безотказной административной машины он мечтал создать мощное, единое, централизованное Римское государство. Новая власть требовала нового названия. Он стал Imp(erator) Caesar p(ater) p(atriae) dict(ator) perp(etuus), то есть «Император Цезарь, отец страны, пожизненный диктатор», как обозначен его титул в сохранившихся надписях.

Внешне романный Цезарь обладает всеми чертами Цезаря исторического. За те несколько месяцев, что покрывает роман, он проводит реформу празднеств Доброй Богини, издает всевозможные эдикты против распущенности и общественной апатии римлян, следит за деятельностью заговорщиков, старается привлечь на свою сторону колеблющихся и недовольных, мечтая «слить все разномыслия около своей личности и своего режима», если воспользоваться словами автора из старой энциклопедии, подыскивает себе преемника, размышляет над проектом канала через Коринфский перешеек, собирается к отъезду на парфянскую войну. По мере того как вчитываешься в «документы», сопоставляешь образующие своего рода дневник письма Цезаря своему бывшему соратнику и единственному близкому человеку Луцию Мамилию Туррину, видишь, что кипучая и целеустремленная, на взгляд со стороны, деятельность не приносит властителю удовлетворения.

Все, что Цезарь сделал и делает для Рима,— лишь то же самое, по его собственным словам, что делает хороший староста для своей деревни. Не то чтобы Цезарь понимал тщету своих усилий, хотя и это присутствует в его дневнике-исповеди. Он мечтает превзойти самого себя. Свои и чужие поступки и побуждения он все больше оценивает с точки зрения вечности, соотносит их с первоосновными загадками самого бытия. «Человек — что это такое? Что мы о нем знаем? Его боги, свобода, разум, любовь, судьба и смерть — что они значат?» Коренные для истинного исторического романа вопросы исподволь выводятся за рамки конкретного времени и места. Проблема единоличной власти подменяется в «Мартовских идах» рассуждениями о природе власти вообще и границах дозволенного, а

Г. ЗЛОБИН

КУСКИ КОВРА, ИЛИ МОСТЫ ТОРНТОНА УАЙЛДЕРА

реальное содержание понятия свободы растворяется в отвлеченных философско-нравственных категориях. Уайлдеровский Цезарь, вознесенный над другими людьми, добровольно несет бремя неограниченной свободы, которая в его представлении есть только безграничная ответственность за то, что делаешь сам.

Ощущение извечного одиночества человека у власти, фатализм, ожидание приближающейся смерти ставят героя романа в типично экзистенциалистское положение «пограничья», когда мир утрачивает свои объективные свойства и открывается конечный страшный лик — «Ничто».

«Жизнь наша обладает тем таинственным свойством, что мы не можем сказать о ней своего последнего слова, не смеем сказать, хороша она или дурна, бессмысленна или упорядочена сверху Но мы все это о ней говорим, тем самым доказывая, что все это живет в нас самих... Жизнь не имеет другого смысла, кроме того, какой мы ей придаем (разрядка моя.— Г. З.)».

Философский волюнтаризм, к которому приходит Цезарь и рецидивы которого слышны и в последующих вещах Уайлдера, отражает известное влияние на писателя экзистенциалистских представлений, затронувших западную гуманистическую мысль в сороковых годах. По свидетельству биографов, писатель в то время был близок к Сартру, перевел его «Победителей» — первую редакцию пьесы «Мертвые без погребения», увлекался сочинениями Кьеркегора, для которого, как известно, истина заключена в самой личности, ее «экзистенции».

Круг вопросов, связанных с соотношением слепого, стихийного и разумного, целесообразного в природе и истории, снова не получает разрешения. «Там, где есть непознаваемое, есть надежда»,— завершает Цезарь последнюю исповедь. В глоссе, толкующей эпиграф из Гёте, Уайлдер почти теми же словами говорит о непознаваемом в мире (материалист сказал бы — непознанном), придающем силы познающему разуму.

Здесь Уайлдер примыкает к более широкой идеалистической концепции истории, которая признает, пользуясь определением Арнольда Тойнби, «метаисторическое затемнение вокруг рационалистического освещенного центра», ибо «человеческий разум и само человеческое существо весьма ограничены; Вселенная же полна тайн...» [1]

По своему положению и пониманию мира как безразличия и пустоты Цезарь является характерным отчужденным героем — но лишь в конечном счете. В романном же существовании это один из наиболее полнокровных характеров, созданных Уайлдером: политик, любитель удовольствий, философ, любовник, визионер, рационалист-реформатор, ценитель языка и искусства, педагог, учащий морали, человек широких взглядов.

Из авторского посвящения и краткого предуведомления к роману явствует: коснувшись в нем подсказано «событиями наших дней», борьбой «против фашистского режима». И без этих указаний очевидно, что, затрагивая проблемы государства, власти, политической игры, общественных нравов, значения вознесенной над другими личности в совокупном ходе вещей, Уайлдер не мог не оглядываться на недавно закончившуюся жесточайшую схватку с гитлеризмом, не мог совершенно абстрагироваться от ее истоков и исхода. Вместе с тем философско-исторический план романа примыкает к экзистенциалистским представлениям, и потому аналогии цезаристской диктатуры с фашистской не столь последовательны, как, например, в романе Брехта «Дела господина Юлия Цезаря».

Скорее напрашивается иное сопоставление — Древнего Рима и Соединенных Штатов Америки, которое издавна покоряло воображение многих историков, социологов, писателей Нового Света. Деятели американской революции надевали героические одежды древних римлян, в их речах звучал пафос железного республиканизма. В середине прошлого века поэт и редактор Джеймс Рассел Лоуэлл, отнюдь не принадлежавший к неистовым, националистически настроенным патриотам, писал другу: «Я не могу удержаться от мысли, что мы более других народов воплощаем древнеримскую силу и дух... Наша одаренность в политике, праве и особенно колонизации, наше инстинктивное стремление к накоплению и торговле — все это черты римские».

В двадцатом веке и особенно после второй мировой войны центр сопоставления сместился: Штаты охотнее сравнивали с Римом не в период его величия, а начавшегося упадка. Один из последних примеров — роман Джона Херси «Заговор» (1972), о заговоре знати во главе с Пизоном против деспотии Нерона — тоже, кстати, «составленный» из писем, донесений, протоколов.

Военные победы за морями, алчные стремления преумножить богатства, восхваление расшатавшихся демократических институтов, внешнее разнообразие культурных проявлений и вместе с тем сосредоточение власти в руках военной и промышленной олигархий, ощущение непрочности положения, растущая неприязнь близких и дальних соседей и союзников, неустойчивая экономика и социальное расслоение, гражданская апатия и падение общественных и личных нравов, интриги и подозрительность, погоня за удовольствиями и погружение в иррационализм — все эти черты послевоенной Америки имеют аналогии в древнеримской истории на переломе двух эр и отчетливо прочитываются в романе Уайлдера.

[1] Цит. по книге: «От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела (Проблемы современного буржуазного гуманизма и свободомыслия)». М., «Мысль», 1969, стр. 134.

(Окончание статьи в следующем номере)

Н. ФЕДОРЕНКО

МГНОВЕНИЕ С ДЮЛОЙ ИЙЕШЕМ

Поразительно состояние людей, способных испытать неповторимость мгновения, извечное волнение души... Дар видения, дар удивления .. Как сберечь его «с первого дня до черты роковой»?

Разве не знаменательно, что в жизни человека не угасает великое чудо надежды? Предвосхищение будущего, которое, перед тем как воплотиться в нашем дне, словно бы испытывает себя верой, земной человеческой мечтой? «Мечта,— говорит один из героев Дюлы Ийеша,— это лучший поводырь... Не грезы из ночных сновидений. а те мечты, что. занятый повседневностью, человек создает сам для себя. Для себя и других».

Мы встретились в доме Дюлы Ийеша в Будапеште. в той части города, что называется Буда. Теперь короткий этот миг — воспоминание, которое, повторяя пушкинские слова, «безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток». Воспоминание, которое становится неотторжимой частью нашего сознания, ощущений. Из этого возникают записи. «Я думаю, что самое важное и полезное людям, что может написать человек. это то, чтобы рассказать правдиво пережитое, передуманное, перечувствованное им»,— говорит Л. Н. Толстой [1].

[1] Т. Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1976, стр. 6.

В СУМРАКЕ СНЕЖНОГО ВЕЧЕРА

Смеркалось... Метался порывистый ветер, крутя вихри дождя и мокрых сгустков снега, низвергавшихся на землю. Безжалостно обжигало ледяное дыхание раскинувшегося вблизи студеного Дуная. Все ощутимее надвигалась свинцовая тьма. Природа, наделившая человека способностью видеть прекрасное в окружающем нас мире, порой бывает немилосердной...

С трудом взобравшись по крутым извилинам дороги на городскую возвышенность Буды, автомобиль наш остановился у ограды одного из едва видневшихся серых домов. В рассеянном свете фар внезапно показалась фигура человека, одиноко стоявшего у калитки. «Жертва ненастья... путник запоздалый...» — промелькнуло у меня. Если погода не нравится, гласит японское речение, подожди немного — она изменится. Не иначе как крайняя нужда погнала горемычного на улицу в непогожий этот час, когда снег и сумерки неистово смешиваются с разгулявшейся стихией.

И вдруг — высветленное лицо, до странности знакомые мне черты. В памяти пронеслись запомнившиеся виды Словении, незабываемая Перана на морском берегу, минуты встреч на международном собрании. Драгоценных для меня встреч Есть люди, которых достаточно увидеть однажды, чтобы запомнить надолго. Нет, невозможно... В такое ненастье...

Едва успел я выбраться из машины, как оказался в дружеских объятиях Дюлы Ийеша, который вышел за ворота, чтобы встретить пришельца издалека... Священны земные традиции. Неостановимы движения сердца, эмоциональная

людская щедрость. Поистине, уж если человек в душе поэт, подумалось мне, значит, он призван творить лишь добро.

Но, быть может Ийеш в час проснувшейся стихии решил постоять у калитки впечатлений ради? Не в этом ли находит поэт источник каждодневного самоутверждения? Диалектика взаимосвязей художника с природой всегда многосложна и неожиданна.

В одном из стихотворений Дюлы Ийеша читаем такие строки:

Дует ветер спозаранок—
в поле мельниц нет ветрянок.
Дует в море над волнами—
нет судов под парусами.
. . . . . .
Ветер я с тобою дружен—
мой напев, как твой, не нужен!

(Перевод М. Зенкевича)

Истинный художник не может жить без впечатлений которые приносит ему действительная жизнь, хороша она или неприглядна. Без тех впечатлений, что наиболее остро врезаются в память, входят в сердце. Ведь картина приобретает значение в зависимости от того, кто на нее смотрит. Как и текст наполняется смыслом в соответствии с тем, кто его читает. Безразличие здесь нетерпимо. Безразличие гибельно.

Стремительно увлек меня хозяин в свой дом Нет, не изменился Ийеш никогда не бывал он вялым, скучным, унылым Он всегда напряжен эмоционально динамичен Творчество для него — высшее счастье. Ко входу в дом привела нас мощеная дорожка Тропа по которой к писателю приходят его друзья из разных уголков мира И каждый такой визит — радость, вознаграждение

Неподалеку — черчеющие деревья, стонущие под яростным ветром Всплыли в памяти кем-то сказанные слова: деревья обладают волшебной силой в их кронах обитают души Неизъяснимо человеческое представление о древе скрытых его корнях и причудливых ветвях. Вспомнились и слова князя Мышкина: «Знаете я не понимаю как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его?..»

Мы переступили порог и ощутили пахнувшее на нас тепло домашнего очага, радушие супруги писателя — Флоры Ийеш Влажный холод все вихри стихии остались позади, за плотной непроницаемой дверью В доме ожидала нас атмосфера сердечности.

Теперь мы — в обители Дюлы Ийеша, в рабочем его кабинете. Просторном и светлом с захватывающим воображение видом на Дунай Извечно право человека на уединение, на свой угол тишины и раздумий Велика способность человека наслаждаться временем Знать истинную ему цену Каждому дню, часу. Каждому мгновению.

Вокруг — книги... Они всюду. У книг неистребимо стремление собираться вместе. Здесь их мир, безраздельное и суверенное их господство. Им давно уже тесно на полках, но это не разрушает царящего здесь порядка. Масса книг вокруг и лишь немного вещей, впрочем, подобранных со вкусом. Что есть вкус? Способность различать прекрасное. Умение отбирать и освобождаться от вещей. Ничего лишнего, ненужного, мешающего человеку. Никаких признаков капризной моды. Видно, что тут эстетическое чувство диктует свои понятия изящного, достойного И я рад, что все это сейчас передо мной, как если бы это было знакомо мне раньше. Не вещи сами по себе, но человек, его вкус, через который раскрывается все остальное Теперь это перед моими глазами как неумолимая примета.

Но у комнаты этой своя судьба, свое военное прошлое. Об этом мы узнаем из стихотворения Дюлы Ийеша «Буда, май 1945»:

Вот я опять в углу своем,
повсюду мусор прах кирпичный.
Разбит наполовину дом,
но жизнь идет чредой обычной.
Я в комнату свою иду,
где дыры в потолке пробиты.
Я не боюсь могил в саду,
я сам копал их для убитых.

(Перевод М. Зенкевича)

Не однажды замечал я, что мельком увиденная вещь, случайно услышанное слово или прочитанная в книге фраза вдруг высветит давние страницы твоей жизни и обнаружит иной, более глубокий их смысл У человеческой памяти свой, непокорный отсчет времени и впечатлений Измерение дыхания времени. И потому так трудно уловим миг когда прошлое становится прошлым, а будущее перестает быть будущим. Бывает, что многое из прошлого нам вспоминается как бы безо всякой видимой связи. Случается, однако, что человек помнит не только, что было давно и недавно. Ему порой кажется, будто он помнит, что было еще до собственной его жизни.. Все же воспоминания людей нежнее с каждым годом тянутся туда, к началу всех начал...

Вновь и вновь поэт мысленно возвращается к этой заветной поре Вот строки из стихотворения «Дай пчеле еду...»:

К тем бы мне вернуться, кто вначале,
в милом детстве путь мой намечали.
Гаснет мой огонь неугомонный,
зябко мне без теплого загона.

(Перевод Н. Чуковского)

Волшебна сила воображения, тайна нашей памяти. Воспоминания мои вдруг влекут меня к тому, что прославленная японская писательница далекого прошлого Сэй Сэнагон в свое время назвала «вещами которые сами собой проходят... лодка под парусом, жизнь человека, весна, лето, осень, зима...».

ВЗГЛЯД В РОДОСЛОВНУЮ

Дюла Ийеш, родившийся в 1902 году,— крупнейший венгерский поэт, драматург, прозаик. Происходит из потомственных батраков и пастухов. Во время пролетарской революции 1919 года в Венгрии Ийеш прервал учение и вступил в ряды красных добровольцев. После падения Венгерской советской республики эмигрировал в Париж. Здесь он установил контакты с венгерской революционной эмиграцией, сблизился с левой французской интеллигенцией. Университетское образование получил в Сорбонне.

Первые произведения его были написаны под заметным влиянием экспрессионизма и сюрреализма. Но уже в поэмах, созданных в тридцатые годы — «Три старика» (1931), «Слово о героях» (1932),— обнаруживается отход от прежних увлечений, заметно реалистическое видение мира. Похоже, что все более осознавал поэт свое призвание: поэзия — судьба. Его судьба.

В 1934 году Дюла Ийеш совершил поездку по Советскому Союзу, принимал участие в Первом съезде советских писателей. Вскоре после этого в свет вышла его книга «Россия», пронизанная искренней симпатией к Стране Советов.

В конце тридцатых годов Дюла Ийеш играл видную роль в группе так называемых «народных писателей», близких по своим устремлениям к «почвенникам». К этому времени относятся книги «Люди пушты» (1936) и «Порядок среди руин» (1937).

Характерен один факт из биографии Ийеша тех лет. В дни, когда известные венгерские коммунисты Шаллаи и Фюршт были приговорены к смертной казни, появилась листовка, резко осуждавшая хортистское правосудие. Одним из авторов ее был и Дюла Ийеш.

Примечательно, что даже в наиболее мучительные времена художника вдохновляли героические страницы истории его народа, его мужество и бесстрашие. В стихотворении «Огненный трон», написанном Дюлой Ийешем в ответ на преследования хортистской печати, встречаем исполненные гнева строки:

Пусть хоть на трон твой, Дожа,
втащат —
я правду выскажу до дна,
и станет этот трон горящий
как новой жизни купина.

(Перевод И. Чуковского)

В 1944 году, после того как гитлеровцы заняли Венгрию, Ийеш вынужден был какое-то время скрываться в провинции.

Освобождение Венгрии от фашизма Дюла Ийеш встретил с воодушевлением, с чувством оптимизма. Это нашло выражение в поэтических его произведениях. Дважды — в 1950 и 1952 годах — Дюла Ийеш был удостоен литературной премии имени Кошута, в 1970 году ему была присуждена Государственная премия первой степени. Дюла Ийеш — лауреат и других литературных премий, в том числе международных.

В пятидесятые годы, как и многие другие венгерские художники, Дюла Ийеш пережил период сомнений, сложных духовных исканий, которые с присущей ему взыскательностью пытался выразить в своих стихотворениях.

Случается, однако, что глубина душевной боли помогает лучше осознать природу человека, охваченного сложным внутренним противоборством. В этой связи показателен сборник «Новые стихи» (1961). Мы видим, что творчество для Ийеша не самоутешение, а очищение. Оно тревожит и будит сознание и память, охраняющие нашу совесть. Людям присуще время от времени принимать различные решения, которые являются испытанием их зрелости, принципиальной их убежденности.

На страницах венгерской периодической печати постоянно публикуются прозаические и стихотворные произведения Дюлы Ийеша, выходят его книги, в которых всегда выступает самобытная личность автора, его индивидуальность. Истинные поэты неизменно выражают себя, потому что вмещают в сердце своем не частное, но весь мир. Круг интересов Ийеша необъятен. Это многогранность мира, бесконечность поисков истины, вдохновенность творчества.

Смею напомнить, что в литературе о Дюле Ийеше нередко отмечается счастливое сочетание в нем качеств человека утонченной культуры и потомственного венгерского крестьянина, глубоко привязанного к труду земледельца. Сам писатель как-то сказал, что «вырос вместе с тысячью молочных братьев, шумливых, верных: телятами, деревьями, ветром». Ничем не заменимый личный опыт с неиссякаемой щедростью позволяет поэту в самых скупых словах выражать подлинность жизни, достоверную сущность ее явлений.

Как не вспомнить строки, изображающие старую крестьянку с ее многоумением и наблюдательностью:

Что ни возьмет — топор или дрова,—
для всех у ней находятся слова.
— Ты что, огонь, дымишь — чуть
не потух!
Опять, огонь, кичишься, как петух!

(Перевод Ю. Левитанского)

Произведения Дюлы Ийеша — проза и поэзия — переведены на многие языки мира в странах Запада и Востока. В 1969 году на русском языке вышла книга стихов Дюлы Ийеша «Рукопожатия». К этому следует добавить «Стихи

Н. ФЕДОРЕНКО
МГНОВЕНИЕ С ДЮЛОЙ ИЙЕШЕМ

последних лет» Дюлы Ийеша, опубликованные в 1973 году на страницах журнала «Иностранная литература» и получившие широкое признание. В том же году, в связи со 150-летием со дня рождения Шандора Петефи, в издательстве «Художественная литература» вышла в русском переводе чрезвычайно содержательная монографическая работа Дюлы Ийеша, которая обогатила наше представление о жизни и творчестве Шандора Петефи. Здесь и тщательное научное воссоздание биографии поэта, и глубокий анализ его стихов, и увлекательнейшее лирическое повествование, написанное с подлинным вдохновением. Примечательны многие страницы этой книги, славящие великого предшественника современных певцов Венгрии. «Мучительное наследство. Тот, кто наслаждался лишь «красотой» его строк и отгораживался от скрытого в них приказа, поистине может чувствовать себя укрывателем краденого».

Дюла Ийеш изобразил Петефи как наиболее последовательного революционера из всех участников венгерской революции 1848 года, поколебавшей трон монархии. «В Австрии, за исключением Польши и Италии,— отмечал Ф. Энгельс,— немцы и мадьяры в 1848 году... взяли историческую инициативу в свои руки. Они—представители *революции*» [1].

Советским читателям запомнилась великолепная повесть Дюлы Ийеша «Обед в замке» (1962), впервые опубликованная на русском языке в журнале «Иностранная литература» [2]. В автобиографической этой повести, обнаруживающей глубокое изменение лика венгерской земли и общественной жизни, автор со свойственной его таланту грустной иронией анатомирует человеческие отношения, их социальные корни, классовые взгляды, которые уходят в дореволюционное прошлое, но продолжают еще жить как остаточное явление в недрах современной морали.

Весьма плодотворна работа Дюлы Ийеша в области драматургии. Каждая его пьеса — событие в литературной и культурной жизни страны. Не проходило и года, чтобы пьеса Ийеша не украшала собою сборник лучших пьес, периодически издаваемых в Венгрии. Годы и годы напряженных поисков предшествовали созданию образов, полных волнения и лиризма, здесь душевная взыскательность соединилась с подлинным талантом. И каждый раз его преследовал вопрос: станет ли произведение это живым или окажется тусклым и холодным? Творчество писателя исполнено духовного богатства, ненасытных исканий, неудовлетворенности, неистового повествовательного ритма.

В произведениях Дюлы Ийеша, который с огромной художественной силой проявил себя как поэт, прозаик, драматург и литературовед, ярко обнаруживается труд писателя, способный выразить сокровенные судьбы людей, их надежды и чувства, раскрыть обилие и разветвленность человеческих отношений, многосложность удела людского. Труд писателя, помогающий человеку постигать то, что жизнь прекрасна и вечна. Щедрый талант Дюлы Ийеша обращен на служение народу, родному краю. Он неизменно отдает свои книги на суд современников и потомства, как духовное завещание. И потому, быть может, каждый раз, читая Дюлу Ийеша, мы, словно стремясь заглянуть за горизонт, не можем не задерживаться на страницах, насыщенных философскими его суждениями о самом существенном в жизни. Здесь каждая фраза — глубинное исследование сдвигов в человеческой душе, в сознании. Здесь ощутима вечная энергия взаимосвязи человека и жизни.

В поэме «Слово о героях» находим такие строки:

О милый край моих идиллий,
родимый край, мне дорог ты!
Здесь отдыхает от усилий
душа, хлебнув живой воды.
О деревенские закаты,
ваш шорох слышен мне досель.
Глаза закрою — и кантаты
я слышу и оркестра трель
мне чудится...

(Перевод Д. Самойлова)

И при этом нас никогда не покидает чувство высоты духовного уровня художника, внутренней его целостности. Психологические зарисовки Дюлы Ийеша захватывают нас. В любой вещи Дюлы Ийеша обнаруживается нравственная значительность, своеобычность. Мы убеждаемся, что творчество возникает там, где рождается чудо неизвестного в известном. Открывается затаенная сущность жизни, тончайшая структура человеческого ощущения. «Нет, не искусственными методами, а естественным путем — щедростью сердца — должен человек оберегать свое лицо»,— признает Дюла Ийеш, обладающий поистине волшебным зрением живописца. Вместе с тем перед нами возникает образ самого автора — человека, размышляющего над судьбами народа, не только современного ему поколения.

ГРАНИ КРИТИЦИЗМА

Беседа началась тотчас — лишь только опустились мы в кресла, расположенные вокруг небольшого низкорослого столика. В непосредственной близости мне удалось разглядеть лицо Дюлы Ийеша, глубинную выразительность его линий — отражение внутренних, душевных движений.

«На днях мне все-таки пришлось взглянуть на самого себя, не в зеркале, а на фотографии... Глаза — не придерешься: глаза мои. Лоб тоже. И седые космы, уж это точно, что мои. Но зато

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 6, стр. 184.
[2] «Иностранная литература» № 9, 1971 г.

ухмылка и эта тупость, почти скотоподобная,— они разят в самое сердце, все во мне бунтует. Это выражение, прилипшее к моему лицу, неужели это теперь навек мое? Неужели рот мой навсегда застыл в уродливой гримасе? Мой разум противится твоим рассуждениям. Не вижу здесь повода к потехе или острословию... И вновь наскоки старости меня ошеломляют. Лицо мое деформировано. Там, где прежде была резкая линия, теперь дряблая извилина, вместо гладкой некогда равнины — бугры и ухабы»,— читаем мы в романе «В ладье Харона» [1].

«Да,— продолжает писатель,— мускулы моего лица явно попали в чужие руки. Какой-то кукольник, разнузданный комедиант дергает их по своему произволу, сообразуясь со вкусами ярмарочных зевак, будто это ниточки марионеток...»

Да мало ли еще каких шуток, добавим мы, не проделывает бренность, забравшись внутрь человека, с нашим лицом, руками, умом, памятью?

В беспощадно изображенном этом портрете — множество оттенков подлинно солнечной иронической палитры художника. Дюла Ийеш нередко вышучивает самого себя. Для увеселения или поучения? Если человек рассказывает о том, как он оказался в незавидном положении, не страшась выглядеть смешным, то такого человека глупым никак не назовешь.

Когда дело касается физиономии, человеческое самолюбие всего уязвимее. Ожогом испуга отпечатывается все, что затрагивает чувствительность нашего сердца. Давно замечено, что раньше всего старится у человека лицо. Причин тому множество. И Дюла Ийеш дает свое объяснение: «Лицо наше — это щит, на долю которого в противоборстве с внешним миром выпадает больше всего ударов, испытаний. Терпеть ему приходится не только ветер, град и мороз, но и людские взгляды — стрелы, ранящие душу. Равно как и разящие удары истории — событий малых и великих».

— После недавнего прочтения вашего романа-эссе «В ладье Харона» у меня возникла потребность поговорить с его автором,— затронул я главный предмет своего посещения Дюлы Ийеша.

— Но почему, собственно, именно этот роман заинтересовал вас? — спросил писатель с внезапным и, казалось мне, острым чувством.

— Родилась у нас мечта... Хотелось бы издать «В ладье Харона» на русском языке.

— И что же?

— Провели мы предварительное обсуждение...

— Разошлись во мнениях? — с улыбкой спросил собеседник, стремясь, видимо, спрямить разговор. Вышло это у него непринужденно и ближе к черствой сути дела.

— Были высказаны различные суждения по существу проблемы.

— Методологическая необоснованность философии? Неубедительность обобщения образов?

— У некоторых критиков создается впечатление, что роман страдает «замкнутостью траектории», в нем отсутствует обнадеживающая альтернатива...

Наступила пауза. Дюла Ийеш неторопливо приблизил к себе чашку с кофе.

И мой взгляд остановился на его руках — широких и крепких. Не об этих ли руках писал он в романе «В ладье Харона», там, где говорится, что «в течение всей жизни руки с неизменной жадностью хватаются за неотложные дела, а шея вытянута, глаза присматриваются к делам более достойным, последующим, так что, если глянуть со стороны, вся фигура под стать благородному скакуну — проникнута одним стремлением: обогнать. В течение целой жизни! И кого же? Да самого себя. Склоненное лицо клонило, горбило спину. Нет ничего достойнее подобного горба! Кто не замечает особой пленительности очертаний в сутуловатости неизменно хлопотливых пожилых крестьянок и работящих матерей, на ком держится семья,— тот начисто лишен понимания женской красоты».

— Не ограничились ли критики чтением одной страницы? Надо бы запастись терпением. Дочитать книгу, всю книгу и до конца... Ведь беглые впечатления, как и смутные воспоминания, нередко оказываются обманчивыми,— продолжал Дюла Ийеш, останавливая внимание собеседника внезапным поворотом прихотливой своей мысли.

— Роман построен на драматизме самой проблемы — неотвратимости человеческого старения, бренности... Прямое и преднамеренное воздействие романа на читателя, отмечают наши критики, не может не вызвать грустных мыслей, удрученности...

— Этому, пожалуй, можно довериться, но едва ли можно верить... Иногда люди говорят как жрецы — на языке, который понятен только им, а может быть, непонятен и им,— невозмутимо заметил писатель. И мне подумалось, что собеседник мой отнюдь не лишен чар остроумия...

— Но, как отмечают критики, ко всему еще ваш скептико-иронический оттенок: гуманная мудрость автора от этого делается словно бы уклончиво-неоднозначной...

— В чем же главный грех автора: в том, что ввергает читателя в бесконечную тоску, или в иронической неоднозначности? — услышал я не просто

---

[1] Роман публикуется в «Иностранной литературе» № 5—6 за текущий год.

Н. ФЕДОРЕНКО

МГНОВЕНИЕ С ДЮЛОЙ ИЙЕШЕМ

грустное слово. Тут было нечто от ощущения несуразности вопроса, его внутреннего комизма. Утонченной шутке Дюла Ийеш всегда покорный слуга.

Человек существует, повествует, к примеру, писатель, и в то же время самим фактом своего существования утверждает небытие, поскольку он смертен: здесь столь же явное противоречие, как если бы человек приближался к чему-либо и одновременно отдалялся. То, что уходит,— стирается, отрицает себя. Но человек не должен отрицать себя.

Так, сквозь маску иронии над человеком, над самим собой проступает неукротимая вера в человеческое бессмертие, в счастливое предназначение людей.

Подумалось мне и другое: не все, что нравится критикам, увы, нравится и читателям Между тем дар критика, мы хорошо знаем, — более редкий, чем дар прозаика, поэта, драматурга. Редчайший дар, нуждающийся в благоговейном отношении. И обязанность критика — помочь разобраться в творениях искусства, а не искажать представление о них. Истинная критика творит свое искусство, опираясь и на окружающую жизнь, и на художественное творчество писателя. Это, конечно, так.

Но разве не случается, что вместо исследования художественной ткани словесного искусства утверждается некий вид социологической схемы, в которой не остается места творчеству и творческой личности, отрицается само понятие образного мышления, художественного слова? Когда создается своего рода стереотип восприятия, и критик уже ищет в творчестве писателя только лишь подтверждения собственной идеи? Отсюда же возникает заблуждение у такого критика, будто он все на свете знает, а это значит, что он не знает ничего. Всезнающий утрачивает священный трепет. Он грешит против таинственного и непознанного в человеке, в его природе. Он судит обо всем и обо всех нескромно, свысока и надменно, забывая, что многое, очень многое в жизни по своему священно. Это, кажется, тоже так.

Между тем — и сие хорошо известно — правомерна оценка явлений искусства, так сказать, со стороны, а не просто с личных позиций того или иного критика. Не только вы, но и окружающие имеют особенности взглядов и суждений. Кто же считается мудрым? Тот, кто способен видеть непредвзято, объективно. В том числе и себя самого.

Вправе ли критик считать себя кем-то независимо возвышающимся, особенно над теми, кто создает художественные ценности? Еще Белинский отмечал, что он лишь исследователь творчества писателей: есть литературные произведения — есть и занятие для критика. Мыслима ли литературная критика без литературы? Литература, пожалуй, обходилась иногда без критики. А вот о критике этого не скажешь.

Важно и другое — произведение, безразлично чьей рукой созданное: признанным гением или безвестным художником, заставляет человека «жить или умирать». Возможно, произведение это — итог размышлений. Итог творческих исканий. Итог собственной жизни. Возможно, что сам автор не все видел, не мог видеть, но художнику нужно вообразить, реально это представить и убедить читателя в достоверности описанного.

Все эти мысли то и дело возникали у меня в ходе нашего разговора с Дюлой Ийешем. Временами я готов был высказать их, но беседа развивалась своим путем, и мне приходилось внимательно следить за логикой суждений моего собеседника, который двигался не спеша, шаг за шагом, не потому, что ему хотелось двигаться медленно, но потому, видимо, что он уверенно шел к цели.

— Тема романа «В ладье Харона» — парадокс старости Едва ли роман, на взгляд некоторых критиков, относится к произведениям, которые подымают насущнейшие или волнующие всех вопросы эпохи, давая на них художественно новаторский ответ, завоевывают внимание, возбуждают споры... Вряд ли, продолжают эти критики, земле угрожает опасность обратиться в дом для престарелых, а писателям — в рыцарей утраченного времени. И потому шансы книги на популярность изрядно уменьшаются незавидностью самого возраста, который в ней анализируется...

— Видите ли,— по-прежнему невозмутимо заговорил собеседник,— в моем эссе отмечено, что в литературе о старости человеческой — преимущественно в сочинениях классиков,— о самой физиологии старения мало что удается почерпнуть, поскольку авторы прошлого, и вполне оправданно, взывают к сознанию, к рассудку, пытаясь отбить атаку на физическую природу человека доводами разума, но с этим духовным оружием обращаются неловко, по старинке... Нашему суду теперь подвластны все канонизированные творения минувших поколений человечества. «Художественно новаторский ответ»? О природе старости — истинная правда — не так много написано. И уж подавно молчит об этом литература художественная. Произведения, «подымающие насущнейшие или волнующие всех проблемы эпохи»? Но разве проблема жизни человека не относится к насущнейшим и волнующим всех? Разве это не есть проблема эпохи, именно нашей эпохи, нашего нового уклада, социалистического гуманизма? А во имя чего поднимаются вопросы о сохранении среды обитания, ведутся неустанные научные изыскания путей и средств продления жизни человека, ведется гигантская борьба за смягчение напряженности, прекращение гонки вооружения? Разве не во имя человека, человеческого рода, не ради ограждения его от безумия ядерного истребления?

Едва ли можно встретить не только в литературе венгерской, но и мировой аналогичное по замыслу и по силе убедительности произведение о старости как явлении в жизни человека. В романе «В ладье Харона» автор выдвигает вопросы, которые представляются наиболее жгучими и волнующими проблемами бытия и касаются любого человека, не исключая людей молодого возраста. Ибо бренность уготована каждому человеку с момента рождения, смерть постоянно таится в людях, которые оказываются в ладье Харона задолго до неизбежного конца.

— А «незавидность самого возраста»? — вырвалось у меня непроизвольно. При этом я имел в виду размышления в эссе «В ладье Харона» о том, что престарелых людей становится все больше. В размышлениях этих, как мне показалось, столько же озабоченности, сколько и искрящихся брызг иронии: сегодня стариков в десять раз больше, чем было сто лет назад. А еще через столетие их станет больше в тысячу раз. Близится время, когда на земле останутся жить лишь старцы...

— Это равносильно вопросу: стоит ли с человеком считаться или следует только считать людей по головам? — последовала реплика писателя.— Обозреть свою жизнь, «посмотреть на нее при свете» человеку дано лишь по прошествии известного времени... Знаменитый афоризм, что самое верное средство не состариться — умереть молодым, при всей его заманчивости приходится отклонить ввиду двух непреложных истин. Старение, пусть оно во многом непостижимо, наш разум все же приемлет. Смерть человека в равной степени и непостижима и неприемлема... Необходимо сознавать, что жизнь каждого человека — частица вечного процесса бытия. Стало быть, любая добровольная уступка смерти равна самоубийству. Уступка старости по сути то же самое. Но спрашивается: есть ли у нас выбор, коль скоро мы отвергаем ее? Старость и тогда неумолимо подчиняет нас себе. При молчаливом нашем соучастии...

Возвращаясь к этой мысли, Дюла Ийеш сослался на то место в романе, где сказано, что жизнестойкость как чувство и инстинкт уходит в незапамятные времена и в сравнении с нею старость как чувство и понятие — свойство современное. А потому и само понятие старости каждый раз соотносительно эпохе и ни в какой мере не может претендовать на завершенность конечной истины.

Трезвостью и реалистической перспективой отмечена мысль автора о том, какую радость обретают люди, взращивая сады, закладывая города или внося свою лепту в переустройство общества. Старики верят в будущее. Верят в род человеческий. Верят даже в возможность укротить бег времени. А поскольку для достижения своей цели старики создают необходимые средства — орудия и оружие,— то вера их, прошедших свой жизненный путь, подчеркивает Дюла Ийеш, более действенна, чем у тех, о ком принято говорить, что они стоят на пороге жизни. «Старики по природе своей — бунтари в лучшем смысле этого слова, и требования их максимальны. Старики — вот кто поистине молод!»

Мне показались интересными конкретные рассуждения автора о контурах общества, которое потребует от своих сограждан двухчасового труда в день по обслуживанию машин, исполняющих всю механическую работу,— тем самым запасы свободного времени откроют большой простор для развития личности и поставят перед обществом еще немало дотоле неведомых проблем. Ведь вполне допустимо, что люди, все раньше уходящие на пенсию и доживающие до все более долгих лет, возьмут на себя дополнительную работу — и не только ради времяпрепровождения, но руководствуясь своими прирожденными наклонностями.

И разве не осуществляется это уже в наше время, в условиях реального социализма?

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Вслушиваясь в речь Дюлы Ийеша, в которой прозвучали мотивы и аргументы, выраженные в романе «В ладье Харона», я вспомнил стихотворные строки, предпосланные автором роману:

Не тогда мы садимся в ладью Харона,
когда пробил наш смертный час.
Еще много раньше по этим водам
роковым уже носит нас.

(Перевод Ю. Левитанского)

Ладья Харона... Что известно о ней? В древнегреческой мифологии Харон — сын Эреба и Ночи, перевозчик в подземном мире теней, который переправлял души усопших через реку Стикс в царство мертвых. Скупой старец, он перевозил на противоположный берег лишь тех, кто имел по одному оболу, который клали умершему в рот, чтобы оплатить услуги Харона.

Подземное царство изображается в древнегреческой мифологии пустынным и мрачным пространством, где усопшие существуют в виде теней. Между ними нет различия, ибо еще нет речи о суде после смерти. Так называемый Элизиум, куда переселяются любимцы богов, у Гомера не составляет еще отдельного подземного царства и рисуется в его воображении совершенно неопределенно, в виде долины, лежащей на дальнем западе (остров блаженных). У позднейших

Н. ФЕДОРЕНКО
МГНОВЕНИЕ С ДЮЛОЙ ИЙЕШЕМ

поэтов, напротив того, очертания подземного царства выступают яснее и резче. Оно представляет пространство внутри земли, к которому с поверхности ее ведут многие ходы и которое омывается многими реками, а именно Коцитом, Пирифлегетонтом, Ахеронтом и Стиксом. Последняя река многократно обвивается вокруг подземного царства, и через нее можно перебраться с помощью перевозчика Харона, который представлялся угрюмым стариком со взъерошенной бородой. Словом, на тот свет нет специальной дороги ни для царей, ни для нищих. Для всех единая цена — один обол.

Харон упоминается впервые в классических поэмах, а затем образ его получает широкое распространение. В современном греческом фольклоре Хароном называют черную птицу или черного всадника, якобы уносящих после смерти душу человека.

Далее в стихотворении Дюлы Ийеша читаем:

Нас извечно судьба поровит пораньше
в этот челн усадить, и в нем
мимо дивного берега так же долго,
так же медленно мы плывем.

как в гондоле свадебной вдоль Канала—
те же небо, земля, вода,—
с тою разницей только, что наша лодка
держит путь уже не туда.

(Перевод Ю. Левитанского)

Мудрость этих строк неоспорима. Они столь же истинны, сколь ироничны.

В самом деле, хотим мы того или нет, а внутри нас, справедливо отмечает Дюла Ийеш, «ни на минуту не прекращаясь, даже на время сна, идет все тот же вечный спор живого с отмирающим. Отзвуки его слышны не только в сердце и рассудке человека, но и в каждом органе и в каждой частице тела... Как ни парадоксально, но люди чреваты смертью с момента рождения. Они производят на свет собственную свою гибель, смерть. Совершают самоуничтожение».

Итак, спрашивает автор в романе «В ладье Харона», «смириться ли нам со старостью или нет: ее отвергнуть, не приняв? А вдруг она одержит верх, перекричит нас? И запечатает навек нам уста Но доколе теплится в нас хоть искорка сознания, разум не устанет выдвигать встречные аргументы. Ведь бытие — и само по себе уже аргумент».

Однако и здесь возникает сомнение, всецело ли принадлежит нам бытие, подчиняется ли оно человеку, его воле, разуму, чувствам? Это по существу — глубочайшие вопросы философии: что есть жизнь, что есть наше ощущение, наш подход к бытию, к действительности, нас окружающей. Не проходит и часа, замечает автор, чтобы лирический герой его не вспомнил о своем возрасте...

Грозная тайна вековечная. Как уберечься от нее? Подобно всякой схватке не на жизнь, а на смерть, в сражении со старостью оружием человека является точное знание ситуации на поле боя. Для бренной плоти не утешительна мысль о нетленности духовной. Так что же нас в силах утешить? — спрашивает автор книги. Неправда, говорит он, что люди всего лишь путники в ладье Харона, которые, скованные молчанием, плывут в страну теней. Они оставили след в душах человеческих. Гамлет побеждает, даже если терпит крах. И гибелью своей он утверждает нетленность бытия.

В романе «В ладье Харона» Ийеш изображает жизненные ситуации в разнообразии мотивировок, суждений, углов зрения, нескончаемых сочленений и сцеплений людей друг с другом, от личных, наиболее интимных, семейных, до широкоохватных, исторических. В этом особенность романа-эссе, где автор обнаруживает, сколь великолепно он владеет реалистически живописным пером. Экскурсы в историю, этнографию, политику. Воспоминания. Голоса из прошлого, мысли о будущем. Разнохарактерные эти пласты соединяются в цельную художественную ткань. И за этим стоит опыт собственной жизни писателя, которую нельзя не назвать глубокой и содержательной. Не потому лишь, что она насыщена множеством событий, встреч, впечатлений. Она неизменно богата ежедневным, неостановимым творческим трудом.

Обращаясь мыслями в мир старости, автор напоминает нам, что Цицерон в трактате «О старости» рассуждения свои намеренно вложил в уста Катона Старшего, который был много старше погибшего на седьмом десятке лет Цицерона. Из диалога двух Мафусаилов черпает писатель близкие к теме — утешения в старости — сентенции, за два тысячелетия повторов отшлифованные до классического блеска. Их отточенные аргументы до сих пор в ходу. «Ведь достигнуть старости желают все, а достигнув, ее же винят. Таковы непоследовательность и несообразность неразумия!» — мудрецы переглядываются: похоже, что оба удивлены. Бояться смерти? «Смешно!» Поскольку смерть либо угасит душу, а вместе и страх, либо перенесет ее в вечную обитель. Там душа обретет счастье, станет более совершенной и даже более образованной...»

Умело подобранные, замечает автор, аргументы древних «пролагают свой собственный путь утешений в старости, хотя и в ином направлении, чем указует крючковатым пальцем костлявая рука. У старости, вещают нам с котурнов оба мудреца, есть множество таких достоинств, о коих молодежь и догадаться не способна. В старости, например, все меньше докучают нам плотские желания. Особенно же наиболее беспокойные из них, ублажающие утробу человека. Плотские услады, что доставляют нам доброе вино, вкусные паштеты и женская красота, с течением лет человек все успешнее заменяет наслаждениями

более возвышенными: становится милее игра ума, и мыслями обмен, и радость поучительных бесед».

«Слабеют наши умственные способности?» Лишь в том случае, добавляет Цицерон, если их не упражнять. «Пифагор, Ксенократ, Зенон, Диоген и многие философы — и седовласые, и начисто лишенные волос — могли дать фору хоть кому. А Гомер, который помимо того был слеп? Над Софоклом, правда, ссылаясь на обуявшую его страсть к расточительству, пытались установить опеку, однако чем же доказал сей старец незамутненность своего рассудка? Прочел перед судьями созданную именно в те лета трагедию «Эдип в Колоне». Сократ перед концом жизни постигал искусство игры на лире».

Решаюсь привести еще одну цитату: «О, прекрасный дар позднего возраста, уносящего как раз то, что в молодости всего порочнее!» — ведет один голос, а другой вторит ему: «Природа не наслала на человека напасти более губительной, чем страсть к наслаждению!» «Где властвует похоть, нет места воздержанности»,— провозглашает один. На что второй мудрец: «В царстве наслаждения не может утвердиться доблесть». И дальше уже совсем в ритме танца: «Человек, пока будет наслаждаться, ни над чем не сможет задуматься!» — «Ничего не постигнет ни разумом, ни мыслью!» — «Вот почему всего отвратительнее, всего пагубнее наслаждение».— «Оно чем сильнее и продолжительнее, тем вернее гасит свет разума!» — «Не бранить, а хвалить надобно старость, коль скоро она совсем не ищет наслаждений».— «Чего не желаешь, без того и легко прожить».— «Нет ничего приятнее старости, располагающей досугом».

Все это ведет автора к выводу о том, что и в старости человек приобщается к истинным радостям, к наслаждениям, достойным его.

И разве нет свидетельств того, что душа с годами заметно твердеет, обретает закалку булата? Примеры прошлого упреждают людей. Напоминают им об осмотрительности, о том, чтобы избежать повторения роковых просчетов.

ЗРЕЛОСТЬ ЧУВСТВ И ДУХА

Не мыслями о бренности, но стремлением приблизить торжество прекрасного в жизни должно быть наполнено существование человека. Идти бренности наперекор. И тем самым брать верх над быстротечностью жизни. По слову философа, мудрость начинается с того времени, когда человек задумывается о бренности своего существования. Чем старше он становится, тем чаще возвращается к мысли о неотвратимости судьбы, о том, как прожита его жизнь.

Выдающаяся югославская поэтесса Десанка Максимович, отвечая на вопрос корреспондента, что́ она считает самым глубинным мотивом своей поэзии, сказала: сейчас «чаще всего меня волнует чувство быстротечности жизни».

Мысли о неизбежном, однако, свойственны не только людям преклонного возраста. Вспомним известную пушкинскую элегию, в которой тот же мотив роковой неотвратимости:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой —
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.

Мысль о смерти у тридцатилетнего поэта может показаться неожиданной. Тем более что мысль эта проходит через всю элегию:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И если ты — уже старик, стоящий на грани между бренностью и бессмертием, говорится в романе «В ладье Харона», оберегай свою независимость пуще любого поэта: ведь для тебя творение — это твоя жизнь.

— Лишь с течением времени,— продолжал Дюла Ийеш, возвращаясь к затронутой мысли,— человек все более постигает тайну и значение жизни. И чем старше он становится, тем более привлекательной она ему представляется. Случается, что именно на склоне лет человек особенно глубоко ощущает прекрасное в жизни, великую к ней любовь.

Никогда ранее, добавил писатель, не была ему столь бесценна истинная приязнь к неизменной его спутнице, к супруге... Старость не притупляет, но лишь обогащает чувства человеческой приязни и любви. Ему не приходится сетовать, что некому открыть сердце, поверить заветные чувства...

Разница в том, подчеркивает Дюла Ийеш эту мысль в романе, что и любовь человека — безразлично какого возраста — определяется в первую очередь не его гусарской дееспособностью, а отношением к объекту любви. Получать радость, испытывать страсть означает способность дать радость другому. Так и в труде: каковы бы ни были наши возможности, но мы лишь тогда способны испытать радость, когда оделяем ею окружающих, тем самым очищая и просветляя мир.

— Как же отнестись нам к словам Т. С. Элиота: «В моем начале — мой конец»? Что остается нам — копить прожитые годы, до конца прожитые? Может

Н. ФЕДОРЕНКО
МГНОВЕНИЕ С ДЮЛОЙ ИЙЕШЕМ

и должен ли верить человек в милосердие жизни? — спросил я писателя.

— Разве знает человек, новую или последнюю страницу в своей жизни он открывает? — ответил Ийеш вопросом.— Нельзя испытывать судьбу. Нельзя без фатального риска. Слова Элиота, однако, не должны истолковываться в том смысле, что он недостаточно отчетливо осознавал неповторимость жизни, ее значимость и цену. Разве и этот поэт не испытывал тоски по высшему смыслу человеческого существования?

— Еще Лабрюйер говорил: кто прожил один день, прожил целый век — то же солнце, та же земля, тот же мир. И ничто так не похоже на сегодня, как завтра,— продолжал я испытывать собеседника, который реагировал на это усталой улыбкой.

— Ирония в том, что у поэтов — свой отсчет времени и движения жизни. Если бы Лабрюйеру сказали в тот день, когда изрек он свой афоризм, что день тот минет, как и все остальные, что жизни его исполнится вечность...

Обобщения, особенно всеохватные, как мне кажется, рискованны,— после небольшой паузы сказал писатель.— У стареющих и постаревших людей постепенно либо внезапно ослабевает щит против физических и душевных недугов старости. Из этого следует, что люди должны вести себя в жизни так, чтобы не быть застигнутыми неожиданностью. Они должны сделать все, на что способны, что могут совершить. Чтобы не извести бессмысленно свою жизнь, не позволить растворить себя в мелочности и мирской суете. Люди должны в самих себе укреплять ощущение торжества, победы над недугом... Только тени из Дантова ада идут спиной — у них свернута голова, им не дано смотреть вперед. Человек же с гордо поднятой головой и державным спокойствием должен упорно пробиваться к поставленной цели.

Нестатичность, движение мысли, а не просто поучение или назидание во имя назидания — одна из особенностей романа «В ладье Харона». «Чем изощреннее наш разум,— говорит его автор,— тем дальше он от понимания смерти. Смерть для нас — неумолимый враг, но ей противостоит инстинкт еще более неумолимый — инстинкт жизни».

В этой связи писатель приводит знаменитое изречение Эпикура о смерти: «Если будет она, не будет меня, пока буду я, не будет ее». И поныне, казалось бы, не сказано слов более метких и более утешительных. Но, добавляет Дюла Ийеш, «дефект этой мысли кроется именно в ее совершенной отфильтрованности: логика наша ее приемлет, но плоть нет, нисколько, она не мирится даже с тенью этой мысли, так как в ее прекрасном, эфемерно легком танце сама плоть наша уничтожается безжалостно. «Смерть есть само небытие»,— утверждают стоики, развивая все ту же мысль. Формулу их можно бы перевести точнее: «Смерть не есть», или еще доскональнее: «Смерть есть Ничто». Тем же путем и Фейербах пришел к своему столь часто цитируемому афоризму: «Смерть есть смерть смерти». Блистательный холостой ход мысли здесь обрел ту же завершенность, что и бег деревянных лошадок в карусели».

Беспощадная исповедь, беспощадная правда. Но движение авторской мысли Ийеша развивается и ведет нас к утверждению научного мировосприятия.

«Карл Маркс,— продолжает писатель,— на тех грандиозных путях, что он проложил в философии, никогда не сталкивался подобным образом со смертью. С ним утверждается известная мировоззренческая теория, делающая излишней веру в потустороннее блаженство: существуют вполне реальные вещи, ради которых стоит умереть; следовательно, и сама смерть может обрести смысл без вмешательства высшего или «божественного промысла».

И Дюла Ийеш отнюдь не ограничивается лишь ссылкой на неоспоримый авторитет основоположника марксизма. В своем романе-эссе он по существу определяет духовные особенности человека высокой идеи и подвига. Исходит он при этом из мысли, что революция — это высший миг нетерпимости: когда эксплуатируемые не в силах больше терпеть, а эксплуататоры не могут больше удерживать власть. Стало быть, говорит Ийеш, первый признак революционера: отказ от долготерпения, стремление во что бы то ни стало к новому.

Сказано, кажется, не против истины. Во всяком случае, обозначено весьма существенное. Писатель пытается обрисовать облик человека, который стремится утвердить в этом мире новое. Пусть даже ценою собственной жизни. Облик человека, который иные ценности ставит выше собственной жизни. Свобода или смерть. Такой девиз, говорится далее, подошел бы к знамени революции в любой стране. Ведь революция как плату за достижение начертанной на ее знамени цели — если опасность угрожает самой цели — допускает смерть.

Но что из этого следует? Тот, кто готов умереть ради высокой идеи, верит в некую реальность, стоящую выше его собственной жизни. Стало быть, в вечность?! «Мне хотелось бы,— утверждает автор,— дать облик именно современника, верящего в вечность». Это утверждение дополняется выводом, к которому автор подводит читателя всем ходом своих рассуждений: «Знамя философии, равно как и поэзии, взмывает и реет стойко вопреки смерти — верному проигрышу. И стойкость эта вселяет надежду».

— Я был убежден,— сказал Ийеш,— в победе над германским фашизмом. С самого начала принял решение и остался до конца на стороне тех, кто сра-

жался против нацизма. Но мне казалось, что час победы наступит значительно позже, лет через двадцать. Так представлялась мне тогдашняя обстановка. История — свидетель завоеваний нашей земли немцами, которые сохраняли свое господство долгие годы... Исторические зигзаги, увы, остаются непредсказуемыми.

И я был готов к долгому этому испытанию,— продолжал писатель,— веря в неизбежность поражения фашистов. Был готов и к тому, чтобы принять последний вызов. И если бы пришлось предстать перед смертью от руки нацистских палачей, принял бы ее без страха. С насмешкой над бессилием и отчаянием убийц, которые способны уничтожить человека физически, но не победить торжествующий его дух.

— Когда человек движим сознанием высокого долга и стремлением к поставленной цели, он не отступит ни перед чем, не изменит, не устрашится самой смерти. И только люди мелкие, лишенные призвания и цели в жизни, ищущие лишь выгоду для себя, постоянно всего опасаются и живут в непокидающем их страхе.

— Видно, этой именно средой порожден извечный трагикомический персонаж, который, подобно трусливому воину, шарахается от собственной тени...

Не просто жить, чтобы жить, только бы существовать в отмеренный нам срок, но жить во имя возвышенной цели, а следовательно, жить и посмертно. Не в этом ли отличие человека от животного? Разве целенаправленный образ деятельности не присущ только человеку в общественной его жизни? «... Цели человека порождены объективным миром и предполагают его,— находят его как данное, наличное» [1].

К какому же итогу приходит писатель? Все содержание нашего бытия может раскрыть себя с наибольшей полнотой по осени нашей жизни. Созрев годами, утверждает Дюла Ийеш, мы принесем плоды те самые что сулила пора цветения нашей жизни.

ЖИЗНЕУТВЕРЖДЕНИЕ

Самоочевидна истина: у всего живого есть свой предел — все начинается, продолжается, кончается, все приходит и исчезает.

Но кому хочется исчезнуть с этой земли, как бы неизбежно это ни было, сколько бы испытаний в жизни ни пришлось пережить. Земля велика и изумительна Земля формирует человека, его характер. Земля — начало всех начал— всегда входила, входит и теперь реальной и значительной частью в сегодняшнюю жизнь человека.

Пока человек живет, жизнь не просто прекрасна. Разве возможно заменить ее чем-либо? И потому надобно не просто радоваться каждому новому дню, как ниспосланному тебе благу. Не просто жизнью насыщаться.

Самое главное не то, как умирает человек, но как живет. Какова воля и сознание, которыми он движим.

— Смерть людям ненавистна,— с чувством произнес Дюла Ийеш, — презренна. Противна всему существу человека. Но неизбежна. Неотвратима. Обусловлена самой природой. Человек рождается, чтобы умереть. И человек, посвятивший себя благородной цели, служению общественным интересам, добру для людей, готов всегда принять любой вызов. Не отступить даже перед опасностью для его существования.

Счастлив человек, что больше думает о жизни, чем о смерти, хотя нередко и боится ее. Дочь Л Н. Толстого в своих воспоминаниях рассказывает в главе «Кто боится смерти»:

«Заговорили о смерти, о страхе перед неизбежным концом.

— Кто боится смерти, пусть поднимет руку,— сказал Тургенев и поднял свою. Он посмотрел вокруг себя. Только его большая прекрасная рука была поднята. За столом сидели мои братья, сестра, мои кузены и кузины — целая компания девушек и юношей моложе двадцати лет. Разве в этом возрасте боятся смерти?

— По всему видно, что я один,— грустно сказал Тургенев.

Тогда отец поднял руку.

— Я тоже,— сказал он,— боюсь смерти» [1].

Самое существенное, разумеется,—это сама жизнь. Не обстоятельства, не обстановка, в которой может оказаться человек. Это, конечно, тоже имеет свое значение. Но не в этом главное. Многое можно изменить. Многое меняется независимо от нашего вмешательства. Высшее для человека благо есть само существование. Важно, однако, не приноравливаться к жизни, а стремиться жизнь эту к себе приблизить, переиначить внешние ее обстоятельства. Не всякому и не всегда это удается, но поступать так никому не противопоказано.

— Известно,— снова заговорил Дюла Ийеш,— что в прошлом человеку внушалась мысль о потусторонней жизни, о муках ада или блаженстве рая. Научное мировоззрение в наш век помогло людям освободиться от слепой веры в существование преисподней и небесных эмпиреев. Рай оказался потерянным. Речь, конечно, идет не о «Потерянном рае» Мильтона...

---

[1] В и Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 171.

[1] Т Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания, стр. 432.

Н. ФЕДОРЕНКО
МГНОВЕНИЕ С ДЮЛОЙ ИЙЕШЕМ

— Да, это перестало быть подобием бесконечной пустыни, которую каждому удавалось разрисовывать собственной своей фантазией и мудрствованиями...

Известно, что Марк Аврелий, при всей благочестивости, не обошелся без роптания на высшие божества за несовершенства, допущенные ими при сотворении человека. В исповедальном своем сочинении «Наедине с собой» он писал: «Как это случилось, что боги, устроившие все так прекрасно и с такой любовью к людям, просмотрели одно: и самые лучшие из людей, вошедшие в тесное общение с божественным началом и всего более приблизившиеся к нему своей святостью и своим благочестием, раз они умрут — не рождаются снова, но угасают навсегда».

Вместе с тем Марку Аврелию принадлежат слова: если человек не забывает о своем человеческом назначении, то от одного этого всегда будет испытывать счастье, какие бы несчастья ни обрушились на него.

Достоевский обращал внимание на то, что утверждение Марка Аврелия о невозродимости человека после смерти зовет людей к тому, чтобы наилучшим образом воспользоваться отмеренным им сроком на этом свете, поскольку иной жизни им не дано.

Естественно возникает вопрос: разве философия не должна учить людей мудрости жизни? Накопление знаний человеку необходимо помимо всего для того, чтобы управлять собой, жить подобающе, разумно, достойно в краткое отпущенное нам время. «Не время должно довлеть над человеком, а человек — в полной мере распоряжаться временем. И, понятное дело, как можно дольше. Держать время в узде, иначе оно заставит нас склониться в угоду бесчеловечной своей прихоти»,— пишет Ийеш в своем романе.

— Мы признаем лишь земную жизнь,— весело сказал писатель.— И потому нужно стремиться к тому, чтобы она была осмысленной, достойной, прекрасной до конца наших дней. Во власти самого человека сохранить в себе сознание высокого своего призвания на протяжении жизни. Уметь на склоне лет сберечь ощущение прекрасного и красиво состариться.

— Любой возраст красив. И человек может быть красив в любую пору своей жизни. Не должен он утрачивать душевное свое достоинство. Опасна духовная бренность — отмирание чувств, угасание надежд, увядание...

— В этой связи необычайно значение осмысленной цели в жизни человека,— произнес писатель с какой-то особенной твердостью.— Пусть сперва отдаленной, кажущейся недостижимой. Но непременно возвышенной, достойной человека цели. И убежденность, твердость веры в себя, в преодолимость препятствий на пути к заветной этой цели. Дух непокорности, стойкость в самые критические минуты. Мужество. Даже в трагической ситуации, в условиях кажущейся безнадежности.

— В конечном счете человек не может жить без веры в благую цель. Страшно, когда утрачивается вера в то, что человек способен сам передвигать ноги и других поддерживать.

— И потому, на мой взгляд, нет совета душевнее, как пожелать стареющим людям смелой, активной, до конечного мгновения длящейся деятельности. У человека единственная возможность посрамить смерть: не ждать ее сложа руки.

«Если же человек годы жизни своей не растратил впустую, если сумел создать нечто достойное, то в старости пусть найдет он такие слова: дайте мне сойти со сцены на своих ногах,— читаем мы в романе «В ладье Харона».— Не требуйте от меня новых свершений. Не обольщайте меня, не захваливайте понапрасну. Пусть не компрометирует назойливый старик образ того пылкого юноши, того полного сил мужчины, добрую память о коих храню я в душе... Верьте мне, что смерть одолима, пусть сам я пал. Пусть все мы падем один за другим, как воины заслонного отряда, но выстоим до последнего, как давали клятву».

— Парадоксально, что в старости, в пору пониженной работоспособности, человек способен испытывать особую радость труда...— с нескрываемым изумлением произнес Дюла Ийеш.

— Работать только для настоящего мало. По нашим современным понятиям, нужно трудиться и для будущего. И дело человеку станет в радость.

— Да, труд для человека — высший смысл бытия, счастье.

— И тогда люди способны возвести достойные нашего времени пирамиды...

— И возводить их надобно так, чтобы каждый день, каждая минута доставляла нам радость! Убежден, истинно мудрый человек всегда весел... Наполнять достойным содержанием каждый миг своей жизни, возвести ее в ранг непреходящей ценности, придать прочность, целесообразность своему бытию, вплоть до аккордного, в высшей мере насыщенного или, напротив, бессодержательного мгновения жизни.

— В чем же философский смысл романа «В ладье Харона», путешествие в которой—неизбежный удел человека?— обратился я с вопросом к автору.

— В жизнестойкости, в оптимизме, который не ликование, а прозрение, невозможное без грусти и печали. Не так ли?

— Смею напомнить пушкинские слова: «Печаль моя светла». Разве это не формула философского понимания и постижения смысла жизни? Утверждение единства бытия — «печали» и «света»,—

на мой взгляд, открыло Пушкину тайную гармонию мира, диалектику сердца и ума.

Дюла Ийеш взял книгу «В ладье Харона», лежавшую возле него на столике, и прочел по-венгерски слова, которые я привожу по-русски: «Рождаемся мы простыми людьми, но умирать нам следовало бы подобно богам. И сила в нас — от земли. В единоборстве с небом земля держит нашу сторону, она за людей. За каждого бой на особицу. Люди великих свершений отвечают достойно на столь же великое унижение земной природы человека, на оскорбительное равнодушие небес. «Рождаемся мы людьми, но умираем богами, не видя в том утешения» — эта фраза Рене Шара, если развить скрытую в ней мысль, поистине могла бы стать апологией человека. Могла бы стать бунтарской: притязанием человека на бессмертие».

Взамен ложных, фальшивых утешений Ийеш предлагает истинную, действенную помощь человеку, подсказывает, как можно достичь внутреннего равновесия, выработать приличествующее возрасту поведение, советует, как можно «вынести непереносимое». Каждая из его зарисовок — это «одиночный винтовочный выстрел из окна или из-за печной трубы. Но после каждого шага вынужденного отступления лишь настойчивее и упорнее моя оборона; я бы даже сказал, вдохновеннее. Потому что она успешна»,— читаем мы в книге, которая увлекает нас не только богатством мысли и эмоциональных впечатлений, но и многоплановостью жанра. Ийеш создал великолепный, неподражаемый сплав дневниковых записей и художественного повествования.

■

Беседа наша проходила непринужденно и захватывала все новые проблемы. Она могла бы, кажется, свободно продолжаться, если бы не поздний час....

Мне осталось поинтересоваться: не согласится ли Дюла Ийеш обратиться к советскому читателю в связи с опубликованием на русском языке романа «В ладье Харона» на страницах журнала «Иностранная литература». Писатель, однако, ответил, что своему обращению он предпочел бы статью советского автора.

— Не сможете ли вы в таком случае назвать имя возможного автора? — спросил я собеседника.

— Он здесь, передо мной,— лаконично произнес писатель.

— К сожалению, я не располагаю нужными материалами о романе и его авторе.

— Самый верный источник для автора статьи — текст романа «В ладье Харона» и содержание сегодняшнего нашего разговора.

Последние слова Ийеша будто вывели меня из состояния погруженности в благостную мечтательность, заставив осознать всю незадачливость положения: не вел записи, не делал заметок...

— Предвижу сложность согласования такой статьи с автором романа — географическая отдаленность, ограниченность времени, перевод на венгерский,— пашелся я наконец.

— Едва ли в этом есть необходимость. Мы уже в полной мере согласовали с вами сегодня все позиции. А сверх того, если сочтете нужным привнести нечто от себя, то, как говорят в этих случаях, творческой вам удачи.

И расстались. Дюла Ийеш, облачившись в свой макинтош, вместе со мной вышел за калитку. По давнему обычаю мы обнялись на прощание, условившись встретиться в Москве или летом в Софии на международном собрании писателей.

Я вернулся домой во Внуково, чтобы собраться с мыслями, осознать впечатления, которыми столь щедро было одарено промелькнувшее мгновение в доме Дюлы Ийеша.

Теперь я изложил суть нашего разговора с автором книги «В ладье Харона», как он мне запомнился и как удалось его осмыслить. Это не стенограмма. И не протокольное отображение. Надеюсь, факты в основном сохранены точно. И все же, при всех обстоятельствах, ответственность — всецело на самом авторе этих записей.

◆

Интервью

ФРАНЦ КСАВЕР КРЁЦ: «ИЗОБРАЖАТЬ ЛЮДЕЙ С ПОЗИЦИИ КОММУНИСТА...»

В один из апрельских вечеров 1971 года жители Мюнхена были свидетелями дикой сцены, разыгравшейся в центре города, на улице Максимилиана. Какие-то крикливые субъекты останавливали зрителей, шедших в театр «Каммершпиле», швыряли в них тухлые яйца и гнилые помидоры. Слышались хлопки разрывавшихся зловонных бомб, звон падавших на тротуар выбитых стекол. Телефонные звонки в магистрат и полицай-президиум оказались безрезультатными. Мюнхенская полиция, обычно оперативная и скорая на расправу, почему-то не торопилась навести порядок. Настолько не торопилась, что позволила собравшимся у театра молодчикам повторить свои бесчинства и после окончания спектакля.

Такая, мягко говоря, странная позиция городских властей объяснялась тем, что в этот вечер мюнхенские неонацисты и их приверженцы проводили обычную для них «демонстрацию». На сей раз против премьеры новой пьесы молодого мюнхенского драматурга Франца Ксавера Крёца. Подобные сцены повторялись и в других городах. Пьесы Крёца под давлением определенных западногерманских кругов изымались из театрального репертуара, подвергались запрету, вызывали непристойные нападки шпрингеровской прессы.

Уже в своих первых произведениях Франц Ксавер Крёц сумел в простой и доходчивой форме показать вопиющую несправедливость существующего в ФРГ порядка вещей. Герои его пьес—люди, стоящие на самой низкой ступени социальной лестницы: чернорабочие, пенсионеры, батраки, инвалиды. В этих пьесах нередко совершались акты насилия, жестокости, убийства. Однако, как подчеркивал драматург, не они были предметом пьес, а «социальные и духовные деформации, которые являются причиной насилий».

В пьесах «Шталлерхоф» и «Дорога призраков» Крёц рассказал трагическую историю отношений полуслепой, умственно отсталой девочки-подростка Беппи и уже пожилого батрака Зеппа. Казалось бы, что может быть общего у них, столь разных и по возрасту, и по житейскому опыту? Их сблизило лишь общее чувство одиночества, ощущение своей ненужности, отверженности в мире собственности и наживы.

В этих пьесах, как отмечала западногерманская критика и признавал сам автор, отчетливо проступают традиции драматургии Марилуизы Фляйсер и Эдэна Хорвата, которые Крёц стремился продолжить и развить в новых исторических условиях. Он убедительно показал, что «идиотизм деревенской жизни» порожден социальными причинами и не зависит от степени технизации деревни и богатства ее жителей.

Несмотря на попытки реакционных сил помешать популярности талантливого драматурга, его пьесы быстро завоевали признание западногерманских зрителей. Выходящий в ФРГ журнал «Театер хойте» назвал в 1972 году пьесы Крёца «самым значительным явлением театрального сезона».

Успех не вскружил голову молодому писателю. «Я не знаю,— говорил он,— является ли успех моих пьес данью моде или они в самом деле хороши, это выяснится через несколько лет».

В 1972 году Франц Ксавер Крёц вступил в Германскую коммунистическую партию. Решение это пришло не сразу. Он долго и внимательно изучал политические программы и практическую деятельность разных партий, объединений и организаций, пока не понял, что «только ГКП имеет предложения, планы и исторические ориентиры, которые могут способствовать тому, чтобы решительно изменить к лучшему положение в ФРГ».

«Германская коммунистическая партия,— говорил Крёц, — имеет ясное представление о том, как можно осуществить социализм. А это единственное, что может помочь Федеративной Республике Германии».

Активная партийная работа во многом расширила политический и жизненный кругозор писателя. Она оказала плодотворное влияние и на его творчество. «Если теперь я пишу несколько иначе, чем писал раньше,— заявил Крёц,— то в этом не в последнюю очередь заслуга моей партии, которая помогла мне сделать шаг вперед».

Новые произведения Крёца — наглядное тому свидетельство.

Обличению сущности государства «всеобщего благоденствия» посвящена его пьеса «Верхняя Австрия». Герои ее — шофер Гейнц и его жена Анни, работающая продавщицей в магазине. У них хорошая квартира, автомобиль, холодильник, телевизор и многое другое, что обеспечивает жизненный комфорт. Но все это, купленное в рассрочку, пока еще не принадлежит им, а взносы в погашение кредита с каждым месяцем платить труднее и труднее. Цены неудержимо растут, приходится всячески экономить. И слова Анни о том, что у нее будет ребенок, звучат для Гейнца предсказанием близкой катастрофы.

Проблема одиночества человека в потребительском обществе своеобразно раскрывается в «Концерте по заявкам». Героиня — и единственное действующее лицо — не произносит в этой пьесе ни одного слова. Ей не с кем поговорить, у нее никого нет. И только телевизор непрерывно внушает ей, что смысл жизни состоит в том, чтобы покупать рекламируемые товары, что только в приобретательстве можно найти счастье. Не в силах справиться с тоской и безысходностью, героиня пьесы кончает жизнь самоубийством.

Большой идейно-художественной зрелостью отличается пьеса «Гнездо», где автор впервые так прямо и определенно утверждает необходимость перейти от пассивных протестов одиночек, от бессильных проклятий в адрес капиталистического общества к совместной и организованной борьбе против него.

Премьера состоялась весной 1976 года, в дни работы боннского съезда ГКП. Когда дирекция театра «Веркштаттбюне» узнала, что Крёц является делегатом этого съезда, она отменила объявленную в афишах встречу с автором по окончании спектакля, показав тем самым, чего стоит в западногерманском государстве «свобода мнений».

Принципиальность Франца Ксавера Крёца, его непримиримость к малейшим проявлениям несправедливости хорошо известны в Федеративной Республике Германии. «Я понимаю меру ответственности писателя, который должен занять ясную политическую позицию,— говорит Крёц.— Такая позиция необходима литературному произведению в такой же степени, как и все другое, определяющее его существование».

Искренний друг нашей страны, Ф. К. Крёц неизменно выступает за улучшение отношений между ФРГ и Советским Союзом. «Я хорошо знаю,— писал он,— что именно Советская Армия, руководимая коммунистической партией, и антифашистское движение в Европе сломили хребет нацизму».

Крёц активно выступает за мир, за разрядку международной напряженности. Несколько лет тому назад он был участником Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве, содействовал проведению европейских встреч сторонников мира и прогресса.

Францу Ксаверу Крёцу недавно исполнилось тридцать лет. Впереди у него необозримое поле деятельности, литературной и общественно-политической, деятельности нелегкой, а в западногерманских условиях порой и опасной, но всегда нужной, помогающей людям труда обрести новые силы в своей справедливой борьбе.

Мы публикуем беседу с Францем Ксавером Крёцем известного литературоведа и критика из ГДР Урсулы Райнхольд. Интервью было напечатано в журнале «Веймарер байтреге» (1976 г.) [1].

В. СТЕЖЕНСКИЙ

Урсула Райнхольд. Каков был твой жизненный опыт, когда ты начал писать?

Франц Ксавер Крёц. Я родился в 1946 году в Мюнхене. Отец был чиновником в налоговом управлении, мать — домашней хозяйкой. Пятнадцати лет я поступил в театральную школу, а в восемнадцать получил диплом актера. У меня почти не было театральных ангажементов, и мне пришлось начать подрабатывать. Это все были случайные заработки. Полгода на стройке, затем год на бумажной фабрике, где я даже сделал своего рода карьеру — стал мастером. Долгое время работал шофером, разносчиком газет, санитаром в больнице, работал в садоводстве, играл в деревенском театре. Однажды случилось играть и в профессиональном театре. Но все мои попытки получить ангажемент кончались неудачей. А тут еще с 1966 года я начал писать. Вообще го-

[1] Печатается с сокращениями.

воря, писал я с восемнадцати лет. Помню с десяток своих первых пьес. Очень слабые пьесы. О них и говорить не стоит. Более серьезные вещи сложились уже после 1968 года. В 1968 году я написал «Звериную тропу», в 1969-м — «Надомников», в 1970-м — «Упрямство». Именно в это время я много играл в крестьянском театре. В августе того же года, получив стипендию от издательства «Зуркамп», я забросил свою сумку с рабочим инструментом и с тех пор существую как свободный художник.

У. Райнхольд. Твой личный опыт человека рабочего, зависимого, живущего на случайные заработки, сказался определенным образом на всех твоих пьесах. Но вот уже пять лет ты — профессиональный писатель. Иначе говоря, теперь ты черпаешь из запаса своих давнишних впечатлений. Как ты полагаешь, надолго ли их хватит? И удалось ли тебе тем временем накопить новый, иной опыт, который оказался бы важен для твоего творчества? Как изменились границы твоего опыта?

Ф. К. Крёц. Надо сразу сказать, что перемена среды, в которой живешь, всегда воспринимается болезненно. Когда поработаешь в десятке разных фирм и близко сойдешься с рабочими, когда испытаешь на себе, что такое безработица и каково сидеть без денег, становишься внутренне динамичнее и, само собой, начинаешь многое понимать в жизни общества.

И когда потом ты внезапно оказываешься человеком устроенным, входишь в общение главным образом с актерами, завлитами в театре и газетчиками, иначе говоря, с совсем иной профессиональной средой, то еще какое-то время ты можешь существовать за счет прежнего опыта, но практически ты больше не сидишь уже за одним столом с пролетариями, и это — довольно ощутимый недостаток. А если ты предполагаешь работать еще лет эдак пятьдесят, из подобного положения надо найти выход, даже если найти его трудно. Это — с одной стороны. Но с другой стороны, там, где я теперь живу, и взаимоотношения, и жизненные условия — крестьянские. Ведь все мои соседи — мелкие крестьяне или сельскохозяйственный пролетариат. И в этом смысле моя среда стала, пожалуй, даже более социально определенной, чем прежде.

У. Райнхольд. Изменился ли твой взгляд на эту среду после того, как ты сблизился с коммунистами?

Ф. К. Крёц. Хотелось бы верить, что он изменился не столь уж сильно. Точнее, так: изначальная точка зрения тоже была достаточно ясной. Существует же интуитивно правильный взгляд на вещи. Возможно, именно благодаря ему мне удавалось в ранних пьесах попадать в точку. Ни об одной из них нельзя сказать, что она возникла лишь под воздействием мгновенного чувства или отражает угол зрения, ограниченный определенным периодом времени, нет, в них есть то, что было во мне всегда. Мне кажется, уже ребенком я находился в оппозиции к окружающему. Помню, совсем маленьким говорил: «Я — социалист», хотя и не понимал как следует, что это значит. И моя мать, помню, отвечала: «Слава богу, хоть не коммунист». Прошло не так уж много времени, и я смог сказать: «Я — коммунист!» И все-таки утверждать, что уже в ранней юности я проделал путь большого политического развития, было бы наивно.

С другой стороны, если учитывать условия жизни, процесс развития был довольно быстрым, ведь уже в 1972 году я был кандидатом от Германской коммунистической партии на выборах в бундестаг. Стоит только сравнить с жизнью моего отца — он умер в 1961 году шестидесяти трех лет от роду, во время первой мировой войны был ранен во Франции и награжден Железным крестом, во время второй мировой войны был уже в чине капитана и, разумеется, состоял в нацистской партии, впоследствии всегда голосовал за ХДС, служил обер-инспектором в финансовом управлении... Мать, пожалуй, голосовала бы за СДПГ. Я учился и воспитывался в католической школе, прошел, разумеется, через конфирмацию, причащался и исповедовался.

Молодым, получившим уже некоторую известность писателем я вступил в партию в марте 1972 года и уже осенью был выдвинут ее кандидатом на выборах. Я горжусь тем, что прошел такой путь.

У. Райнхольд. Значит, именно ранний опыт определил точность твоих пьес, точность наблюдения над повседневностью. И мне хотелось бы еще раз повторить свой вопрос: не повлияло ли на твое восприятие действительности, не изменило ли его то обстоятельство, что ты прошел путь от «социолога чувства» до сознательного коммуниста?

Ф. К. Крёц. Так прямо этого сказать нельзя. Мне повезло — в 1970 году, когда готовились к постановке пьесы «Надомники» и «Упрямство», я вошел в театральный коллектив, должно быть, тогда единственный в ФРГ, обладавший в какой-то степени политическим сознанием. Это был мюнхенский театр «Каммершпиле», где литературной частью заведовал Гейнар Кипхард. Меня там очень тепло приняли, но тогда уже мне стало ясно: этих пьес самих по себе недостаточно, их основой должна быть четкая политическая позиция. Нельзя допустить, чтобы тебя превратили в своего рода алиби для отдельных добропорядочных граждан ФРГ. Писатель должен прямо говорить, какую позицию он занимает. ГКП и СДПГ представляли единственную возможную альтернативу. К этому времени я уже был знаком с марксистской теорией, и выбор СДПГ был для меня исключен. Сама логика того пути, который я прошел, привела меня к марксизму, и только он оказался в состоянии дать необходимую перспективу.

Мне хотелось прежде всего показать окружающую нас действительность, задаться вопросом, почему она именно такая. Ведь и на самом деле бытие определяет сознание, а не сознание — бытие. В ранних пьесах я воспринимал людей нередко фата-

листически, недиалектично. Как ни странно, интуитивно я нередко приходил к правильным выводам, и в тогдашних пьесах найдется не так уж много мест, которые сегодня могли бы показаться неверными. Тем не менее взгляд на человека, именно на рабочего человека, изменился очень сильно. Теперь меня особенно занимает борющийся пролетариат, хотя в своих пьесах мне и не удалось еще выразить это достаточно четко. Сегодня для меня особенно важна диалектика процесса, я хочу показать, как и где пинают у нас человека, который, однако, реагирует на эти пинки — употреблю баварский оборот — не только «как мягкий блин». Сегодня я воспринимаю вещи более позитивно, по-боевому, человек видится мне гораздо более активным. Именно этим взглядом я обязан партии.

У. Райнхольд. Материалистический подход к повседневному человеческому опыту ощущается уже в первых твоих пьесах. Ты вскрывал и то, что является источником страдания людей, находящихся в зависимом положении. Но не думаешь ли ты, что этого недостаточно? Какие выводы именно в этом отношении сделал ты, когда эти пьесы были поставлены в ФРГ, как в театре, так и на телевидении?

Ф. К. Крёц. Нередко с моими пьесами происходили настоящие неожиданности. В августе 1971 года в Дармштадте я видел постановку «Милого Фрица», и она привела меня в восторг. Там все было точно, спектакль был закончен, как картина. То же самое было и со «Шталлерхофом». Постановки, проникнутые политическим духом, могут так приподнять подобную драматургию, что обнажатся противоречивые, диалектические ситуации. И поэтому больно видеть, когда фатализм, изначально несколько присущий этим пьесам, подчеркивается еще и устаревшей режиссурой: эти пьесы прекрасно показывают нужду, в которой живут люди, но совсем не открывают возможности изменить эту жизнь.

Особенно важным было для меня наблюдение, что хорошая постановка с участием актеров, обладающих определенным политическим мировоззрением, может усилить боевую позицию художника, даже если в самой пьесе она выражена недостаточно четко.

У. Райнхольд. Твои пьесы ставились также и за рубежом. Что ты почерпнул из опыта этих постановок, как их воспринимали зрители?

Ф. К. Крёц. Я не могу ответить на это исчерпывающе, я только один раз присутствовал в Лондоне на генеральной репетиции. А вообще список велик: Польша, Италия, Австрия, Швейцария, Франция... В Англии спектакли имели очень большой успех, во Франции успеха, пожалуй, не было. В ГДР, социалистических странах, по-видимому, готовятся новые постановки. Пьесы переводятся и на русский язык. «Концерт по заявкам» сейчас переведен в США.

У. Райнхольд. Как ты оцениваешь постановки в ГДР?

Ф. К. Крёц. Объективности ради следовало бы подробно остановиться на каждой постановке в отдельности. Но я укажу только на их основные тенденции.

Меня особенно радуют такие спектакли, которые исходят из предпосылки — в целом само собой разумеющейся для марксиста, однако не всегда ощущающейся в отдельных деталях,— что рабочий класс Федеративной Республики даже в условиях, деформирующих человека, угрожающих его сущности и сознанию, не растворяется в рекламируемом западном образе жизни. Здесь непременно должна присутствовать вера в положительные качества рабочего класса, в его революционность, его душевное богатство и могущество, вера в его несокрушимость... В некоторых постановках это выражено не с такой силой, как хотелось бы драматургу. Люди слишком явно предстают там духовными детьми западногерманского рекламного телевидения. Кажется, все счастье женщины заключено в новом стиральном порошке. Действительно, критика нашего потребительского общества всегда присутствует в моих пьесах. И нет никакой необходимости дополнительно ее усиливать. Самое главное — изображать людей с позиции коммуниста, показывать их важнейшие человеческие качества. А этими качествами они обладают в любых условиях.

Совсем недавно я видел спектакли, в которых весьма удачно воплотились мои желания. Это «Дальнейшие перспективы» в городе Карл-Маркс-штадт, «Гнездо» в Лейпциге, премьера «Верхней Австрии» в Ростоке.

Разумеется, некоторым из ваших, даже очень способных, актеров и режиссеров трудно представить себе Западную Германию вне влияния рекламного телевидения. Когда я иной раз смотрю его передачи, то поражаюсь, как это зрители не возмущаются. То, что предлагает им телевидение,— тотальное безумие; такая реклама — оскорбительная подлость. Как только могут люди терпеть, чтобы к ним обращались подобным образом, чтобы их считали идиотами — ведь это само по себе поношение. Поразительно, что они не срываются с мест, не разбивают вдребезги эти ящики. И я хорошо представляю себе, что и у вас многим трудно подойти к этому диалектически и увидеть человека, скажем, во фрау ОМО[1], которая сияет улыбкой на экране, но вполне возможно, что в жизни эта актриса — несчастная горемыка, дома у нее двое детей, ради которых она и вынуждена сиять улыбкой. И позиция коммуниста состоит как раз в том, чтобы никогда не отступать от диалектического подхода к людям и обстоятельствам.

У. Райнхольд. Примерно два года назад в «Кюрбискерне» была опубликована беседа,

[1] «ОМО» — моющее средство.

в которой ты рассказал о трудностях, возникающих при создании образов коммунистов. Размышления о том, как изображать коммунистов, как изображать их активную, повседневную деятельность, очень важны для драматурга. Но мне кажется, что это не единственный способ воздействовать на сознание зрителей, делать его активным. Как ты смотришь сегодня на этот вопрос?

Ф. К. Крёц. Он очень важен. Для меня все это было новой ступенью в развитии. Сейчас я считаю, что мы... Нет, мне и сейчас кажется неубедительным — хотя я неоднократно пытался в это поверить,— что произведение социалистического реализма якобы должно непременно выливаться в некую позитивную утопию, кончаться поучением, чтобы оказать немедленное воздействие на человека. Десятилетний опыт работы в театре — за это время я выступал и в качестве актера,— двадцать пьес, спектакли и телевизионные постановки убедили меня, что все это не так просто, что, посмотрев пьесу в театре, люди вовсе не намереваются, вернувшись домой, непременно совершить какой-либо поступок, принять важное решение. Я вообще не уверен, что многие продолжают и после спектакля думать об увиденном. Схематическая связь между тем, что происходит на сцене, и непосредственным воздействием этого на зрителя — весьма плоская интерпретация социалистического реализма, которой я тоже долго придерживался. Подобное представление не соответствует действительности. Прекрасно, разумеется, встретить в жизни человека, которого можно изобразить на сцене так, как он есть, особенно если при этом удастся показать, через какие этапы шло развитие личности, с какими трудностями сталкивалось и как эволюционировало сознание. Но представлять себе путь к социалистическому реализму как эдакое шоссе с односторонним движением и думать, что все, кто посмотрит такую пьесу, немедленно вступят в профсоюз,— заблуждение. Я долго разделял его, но потом от него отказался. Мне это кажется слишком отвлеченным подходом.

У. Райнхольд. Тот, кто полагает, что воздействия пьесы можно добиться лишь в том случае, если зритель будет отождествлять себя с персонажем, упрощает и примитивизирует возможности искусства.

Я была поражена, когда прочитала в одном из номеров «Кюрбискерна», что ты начал заниматься Брехтом. Ведь именно Брехт, как драматург, создавал произведения, которые выводят за пределы такого подхода. Что в Брехте особенно важно для тебя?

Ф. К. Крёц. Мне приятно отвечать на этот вопрос, потому что он относится к тому, чем я занимался полтора месяца,— к статье о Брехте. Вместе с тем это трудный для меня вопрос.

Как актеру мне не довелось играть в пьесах Брехта. Сотрудничая с Кипхардом, я только слышал о нем. На фоне тогдашнего театрального ландшафта Хорват и Фляйсер обозначали настоящий прогресс. Их творчество носило подлинно гуманистический характер по сравнению с волной формализма в пьесах Беккета и Ионеско. Но форма пьес Хорвата и Фляйсер, их драматические приемы сейчас уже исчерпали себя. Я не мог следовать далее формуле «Нечто происходит». Хотелось найти такой путь развития, который требовал бы новых идей и органически вел бы к новым возможностям в области формы.

Партия мне этого вовсе не предписывала, хотя именно так обычно представляют дело буржуазные критики. Центростремительное направление развития — к людям, к зрителю — для них сомнительно, такого они не понимают. И не хотят понимать. Ведь за это им и платят. И лучшие из них — те, кто действительно просто не понимает.

Итак, я начал читать Брехта, его большие пьесы, многие из которых я еще совсем не знал. Удивительно, сколь часто мне называли именно «Мероприятие» как ключевую пьесу в брехтовской теории драмы. Потом я посмотрел этот спектакль. И загорелся. Знакомство с Брехтом оказалось важным этапом в моем развитии. Разумеется, я не ставлю себя рядом с Брехтом, но в 1930-х годах он, придерживаясь своей тогдашней позиции, вероятно, размышлял о том же, о чем размышляю я сегодня, в семидесятые годы. Не будем проводить литературных параллелей. По отношению к Брехту это невозможно. Но для меня, молодого писателя, было важно понять ту стадию его духовной эволюции, на которой он был, когда обратился к агитационным пьесам и когда его перестала удовлетворять «Трехгрошовая опера», как меня перестал удовлетворять мой «Шталлерхоф». Потом я прочел его пьесу «Мать», показавшуюся мне замечательной, затем более ранние пьесы, и, наконец, «Мероприятие». И понял: мне необходимо с сегодняшней моей, марксистской точки зрения рассказать людям, что представляется у Брехта верным, в чем он заблуждается,— об этом и написано в статье, о которой идет речь.

У. Райнхольд. Что означает Брехт для тебя как драматурга? Какие пути он открывает тебе?

Ф. К. Крёц. Брехт предлагает огромный и мощный спектр формальных средств, помогающих высвободиться из-под влияния Фляйсер и Хорвата. В своих пьесах он создал целый инструментарий для будущих поколений. Термин «очуждение» передает это очень неточно, ибо к тому, что стоит за ним, подходят — по крайней мере у нас — слишком поверхностно, слишком буквально. Читая любую пьесу Брехта, я вижу, сколько новых возможностей он нам подсказывает. Для меня это имело решающее значение.

У. Райнхольд. Бросается в глаза твоя невероятная продуктивность. За относительно короткое время, за пять лет, ты написал по меньшей мере двадцать пьес. С одной стороны, это зависит, вероятно, от того, что

круг тем в твоих пьесах ограничен, но, безусловно, есть и другие причины. Что ты об этом думаешь?

Ф. К. Крёц. По этому поводу можно сказать многое. Я действительно не понимаю, почему некоторые мои коллеги работают с такими интервалами. Смешно ожидать, что, скажем, томик стихов обеспечит твоему искусству финансовую поддержку в течение десяти лет. Да и несправедливо, если подумать о пролетариях, которые вынуждены ходить на работу ежедневно и не имеют возможности то и дело устремляться за музой. Возможно, я работаю много быстрее других потому, что пишу на одну тему одновременно несколько пьес. С другой стороны, я был действительно вынужден писать быстро. В течение 1971 года я должен был много подрабатывать. Поэтому мне ничего не оставалось, как писать на троицу и пасху. Тогда возникли пьесы «Мужское дело» и «Упрямство». Я писал пьесу за четыре-пять дней, потому что потом снова должен был вернуться на работу и возможности писать дольше у меня просто не было. Пробовал писать и по ночам, но в результате остаешься совсем без сил. Я находился в ситуации невероятного стресса. Приходилось работать в сверхъестественном темпе, чтобы сделать задел. Но вообще говоря, за год можно написать только две большие пьесы.

У. Райнхольд. Давление, под которым приходится работать, порождено и тем, что в Федеративной Республике пьесы быстро сходят со сцены. Как обстоит с этим дело у тебя?

Ф. К. Крёц. Как у всех. Деловой человек, я полностью подчиняюсь условиям, которые здесь существуют, например, в отношении налогов. Иначе нельзя. Именно литератор-коммунист, которому удалось чего-то достигнуть в Федеративной Республике, должен каждый день продвигаться еще на один шаг вперед, он не должен, не смеет расслабляться. Иначе он моментально будет сброшен со счетов. На следующий день ты уже будешь мертв.

У. Райнхольд. Это тоже твой личный опыт, и притом очень важный. Он заслуживает разговора. Ведь, в самом деле, обращение автора к своему собственному опыту не всегда означает обращение его внутрь себя.

Ф. К. Крёц. Наверное, я не очень типичный автор. За исключением переходного возраста я никогда не писал о себе самом, никогда не писал о своих внутренних проблемах, а таких проблем множество. Но мысль писать о самом себе просто не приходила мне в голову. Меня всегда увлекали другие люди. Этот интерес — часть меня самого. Жизнь в образах — это гораздо интереснее!

У. Райнхольд. То, что ты сказал раньше о своем методе работы, совпадает с моими наблюдениями. Твой способ письма может, однако, привести иногда к самоповторению. Я обратила на это внимание, когда смотрела интересную мюнхенскую постановку «Гнезда», пьесы, в которой повторяются отдельные ситуации из «Верхней Австрии».

Ф. К. Крёц. Так и было задумано. Что касается «Гнезда», я безмерно счастлив, что написал эту пьесу, потому что мне удалось затронуть в ней важные аспекты нашего бытия. Где мы живем? Когда я в Мюнхене выхожу на улицу, я знаю, что из трех людей, которых я встречу, по крайней мере двое голосовали за ХСС, из десяти — девять с половиной. Здесь слишком мало обычных пролетарских биографий. В высшей степени интересный материал для драматурга — профсоюзные деятели. Но общественность у нас не имеет к этому доступа. ФРГ обходит социализм на весьма большом расстоянии. Если бы эти условия изменились, людям чаще приходилось бы сталкиваться с проблемами борьбы, и тогда легче было бы изобразить их. Тогда можно было бы стать ближе к публике. Если я задумаю представить жизнь типичного коммуниста, мне понадобится широкое драматургическое обрамление, но его, необходимого, чтобы изображение стало общепонятным, у меня пока нет. Мне нужно характерное, но характерен для нашего общества не типичный коммунист, а типичный мелкий буржуа, пролетарий, еще не осознающий своего положения.

У. Райнхольд. Мне показалось, что в «Гнезде» развитие показано в предельно возможной форме. Все, что сверх того, было бы излишним, не поддающимся осуществлению. Если партийные взгляды, которых придерживается сам драматург, с чрезмерной силой включить в тенденцию пьесы, то, попросту говоря, нарушатся законы реализма.

И еще одно. Каков твой опыт общения со зрителями, которые, возможно, не являются коммунистами?

Ф. К. Крёц. Действительно, мои пьесы смотрит много людей. Их часто передают по телевизору. В театрах мои пьесы, пусть даже и со скрежетом зубовным, ставятся довольно широко, они не требуют больших затрат и в последнее время собирают полный зал. Это значит, что они получили своего зрителя. Это во-первых.

Во-вторых, встречи со зрителями, в которых я принимаю участие, дают совершенно нерепрезентативную картину. Дело в том, что когда становится известно, что идет пьеса Крёца, в театр приходит вполне специфический зритель и из числа этих специфических зрителей в дискуссии выступают еще более специфические. Когда работаешь в столь широких рамках, честно говоря, уже не имеешь возможности высказываться о зрителе. Например, я провел три дня в

Высшей народной школе Кёльна. Там собиралось на вечера иногда шестнадцать, иногда шестьдесят, иногда пятьсот человек. И каждый раз другие люди. В Высшей народной школе невероятно разнообразная аудитория.

Публикой лучше особенно не хвастаться. Хотя мои пьесы разошлись в немецкоязычных странах тиражом примерно в 100 000 экземпляров, я получил на них немного откликов. Поэтому я предпочитаю моего соседа-кузнеца, которого можно спросить: ну как, тебе понравилось вчера вечером?

У. Райнхольд. Может быть, ты скажешь немного о твоих впечатлениях от ГДР? Ты провел несколько недель в производственном сельскохозяйственном кооперативе и написал репортаж о ГДР. Какое впечатление у тебя о нашей жизни, о наших людях?

Ф. К. Крёц. Ответить на это трудно, так как, кроме одного места — кооператива в Вельшове,— я почти ничего не знаю. О Вельшове надо сказать, что я причинил тамошним жителям много хлопот. Люди, живущие в условиях социалистической охраны труда, не могли справиться с моим западногерманским стрессом. Я хотел как можно больше увидеть за один день, все, как всегда, в соответствии с девизом: «Время — деньги!» Это был темп, следовать которому живущие там вовсе не хотели. Все, что я тогда увидел, входит в мой репортаж о ГДР. Он стал, между прочим, поводом, из-за которого мне пришлось заявить издательству «Зуркамп», что я разрываю с ним договорные отношения. Они попросту отказались это печатать. Книге-де недостает дифференцированного подхода! Она выйдет теперь в издательстве «Геншель».

Мои прочие впечатления непоказательны, так как я все время выступал там в официальной функции: либо присутствовал по поручению партии на каком-нибудь конгрессе, либо на премьере и тому подобное. Самое важное впечатление: я приехал в совсем другую страну. Это я видел и при первом моем посещении ГДР в 1973 году.

Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

◆

Заметки на полях

СОВРЕМЕННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В советском литературоведении, как и в литературоведении социалистических стран, нередко можно встретить термины: «новая литература», «современная литература», «новые черты» художественного отражения действительности. Причем понятия эти означают не просто отношение к данному историческому моменту, имеют не просто «хронологический» смысл (то, что есть сегодня, в отличие от того, что было раньше). Они употребляются с более или менее четко выраженным качественным значением, то есть призваны обозначить определенный новый этап, новую ступень развития литературы в условиях социалистической формации. Говорим мы так, видимо, не без оснований: ведь если социализм — переходная ступень к принципиально новой фазе общественного бытия, то уже на этой переходной ступени (а тем более в самое последнее время, в период построения развитого социализма) в нашей жизни появляются, играя все более существенную роль, признаки нового качества. Эти признаки давно стали очевидностью; на всемерное умножение и укрепление их направлена деятельность коммунистов и у нас, в Советском Союзе, и в братских социалистических странах. Но качественные сдвиги в общественном бытии порождают — хотя связь тут не проста, не однозначна — и качественно новые черты в общественном сознании, а значит, и в литературе как одной из его форм.

Однако эти рассуждения, а тем самым и вывод о новизне нашей литературы, останутся абстрактными умозаключениями, если они лишены реальной опоры. А реальная опора в данном случае — это конкретные аргументы и доказательства, включающие в себя и тщательный, предельно внимательный, объективный анализ литературного материала, и строго научное обобщение тех наблюдений, которые накоплены в процессе изучения конкретных литературных произведений.

Такая работа, то есть анализ, осмысление и обобщение новых черт литературы, развивающейся на базе социализма, является одним из важнейших направлений марксистского литературоведения в странах социалистического содружества.

Много сделано в этом плане литературоведами братской Венгрии. Здесь можно упомянуть ряд серьезных документов, составленных крупнейшими венгерскими теоретиками, историками литературы, эстетиками, объединенными в специальной группе при ЦК ВСРП (эти документы освещались в советской прессе), а также дискуссии в венгерской печати, работы таких опытнейших литературоведов, как М. Белади, А. Иллеш, И. Кирай, Н. Нире, П. Панди, С. Саболчи и др.

Недавно была опубликована на русском языке статья Белы Кёпеци «Современность социалистического реализма»[1]. Полемизируя с буржуазными теоретиками относительно понимания современного как одной из важнейших категорий науки о литературе, автор доказывал необходимость рассматривать эту категорию с позиций классовой борьбы. Только такая исходная научно-методологическая платформа позволяет правильно оценить, в частности, и значение для литературы, для культуры вообще, такого фактора, как научно-техническая революция, которую склонна абсолютизировать, вырывая из социально-исторического контекста, буржуазная эстетика.

> «С социальной точки зрения,— пишет Кёпеци,— сегодня новое в мире — социализм, который дает возможность обратить достижения науки и техники на пользу человеку».

Действительно, если объективно взглянуть на современную литературу и искусство Запада, то можно убедиться, что изобретение все новых и новых, все более и более «современных» приемов и способов художественного изображения, нередко опирающихся на новейшие технические достижения, на бурное развитие средств массовой информации, совсем не обязательно означает движение вперед в эстетическом освоении мира. Ведь разнообразные модные «нео»-поветрия возникают чаще всего не как отклик на насущные потребности общества и даже не как результат саморазвития искусства, но как попытки поддержать его чисто коммерческую «самоокупаемость», прибыльность, предотвратить окончательное разочарование в нем массового потребителя.

Можно смело сказать, что в современном искусстве капиталистического мира подлинное движение вперед связано только с теми его течениями, представители которых искренне, не из спекулятивных соображений ищут пути к пониманию и усвоению тех истин, которые дает человечеству социализм в его теоретическом и практическом воплощении.

Вывод о тесной связи прогресса в литературе и искусстве, их подлинной новизны с развитием социализма, с укреплением и расширением позиций марксистского мировоззрения тем более справедлив для духовной жизни тех стран, в которых осуществляется интенсивное строительство социализма. Ведь и ведущий творческий метод наших литератур, социалистический реализм, предполагает как одно из необходимых своих условий органическое сочетание художественного мышления с марксистским, то есть научным, проникающим до самых глубинных, сущностных связей явлений видением мира. Поэтому прав Б. Кёпеци, когда, опираясь на историю новейшей литературы народной Венгрии, приходит к выводу:

> «...если оглянуться на четверть века назад, то можно сказать, что развитие венгерской литературы подтверждает ту истину, согласно которой показателем современного в искусстве второй половины XX века является следование методу социалистического реализма».

При этом Кёпеци справедливо оговаривается, что

> «социалистический реализм должен пониматься как такая историческая категория, которая изменяется и развивается вместе с ходом строительства социализма».

В русле нашей проблематики нельзя не упомянуть статью одного из ведущих деятелей культуры братской Венгрии, Деже Тота, «Современность нашей литературы», опубликованную в газете «Непсабадшаг». Эта статья во многом перекликается с теоретической работой Белы Кёпеци. Но Д. Тот свое внимание концентрирует уже не столько на общих проблемах развития литературы социализма, сколько на облике и особенностях венгерской литературы наших дней, выделяя те черты, которые и являются показателями ее современности.

Конечно, и в Венгрии, в жизни венгерского общества играют немалую роль те факторы, которые в той или иной мере свойственны всем достаточно развитым странам — как социалистическим, так и капиталистическим — и которые связаны прежде

[1] В сборнике «Литература в изменяющемся мире». М., «Художественная литература», 1975, стр. 59—72.

всего с ускорением научно-технического прогресса. Это — растущая доступность материальных благ, увеличение свободного времени, широкое распространение радио, телевидения, кино и т. д. Однако широкий, человеческий смысл этих факторов и значение их для развития культуры определяются конкретным социально-политическим контекстом, то есть в данной ситуации прежде всего тем обстоятельством, что современные усилия членов общества, уже уничтожившего господство эксплуататоров, взявшего курс на социализм, направлены теперь на достижение полного, всеобщего счастья, все более гармонической согласованности жизненных интересов всех вместе и каждого в отдельности. Поэтому глубоко прав Деже Тот, когда он заявляет, что с точки зрения перспектив развития культуры

> «самым существенным из новых факторов, оказывающих «влияние» на положение в культуре, являются изменения, затронувшие общество в целом. Или если подходить к этому вопросу в плане проблематики, находящейся в центре внимания литературы, то обстоятельство, что на смену эпохе испытаний, революционных потрясений, эпохе напряженных усилий, сконцентрированных на быстром решении каких-то больших задач, пришло время «повседневной революции» с ее во многих отношениях обновившейся системой моральных критериев».

Конечно, не все писатели способны быстро и безошибочно осмыслить, оценить те новые требования, которые несет за собой эта новая эпоха, сделать из нее верные выводы. Автор статьи не скрывает, что существуют взгляды, согласно которым в новых условиях литература должна-де снизить свою общественную активность; можно обнаружить и такие настроения, которые интерпретируют рост интереса к личности как реабилитацию буржуазного индивидуализма.

> «Однако,— пишет Д. Тот,— в противовес этим ошибочным мнениям — и это я хотел бы особенно подчеркнуть — в нашей литературе в целом все более берут верх правильные, отвечающие духу времени и уровню развития общества писательские позиции».

И, пожалуй, наиболее показательным из тех сдвигов, которые имеют место в отношении писателей, художников к своему творчеству и к действительности, является как раз возрастание активности литературы в эпохальной работе по преобразованию общества и человека. Активность эта находит выражение прежде всего в стремлении участвовать в формировании, воспитании новых, социалистических отношений между людьми, нового сознания, в курсе на углубление культурной революции, которая, начавшись с ликвидации неграмотности, теперь подошла к этапу, когда поставлена задача приобщения широких масс к высокой культуре, прежде бывшей достоянием небольшой прослойки общества. Венгерские коммунисты, со своей стороны, также отводят литературе важное место в этой работе.

> «Литературно-художественное мышление, литература в целом не только «приноравливается» к изменившимся требованиям повседневной культурной работы, но и, с помощью собственных специфических средств, стремится эффективно включиться в эту работу, внести свой вклад во всестороннее повышение культурного уровня широких масс, обогащая при этом и самое себя».

Деже Тот упоминает здесь в качестве примеров такое важное начинание, принесшее уже значительные результаты, как движение «За читающий народ», а также целый ряд новых печатных органов, популяризирующих, доносящих до массового читателя лучшие произведения современной венгерской литературы.

> «Подобные начинания, достигнутые уже в этом деле успехи,— все это и является выражением современного понимания литературой актуальных задач культурной революции,— продолжает автор.— И все же особого внимания эти факты заслуживают даже не столько в плане их значения для культуры, сколько в связи с проявляющимся в них новым пониманием функции литературы. Они свидетельствуют о том, что литераторы, писатели теперь

сознают: формирование новой культуры не угрожает «подорвать» традиционный «авторитет» литературы. Писатели понимают, что изменение сферы ее действия определяется не «простым» сочетанием таких фактов, как технические достижения цивилизации, их широкое распространение, повышение жизненного уровня,— но прогрессивным развитием социалистического общества, обогащающим человеческую личность».

Таким образом, налицо не просто обновление литературы; налицо ее глубинное, сущностное, то есть истинное, не формальное обновление, затрагивающее ее место и функцию в структуре общественного сознания в целом. И главным стимулом этого обновления является сама атмосфера социалистического строительства, те преобразования, которые социализм постепенно, но последовательно вносит в повседневную жизнь, в сознание, во взаимоотношения людей. Технические же средства современной цивилизации являются здесь дополнительными, хотя и важными факторами, причем сама их важность, весомость обусловлены все той же духовной атмосферой социалистического строительства. То есть подлинная современность литературы связана с желанием и умением максимально способствовать решению тех кардинальных задач, которые выдвигает перед человеком, перед обществом программа создания развитого социалистического, затем коммунистического общества.

Деже Тот не случайно — логически это вытекает из всего сказанного — связывает критерий современности в литературе и искусстве с мировоззрением творческой интеллигенции. Ведь в социалистическом обществе роль сознательного подхода к жизни, к истории, к общественному бытию все возрастает.

«Отрицая идеологически и социально «нейтральное» (то есть буржуазное) толкование и употребление слова «современный», мы с полным правом утверждаем, что в идеологической сфере такой показатель, как современность, всегда и везде — в том числе и в литературе, в художественном мышлении — тождествен степени усвоения марксистско-ленинской идеологии. Однако это не означает, что мы должны в связи с этим отказаться от понятия «современное» — это было бы серьезной ошибкой. Ведь «современное» объединяет в себе все те новые и постоянно обновляющиеся обстоятельства и способы реакции на них, к которым следует применять и в которых следует воплощать марксистскую точку зрения. Поэтому мы можем сказать, что общественная роль нашей литературы должна и дальше оставаться современной, следует развивать ее современные черты в направлении, взятом раньше. То есть прежде всего путем создания произведений, которые нацелены на художественное осмысление сущностных проблем нашего общества и плодотворно сочетают в своем подходе к действительности новые требования, выдвигаемые обществом перед литературой и сформулированные XI съездом ВСРП, с внутренними потребностями развития самой литературы. А также путем дальнейшего воздействия на общественное сознание, формирования научного подхода к жизни, что приобретает все более важное значение и как условие эстетического освоения действительности, и как необходимая предпосылка социальной компетентности литературной публицистики, как условие объективного, конструктивного тона дискуссий по социально-политическим вопросам, идущим в литературных кругах».

Статья Деже Тота, очевидно, не случайно была опубликована в те дни, когда в Будапеште проходил VIII конгресс Международной ассоциации сравнительного литературоведения. Ведь сейчас, когда набирает силу и размах марксистское сравнительное литературоведение, опирающееся на выявление сущностных, типологических взаимосвязей и тенденций литературного процесса, новые задачи встают и перед исследователями литератур относительно молодого региона — стран социалистической системы. Литературоведы, занимающиеся изучением этих литератур, не смогли бы подняться выше эмпирической регистрации фактов (перекличек, совпадений, контактов), если бы не обращали внимание в первую очередь на новизну и подлинную современность социалистических литератур, на те факты, которые обеспечивают авангардную роль этих литератур в современном мировом литературном процессе.

Ю. ГУСЕВ

Публицистика

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ

Зарубежные писатели о Советском Союзе: путевые очерки, дневники, воспоминания, статьи. 1917—1977

ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ

Соединенные Штаты Америки

Из книги «Негр смотрит на советскую Среднюю Азию», 1934 г.

ЛЕНГСТОН ХЬЮЗ (1902—1967) — известный американский негритянский поэт, прозаик, драматург, публицист. Принимал участие в борьбе негров за гражданские права; был редактором негритянских газет и журналов, директором негритянского театра в Гарлеме. Произведения Л. Хьюза неоднократно переводились на русский язык: «Избранные стихи», роман «Смех сквозь слезы», сборник рассказов «Нравы белых», пьеса в стихах «Скотсборо», «Баллада о Ленине» и др.

«Иностранная литература» печатала рассказы, стихи из разных его сборников, статьи о нем.

По дороге на юг...

Для американского негра, живущего в Соединенных Штатах, в слове «Юг» таится ужас, неприятно уже само его звучание. На американском Юге наши предки триста лет влачили иго рабства, их продавали и покупали, точно скот. И на том же Юге в наши дни мы вынуждены терпеть наихудшие формы расистского гнета и экономической эксплуатации — сегрегацию, кабалу, линчевание... Но там, на Юге, живет более двух третей моего народа — огромный Черный Пояс протянулся от Виргинии до Техаса через хлопковые плантации Джорджии, Алабамы, Миссисипи, захватывая апельсиновые рощи Флориды и плантации сахарного тростника Луизианы.

Продолжение. Начало см. в № 5.

Именно на Юге черные руки создают богатства, которые питают большие города вроде Атланты, Мемфиса и Нового Орлеана, где белые богачи живут в красивых особняках на осененных магнолиями улицах, а негры ютятся в трущобах. Это на Юге «расовая проблема», как называют ее американцы, обретает наибольшую остроту и, точно змея — птицу, подчиняет своей гипнотической власти всю страну. Это на Юге ненависть и ужас бродят по улицам и дорогам весь день напролет — то тишком, то претворяясь в жестокое насилие, а по ночам тревожат сон спящих.

Весной прошлого года я почти прямо с американского Юга попал в Советский Союз. Мне незачем писать, какой это был контраст, вы все легко представите сами. Лето я провел в Москве, а в сентябре упаковал чемоданы, готовясь снова отправиться на юг — но только на юг под красным флагом. Из Москвы, столицы нового мира, я поехал в Среднюю Азию, чтобы посмотреть, как живут и работают там люди. Мне хотелось сравнить их жизнь с жизнью цветных народов, порабощенных капитализмом,— с тем, что я видел на Кубе и Гаити, в Мексике и у себя на родине, в Соединенных Штатах. Я хотел познакомиться с тем, как живут эти люди в Советском Союзе, и написать о них книгу для темнокожих рас капиталистического мира.

В поезде у меня было много времени для размышлений И мне пришло в голову, что за тридцать прожитых мной лет мне ни разу не довелось сесть в поезд у себя на родине, не вспомнив при этом, какого цвета моя кожа. На Юге негры ездят отдельно от белых — обычно в ветхих, допотопных вагонах, которые прицепляют сразу за паровозом, так что весь дым, вся тряска и вся сажа достаются на их долю. На Юге нам не продадут билета в спальный вагон — такие удобства существуют только для белых. Но и на Севере, где закон не предписывает цветным ездить отдельно от белых, им все равно приходится нелегко. В автобусах они должны сидеть сзади, на самых плохих местах над колесами. На пароходах им предназначаются самые скверные каюты — кассир просто заявляет, что все остальные уже проданы. В поезде, если негр сядет рядом с белым, тот почти наверняка встанет и уйдет, выругав негра, который посмел занять место рядом с ним. Вот почему в Америке человек с желтой, коричневой или черной кожей, куда бы он ни ехал, все время вынужден помнить, что он — цветной, и нередко испытывать из-за этого всяческие неудобства.

Я сидел в комфортабельном купе международного вагона, думая о Москве, с которой только что расстался, и вспоминал подробности моих поездок в Америке. Однажды, совсем еще мальчишкой, я поехал в Мексику к отцу, который там работал. В вагоне-ресторане я сел за столик рядом с белым. Он поглядел на меня и сказал: «Ты же черномазый!» — и ушел. Обедать рядом с негром было ниже его достоинства. В Сент-Луисе я вышел на перрон купить стакан молока. Буфетчик сказал: «Мы не обслуживаем черномазых» — и отказался продать мне молоко. Став старше, я понял, что все это в порядке вещей, а потому позднее, отправившись на Юг, чтобы читать лекции о моих стихах в негритянских университетах, я запасся провизией, так как знал, что в вагон-ресторан меня не пустят. И от Вашингтона до Нового Орлеана я завтракал, обедал и ужинал всухомятку. Особенно живо эта злосчастная поездка припомнилась мне, когда я ел горячий обед в вагоне-ресторане экспресса Москва — Ташкент.

Если ехать на Юг из Нью-Йорка, официально законы о сегрегации вступают в силу в Вашингтоне, столице нашей страны. Там по поезду проходит проводник и — если вы негр — трогает вас за плечо со словами: «Вагон для цветных в голове состава». И вам приходится, забрав багаж, перебираться в первый вагон, потому что, едва поезд пересекает реку Потомак и оказывается в Виргинии, черные утрачивают право ехать в одном вагоне с белыми. Это противозаконно — как противозаконно белым и цветным есть вместе, спать вместе, а кое-где и работать вместе. Но об этом мы поговорим потом.

В соседнем купе едет человек с почти такой же коричневой кожей, как у меня. Молодой человек, одетый совсем просто — бежевые брюки, скромный серый пиджак. Рабочий с какой-нибудь азиатской фабрики, который проводил отпуск в Москве, думаю я. У нас завязывается разговор. Он спрашивает, чем я занимаюсь, а я спрашиваю, чем занимается он. Я писатель. А он мэр Бухары — председатель городского Совета! Я замечаю про себя: «В Советском Союзе люди с темной кожей бывают мэрами больших городов». Ведь этот человек управляет знаменитым городом — старой Бухарой, романтичной Бухарой, воспетой в сказаниях и легендах, известных всему миру! Об этом надо непременно написать в американские негритянские газеты! Но тут я узнаю от него, что в Средней Азии есть много городов, которыми управляют люди с темной кожей — мужчины и женщины. Таких городов очень-очень много. И мне вспоминается штат Миссисипи, население которого состоит из негров больше чем наполовину,— но кто там слышал о мэре-негре? О хотя бы одном цветном в органах управления штатом? В этом штате негры не могут даже голосовать! И там вы не увидите их в спальных вагонах.

А здесь нас двенадцать — двенадцать негров едут на юг из Москвы. (Я оказался в одном вагоне с группой негров из Межрабпом-фильма, которые совершали поездку по Советскому Союзу.)

Потом вечером мы устроили встречу со свободными от дежурства членами поездной бригады. Они рассказали нам о своей работе, о том, как они участвуют в строи-

тельстве социализма. А мы рассказали им о положении рабочих-негров в Америке, об Аль Капоне и чикагских гангстерах, о бутлеггерах и нью-йоркских банкирах. По их вопросам и высказываниям мы поняли, что они знают об Америке куда больше, чем средний американец знает о Советском Союзе. И мы убедились, что условия их работы много лучше, чем у американской поездной прислуги — особенно у проводников. Здесь в каждом вагоне есть служебное купе, где может отдохнуть свободный от дежурства проводник. Негры-проводники вынуждены обходиться без таких купе. Здесь каждый спальный вагон обслуживают два проводника, а в США — один, и на протяжении всего длинного пути он работает почти без отдыха, успевая вздремнуть лишь урывками на скамье в мужском туалете. Наши проводники существуют на чаевые — их заработная плата крайне низка. В 1925 году они организовали профсоюз, но руководство его оказалось в руках буржуазных соглашательских элементов, и потому они практически ничего не добились — зато компания время от времени угрожает уволить их всех и заменить филиппинцами. Американская федерация труда отказалась принять их (многие белые железнодорожные профсоюзы не принимают негров). Вот о чем мы рассказывали поездной бригаде экспресса Москва—Ташкент, а они просили нас передать революционный привет чернокожим железнодорожникам Америки.

В обществе наших многочисленных интересных друзей время летело незаметно. Сначала за окнами вагона мелькали поля, и на станциях окрестные колхозники продавали кур, сыр и яйца, потом на закате мы увидели Волгу — знаменитую древнюю реку, которой посвящено множество песен и легенд, а сутки спустя мы проехали Оренбург, где начинается Азия и по улицам ходят верблюды. За ним начались казахские степи и жидким серебром блеснул на солнце залив Аральского моря.

В тот день, когда мы проезжали эти места, по всему Советскому Союзу праздновался сорокалетний юбилей литературной деятельности Максима Горького. К вечеру поезд остановился на маленькой станции, мы все вышли на платформу, где был устроен короткий митинг в честь Горького и его эпохальных произведений. (Этот писатель, в чьих книгах слышишь биение жизни простых людей, известен даже в сердце пустыни). Вместе с пассажирами в митинге принимали участие казахи-кочевники—мужчины в тяжелых меховых одеждах, женщины в белых головных уборах. Мою речь, которую я произнес по-английски, сначала перевели на русский, а потом на казахский. На этом митинг кончился. Мы послали телеграмму товарищу Горькому от имени пассажиров поезда и еще одну — от нашей негритянской группы.

На следующий день под вечер мы увидели прорезанный оросительными каналами зеленый оазис, хлопковые поля, отягощенные плодами фруктовые деревья. В сумерках наш поезд подошел к большому вокзалу. Мы приехали в Ташкент, новый центр Востока.

Посещение Туркмении

Осенью, где бы вы ни сошли с поезда в оазисах Средней Азии, вы обязательно окажетесь среди хлопковых полей, а на улицах селений и даже больших городов что-нибудь обязательно напомнит вам о хлопке. По всем дорогам движутся в пыли верблюды, повозки, грузовики, нагруженные белым волокном, которые везут на фабрики и склады. А за городом, куда ни кинешь взгляд, везде видны драгоценные зреющие коробочки.

То же самое можно увидеть и на юге Соединенных Штатов. В Джорджии, Миссисипи, Алабаме можно сотни миль ехать среди полей хлопка, ослепительно белого в лучах солнца. Только на наших дорогах нет верблюдов. Хлопок везут в фургонах, запряженных мулами. И он перестал быть драгоценным Кризис, фабрики закрыты или работают наполовину мощности. Да, Туркестан не похож на Алабаму — в сущности, нисколько не похож. Это два разных мира.

Около года назад, когда я провел на Юге всю зиму, некоторое время мне пришлось пробыть в Алабаме, милях в пятидесяти от ныне знаменитого Скотсборо. Я хотел побывать в поселке, примыкавшем к большой хлопковой плантации. «Это опасно! — предостерегали меня друзья.— Белые не любят, когда в поселке появляются чужие негры. Не езди!» Но я все-таки поехал — вместе с представителями Красного Креста (его негритянского отделения, разумеется,— ведь на Юге сегрегация проводится повсюду), которые по случаю рождества везли фрукты для бедняков, то есть в данном случае для черных батраков на богатой плантации.

В ветхом «форде» мы долго ехали по бурым полям, хлопок с которых был уже убран. Мы свернули в ворота в крепкой проволочной ограде, проехали еще некоторое расстояние и миновали вторую ограду. Тут в стороне от дороги под деревьями ютились батрацкие хижины — унылые бревенчатые лачуги из одной комнаты. Нам навстречу выбежали оборванные ребятишки.

Мы побывали в нескольких хижинах, и, пока представитель Красного Креста говорил о господе, я задавал земные вопросы. Я спросил у старика, продан ли хлопок. Он ответил с вялым равнодушием: «Не знаю. Его забрал хозяин. Ну, а если и продан, мне-то что? Все равно я этих денег не увижу». Он тоскливо пожал плечами и замолчал,

посасывая трубку. В соседней хижине хозяйка сказала мне, что не была в городе больше четырех лет. А до города всего пятнадцать миль! «Времени нет,— сказала она.— Да и денег на покупки тоже». Она говорила про свою нужду с каким-то холодным безразличием. Представитель Красного Креста заверил ее, что бог ей поможет, а потому пусть она ни о чем не беспокоится.

Сломанная кровать, печурка и два-три стула — этим исчерпывалось все ее имущество. Среди исхудалых ребятишек, которым мы раздали фрукты — подачку благотворительного общества,— были и ее дети. А владелец плантации жил в городе в большом особняке с белыми колоннами. Его дети учились в частной школе на Севере, а на каникулы ездили за границу. Вот эти черные руки, собирая белый хлопок, создали его богатство, благодаря им был построен его дом и его дети могли путешествовать. Женщина, у которой не было денег, чтобы поехать в город за пятнадцать миль, посылала чьих-то детей в Париж. Вот на какой основе покоится культура Юга.

Как плантаторы устраивают это? Черный батрак подписывает контракт (который нередко не может прочесть), обязуясь проработать год вместе со своей семьей. Труд его должен оплачиваться оговоренной долей хлопка, который он вырастит. Он поселяется в хижине на земле белого. Плантатор выдает ему авансом семена для посева и каждый месяц отпускает в кредит из своей лавки кукурузу и солонину. Учитывает все взятое в кредит бухгалтер, служащий плантатора. В конце года, когда хлопок собран, владелец забирает весь урожай и объявляет батраку, что его доли не хватает, чтобы оплатить жилье, семена, кукурузу, солонину и все прочее, что занесено в счетную книгу. Негр таким образом оказывается должником плантатора и обязан еще год отрабатывать свой долг. Если он хочет забрать семью и уехать, ему грозят каторжными работами, а то и судом Линча. Вот так черные батраки ведут рабское существование на американских плантациях. Изумительная система, обеспечивающая бесплатный труд, белый хлопок и культуру! И у американских капиталистов хватает бесстыдства обвинять Советский Союз в использовании принудительного труда!

Как не похожа на этот хлопковый край советская Средняя Азия! Баи-помещики изгнаны и никогда не вернутся. Я разговаривал с крестьянами, и я знаю, что так и будет. В них нет и тени страха, который гнетет батраков американского Юга.

Я посетил колхоз «Айтаков» в самый разгар сбора хлопка. Председатель-туркмен повел нас в поле, где под ярким утренним солнцем бригада женщин собирала хлопок, быстро двигаясь по рядам невысоких кустиков — кто клал белые коробочки за пазуху, на глазах толстея от хлопка, кто — в мешки, привязанные за спиной. Дневная норма составляет тридцать два килограмма. А многие женщины, за чьей работой я наблюдал, были ударницами.

В этот день в полях работали одни женщины, так как мужчины приводили в порядок ирригационный канал, объяснил председатель. Когда тяжелой работы нет, мужчины тоже работают в поле.

Я спросил, почему нигде не видно детей — в Америке они собирали бы хлопок вместе с родителями.

— Они сейчас в школе,— ответил председатель.— В нашем колхозе есть начальная школа. А в соседней деревне — средняя школа на пятьсот учеников. Учительница занимается и со взрослыми. Вы сами увидите в обеденный перерыв.

Когда настало время обеда, мальчик принес в поле чай и хлеб. Женщины уселись в кружок на траве, и, пока они ели, среди них с книгой в руке ходила девушка и каждая по очереди с ее помощью прочитывала несколько фраз. Так они учились читать — вещь прежде в Средней Азии неслыханная.

После обеда я помогал собирать хлопок, а потом молодой человек повел нас в чайхану ужинать. Там я отвечал на множество вопросов о жизни негров в Америке. Уже совсем стемнело, когда мы направились через поля к поселку. Для нас приготовили комнату в яслях — детские стульчики и столики были сдвинуты в угол, а пол устлан коврами, чтобы нам было где сидеть.

Вскоре начали сходиться гости — учителя и мужчины, которые весь день трудились на канале. Они приходили по двое, по трое и большими компаниями, так что вскоре комната была набита битком. Принесли чайники с чаем и полдесятка пиал, которые ходили вкруговую. Когда чайники пустели, их передавали человеку у двери, и он наполнял их кипятком из котла, висевшего снаружи над открытым очагом.

Утром ко мне прибежал Шура, маленький сын русской заведующей яслями. Он и его приятель, золотолицый туркменский мальчуган, хотели показать мне котенка, который только что родился в конюшне. Они с гордостью водили меня по всему скотному двору.

Потом Шура, белый малыш, и смуглый маленький туркмен ухватили меня за руки и повели смотреть печь, в которой пекут хлеб.

Я пошел, но думал я не о печи. Я думал, глядя на моих маленьких проводников: «В Алабаме этого случиться не могло бы — там белые дети и цветные дети растут отдельно друг от друга. Я рад, что здесь, в Советском Союзе, сметены все уродливые расовые барьеры. Русский малыш и туркменский малыш, вам не доведется узнать жизни, полной недоверия, ненависти и страха, которую ведем в Америке мы».

Дворцы, священнослужители и власть

В бухарской цитадели высится замок эмира, господствующий над городом. Угадайте, кто живет в нем сейчас? Угадайте, кто живет теперь за стенами этого дворца-крепости, где прежде обитали высокопоставленные вельможи, где находился монетный двор, где была тюрьма? Кто же? Студенты техникумов, сыновья и дочери крестьян-бедняков и рабочих, чьи деды и прадеды веками падали ниц перед правителями и баями. А чем занимаются эти студенты? Ну, во-первых, они учатся читать и писать с помощью нового алфавита, отказавшись от арабского, который муллы, прежде контролировавшие образование, объявляли святым. Только арабские буквы Корана благословил Аллах, говорили священнослужители, а все прочие — кощунство. Да будут прокляты все, кто учит новые буквы!

Но теперь все учат новые буквы и никто не проклят. Все теперь живут лучше, чем прежде. В прославленных мечетях прежде святой Бухары почти нет молящихся. У подножия минаретов, с которых муэдзины сзывали верующих на молитву, беззаботно играют дети, хитро замотанные тюрбаны утратили религиозный смысл, и никто не отправляется в паломничество в Мекку.

Во дворе некогда знаменитой медресе, где в холодных маленьких кельях десятки учащихся тупо задалбливали наизусть книги Корана, теперь устроен музей. В нем собрано много прекрасных вещей — старинные книги, драгоценные украшения, ковры, ткани. А рядом — дубинки дервишей, конские хвосты святых и другие святые реликвии прошлого. Религия изгнана из живой жизни в музей, а народ получил новый алфавит, который несет знания бедным крестьянам и женщинам, рабочим и всем тем, кто прежде слышал только ложь священнослужителей и угрозы сборщиков налога...

Два года назад я побывал на Гаити — маленьком черном острове Туссена Лувертюра, который теперь стал колонией, где правит американская морская пехота. Там тоже повсюду высятся башни храмов — католических храмов. И марионеточное правительство, содействующее американской эксплуатации, состоит из весьма религиозных джентльменов, регулярно слушающих святую мессу. И на Кубе, где на три года из-за революционных настроений студенчества были закрыты университеты, двери церквей широко распахнуты. Прочтите стихотворения Маяковского «Черное и белое» и «Сифилис», если вы не знаете, какова жизнь на Кубе. И на Гаити и на Кубе царит террор, восстания подавляются, молодежь убивают, женщин выбрасывают на панель. Карибское море бороздят американские канонерки. Газеты сообщают, что в гаванском порту запрещена ловля акул: по-видимому, джентльмены, которые регулярно слушают святую мессу и задают тон в правительстве, опасаются, что рыбаки вместо рыбы начнут вылуживать трупы — военная тюрьма в Гаване стоит на берегу океана.

По ту сторону пролива, на американском материке, верующих тоже хоть отбавляй. Менкен, американский литературный шут, называет Юг «библейским поясом», потому что там так много церквей, проповедников и молитв. И там, в «библейском поясе», линчуются сотни негров, провоцируются расовые беспорядки, бедняки изнывают в кабале, женщины надрываются на прядильных фабриках, правосудие превращается в посмешище на зловещих спектаклях вроде процесса в Скотсборо. Богачи живут в современных дворцах с белыми колоннами, священники тучнеют, и в воскресные вечера, заглушая запахом елея аромат магнолий, повсюду слышатся проповеди — ведь радио принадлежит богачам, живущим в больших особняках.

В Нью-Йорке туристы ездят осматривать витражи в огромной церкви, которую воздвигли во славу божью Рокфеллеры из «Стандард-ойл». Из Нью-Йорка, Бостона, Чикаго верующие богачи тянут щупальца к черному Югу под видом религиозной филантропии: жертвуют деньги на негритянские церковные школы, покупают сознание черной молодежи в гетто и на хлопковых полях, внушают им кротость и смирение, одурманивают «опиумом для народа».

В промышленных городах Севера в тени небоскребов бродят сотни тысяч голодных безработных — негров и белых. В Детройте Форд наводит на них свои пулеметы, а в Вашингтоне против них мобилизуется армия. И молятся хозяева в церквах, и священники единодушно обличают коммунизм и взывают к богу — словно бухарские муллы во времена эмира.

Я иду по улицам Бухары, восточного города песен и легенд. Я прохожу сквозь проломы в осевших глинобитных стенах, под опустевшими башнями и минаретами, мимо дворцов и мечетей. Я вспоминаю, как мальчишкой в далеком Канзасе я мечтал увидеть сказочный город Бухару — столь же манящий и недоступный тогда, как фантазии «Тысячи и одной ночи». И вот теперь в 1932 году я иду по ее улицам — мечта сбылась: благодаря любезному содействию советской газеты я путешествую по Средней Азии и сам вижу чудесное и ужасное наследие феодализма и религии, которое теперь принадлежит социализму. За десять лет тут произошли великие перемены, а впереди предстоят еще более великие и замечательные. Вчера — недоступный эмир за высокими стенами дворца. А сегодня...

Ну, а сегодня я иду обедать к бывшему пастуху, а теперь председателю городского Совета сказочного города Бухары.

Молодежь и образование в Туркмении

Около года назад в Соединенных Штатах попала в автомобильную катастрофу Джульетта Деррикот, негритянка-преподавательница, пользовавшаяся большой известностью и любовью. Она ехала в машине с тремя своими студентами. Внезапно встречная машина при обгоне выехала на середину шоссе. Чтобы избежать столкновения, мисс Деррикот съехала на обочину, колеса ее автомобиля попали в выбоину, и он перевернулся. Она и ее спутники были тяжело ранены. Свидетели катастрофы доставили их в ближайший городок. Там в больнице для белых наотрез отказали в помощи неграм, и истекающих кровью жертв катастрофы отвезли на окраину в лачугу негритянки, где белые врачи их осмотрели — но без тех инструментов и обезболивающих средств, которые нашлись бы в больнице. Студент, который пострадал меньше остальных, сумел найти телефон, позвонил в ближайший город, где была негритянская больница, и попросил прислать за ними машину «скорой помощи». Поздно вечером машина пришла, но по дороге в больницу Джульетта Деррикот умерла. Америка потеряла одну из самых талантливых представительниц молодого негритянского поколения. Если бы белая больница не отказалась принять жертв автомобильной катастрофы только потому, что они были черными, Джульетта Деррикот осталась бы жива.

В тот же день в Бирмингеме (штат Алабама) молодой учитель, выпускник Хэмптонского института, был до смерти избит белой толпой — линчеван в разгаре дня на улице большого города!

Я тогда как раз читал лекции в Хэмптонском институте, одном из крупнейших и известнейших учебных заведений для негров на Юге. Студенты, узнав об обстоятельствах смерти Джульетты Деррикот и о линчевании в Бирмингеме, вне себя от горя и возмущения решили организовать митинг протеста. Меня попросили выступить на митинге и помочь в составлении телеграммы в газеты. Однако план студентов вскоре стал известен ректору, и когда организационный комитет собрался вечером, чтобы все окончательно обсудить, туда явился представитель ректора. Этот преподаватель-негр тотчас вылил на присутствующих ушат ледяной воды. Он сказал, что, возможно, газетные сообщения о смерти Джульетты Деррикот неверны и сначала следует навести справки. Но если даже и так — достаточно будет написать соболезнующее письмо ее родителям, а никаких митингов устраивать не следует. «Хэмптон,— сказал он,— не протестует. У нас в словаре этого слова нет. Мы действуем медленно, спокойно и осмотрительно».

И студенты не решились привести свой план в исполнение. Они понимали, что их исключат и никуда больше им поступить не удастся: их занесут в черный список, как смутьянов и агитаторов.

Что же представляет собой этот Хэмптонский институт, где смиренные преподаватели воспитывают бесхребетных студентов? Ну, конечно, религиозное учебное заведение, существующее на средства богатых и добросердечных белых капиталистов, которые не возражают, чтобы черные дети учились в школе для черных — но не в бесплатной государственной школе для белых. Пусть черные учатся работать, но не протестовать.

Такие благотворительные доллары означают проповедников, молитвы и духовные песнопения. Большинство директоров негритянских учебных заведений — священники, и образование в основном носит религиозный характер.

Почему же такие филантропические школы и колледжи для черных играют столь ведущую роль? Очень просто. В южных хлопковых областях система бесплатного государственного образования на негров почти не распространяется. В большинстве южных городов школы для белых размещаются в прекрасных новых зданиях, а негритянские ютятся в ветхих развалюхах, причем высших учебных заведений для негров во многих штатах просто не существует. При такой дискриминации ребенку с черной кожей нелегко получить даже начальное образование. Во многих районах без этих религиозных благотворительных школ большинство негритянских детей оставалось бы вообще неграмотными.

В Казахстане и Туркестане до революции дети местного населения были полностью неграмотными. Условия были даже хуже, чем теперь в Алабаме. В кельях мусульманских медресе изучались только религиозные дисциплины, основным учебником был Коран, а целью обучения — познание бога. Но и этому учили только мальчиков, девочки же и женщины были обречены на полную неграмотность.

Теперь, разумеется, в советской Средней Азии все это изменилось. Но иностранца, приезжающего в Узбекистан или Туркмению, поражают даже не столько сами перемены — они известны всему миру,— а быстрота, с которой они произошли. Новая система образования была введена менее чем за десять лет — не просто введена, но дает поразительные результаты. Уже есть много местных учителей, специалистов с дипломами высших учебных заведений. Неграмотность заметно сократилась не только среди детей, но и среди взрослых. Кельи медресе опустели, а классы государственных школ переполнены. Выходят книги и учебники, напечатанные на новом алфавите. Уже для подрастающего поколения Аллах — только легенда. Коран забыт.

В течение нескольких недель я посещал учебные заведения Ашхабада и окрестных селений. Я познакомился со многими учителями, студентами, школьниками. Как не

похож духовный мир советского студента на духовный мир его американского сверстника! У нас студенты в большинстве разговаривают только о футболе и вообще о спорте. Здесь, в Туркмении, студенты увлеченно обсуждали общий прогресс жизни в годы первой пятилетки, развитие литературы при советской власти, планы империалистов за рубежом. Здесь, в далекой Азии, студенты задавали мне умные и острые вопросы о том, что происходит во Франции, на Кубе, в Мексике и других странах, где мне довелось побывать. Им хотелось узнать побольше о жизни студентов в Америке. Я говорил с ними по-английски, затем мои слова переводились на русский, а уж с русского на туркменский. Но несмотря на двойной перевод, нам было легко поддерживать разговор и обмениваться мнениями. Я рассказал им, как тяжело учиться в Америке беднякам, особенно если они принадлежат к национальным меньшинствам. А они в свою очередь рассказывали про свою новую жизнь и просили меня передать их революционный привет пролетарской молодежи Соединенных Штатов, которая все еще живет под гнетом капитализма, и студентам-неграм, зажатым в тиски расистской тирании, опутанным паутиной религиозной благотворительности.

Однако ученики школы-семилетки, с которыми я беседовал в другой раз, не удовлетворились лишь словесным приветствием. Они собрались на залитом солнцем дворе у школьного крыльца и принесли с собой очень красивую стенную газету на туркменском языке — они сделали ее сами и хотели, чтобы я отвез ее в далекую Америку в подарок американским пионерам.

Я никогда не забуду это море детских лиц у крыльца — желтых, коричневых, белых лиц детей Туркменской Советской Социалистической Республики, учащихся школы на краю пустыни. Я не забуду, как больше часа они расспрашивали меня о дальних странах, так непохожих на их страну, где дети рабочих голодают, мерзнут, не могут учиться, в то время как у других детей есть все. Как же так, спрашивали они, еды много, а люди голодают? И неужели в Америке сжигают пшеницу, лишь бы не продавать ее дешево? Почему линчуют негров? И почему бастующих рабочих бросают в тюрьмы? И неужели правда, что в Америке есть электрический стул?

Когда все вопросы были заданы, вперед вышел мальчуган и вручил мне стенную газету с ярким революционным солнцем вверху, которую я должен был передать от них американским пионерам. Потом я уехал, но еще долго слышал их звонкие голоса — они желали мне счастливого пути.

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК

Франция

Из книги
«Новая Россия»,
1937 г.

ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК (псевдоним; настоящее имя — Шарль Мессаже, 1882—1971) — видный французский поэт, прозаик, драматург. Сын коммунара, издателя Анри Мессаже. Входил в группу «Кларте», был близок к Р. Роллану, один из основателей журнала «Эроп». Автор многих произведений, в том числе популярных во Франции романов для юношества «Розовый остров», «Колония» и др. В период Сопротивления Ш. Вильдрак сложил гимн свободе «Париж, 1943». В 1929 г. впервые посетил СССР. С симпатией рассказал о советской действительности в книгах «Новая Россия» (1937), «Страницы дневника, 1922—1966», в статье «Пятьдесят лет» (1967) и др. выступлениях. На русский язык переведены его драма «Пароход «Тинэсити», повесть «Демобилизованный», стихи в переводе И. Эренбурга.

Спешу оговориться: среди посетивших СССР французов «стопроцентные парижанки» и узколобые свинцовозаводчики составляют меньшинство. Но какое бы общественное положение они ни занимали, люди, совершившие путешествие в Москву, принадлежат к числу избранных — любопытных, попирающих предрассудки, даже отважных, потому что перед отъездом их двадцать раз спрашивали: «Неужели вам не страшно?»

Почти все они легко поддаются впечатляющей силе очевидности, многие чувствуют себя обезоруженными и приходят в восторг (я говорю не о тех, кто и прежде сочувствовал Советской стране, не о ее принципиальных приверженцах и не о снобах).

И верно, надо обладать очень уж черствым сердцем, очень ограниченным умом, очень большой предвзятостью, чтобы оставаться равнодушным перед лицом этого обновления, которое совершается с таким героизмом и самоотверженностью.

Можно ли взирать холодным оком на дерево, распускающее навстречу апрельскому небу тысячи нежных листочков, на ребенка, прилежно выводящего первые буквы, на большой корабль, который пускается в море под всеми парусами? Можно ли не вдыхать полной грудью пьянящий аромат скошенной травы? Можно ли затыкать уши, когда самые давние надежды человечества поют звонкими голосами двадцатилетних?

Почти все, кто возвращается из СССР, при всех оговорках, скажут вам, что они испытали на себе целебное воздействие молодости, разума, душевной щедрости; что на миг они почувствовали себя свободными от груза мелочных расчетов, привычных мелких дел.

Ибо, по слову Горького, в Советском Союзе нет малых дел, есть одно великое дело, которое делается сообща. Каждый маленький человек — участник великого созидательного дела; и самый мелочный ум поневоле оказывается захвачен бурным течением великого потока.

Это величие и эту мощь лучше всего ощущаешь, когда, вернувшись домой, снова попадаешь в старый, больной мир, в его спертый воздух, в замедленный ход его жизни, а главное, снова окунаешься в буржуазный дух — в том смысле, в каком употреблял это слово Флобер, определивший буржуа формулой: «тот, кто мыслит низменно».

Глупость — печальное зрелище; но еще прискорбнее зрелище умственной ограниченности, лености и претенциозности.

Когда мне приходится беседовать со многими моими соотечественниками, у меня возникает ощущение, будто мы с ними расположились на удобном и со вкусом изготовленном ковре. Мы можем обмениваться слегка отличными одно от другого мнениями о недавно выпущенном романе, о достоинстве вина или новой пластинки, о таланте такого-то художника или такой-то актрисы. Нередко мы можем похвалиться полной гармонией взглядов; но все это лишь до тех пор, пока не переступим края ковра, который является общей меркой наших взглядов, наших вкусов, нашей культуры. Увы! Ковер невелик, иногда мы внезапно замечаем, что нам на нем тесно. Злободневные политические события и тревоги, которые невозможно обойти молчанием, очень скоро увлекают меня за пределы, ограниченные красивой бахромой. И стоит мне сделать хоть шаг с ковра, как тут же между мною и моими собеседниками возникает глубокий ров, который невозможно засыпать.

Не всегда я схожу с ковра умышленно. Порой меня к этому принуждают, например заводя разговор о Советской России. Касаясь этой темы, культурные люди вдруг начинают рассуждать на уровне отставных маркитантов; их вопросы свидетельствуют о вопиющем невежестве (скорее всего, сознательно культивируемом), об отказе от всякого критического подхода к делу, о слепой доверчивости ко всякой лжи, ко всяким нелепицам, которые я легко могу опровергнуть.

Никто, разумеется, не сомневается в моей правдивости, но совершенно ясно, что мне ни на грош не верят. Я, по меньшей мере, человек наивный, меня обвели вокруг пальца, мне показали лишь то, что сами хотели. От Ленинграда до Батума передо мной разыгрывали комедию, ведь всем известно, что русские — превосходные режиссеры. Например, в Киеве, кажется, действительно имеется электрическое освещение, но ведь оно работает только в те дни, когда через город проезжают иностранцы. Как? Они проезжают каждый день? Это совершенно неправдоподобно и уж во всяком случае невозможно проверить.

Глупость, как и сообразительность, может процветать в различных сферах. Послушав своих гостей, я лишний раз уверился в том, что существует классовая глупость, тесно связанная с классовыми интересами. Чем иллюзорнее интересы, тем больше глупость. Ведь когда человек обманывается или позволяет обманывать себя там, где дело касается его личных интересов, он уже проявляет глупость. Если эти буржуа не верят, зачем же они меня расспрашивают? А затем, что надеются получить неблагоприятные сведения — единственное, что они готовы принять, когда речь заходит о Советском Союзе...

Так вот, в нашей стране, где имеется куда больше людей, уважающих собственность, чем уважающих личность, где граждане охотнее жертвуют жизнями своих сыновей, чем своим кошельком, большая часть вопросов, задаваемых путешественнику, вернувшемуся из Москвы, касается заработка советских людей, их имущественного положения, сравнительной возможности для них накапливать деньги, покупать, торговать, наследовать — словом, касается той великой свободы, которая озаряет капиталистический мир: свободы обогащаться.

Так значит, сказала мне одна растревоженная старая дама, там больше нет денег, не правда ли? Кажется, там платят талонами на хлеб, мясо или обувь?

Я извлекаю из кошелька хорошенькую, светлую пятнадцатикопеечную монетку, которая завалялась у меня в кармане. Ее обследуют с оторопелым видом и обнаруживают на ней серп и молот — какой ужас! Однако я чувствую, что эта эмблема освобожденного труда обретает в их глазах некоторый престиж, поскольку она фигурирует на денежном знаке. Если бы монета была золотая, она показалась бы вполне респектабельной.

— И... можно зайти в магазин и купить на эти деньги что хочешь?

Бедная старая дама! Если бы я ответил, что для этого требуется заявление с печатью на имя Сталина, она бы мне поверила!

— Знаете, что мне понравилось в Советском Союзе? — говорю я.— Там почти никогда не услышишь разговора о деньгах. С тех пор как я вернулся, мне кажется, что у нас ни о чем другом и не говорят.

— Они, наверное, рады были бы об этом поговорить, как им, беднягам, было бы приятно!

Я отказываюсь от намерения объяснить, на чем основано благосостояние «бедняг» и их уверенность в завтрашнем дне, и ограничиваюсь тем, что рассказываю одну историю.

В Одессе, на киностудии, я видел группу молодых людей, украинцев и русских, которые хохотали во весь голос, окружив французского кинорежиссера Ж. Л., а тот, склонившись над номером одной большой парижской газеты, переводил советским товарищам брачные объявления вроде такого: «Девица 26 лет, приданое 230 000 франков, готова сочетаться браком с хорошо воспитанным господином соответственного возраста и имущественного положения...»

Молодые люди не могли себе представить, что существуют подобные нравы и что брачный союз может быть основан на таких коммерческих соображениях. Они думали, что Ж. Л. их разыгрывает, и ему пришлось обратиться за подтверждением к другому переводчику, русскому, говорившему по-французски.

— Ну, и что это доказывает? — начал один господин.— Я знаю людей, поженившихся таким путем, и они счастливы не хуже прочих. Но вашим большевикам хорошо смеяться, они упразднили брак и разрушили семью!

Я вяло возражаю, и внезапно меня охватывает прилив ярости против самого себя. Зачем я так упорно стараюсь прочистить мозги этим людям? Лучше уж посадить на колени собачонку и вычесывать из нее блох. Та, по крайней мере, не станет сопротивляться. Она не питает такой страстной любви к своим блохам.

— Все равно я им не завидую,— вздохнула, пудря нос, молодая женщина.

Я молчу. Продолжать спор бессмысленно.

И я отвечаю самому себе:

— Придет время — позавидуете!

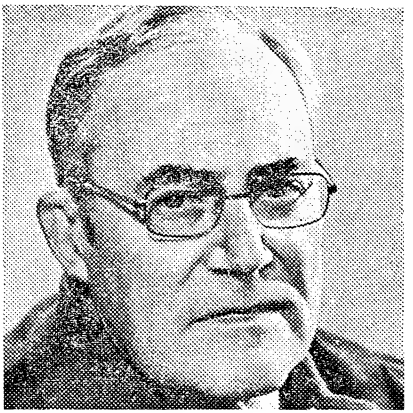
Перевод с французского С. БРАХМАН

(Продолжение следует)

К МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

«В преддверии международной писательской встречи в Софии «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры», в канун 60-летия Октября приглашаем Вас поделиться на страницах журнала «Иностранная литература» Вашими впечатлениями и мыслями о том, что способствует и что препятствует сегодня установлению в мире климата доверия и сотрудничества, как представляете Вы себе роль писателя в утверждении идей и духа Хельсинки».

Это обращение редакция адресовала ряду советских писателей. Ниже мы публикуем часть полученных ответов.



Вадим Кожевников

Сначала определим точку отсчета. Во все исторические времена, при любых политических и социальных обстоятельствах подлинное искусство, подлинная литература служат целям гуманистического прогресса и блага человечества. Этот критерий был и остается решающим. Без гуманизма нет настоящей культуры, а есть мнимая культура, антикультура, маскирующаяся под настоящую и использующая особенности воздействия на человеческий разум, присущие художественному творчеству, во зло искусству, культуре, человеку.

Я мог бы привести многочисленные примеры, но вряд ли они необходимы. Весь исторический опыт свидетельствует: искусство и борьба за гуманистические идеалы неразделимы. Сегодня же, как никогда, борьба за гуманизм — это борьба за мир, за социальный прогресс, за решение огромных и сложнейших проблем, возникших перед

Беседа, записанная нашим корреспондентом.

человечеством. И поэтому софийскую писательскую встречу мы вправе рассматривать как одно из больших событий международной жизни, как вклад в дело мира и как новый шаг по пути укрепления мира и взаимопонимания между народами. Ведь прогресс настоящей культуры неотделим от социального прогресса и от судеб человечества в наше великое время.

Надо ли повторять, что величайшее зло в мире — это война и что угроза войны сохраняется до тех пор, пока сохраняется эксплуатация человека человеком. В мире существует справедливое и несправедливое общественное устройство, существует мир социализма и мир капитализма; мир, где отвергают войну и насилие, и мир, где войну и насилие считают «естественной нормой» бытия, потому что закон такого мира — эксплуатация человека человеком. Так вот, какие бы явления художественной культуры за всю историю человечества мы ни взяли, нет среди них, если это только на самом деле явление художественной культуры, ни одного, которое служило бы социальным кругам, связанным с интересами войны, с интересами эксплуатации. Потому что против подобных целей восстает сама природа литературы и искусства.

Международная встреча деятелей культуры, писателей, которая будет проходить в Софии, отвечает самым коренным интересам человечества. И понятно, что речь на этой встрече пойдет не только об искусстве. Речь пойдет о борьбе за мир и лучшее будущее планеты, против эксплуатации, против применения насилия в любых его формах. Это будет встреча активных борцов за осуществление гуманистических идеалов. И с трибуны софийской встречи, несомненно, прозвучит протест против всего, что угрожает судьбам человечества, интересам человечества, истинной культуре и цивилизации.

Очень важно, что софийская встреча проходит в преддверии конференции в Белграде, где представители правительств 33 стран подведут первые итоги практического осуществления политики разрядки, закрепленной в Заключительном акте, подписанном в Хельсинки. Все мы знаем, что благотворные перемены, которые вопреки стараниям разного рода клеветников и мастодонтов «холодной войны» все-таки происходят в мире,— это прежде всего результат целеустремленной и последовательной политики нашей страны и всего мира социализма.

Наша страна уже находится на стадии развитого социализма, зрелого социализма. Об этом говорил Леонид Ильич Брежнев в своей замечательной речи на XVI съезде профсоюзов. Вдумаемся в этот факт: мы окончательно построили систему развитого социализма в нашем государстве. Ведь это величайший триумф, самое главное позитивное событие в истории человечества. Мы построили систему развитого социализма, охватывающую все аспекты жизни общества и создающую необходимые условия для дальнейшего его всестороннего развития как в смысле экономическом, материальном, так и в смысле духовном, нравственном. У нас огромные экономические, моральные, духовные возможности и огромные силы для того, чтобы реализовать эти возможности в колоссальных масштабах. И мы последовательно добиваемся осуществления задач всестороннего прогресса — не только своего общества, но и всего человечества. На XXIV съезде КПСС была выдвинута Программа мира, на XXV съезде она получила дальнейшее развитие. Программа мира — это призыв, обращенный к каждому человеку земли, ибо в конечном счете от доброй воли людей, от их единства и от их упорства зависит, чтобы положения этой программы стали реальностью.

Выдвигая Программу мира, наша партия исходила из реальных перспектив исторического развития, определенных, в первую очередь, достижениями Советского Союза и других стран социалистического содружества. Наша Программа — не просто прекрасная мечта, а конкретный путь к достижению величайшей гуманистической цели человечества. Только социализм способен превратить нашу планету в мир, где никогда не будет войн. Это одна из главных исторических задач нашего общественного строя. Об этом говорил Ленин.

Не приходится удивляться, что борьба за реализацию Программы мира, которая связана также с осуществлением принципов хельсинского документа, встретила яростное противодействие как раз тех кругов, которые стоят на позиции применения силы. И их интересы, их благополучие, их всевластие зиждутся на эксплуатации человека человеком, которую мы считаем антигуманной и враждебной каждому человеку, всем трудящимся мира.

Если страны социалистического лагеря, в первую очередь Советский Союз, вступили в период развитого социализма, достигнув зрелости своих экономических, оборонных, политических и идеологических сил, то мир капитализма переживает сейчас колоссальные потрясения экономического кризиса. А экономический кризис вызывает и политические потрясения. Ибо что такое экономический кризис? Это инфляция, это безработица, это затормаживание производства, дороговизна, страшные беды, которые обрушиваются на трудящихся.

Вот, например, США — богатейшая страна капиталистического мира. Зима в этом году была за океаном необычайно холодная, люди умирали, оставшись без теплой одежды и топлива, а правительственные чиновники, толкуя об энергетических трудностях, отказывались помочь нуждающимся, спасти замерзающих. Характерный пример!

Если разобраться, все ведь здесь упирается в нормы жизни эксплуататорского общества и далее — политику. Бывшие колонии, как известно, повысили цены на нефть, отстаивая свои законные интересы, а капиталистические страны использовали ситуацию экономического кризиса и даже погодные условия для того, чтобы, обрекая неимущие слои на прозябание в прямом и переносном смысле, поощрять расистские и шовинистические настроения, отвлекая внимание людей от истинных причин сегодняшнего катастрофического положения, в котором повинен капитализм. Это ли не пример?!

Стремясь затормозить процессы разрядки и оздоровления международного климата, реакция пустила сейчас в ход весь арсенал антисоветской, антикоммунистической пропаганды. Советские люди, а также трудящиеся западных стран понимают, что, по существу, это даже и не идеологическая борьба, а самое вульгарное экономическое хищничество. На Западе немало людей, готовых на любые акции, лишь бы не прекращался рост вооружений, благодаря которому такие люди получают баснословные прибыли. Их меньше всего интересует удовлетворение материальных нужд широких слоев трудового населения. Их нисколько не заботит растущая опасность для будущего планеты. Люди ведь не могут питаться ни порохом, ни нитроглицерином, им не нужны сверхдальние бомбардировщики и ракеты стратегического назначения, чтобы ездить друг к другу в гости. Но им, обычным людям, трудящимся, как раз и приходится оплачивать производство этих ракет и бомбардировщиков из своего кармана. Налоги-то ведь платит трудовое население. И выходит, что при капитализме люди должны оплачивать производство средств массового уничтожения людей. Военно-промышленный комплекс, удерживая командные высоты в капиталистическом обществе, подчинил всю жизнь этого общества непрерывной и все усиливающейся гонке вооружений. Его «капитаны» лишают людей жилищ, школ, больниц. И, конечно, для них очень важны очаги военной опасности в мире — на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Ведь война — это покупатель, который платит втридорога за их продукцию.

Вот что происходит в мире.

Мы кровные враги таких «коммерсантов». Мы — это не только советские люди, а все те, кто говорит — нужно реализовать программу Хельсинки, принципы невмешательства во внутренние дела, разоружения, мирного сосуществования. А «коммерсантам» это невыгодно. Им выгодно разжигание конфликтов, возврат к «холодной войне», потому что с «холодной войны» они получают сверхприбыли. И мирное сосуществование их никак не устраивает. Ведь им тогда придется производить товары, которые удовлетворяют насущные нужды трудового народа. Но это дело недоходное. Они выпустят несколько штук, предположим, стратегических бомбардировщиков Б-1 и заработают гораздо больше, чем если построят дешевые квартиры для рабочих.

Послушать таких господ — у них только и заботы что о правах и свободах. А как на самом деле? Они разжигают в мире военный психоз, а ведь важнейшее из прав человека — это право на жизнь, на мирное существование, на спокойствие за свое завтра.

Другое важнейшее право человека — это право на труд. А как оно осуществляется на Западе, мы хорошо знаем. Каждый день людей вышвыривают на улицу, оставляя без средств к жизни. Безработица — хроническая болезнь западного мира.

Пойдем дальше. Сегодня много говорят о политических свободах. Что ж, мы знаем, что американских студентов, которые раздавали прохожим текст конституции США, стали арестовывать. За что? За то, что они напомнили о правах и свободах, которые существуют только на бумаге, а в жизни так и остаются неосуществленными со времен Линкольна. А в странах социализма права, гарантированные конституцией, полностью осуществлены. Это и есть истинное человеческое право и истинная свобода. Реальный социализм — это когда все, что отвечает великим гуманистическим идеям, отвечает и интересам общества. Такой социализм мы построили, и наше общество — первое в истории общество, где действительно осуществлены неотъемлемые демократические права каждого человека.

И никогда мы не будем понимать права человека так, как их, к примеру, понимают неонацисты в ФРГ, которые, ссылаясь на Хельсинки, требуют освобождения из тюрьмы фашистского преступника Гесса. Лицемерно требуют осуществления прав человека от нас в то время, когда из девятнадцати документов ООН, связанных с правами человека, США, например, подписали только три, а шестнадцать до сих пор не ратифицировали. Помогали, пустив в ход машину ЦРУ, свергнуть в Чили законного президента страны, избранного демократическим путем, ни о каких правах человека при этом и речи не было. А когда на его место поставили убийцу Пиночета, то его, видите ли, нельзя назвать палачом, потому что это ни много ни мало «попрание демократических свобод». Запрещают (в Швеции) проституцию подросткам до пятнадцати лет, а с пятнадцати — пожалуйста, это тоже «право человека». Чудовищно!

Мы собираемся на нашу софийскую встречу в дни, когда обостренно протекает столкновение правды и лжи, передовых и реакционных сил, сторонников мира и возлюбивших войну, борцов за прогресс и политиканов, мечтающих и дальше нагнетать

напряженность и психоз, отравляя атмосферу на планете. Писатель сегодня вновь в центре этой схватки, и он должен четко определить свою позицию. Долг перед людьми, перед гуманизмом, перед общечеловеческой культурой обязывает художника выступить на стороне сил мира и прогресса.

Я убежден, что софийская встреча ознаменуется достойным вкладом в дальнейшее развитие традиций гуманизма и величайших идеалов, требующих от каждого честного человека земли отстаивать право на жизнь и право не быть эксплуатируемым рабом.

Прекрасно, что встреча состоится на земле Болгарии. Болгарский народ, быть может, как никакой другой, принес огромные жертвы, веками отстаивая свою национальную независимость, и знает настоящую цену таким словам, как «свобода», «гуманизм», «прогресс».

Я вспоминаю, как в 1944 году, еще до прихода Советской Армии, я попал в Болгарию и мне удалось встретиться со всеми наиболее известными писателями Болгарии, деятелями культуры и искусства. Все они были безгранично преданы освободительной борьбе, которую болгарский народ вел против фашизма, завоевывая независимость и право на свободное социалистическое развитие.

Когда я вернулся в Москву, меня пригласил Георгий Димитров и стал расспрашивать, как в Болгарии. Я называл ему писателей, с которыми встречался, рассказывал о наших разговорах. И он с гордостью сказал мне: «Видите, какая замечательная у нас художественная интеллигенция, ею можно гордиться!» Это сказал человек, чьим героизмом и благородством гордится весь мир. Традиции этого поколения болгарской художественной интеллигенции свято хранят деятели культуры сегодняшней Болгарии, и закономерно, что именно они выступили инициаторами международной писательской встречи, посвященной такой огромной и ответственной теме, как писатель и дело мира.

Валентин Распутин

По моему мнению, не существует ничего, никаких объективных или субъективных причин, которые могли бы всерьез помешать писателям самых разных стран, разных направлений и верований быть вместе и понимать друг друга в своей службе единому богу — правильному и возвышенному воспитанию человеческой души. Отсюда и одна из главных задач литературы — борьба за мир и человеческое благоденствие, ибо души наших читателей должны воспитываться для счастья, а не для страданий, для труда, а не для бессмысленных битв. По сути своей, каждый честный писатель, даже если он и не является общественным деятелем, служит этой задаче. Только человеколюбие и миротворческое сердце, только талант, исполненный самых лучших побуждений, и дают нам право называться писателем. Никогда еще искусство словом и звуком своим не могло заглушить взрыва бомб, но отвратить человека даже от самого понятия «война», сделать все, чтобы предупредить ее, искусство, кажется, в состоянии, по крайней мере, оно обязывает нас ставить перед собой такую задачу.

Писатель в наше время не может быть внесоциален — это значило бы жить в совершенно замкнутом пространстве и не видеть того, что происходит вокруг. Гражданственность, идейная убежденность и есть в конечном счете то, что направляет наше перо. Для меня понятия гражданственности, идейной убежденности неотделимы от того, что мы называем писательской совестью, сознанием своей правоты. В том же, что касается вопросов войны и мира, наша совесть и наша правота не могут расходиться, в каком бы обществе мы ни жили и к каким бы идеалам ни стремились.

Агния Барто

Есть у нас такая Ассоциация — деятелей литературы и искусства для детей [1]. По сложившейся традиции писатели, художники, композиторы, педагоги-психологи, возвращаясь с международных конгрессов, зарубежных совещаний, делятся своими мыслями и впечатлениями. И вот, когда обобщаешь их высказывания, насыщенные конкретными фактами и отзывами печати, то создается самое благоприятное представление о контактах между деятелями литературы и искусства разных стран. Конечно, на таких совещаниях нередко сталкиваются мнения, возникают пылкие споры, но на основании многочисленных встреч членов Ассоциации я с уверенностью и радостью говорю: «У нас много друзей и единомышленников!»

Берусь быть провидцем — у иного читателя обязательно возникнет такая мысль: «Ведь это естественно, что, например, у детских поэтов добрые отношения с их коллегами. Они же далеки от острых вопросов современности, далеки от социальной темы, пишут для детишек».

Не буду останавливаться на том, что в наши дни поэту детскому недостаточно обладать счастливым даром юмора и наивной лирической интонацией. Владея всеми этими качествами, он современен лишь в том случае, если для взволновавшей его социальной мысли находит поэтическую форму, способную взволновать и его читателя. Или хотя бы пробудить эту мысль в детском сознании, чтобы она могла расти в душе ребенка вместе с ростом его самого. Конечно, поэт должен быть для этого подлинно талантливым и подлинно детским. Необходимость социальной направленности в литературе и искусстве для детей ныне ощущают мастера культуры в разных странах. Думается, что именно это в немалой степени способствует нашим дружеским связям.

И еще объединяет нас все нарастающее глубокое беспокойство о будущем детей мира. Их воспитание сейчас называют проблемой номер один. Прозаики, поэты, деятели искусства в своих выступлениях неустанно говорят о проблеме, которую я бы назвала тревогой номер один. Говорят о ней в течение многих лет. А тревога, если она становится привычной, притупляется, что тем более опасно.

Когда я читаю о стремительном росте преступлений среди малолетних в некоторых капиталистических странах, я неизменно вижу перед собой нарядные киоски, увешанные книжонками в ярких, заманчивых обложках. Под их крикливой пестротой — гангстерские истории, кровавые драки, смертоубийства. Один из нынешних героев — гигантская горилла, которая уносит и душит людей, но остается неуловимой, безнаказанной.

Вот бы рядом с цифрами все растущих тиражей этого ядовитого чтива, уничтожающего само понятие нравственности, поставить цифры роста детской преступности. Убедительная была бы статистика!

Ребенок, в душу которого вошла истинная, глубоко человечная поэзия, гораздо менее восприимчив к разлагающему влиянию псевдолитературы. Поэзия — сильное противоядие! По счастью, любовь к ней дана почти каждому ребенку самой природой. Но если не развивать врожденное чувство поэзии, оно может заглохнуть, что и происходит в тех странах, где издатели фактически отказались от стихов для детей. Говорят: печатать их невыгодно, спрос на них в последние годы сильно упал. Однако в «выгодных» книжонках, проповедующих войну, расовую неприязнь, голая фабула

[1] Ассоциация Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Агния Барто — президент Ассоциации (*прим. ред.*).

бывает нередко изложена в стихотворной форме, видимо, в расчете на маленьких детей. На чашах весов оказываются совсем разные ценности: на одной — материальная, на другой — духовная. В итоге прибыль оборачивается огромным убытком — ущербностью детской души.

Мутная псевдолитература вытесняет не только поэзию, она вообще отучает детей читать книги. Австрийские педагоги с горечью рассказывали мне, что многие дети, привыкнув листать, просматривать «убийственные» книжонки, где сюжет понятен и без всякого текста, отказываются учиться читать.

Думается, что предстоящая международная встреча писателей в София вызывает у каждого из нас большие ожидания и надежды — так велик и значителен ее девиз «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры». Одна из моих надежд, связанных с духом Хельсинки, такая: пусть представительнейший форум скажет свое веское слово, гневно осудит ядовитое чтиво, которое растит потенциальных убийц вопреки бесчисленным протестам, звучащим со всех концов земли. Сколько усилий прилагает Советский Союз и все прогрессивное человечество, чтобы жить без войн, насилия, жестокости! Но как же смогут понять друг друга грядущие молодые поколения разных стран, если в одной стране они будут воспитаны в духе гуманизма, а в другой чистота детской души будет подвергаться растлению? Нет, независимо от того, к какой социальной системе принадлежит страна, основой воспитания всех детей планеты должен стать подлинный гуманизм как одна из главных общечеловеческих ценностей.

Надеюсь я и на то, что голос виднейших мастеров культуры поможет жизнеутверждающей, высоконравственной поэзии для детей, оказавшейся в иных странах на положении Золушки, занять свое достойное место в мире детства.

Юрий Трифонов

Счастливая мысль: собрать писателей в Болгарии, и пусть они говорят о чем хотят. О своих книгах, о чужих книгах, о разных писательских проблемах, о мире, о женщинах, о том о сем. Писателям иногда хорошо собраться вместе и кое о чем поговорить. Но главное, вот что замечательно: то, что догадались соорудить такую встречу в Болгарии! Приветствую от всей души. Ведь Болгария — красивейшая страна. И очень доброжелательная. Кроме того, Болгария сильно настрадалась в течение веков и хорошо знает цену миру. Если уж говорить о мире. Потому что пятьсот лет чужеземного ига — это пятьсот лет скрытой, вязкой, глухой, неизбывной, вечной войны. Войны на уничтожение души народа. Болгары вросли своими церквами в землю, выстояли, переборoли, пережили. Ровно сто лет назад с русской помощью произошло освобождение, но память о борьбе, о жертвах в народе жива, я бы сказал, необыкновенно и поразительно жива. Пожалуй, нет другого народа, который бы так ясно, с такой свежей силой помнил бы то, что случилось в его судьбе сто лет назад. Разве мы, русские, так уж крепко помним события русско-турецкой войны? Ведь столько всего было потом! А французы помнят ли хорошо Коммуну? Американцы — войну Севера против Юга? Помнят исторически, литературно. Для болгар же война 1877—1878 гг.— живая плоть памяти, будто пережита нынешним поколе-

нием. Такое у меня впечатление от разговоров с людьми, так бережно хранятся здесь памятники столетней давности, их много по всей стране.

Свержение пятисотлетнего ига, конец пятисотлетнего отсутствия мира — это то, что забудется лишь через пять тысяч лет...

Мы чересчур много говорим о мире. Но мы не виноваты. Очень много: мир! мир!.. Война — войне, мир — миру!.. Но мир — это ведь не просто отсутствие войны. Не просто пора, когда пушки не стреляют и самолеты не сбрасывают бомб.

Мир, к которому человечество тайно ли, открыто, сознательно или бессознательно стремится,— это какой-то высший покой, высшая гармония, воздух. То, чего мы не должны замечать. О чем не должны говорить. Мы же не говорим постоянно: как прекрасен воздух! Как чудесно, что мы дышим! Благо мира мы ощутим тогда, когда перестанем о нем думать и говорить. А пока ощущаем недостаток мира на земле, как недостаток кислорода — по временам задыхаемся...

Но ведь это зависит от всех нас: сделать так, чтобы наконец не надо было говорить о мире!

(Окончание следует)

◆

ДЖОУН МАРБЛ КУК

В ЗАЩИТУ HOMO SAPIENS

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

Самое находчивое и умное существо, которое когда-либо ступало по нашей маленькой планете, заблудилось на своем жизненном пути, став жертвой не злых богов или жестокой природы, но своего собственного пессимизма и мрачных мифов, сочиненных им о себе самом. Человек, изощряя свой ум, старается всячески умалить себя в собственном мнении; он теряет веру в то, что он властен над собственным будущим, и это ставит под угрозу само его существование. Откуда это самоуничижение? Откуда это опасное неверие в себя? Кто виновники этого поветрия? Ученые, политики, проповедники? И те, и другие, и третьи, а также все прочие, кто, ссылаясь на Библию или на последние данные науки, с ярмарочной назойливостью навязывают человеку убеждение, будто он не что иное, как «голая обезьяна», «дитя Каина», «неразумное животное».

Пора развеять эти мифы, ибо они распространились в нашей современной действительности подобно коварной эпидемии и повсеместно внушают образованным людям мысль о том, что они больше не в состоянии направлять и планировать развитие общества, в котором живут.

Симптомы этой болезни многочисленны и очевидны.

Прилавки книжных магазинов завалены трудами зоологов, антропологов и научных популяризаторов, которые с притворной тревогой утверждают, что человек — это опасное животное, инстинктивно стремящееся к господству, к захвату территории, к агрессии. Популярные фильмы и постановки насквозь пропитаны насилием и садизмом; прежние табу, воспрещавшие прославлять торжество зла, теперь сняты.

В политической сфере все возрастает взаимное недоверие между правителями и управляемыми. Управляемые подозревают, что их политические лидеры своекорыстны и не заслуживают доверия, а правители весьма презрительно и высокомерно обращаются со своими гражданами, требуя от них безропотного послушания.

В мире бизнеса подлинные человеческие ценности тоже повседневно вытесняются культом алчности и своекорыстия.

За последние годы писатели псевдоантропологического направления, проповедующие, что человек — это всего-навсего «голая обезьяна», охотник, захватывающий территорию, или «дитя Каина», завоевали прямотаки поразительную популярность. Их книги написаны живым языком, сдобрены пикантными интимными подробностями и намеками на то, что в недрах нашей души таится зло, и мы проглатываем все это некритически, внутренне содрогаясь от зрелища столь глубокого принижения нашей природы. При этом далеко не все мы отчетливо сознаем, что пессимизм авторов, изображающих человека в виде злого животного и делающих упор на бессознательных импульсах, представляет собой прямую угрозу некоторым из наших заветных общественно-политических идеалов. Ведь философия, проповедующая, что агрессивность заложена в человеческих генах, поощряет

© Joan Marble Cook, 1975.

граждан к отказу от ответственности за свое собственное поведение. Совершая дурные поступки, они возлагают вину на сидящего в них зверя; они-де поступают честно, тогда как другие, более достойные, люди просто-напросто лицемерят. На национальном же уровне группы людей, уверовавшие в то, что другие группы готовы идти убивать их ради захвата территории или ради установления своего господства, являются потенциальными сторонниками превентивных войн.

Человек — всего лишь животное. С этого обычно начинают популяризаторы зоологической концепции. Однако как только автор принимается рассуждать о «человеке-звере», читателю следует проявить максимальную осторожность, поскольку аналогия с диким зверем бывает на руку тем, кто пытается протащить — не прямо, так косвенно — мысль, будто единственное средство социального регулирования поведения людей — это высокие заборы, подслушивающие устройства и ружья.

Одним из первых использовал в политике сравнение человека со зверем известный английский философ Томас Гоббс. Гоббс боялся людей, не верил в человеколюбие ближних и был глубоко убежден в том, что управлять людьми и держать их в узде можно только в условиях абсолютной монархии.

Когда в 1640 году Гоббс увидел, что Англия находится на грани гражданской войны, а королю угрожает опасность, он выступил за расширение власти государства и суверена, надеясь приостановить развитие революции. С этой целью он издал за собственный счет пространный труд о природе человека, в котором доказывал, что человек от рождения груб и звероподобен и что всю свою жизнь он проводит в непрестанной борьбе против своих ближних.

Аргументы Гоббса в пользу могущественной монархии не возымели желаемого политического действия; несмотря на его заклинания, революция победила, а король был обезглавлен. Гоббсу пришлось бежать во Францию и искать защиты у французской короны, пока не улеглись бури в Англии.

Мысли Гоббса о природе человека и политике положили начало диалогу, который продолжался потом из поколения в поколение, ибо Гоббс был первым социальным мыслителем, который встал на подлинно научный путь, отвергнув идею внешней божественной силы в качестве источника права и морального долга в обществе. Нормы общественной жизни, утверждал он, должны исходить не из идеи бога, а из потребностей и способностей людей. Таким образом, Гоббс прочно увязал социальное планирование с природой человека. К сожалению, его представление о человеческой природе было столь же пессимистичным, сколь и неверным. Хотя, по утверждению Гоббса, он трактовал о «естественном» человеке или о «человеке в естественных условиях», в действительности он почти ничего либо вовсе ничего не знал о первобытном человеке. Человеком, о котором рассуждал Гоббс во всех своих писаниях, был его современник-англичанин, продукт общества с высоким уровнем предприимчивости и конкурентной борьбы.

Глубочайшее влияние на представления о человеке «в естественных условиях» оказали исследования Чарлза Дарвина. Выдающийся популяризатор учения Дарвина естествоиспытатель Томас Генри Гексли писал в своем труде «О месте человека в природе»: «Как только мыслящие люди избавятся от шор традиционных предрассудков, они поймут, что неблагородное происхождение человека является лучшим доказательством величия его способностей, и признают, что его долгий прогресс на протяжении прошлого позволяет с полным основанием верить в достижение им благородного будущего».

Некоторые авторы, писавшие после Гексли, не признали облагораживающего характера этого урока эволюции и ухватились за Дарвинову идею естественного отбора для объяснения жестокого поведения в сферах бизнеса и политики, более того, для его *оправдания*. Самыми злостными среди этих вульгаризаторов были так называемые социал-дарвинисты, которые выступили ближе к концу девятнадцатого века с утверждением, что победившие в борьбе за существование не только являются наиболее приспособленными, но и обладают моральным превосходством над прочими, ввиду чего они избавлены от необходимости беспокоиться о несчастных, потерпевших неудачу в жизненной борьбе. Бедняки, уверяли социал-дарвинисты,— это никчемные, никудышные, пропащие люди, вполне заслуживающие судьбы, уготованной им природой.

Милитаристы той эпохи воспользовались этой идеей в своих собственных целях, и вскоре на вооружение в странах Запада были взяты оголтелые утверждения, что благодаря войне нации не впадают в спячку и что выживут только те нации, которые делают ставку на могущество, силу и имперскую политику.

Часто прибегал к аналогии с законом джунглей немецкий философ и историк Освальд Шпенглер, который писал в 1933 году («Годы решений»): «Человек занимает столь высокое положение благодаря тому, что он принадлежит к классу хищников... Его жизненное занятие — агрессия, убийство, уничтожение. Для него существовать — значит стремиться к господству... Человек — хищный зверь. Я буду повторять это снова и снова. Поборники добродетели, апостолы социальной этики — такие же хищники, только со сломанными зубами».

И вот теперь, через сорок с лишним лет, Шпенглеру мрачно вторит целая когорта научных популяризаторов, сделавших своим символом веры убеждение в зловещем родстве человека со свирепыми животными. «Мы — каиновы дети»,— возвещают они. Или: «Человек — это хищник, наделенный природным инстинктом убивать». (Обе цитаты взяты из книги Роберта Ардри

«Африканское происхождение».) При этом они идут дальше Шпенглера, заверяя, что их теории основываются не на исторических параллелях и не на собственных предвзятых суждениях, а на абсолютно новых и объективных научных данных. Их книги пестрят сведениями о периоде течки у шимпанзе, объеме мозга австралопитека и общественных повадках диких гусей, причем само обилие приводимых фактов призвано свидетельствовать о внимании авторов к эмпирическим данным и о небывалой широте их научной эрудиции. Читатель, не сведущий в антропологии, археологии и приматологии, и не подозревает, сколько ядовитой дезинформации ему при этом подсовывают.

Ученые-специалисты, которым известно истинное положение вещей, недостаточно энергично оспаривают этих популяризаторов. Сидят ли они в тиши своих кабинетов и лабораторий или скитаются по саваннам Кении, у них, по-видимому, нет ни времени, ни терпения, чтобы читать популяризаторские книжки. Когда же они все-таки снисходят до ответа, их негромкие протесты чаще всего оказываются погребенными среди множества публикаций в каком-нибудь ученом журнале, читаемом только их коллегами.

Таким образом, широкому читателю нелегко узнать подлинную правду, а популяризаторы снова и снова внушают ему, что человек есть не что иное, как злобное животное, склонное к захвату территории, и что вся мировая культура неспособна изменить его изначально жестокую природу. Это достойно всяческого сожаления, потому что общепринятые взгляды на природу человека оказывают сильное влияние на формирование общественных установок и политических воззрений. Новоявленная тенденция изображать человека этаким кровожадным дикарем или эгоистичным антропоидом снижает уровень общественно-политической дискуссии и используется для оправдания многих видов регрессивного и даже антиобщественного поведения.

Излюбленный метод авторов, объявляющих человека злым животным, состоит в том, чтобы, галопом проскакав по естественной истории, продемонстрировать читателю то зуб динозавра, то рыбу корюшку в качестве доказательства того, какими низменными и хищными могут быть некоторые животные. Но как бы далеко они ни уклонялись от темы, они, переходя в конце концов к рассмотрению природы человека, особенно подробно останавливаются на ближайших наших родственниках — приматах, а среди приматов отдают явное предпочтение бабуину — злобному, малосообразительному животному с агрессивным нравом и специфической наклонностью к тоталитаризму.

Ведущим проповедником идеи сходства человека с бабуином является американский драматург Роберт Ардри, философские воззрения которого восходят через Шпенглера непосредственно к Геббсу. Вот типичный образчик риторики Ардри (взятый из его книги «Африканское происхождение»): «Человек — это хищник, наделенный природным инстинктом убивать... Для него характерны: мозг, настолько большой, что он использует лишь незначительную его часть; подбородок, отличительные особенности которого позволяют установить его место в ряду родственных животных, и неодолимое влечение ко всяческому ажиотажу».

Такой подход занятен и забавен, пока читатель не принимает его всерьез. Но беда в том, что многие читатели принимают Ардри всерьез. Видный гарвардский астроном Харлоу Шепли писал о первой книге Ардри (это высказывание взято с суперобложки другой книги Ардри — «Территориальный императив»): «Счастливым уделом некоторых книг является то, что они знаменуют собой поворотный пункт в развитии науки и культуры. Такую роль сыграет, по-моему, «Африканское происхождение».

Постоянная рецензентка лондонского еженедельника «Обзёрвер» Кэтрин Уайтхорн отозвалась в 1970 году об Ардри как о писателе, оказавшем на нее более сильное влияние, чем любые другие авторы, которых она читала за последние десять лет. И далее Уайтхорн пояснила, что Ардри вернул ей веру в будущее мира, показав, как вражда и агрессия послужили благой цели сохранения рода человеческого. Она охарактеризовала опус Ардри как «действенное противоядие против моего утратившего иллюзии радикализма». (Подобное же действие этот труд оказал на многих и многих утративших иллюзии радикалов.)

В Голливуде, где Ардри проработал несколько лет, его проповедь нашла немало благосклонных слушателей. Стэнли Кубрик и Сэм Пекинпа, постановщики «Заводного апельсина» и «Бездомных псов», заявили, что, работая над созданием этих противоречивых фильмов, они опирались на философию Ардри. А одна крупная кинематографическая компания даже отсняла полнометражный фильм «Вверх от обезьяны», увековечивший сумбурные взгляды Ардри на эволюцию человека.

Университетский мир, кажется, тоже подпадал под загадочное обаяние Ардри. Во многих колледжах его книги рекомендованы студентам в качестве обязательного чтения; Ардри приглашали выступать перед большими аудиториями в Гарвардском и Йельском университетах, а Смитсонианский институт финансировал его лекции в Вашингтоне. Начиная с 1958 года сей голливудский драматург и сценарист посвящает почти весь свой досуг и свои литературные таланты популяризации представления о человеке как о беспощадном звере, попыткам доказать, что человек и его далекие предки не один миллион лет были жестокими и кровожадными убийцами себе подобных.

Ардри взял на себя в «Африканском про-

исхождении» и вторую нелегкую задачу: доказать, что все люди, будучи приматами, повинуются врожденным и зачастую смертоубийственным импульсам к захвату территории и ее защите. Для доказательства этой сногсшибательной (и, кстати сказать, совершенно необоснованной) теории Ардри пересказал массу сведений о территориальных импульсах у птиц и рыб. Но, понимая, что главными его аргументами должны быть аналогии с поведением животных, гораздо ближе стоящих к человеку, Ардри в конце концов перешел к приматам. Его цель — показать, «что среди наших ближайших родственников владение территорией является *универсальным законом*, ибо в семействе приматов, к которому наша человеческая ветвь принадлежит семьдесят миллионов лет, лишившийся территории лишается общества, а лишившийся общества лишается практически всего».

Политическая мораль, выводимая из этого «универсального закона», глубоко пессимистична. Получается, что национализм берет начало в глубоко укоренившемся и неизменном стремлении к обладанию территорией и что национализм порождает войну. Более того, Ардри прямо говорил о неизбежности войн, указывая, что поскольку люди инстинктивно агрессивны, они всегда будут пытаться захватить территорию тех, кто слабее их.

Позднее в книге «Территориальный императив» Ардри вынужден был с сожалением констатировать: группа современных этологов, проведшая всестороннее исследование повадок бабуинов, сообщила, что им «ни разу не приходилось наблюдать у бабуинов никаких конфликтов из-за территории. Даже на водопое они игнорируют друг друга». А еще через четыре страницы Ардри неохотно признал, что специалисты отвергают исследование Карпентера, установившее наличие территориальности у резусов, как проведенное в искусственных условиях. Итак, выяснилось, что у приматов, так же как и у людей, никакого территориального императива не существует.

Вообще говоря, когда человек объявляет широкой публике о научном или философском открытии, которое потрясет мир, а потом обнаруживает, что он ошибся, его прямой долг — известить общественность о своей ошибке. Но Ардри, судя по всему, не счел это своей обязанностью. Он лишь скороговоркой обмолвился о том, что сделал «одно или два неверных предположения», а неосведомленная читающая публика осталась при убеждении, что все мы — каиновы дети, рожденные с оружием в каждой руке и готовые убивать друг друга из-за клочка земли.

Рецензенты продолжали рукоплескать. В рецензии на «Территориальный императив», написанной для бюллетеня клуба «Книга месяца», Клифтон Фэдимен восторженно восклицал: «Это одна из самых интеллектуально захватывающих книг гуманизированной науки, которые нам доводилось рекомендовать за долгую историю клуба, увлекательное исследование природы человека-животного, неоценимый и притом превосходно написанный труд о недавнем расширении границ биологических наук».

Несмотря на энтузиазм Фэдимена, у нас складывается впечатление, что Ардри печется о расширении границ не только биологических, но также и политических. Снова и снова демонстрирует он читателю различные типы поведения, наблюдаемые у животных, стараясь доказать, что они якобы соотносятся с политическим поведением людей.

Так, государства, проявляющие решительную враждебность по отношению к иностранным государствам, одобрительно характеризуются Ардри как «биологические нации». К этому избранному кругу территориальных наций, напоминающих ему сообщества агрессивных животных, Ардри относит Соединенные Штаты, Англию, Финляндию, Грецию и некоторые североевропейские общества. Италия, согласно Ардри, не принадлежит к «биологическим нациям», потому что она организована скорее наподобие примитивного стада лемуров. Франция некогда была подлинно биологической нацией, но после войны она, несмотря на усилия де Голля, тоже скатилась к лемурам.

Ни одно из государств Черной Африки не является, по мнению Ардри, биологическим национальным образованием, зато Южная Африка удостаивается в его книге высочайшей похвалы.

Восторги, неумеренно расточаемые Ардри на страницах «Территориального императива» южноафриканским порядкам, говорят сами за себя.

Если Ардри подает свою версию «новой биологии» с трескучим бахвальством циркового зазывалы, то Десмонд Моррис больше напоминает иллюзиониста, показывающего фокусы под куполом цирка. Моррис пишет остроумней и глубже, чем его американский коллега, и, будучи профессионалом, привлекает внимание более серьезных читательских кругов. Хотя начинал Моррис свою карьеру как художник, он увлекся изучением повадок животных, когда пытался обучить живописи шимпанзе. Дело кончилось тем, что Моррис стал дипломированным зоологом и был назначен куратором отделения млекопитающих в Лондонском зоопарке. Он написал несколько научных работ по вопросам общения животных и использования орудий приматами. Материалом для большинства его исследований служили животные, содержащиеся в зоопарках.

Преподнося свои идеи публике, Моррис и Ардри прибегают к одному и тому же приему. Человек, поясняет Моррис, необычайно агрессивен, потому что в его генеалогическом древе обнаруживается странный изгиб. Дело в том, что человек унаследовал агрессивные инстинкты не от одного, а от двух совершенно различных видов животных. Инстинкт господства он унаследовал от приматов, а охотничий и территориальный инстинкт—от плотоядных хищников, к

которым, по мысли Морриса, человек приобщился, так сказать, путем усыновления. Мало того, что человеку достались все злобные инстинкты приматов и хищников — он к тому же наделен, продолжает Моррис, еще одним, третьим, агрессивным инстинктом, свойственным ему одному,— инстинктом защиты дома и семьи от других членов своего собственного племени.

«Мы, мягко выражаясь, попали в неприятное положение,— бодро констатирует Моррис в «Голой обезьяне»,— и весьма вероятно, что мы уничтожим себя еще до окончания этого века». Тут автор делает вид, что он пытается найти выход из «неприятного положения», и разбирает несколько альтернативных путей к спасению вроде замены войн футбольными играми или группового переселения немцев в Англию и японцев в Бразилию. Но одну за другой он отбрасывает эти альтернативы. Ничего не получится, говорит он, потому что «голая обезьяна» неспособна изменить себе.

Последнее из предполагаемых Моррисом решений состоит в том, чтобы попытаться «усовершенствовать наш интеллектуальный контроль над агрессией». У читателя радостно екает сердце. Наконец-то! Голой обезьяне в конце концов будет позволено воспользоваться своим разумом! Но не тут-то было. Моррис со всех сторон рассматривает это решение и с сожалением отказывается от него: «Слишком уж восприимчивы наши высшие мозговые центры к сигналам низших». Так одним росчерком пера Моррис отнял у нас надежду на нашу славу и гордость — интеллект.

Надо ли говорить, что многие компетентные ученые выразили свое решительное несогласие с выдвинутыми Моррисом доводами. Антрополог Колумбийского университета Александер Олланд подробно развил ту мысль, что если бы человеку была присуща непроизвольная агрессивность, родственная агрессивности животных, она наблюдалась бы во всех культурах. В действительности же, указывал Олланд в книге «Человеческий императив», имеет место как раз обратное: значительное число примитивных культур носит исключительно миролюбивый характер, а это говорит о том, что людская агрессивность отнюдь не является непроизвольной.

Английский анатом Бернард Тауэрс и другие ученые оспорили также и тезис о том, будто человек является плотоядным животным и поэтому весьма опасен. Тауэрс указывает, что человек не обладает ни зубами плотоядных животных, ни их пищеварительным трактом и должен быть отнесен вместе со всеми приматами к категории всеядных животных.

Немецкий этолог Иренаус Айбль-Айбесфельдт отверг довод о плотоядности человека как не относящийся к делу, указав на отсутствие необходимой связи между агрессивным поведением и хищническим образом жизни. В конце концов, говорит Айбль-Айбесфельдт, быки могут быть куда как агрессивны, а они ведь питаются одной травой. Травоядные буйволы тоже считаются опасными животными, а кролики, воробьи и петухи — известные драчуны.

В предисловии к книге Джона Льюиса и Бернарда Тауэрса «Голая обезьяна или Homo sapiens?» английский теоретик педагогики Дэвид Холбрук осуждает «губительный пессимизм и безответственность» «голого обезьянства», клеймит его как «проституцию мысли» и пишет: «Фальшивый реализм псевдонауки может увеличить опасность войны; он определенно демобилизует тех, кто старается бороться за снижение уровня ненависти в мире».

Причисление Конрада Лоренца к разряду сочинителей книг на тему «человек — дурное животное» может показаться бестактным и неуместным — ведь этот нобелевский лауреат является не только популяризатором науки о животных, но и ученым-новатором высшего класса, которого по справедливости называют отцом современной этологии.

И тем не менее критики утверждают, что его следует отнести к этой сомнительной категории авторов по следующим двум причинам. Во-первых, он, как никто другой, заостряет внимание на чисто биологических аспектах поведения животных. Во-вторых, в своей книге «Об агрессивности» Лоренц попытался использовать свой огромный опыт наблюдения над животными для объяснения некоторых форм поведения людей — в особенности агрессивности. Тем самым он поставил свой огромный авторитет на службу концепции, резко оспариваемой в настоящее время многими учеными.

Лоренц одним из первых обратился к изучению животных в естественных условиях. На материале своих наблюдений он разработал последовательную теорию поведения животных, основывавшуюся на представлении о наличии в нервной системе животного некоего врожденного механизма, которым и обусловлены все его реакции. Согласно этой теории поведение животного определяют инстинкты, а не воздействие окружающей среды.

В своей книге «Об агрессивности», вышедшей в свет в 1963 году, Лоренц огульно перенес результаты наблюдений над животным миром на мир человеческих отношений. Например, внутривидовую агрессивность рыбы-бабочки Лоренц привлекал для объяснения повышенной раздражительности участников полярной экспедиции, отрезанной от внешнего мира, а от описания повадок некоторых окуневых рыб, которые сохраняют семейную гармонию благодаря схваткам с соседями, непосредственно переходил к рассуждениям о перенацеливании враждебности, которое, по его словам, играет важнейшую роль в социальной жизни человека. Несмотря на все оговорки и экивоки, Лоренц ясно и недвусмысленно

ДЖОУН МАРБЛ КУК
В ЗАЩИТУ HOMO SAPIENS

выставил себя в этой книге приверженцем школы, объявляющей человека скверным животным. Более того, «научные факты», приведенные в его труде, стали тем фундаментом, на котором многие популяризаторы идеи «человек — дурное животное» выстраивают свои теории.

Большинство авторов, разрабатывающих тему «человек — скверное животное», ограничиваются тем, что изображают человека в самом черном свете, вешают надпись «Берегись!» и прячутся в кусты.

Однако Лайонел Тайгер и Робин Фокс (нарочно не придумаешь такое сочетание имен и фамилий![1]), два антрополога, недавно пополнившие собой ряды подобных авторов, решительно пошли дальше. Они в весьма радужных тонах нарисовали заманчивую картину идеального общества, вернувшегося к счастливым охотничьим временам. По их теории, вся история нашего развития сформировала нас как хищных охотников, и если бы только мы смогли снова облачиться в оленьи шкуры и повесить на плечо лук, мы вновь стали бы нецивилизованными, свободными и немного опасными существами.

Точка зрения Тайгера — Фокса интересна тем, что, изображая в мельчайших подробностях ту утопию, о которой, похоже, грезят в наши дни многие люди, наши антропологи невольно обнаруживают глубокий консерватизм, скрывающийся за ностальгической мечтой о первобытном строе. Их рецепт родо-племенного счастья включает в себя такие сомнительные ингредиенты, как сильный харизматический вождь; братство храбрецов вокруг бивачного костра; строгая иерархия, основанная на отношениях господства и подчинения; долгие походы через заросли и джунгли со смертоносным оружием в руках и отношение к миру, которое они называют «хищническим».

Основу концепции Тайгера — Фокса составляет идея, что человек напоминает компьютер и что он был запрограммирован на определенные виды поведения в течение долгого срока своей эволюции как охотника, промышлявшего дичь на деревьях, в болотах, среди полей и во влажных джунглях. Главный вывод Тайгера и Фокса сводится к следующему: ныне человеческий компьютер разладился в силу того, что человек рожден охотником, а не работником рекламного агентства, ученым или сенатским расследователем. Мы, дескать, пытаемся наложить индустриально-земледельческую культуру на старую охотничью биограмму. Снова и снова оплакивают они в своей книге «Царственное животное» ушедшую в прошлое охотничью эпоху.

«Человек-охотник» — это не эпизод нашего далекого прошлого; мы по сей день остаемся все тем же человеком-охотником, запертым в темнице одомашненным, задыхающимся от загрязнения и тесноты и сбитым с толку».

[1] Лайонел означает в переводе молодой лев, Тайгер — тигр, Робин — малиновка, Фокс — лиса. *(Прим. перев.)*

«Мы были охотниками на протяжении девяноста девяти процентов времени нашего существования, и именно в этом контексте формировал естественный отбор наше поведение».

Политика, по их убеждению, есть не что иное, как выражение стремления каждого человека господствовать над своими ближними. Эту свою идею Тайгер и Фокс подкрепляют ссылкой на то, что стада высших и низших обезьян якобы всегда бывают организованы по принципу господства одних особей над другими.

Примером консервативной тенденциозности книги Тайгера и Фокса является и одобрительное отношение авторов к капитализму свободного предпринимательства. Подобно тому как Ардри можно по ошибке принять за агента по рекламе какой-нибудь национальной ассоциации землевладельцев, Тайгера и Фокса можно принять за выразителей интересов нью-йоркской фондовой биржи.

Для начала они приводят старый как мир довод, что человек является прирожденным комбинатором и махинатором и что еще в пещерные времена велась бойкая меновая торговля. Этот довод оказался устаревшим еще в 1776 году, когда Адам Смит привел его в своем труде «О богатстве народов»,— Тайгер и Фокс упорно цепляются за своего первобытного бизнесмена. По их уверению, его жизнь представляла собой долгую и счастливую идиллию — этакий праздник меновой торговли вплоть до наступления земледельческой революции, которая все испортила. Начиная с той поры, жалуются Тайгер и Фокс, человек жил в противоестественном мире, в котором все его основные инстинкты были подавлены. Появление машин и развитие техники еще больше способствовали отчуждению человека от его природной сущности. Однако в XIX веке эту беспросветную картину осветил луч надежды, ибо с приходом промышленной революции человек снова получил возможность заниматься махинациями. Тайгер и Фокс глубокомысленно замечают на страницах «Царственного животного», что, пожалуй, «капитализм свободного предпринимательства в конце концов не так уж и плох, при том условии, что он дает волю хищническим тенденциям».

Итак, похоже, что мы проделали полный круг от хищнической системы обмена доисторической эпохи до хищнических махинаций «Дженерал моторс». Тайгер и Фокс, сдается, агитируют за оба эти мира. Они призывают нас вернуться к родо-племенной жизни и захватить с собой капитализм, основанный на полной свободе предпринимательства.

Исчерпав возможности бабуина в качестве наглядного примера всех малопривлекательных качеств, которые якобы свойственны людям, писатели, объявляющие человека злым животным, завершают свою сагу о людоедстве, человеческих жертвоприношениях и кровопролитии на материале первобытного человека.

Немалую помощь оказывают им в этом предприятии устарелые этнологические тексты, в которых наш предок, живший в каменном веке, по традиции изображался в довольно-таки мрачных красках: его называли не иначе как дикарем, варваром, пещерным человеком, троглодитом и обвиняли его в культурной, технической и нравственной неразвитости. На иллюстрациях художников он неизменно выглядел неуклюжим волосатым существом с выдающимися надглазничными валиками, широким носом и подозрительным взглядом.

Для придания этой клевете вящей убедительности в столь же мрачных красках изображают и образ жизни первобытных народов, сохранившихся до наших дней. Некоторые этнологи, отважившиеся совершить путешествие через моря и джунгли, чтобы воочию увидеть племена, живущие еще в каменном веке, с недоверием взирали на «дикаря» с его негигиеничными привычками, нечесаными волосами и варварскими обрядами посвящения. Не было недостатка и в россказнях о сваренных в котле миссионерах и становищах, украшенных высушенными головами. Популяризаторы идеи «человек — злое животное», по-видимому, не отдают себе отчета в том, что эта точка зрения, рассчитанная на читателя воскресных приложений, безнадежно устарела пару десятилетий назад. Недавние антропологические исследования доказывают, что в девяти случаях из десяти эти старые истории о всяческих ужасах были преувеличены ради сенсации.

Как показывают новейшие исследования, воинственность или агрессивность, наблюдаемые у иных первобытных племен, как правило, порождаются историческими причинами. Так, исследование западноафриканского народа ашанти, самого воинственного народа в Африке, показывает, что ашанти стали воинственными только после того, как на их земли пришли работорговцы, которые похищали и терроризировали мирных жителей. Подобный же исторический опыт изменил обычаи народа хибаро в Южной Америке. Проведенные исследования показывают, что до прихода испанцев хибаро отличались миролюбием, но завоеватели обращались с ними с такой жестокостью, что в конце концов хибаро начали относиться к белым враждебно и сохранили это враждебное отношение до нашего времени.

Однако все эти свидетельства бессильны убедить авторов, представляющих человека скверным животным, отказаться от своих ужасных историй. Когда им представляют доказательства того, что многие народы, стоящие на первобытной ступени развития, кротки и безобидны, они упорно отмахиваются от подобных доказательств, твердя — как это делает Десмонд Моррис в «Голой обезьяне»,— что такие племена, «вышедшие из заводей культуры, настолько нетипичны и непреуспевающи, что находятся на грани вымирания».

Другой излюбленный метод этих авторов заключается в том, чтобы заново изложить историю развития человека от австралопитека до сегодняшнего дня на основе предположения, что каждый разрыв в археологической последовательности, связанный с исчезновением того или иного типа доисторического человека, объясняется только одним: новоявленный доисторический человек истребил своего предшественника. Австралийский антрополог Роберт Байджлоу именно этим объясняет исчезновение неандертальца и появление кроманьонского человека. «Пять тысячелетий ожесточенных войн в историческую эпоху вряд ли свидетельствуют о миллионе лет мира в эпоху доисторическую,— писал Байджлоу в книге «Древний воитель».— Люди повсюду вступали в историческую эпоху под громкий звон оружия, сражаясь не на жизнь, а на смерть, будь то в Египте, Месопотамии, Анатолии, Греции, Британии или в любом другом месте».

Однако данные, полученные при раскопке поселений, противоречат этому утверждению. Сэр Артур Кейт, английский антрополог и большой знаток доисторической эпохи, писал в своей работе «Новая теория эволюции человека», что самые ранние поселения, обнаруженные на территории Европы и Ближнего Востока, не имели укреплений. На ученых, нашедших в ходе раскопок самые древние поселения в Иране, большое впечатление произвело «отсутствие там боевого оружия».

Другой специалист по доисторической эпохе, Гордон Чайлд, подтверждает (в сборнике «Человек, культура и общество»), что древнейшие неолитические захоронения и поселения на территории Европы, как правило, не были защищены. «В ранних неолитических погребениях и поселениях не видно боевого оружия, отличного от орудий охоты... Напротив, более поздние неолитические поселения нередко обнесены оборонительными сооружениями; каменные боевые топоры и кремневые кинжалы занимают заметное место среди обнаруженных в Европе остатков материальной культуры позднего неолита. Это совпадает с возрастанием роли скотоводства, и, как мы уже говорили, причиной военных столкновений могла стать практика угона скота».

Согласно современным научным представлениям наш далекий предок на заре истории человечества был не свирепым дикарем, потрясавшим палицей, а миролюбивым существом, терпеливо шагавшим по жизни с палкой для копания в земле, коротким топором и тыквенной бутылкой с глотком воды на дне. Первобытный человек вступил в эпоху земледелия не потому, что он якобы был убийцей, а потому, что он был умен и гибок...

Недавно на Филиппинах были найдены племена, живущие еще в каменном веке. Журналиста Кеннета Маклиша, который одним из первых добрался на вертолете до становища первобытного племени тасадеев на острове Минданао, глубоко тронула дет-

---

ДЖОУН МАРБЛ КУК
В ЗАЩИТУ HOMO SAPIENS

ская мягкость и доброта членов этого племени. Маклиш, явно отдавший дань увлечения Ардри, писал в журнале «Нэшнл джеографик» (за август 1972 года): «Наши друзья тасадеи заставили меня по-новому взглянуть на человечество. Если наши древние предки походили на тасадеев, то мы происходим из несравненно более хорошей семьи, чем я полагал».

Вплоть до настоящего момента мы имели дело с попытками объяснить природу человека исключительно через поведение животных и первобытных людей. К сожалению, клевета на человека этим не исчерпывается, и как только смолкает антропология, слово берет психология, изображающая человеческую природу в столь же неприглядном виде. Фактически психология повинна в очернении человека, может быть, даже больше, чем антропология, ибо психология, как предполагается, призвана непосредственно заниматься изучением природы человека и разработкой всесторонней и гармоничной концепции человека, которая отражала бы не только его изъяны и недостатки, но также и его бесконечные возможности. Однако до самого последнего времени психология занималась не этим. За последние пятьдесят лет в психологической науке выдвинулись две главные школы: бихевиоризм и фрейдизм, относящиеся друг к другу с большим подозрением.

Однако, несмотря на все свои разногласия, фрейдизм и бихевиоризм фактически солидаризируются в одном кардинальном вопросе: и тот, и другой видят в человеке жертву, считают его неспособным быть хозяином своей собственной судьбы. Фрейдисты любят придавать особо важное значение глубоко подсознательным побуждениям, которые якобы управляют человеческой жизнью; бихевиористы, рассматривающие человека под другим углом зрения, придерживаются мнения, что его судьбу полностью предопределяют окружающие условия.

При таком близоруком подходе, концентрирующем внимание на изнанке человеческой природы, на ее страдательном начале, которое испытывает воздействия, но не действует само, подразумевается, что природа человека всегда представляет собой что-то негативное, лишь реагирующее на напряженность или помехи. Подобный подход полностью игнорирует высшие сферы духа — те способности человека, благодаря которым он являет собой нечто несравненно большее, чем животное или машина, обрабатывающая информацию. Из рассмотрения начисто исключаются такие качества, как чувство ответственности, предусмотрительность, воображение, благородство и даже совесть, сыгравшие огромную роль в развитии человека. Иными словами, до последнего времени не было никакой «психологии высших сфер», которая противостояла бы негативной «психологии низших сфер».

Сам Зигмунд Фрейд отмечал, что его вклад в психологию окажет отрицательное, угнетающее воздействие на умы. Однако даже Фрейд не мог предвидеть всех отрицательных последствий применения новой психологической науки, особенно в Соединенных Штатах. Разве мог он знать, что его учение станут использовать для оправдания многих форм эгоцентричного и алчного поведения? Разве можно было предположить, что, делая упор на потребностях отдельной личности, а не всего общества, он в конечном счете склонит многих мыслящих людей к копанию в себе и отказу от ответственности за решение проблем, стоящих перед миром? Неправильное употребление и неправильное истолкование идей Фрейда привело к созданию моральной атмосферы абсолютной вседозволенности, к чему Фрейд вовсе не стремился. Кроме того, разработав определенные методы дружеского увещевания, фрейдизм способствовал утверждению мысли о правомерности манипулирования людьми.

Еще более тщательно изучали методы установления контроля над человеческим поведением бихевиористы, которые считают допустимым манипулирование людьми на благо общества и в интересах выживания человеческого рода. Выдающимся современным представителем бихевиористской точки зрения является гарвардский психолог Б. Ф. Скиннер, продемонстрировавший, как с помощью ряда вознаграждений и наказаний можно отрегулировать в заданном направлении поведение крыс, содержащихся в клетке. При этом Скиннер утверждал, что подобный же оперативный метод выработки условных рефлексов может быть применен и к людям; он даже показал в своем утопическом романе «Второй Уолден», каким образом можно было бы осуществить это. Надо сказать, эта и другие книги Скиннера вызвали необычную реакцию со стороны читающей публики. Никакие другие книги о человеческом поведении не раскупались так жадно, не вызывали такого широкого отклика в печати... и такого единодушного читательского осуждения. Дело в том, что Скиннер, несмотря на располагающую честность своей позиции, фактически принижал человека, утверждая, что у него нет свободы воли. Критики Скиннера не могли примириться с этим умалением человека, даже его защитники выражали надежду на то, что в конце концов Скиннер отыщет выход из клетки, которую он построил для человека. Ведь, действительно, для того чтобы управлять поведением человека по методу Скиннера, понадобится некий оператор, призванный уменьшить человека до таких размеров, при которых тот будет поддаваться манипуляции.

В общем, обе главные школы в психологической науке проявляют незаслуженную суровость по отношению к человеческому я. Они изводят человека до ничтожного уровня подопытной крысы. Обычный, нормальный человек чувствует, что эти школы обманули его ожидания и не раскрыли истинной его сущности. Неудивительно поэтому, что когда вперед выступают писатели, уподобляющие человека бабуину, читатель прислушивается к ним и начинает

думать, что, может быть, это и есть долгожданная истина в последней инстанции.

Поразительно мало исследований посвящено природе прямого насилия. Этот пробел восполнен ныне нью-йоркским психиатром Фредриком Уэртхемом, который обследовал заключенных в тюрьмах Нью-Йорка в поисках точного ответа на вопрос: что заставляет людей совершать насилие. Вывод, к которому пришел Уэртхем и который он сформулировал в своей захватывающей книге «Каинов симптом», гласил: каждое серьезное преступление в Соединенных Штатах обусловлено той или иной социальной причиной. Каждое можно было бы предотвратить.

Чудовищный рост насилия в стране Уэртхем объясняет многими обстоятельствами современной жизни, ожесточающими людей. Среди факторов, порождающих насилие, он называет психологию, нацеливающую человека на достижение успеха любой ценой и обрекающую его на жесткую конкурентную борьбу на всех этапах жизни; беспощадность, царящую в сфере бизнеса и политики; культ насилия и сквернословия в книгах и фильмах; наконец, огрубление социальных нравов, приводящее к обесцениванию гуманности и утрате сочувствия к страдающим и гибнущим.

В качестве особого фактора, способствующего росту насилия, Уэртхем выделяет телевидение. Решительно возражая тем, кто считает, что изображение насилия на экранах кино и телевизоров оказывает очищающее воздействие на чувства, доктор Уэртхем приводит на страницах книги «Каинов симптом» доказательства, свидетельствующие о том, что жестокие и садистские сцены, показанные по телевидению, «вдохновляли» подростков на совершение аналогичных преступлений в реальной жизни. «Если бы лет тридцать тому назад кто-нибудь сказал, что у нас будет создана школа для обучения теории и практике насилия, никто бы ему не поверил... И тем не менее это произошло; обучение молодых людей насилию ведется в масштабах, невиданных в истории».

Между прочим, Уэртхем камня на камне не оставляет от полюбившегося пропагандистам мифа о человеке — дурном животном, теории, будто источником насилия является врожденный агрессивный инстинкт: «Некоторые ученые, исследующие инстинктивное поведение животных, такие как Конрад Лоренц, скрепили своим авторитетом утверждение о якобы присущем людям неискоренимом инстинкте насилия. Подобные неошпенглерианские идеи, выступающие в современном обличье, приобрели огромное влияние. Мало того, что они ошибочны с научной точки зрения и не имеют под собой исторического обоснования, они к тому же опасны социально и реакционны политически».

Отвергает доктор Уэртхем и старую фрейдистскую теорию, усматривающую в насилии бунт против раннего прививания гигиенических навыков или против недостаточно строгой матери. Эти псевдопсихологические объяснения слишком легковесны, писал Уэртхем; общество пользуется ими как предлогом для того, чтобы закрыть глаза на творящиеся вокруг ужасы. Подобная самоуспокоенность готовит почву для дальнейшей волны насилия.

Доктор Уэртхем указывает, что побороть насилие мы сможем только в том случае, если пресечем нынешнюю тенденцию к унижению достоинства человека и к обесцениванию его жизни.

Ученые-криминологи предостерегают против чрезмерного увлечения энергичными полицейскими методами, летучими отрядами по борьбе с беспорядками, подслушиванием телефонных разговоров, оружием и жесткими законами. Все это, указывают они, может на время упрочить безопасность, но в конце концов вызовет ответное насилие и только еще больше запугает людей. Чем больше те, кто наверху, станут цепляться за привилегии, власть и прибыли — в том числе и за прибыли от книг и фильмов, прославляющих насилие,— тем больше будут прибегать к насилию те, кто внизу.

Разумеется, есть немало путей к повышению безопасности в обществе. Главный из них — это путь социально-экономических преобразований.

Связь между мифом о скверном животном и экономической теоркей и практикой может показаться весьма отдаленной. И тем не менее уподобление человека бабуину нанесло в политической экономии, пожалуй, даже больше вреда, чем в любой другой области, за исключением политики.

Представление, что человек корыстен (и что корыстным быть естественно и даже добродетельно), давным-давно с презрением отвергнуто в философии, этике, да и в некоторых областях психологии. Но оно по сей день широко распространено в консервативных экономических кругах. А поскольку упомянутые круги сосредоточили в своих руках изрядную долю богатств и власти в западном мире, бороться с этим неправильным представлением не так-то просто.

Вдобавок ко всему, клака, аплодирующая алчности торжища, получила недавно неожиданную поддержку: в ее ряды влились и всяческие мистики от биологии.

К человеку сегодня взывают многие вкрадчивые голоса, внушающие ему, что в действительности он есть не что иное, как древнее животное, полное животных вожделений, и что ему незачем утруждать свой ум. Эти обольстители осмеивают человеческую мысль, называя ее украшением, за которым человек тщится спрятать свою звериную сущность, и твердят, что любые попытки людей решить свои проблемы с помощью разума заранее обречены на провал.

Призывать людей отречься от собственного разума — это все равно что уговаривать пассажиров тонущего корабля выбро-

---

ДЖОУН МАРБЛ КУК
В ЗАЩИТУ HOMO SAPIENS

сить за борт спасательные пояса и довериться провидению. Человек сможет обеспечить свое дальнейшее существование и процветание и остаться при этом человеком, только если он доверится своей человеческой сущности и ответит решительным «нет» всем тем, кто пытается низвести его до уровня животного. Уверовать в себя — вот что нужно человеку прежде всего. Никакие боги не вызволят его из теперешнего кризиса, и никакое пробуждение религиозности не приблизит его к истине. Ибо истина заключена в нем самом; она тут, с ним, и он обретет ее, если станет искать. Главным спасательным поясом человечества является сегодня человеческий разум, и если только человеку хватит сообразительности использовать собственный разум для поиска новых исторических решений, он сумеет спасти невыразимую красоту и природные богатства нашей планеты и обеспечить благоденствие самых умных ее обитателей.

П. СИМОНОВ

Кто же ты, человек?

...Точная наука о самом человеке — а вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания — выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений.

И. П. Павлов[1]

Не будучи в силах отрицать или замалчивать вопиющие противоречия современного капитализма, буржуазная пропаганда взяла на вооружение два широко популяризуемых тезиса. Пороки и потрясения, присущие капиталистическому обществу, объявляются универсальными для данного этапа развития цивилизации, в равной мере характерными для многих стран, независимо от их общественного устройства, а первопричину угрозы атомной войны, разрушения окружающей среды, истощения сырьевых ресурсов и т. п. усматривают в самой природе человека как существа агрессивного, жестокого, эгоистичного, бездумно стремящегося к обогащению и власти любой ценой.

Для подтверждения тезиса о человеке как «ошибке эволюции», «безволосой обезьяне», «дурном животном» мобилизуются факты и гипотезы многих отраслей науки, будь то этология (наука о поведении животных) или антропология, психология или физиология головного мозга. Разрыв между технологическим могуществом человека и его неразумностью, примитивностью и шаткостью его моральных устоев возведен в ранг основного противоречия нашей эпохи.

Против безудержной пропаганды этих идей, столь же мрачных, сколь и спекулятивных, восстает в своей книге Джоун Марбл Кук. В той мере, в какой это доступно журналисту-непрофессионалу, она отыскивает в трудах ученых факты и обобщения, опровергающие миф о человеке-звере, наследнике первобытных убийц. Иногда ее аргументация может показаться недостаточно весомой, а подбор научных данных односторонним и тенденциозным. Но Джоун Кук и не претендует на анализ сложнейших проблем происхождения человека, взаимодействия биологических и социальных факторов в формировании личности, законов человеческого поведения. Ее главная цель — поколебать миф о человеке-звере в глазах широких кругов читателей, тем более что этот миф выступает в доспехах «новейших научных достижений».

В благородном поединке с миллионными тиражами бестселлеров, заполонивших витрины книжных магазинов, Джоун Кук подчас склоняется к концепциям, может быть, и гуманистическим по своему пафосу, но малоубедительным для подготовленного читателя. Мы имеем в виду берущую начало в воззрениях Жан-Жака Руссо трогательную притчу о добром, милом, невинном дикаре, которого развратила и ожесточила коварная цивилизация. При таком подходе становится совершенно непонятно, почему технические достижения человека, завоевания его разума, развитие науки и искусства столь быстро и неотвратимо сделали наших «миролюбивых, мягких и добросердечных» предков безжалостными завоевателями, оставлявшими после себя лишь пепел пожарищ и трупы себе подобных.

В коротком отклике на журнальное изложение книги Дж. М. Кук невозможно воспроизвести хорошо известные советскому читателю положения историче-

[1] И. П. Павлов. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. М., «Наука», 1973, стр. 12.

ского материализма, фактические данные и концепции марксистской антропологии, подход советской науки к проблеме биологического и социального в формировании человеческой личности. Заметим, что последняя тема недавно подвергалась всестороннему обсуждению на страницах журнала «Вопросы философии». Мы остановимся только на одном аспекте «человековедения», занимающем центральное положение в книге Джоун Кук,— на вопросе о соотношении и о происхождении добра и зла в душе современного человека, на факторах, определяющих это соотношение, эту меру.

Если так можно выразиться, общее количество доброго и злого, низменного и возвышенного, эгоизма и самоотверженности (например, количество и характер преступлений, рост преступности или ее неуклонное снижение) определяется особенностями данного общества, его экономическими основами и политическим устройством, исповедуемыми этим обществом идеалами и нравственными нормами.

Видный американский ученый Джон Пол Скотт — специалист по психологии агрессивности — пришел к выводу о том, что истинной причиной вспышек враждебности и роста преступлений в современном ему обществе являются безработица и нищета. Борьба с враждебностью будет эффективной лишь в случае, если общество обеспечит людей работой, приносящей им удовлетворение. Ссылки на генетику, первобытных предков и подавленные агрессивные импульсы в глубинах индивидуального подсознания только маскируют объективную необходимость переустройства общества в соответствии с законами исторического развития. Но подобное утверждение при всей своей справедливости не отвечает на вопрос о том, почему данный конкретный человек — сын своего времени и своей среды — может явить окружающим пример благородства или подлости, доброты или жестокости, предстать в облике равного богам Прометея или гнусной твари, которую затрудняешься сравнить с каким-либо из существующих животных.

Вульгарно-социологические ответы здесь не проходят: хорошо известно, что личный состав «зондеркоманд», охранники Освенцима и Дахау комплектовались не из одних лишь отпрысков аристократических семейств или сынков промышленных магнатов. Гены, национальность, раса также не ответственны за добро и зло, что опять-таки хорошо понимали практики всех времен. Недаром восточные тираны подчас растили свою личную гвардию из малолетних сыновей покоренного ими народа. «Чистоте крови» они не без оснований предпочитали чистоту воспитания.

Уже у животных наряду с генетической наследственностью мы обнаруживаем феномен своеобразного «видового наследования» — совокупность тех специфических навыков, которые передаются от одного поколения к другому путем обучения молодняка взрослыми особями, в первую очередь родителями: мелодии пения у ряда птиц, способы охоты и т. п. На уровне человека, благодаря устной и письменной речи, памятникам материальной культуры, разнообразным формам общения между представителями сменяющих друг друга поколений, этот феномен перерастает в грандиозную систему социального или культурного наследования всех тех материальных и духовных ценностей, которые человечество накопило за предшествующие эпохи. Заметим, что вместе с достижениями новые поколения наследуют и груз предрассудков, отживших, но упорно сохраняющихся обычаев, устаревших моральных норм, бессмысленных в изменившейся ситуации форм поведения. Этот груз мы именуем привычным термином «пережитки».

Говоря о социальном или культурном наследовании, самое время вспомнить другой важнейший фактор эволюционного процесса — решающее значение о т б о р а. Если на дочеловеческих этапах эволюции мы встречаемся с естественным отбором особей, наиболее приспособленных к существованию в условиях окружающей их среды, то в сфере социальной жизни каждое общество отбирает и культивирует те качества, те черты складывающейся личности, те способности и задатки, которые в наибольшей мере соответствуют экономической практике, политическому устройству и идеологическим ценностям данной общественной системы. «...То, что творили нацисты,— утверждает английский писатель Уильям Голдинг,— они творили потому, что какие-то определенные заложенные в них возможности, склонности, пороки — называйте это как хотите — оказались высвобожденными... Мне приходилось слышать, как люди, о которых я доподлинно знал, что о н и-т о н а ц и с т ы, произносили слова «проклятые нацисты». Понимаете, по сути они были нацистами, но им не довелось существовать в нацистской социальной системе»[1].

Какие же именно черты, характеристики, задатки личности представляют наибольший общественный интерес, служат основным «материалом» социального отбора? Будущие исследования, по-видимому, покажут, что та или иная общественная группа по-своему заинтересована в людях спокойных или импульсивных, чувствительных или твердых, склонных к практической деятельности или абстрактному теоретизированию. Но инструмент социального отбора нацелен прежде всего и главным образом на сферу п о т р е б н о с т е й человека, на эту основу и движущую силу человеческого поведения.

Выдающийся советский психолог С. Л. Рубинштейн писал:

«Понятие потребности должно будет в противовес понятию инстинкта занять в марксистско-ленинской психологии крупное место, войдя в инвентарь основных ее

[1] «Иностранная литература» № 10, 1973, стр. 214.

понятий. На основе понятия потребности все учение о мотивации человеческого поведения получает принципиально иную постановку, чем та, которая ему обычно дается на основе учения об инстинктах и влечениях»[1]. Дело в том, что «инстинкт» всегда предполагает нечто врожденное и общее с животными, в то время как потребность может быть сколь угодно сложной и социально детерминированной. Хотя в науке до сих пор не существует общепринятой классификации человеческих потребностей, их можно разделить на три основные группы.

Во-первых, это биологические и продиктованные ими материальные потребности в пище, одежде, жилище, в технике, необходимой для создания материальных благ, в средствах защиты от вредных воздействий, в обеспечении своего индивидуального и видового существования.

Во-вторых, это социальные потребности в узком и собственном смысле слова (поскольку социально опосредованы все побуждения человека). В данном случае речь идет о потребности принадлежать к социальной группе (общности) и занимать в этой группе определенное место, пользоваться привязанностью и вниманием окружающих, быть объектом их уважения и любви. Попытки свести все многообразие социальных потребностей человека к «жажде власти» безнадежно устарели. Одним из достоинств коллективизма как высшей формы социального взаимодействия является разумное и добровольное распределение функций лидерства, наилучшим образом обеспечивающее достижение тех целей, которые ставит перед собой коллектив единомышленников[2].

Наконец, третью группу составляют потребности, которые принято называть культурными, духовными или идеальными. Это потребности п о з н а н и я в самом широком смысле, познания окружающего мира и своего места в нем, познания смысла и назначения своего существования на земле. «Без твердого представления себе, для чего ему жить,— писал Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых».— человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы».

Для правильного понимания закономерностей человеческого поведения важно помнить, что, хотя потребности трех перечисленных групп тесно связаны друг с другом и редко обнаруживаются в изолированном, «чистом» виде, они принципиально н е в ы в о д и м ы друг из друга и не заменяют друг друга. Любая степень удовлетворения одного типа потребностей не избавляет человека от необходимости удовлетворять потребности другого типа.

Конкретный набор потребностей, их иерархия, доминирующее положение одних побуждений и вспомогательная роль других составляют «ядро» данной личности, наиболее существенную ее характеристику[3]. Иерархия потребностей ярко обнаруживается в эмоциях. Что доставляет наибольшую радость этому человеку? Приобретение дорогих вещей? Уважение и любовь окружающих? Чувство исполненного долга? Решение трудной задачи, открытие, первый шаг в неведомое человеческому уму? «Альфой и омегой моей педагогической веры является глубокая вера в то, что человек таков, каково его представление о счастье»,— писал В. А. Сухомлинский[4]. Развитие личности — это прежде всего и главным образом расширение, обогащение и «возвышение» (В. И. Ленин) потребностей данного человека. Ленинский «закон возвышения потребностей»[5] хорошо проиллюстрировал А. Стаханов на примере собственной жизни. На вопрос «Чего я стремился достичь в жизни?» зачинатель стахановского движения отвечает: а) на первых порах — быть сытым; б) далее — получать высокие заработки; в) «достичь человеческого уважения»; г) с развитием классового самосознания возникло желание доказать, что без тебя не может обойтись шахта, целый коллектив; д) в конце концов выработалось понимание «необходимости быть лучше и выше самого себя». Сколь мало похожа эта динамичная система постепенно усложняющихся побуждений на примитивный набор «инстинктов», которыми оперируют авторы, критикуемые в книге Дж. Кук!

Впрочем, сами потребности, как и возникающие на их основе эмоции, не обладают абсолютной социальной ценностью. Они приобретают эту ценность, взятые в отношении к другим потребностям данного человека, к потребностям окружающих его людей, к потребностям общества в целом. «Всего обыкновеннее слышать жалобы на страсти, но как справедливо сказал Мабли: чем страсти сильнее, тем они полезнее в обществе; направление их может быть только вредно» (Н. Лобачевский)[6]. Направление, способы, средства удовлетворения потребностей — вот что определяет их социальную и нравственную ценность, формирует «одномерную» или гармонически развитую лич-

---

[1] С. Л. Р у б и н ш т е й н. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса. См. «Проблемы общей психологии». М., «Педагогика», 1976, стр. 40.

[2] Проблемы взаимоотношения между личностью и коллективом успешно разрабатывает А. В. Петровский — см. журнал «Вопросы психологии» № 5, 1973; № 3 и № 6, 1976.

[3] Л. И. Б о ж о в и ч. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. П. В. С и м о н о в. Теория отражения и психофизиология эмоций. М., 1970.

[4] Цит. по И. Овчинниковой, «Советский экран» № 17, 1976, стр. 3.

[5] В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 101—102.

[6] Н. Л о б а ч е в с к и й. О важнейших предметах воспитания. «Наука и жизнь» № 5, 1976, стр. 41.

ность. Естественное для человека физическое влечение движет и влюбленным и насильником, но сколь разные формы приобретает эта органическая потребность! В первом случае она реализуется в единстве с социальным стремлением к взаимной любви, к ответному чувству, с потребностью идеализации и восхищения любимым существом. Во втором — это не просто «голая потребность», но активное попрание чужой личности, ее отрицание, ее духовное уничтожение. Безнравственное не бывает безобидным. Стяжателю, бездельнику и карьеристу нередко кажется, что если он и причиняет комунибудь ущерб, то только самому себе. На самом деле он обязательно кого-то развращает, кого-то обкрадывает. Такова объективная диалектика общественного бытия.

Не менее диалектичны и отношения между потребностью и средствами ее удовлетворения. В строгом смысле не существует р а з н ы х средств (способов, путей) удовлетворения о д н о й и т о й ж е потребности. Средство неизбежно накладывает отпечаток на цель, трансформирует потребность, «возвышает» или извращает ее. Изменение средств — верный показатель изменившейся иерархии побуждений.

Невозможно согласиться с утверждением о том, что социально полезны только осознаваемые формы психической деятельности, а подсознание — это скопище подавленных общественными запретами инстинктов. Между осознаваемым и неосознаваемым в человеческой психике нет противостояния как между высшим и низшим, полезным и опасным, «человеческим» и «животным». Не осознаются некоторые важнейшие этапы творчества — момент зарождения новых гипотез, догадок, предположений. Проницательно уловив недопустимость объединения под термином «подсознание» всего, что не осознается — от деятельности внутренних органов до творческих озарений,— великий художник и мыслитель К. С. Станиславский ощутил настоятельную нужду в каком-то другом понятии, которое обозначало бы только высшие и наиболее сложные механизмы творчества. Последнюю категорию неосознаваемых процессов он назвал «с в е р х с о з н а н и е м»[1].

Процесс эволюции, равно как и процесс общественного бытия, представляет диалектически противоречивое взаимодействие двух тенденций: тенденции с о х р а н е н и я (индивидуума, вида, сообщества) и тенденции р а з в и т и я (то есть творчества, познания, усложнения). Подсознание служит первой из этих тенденций, сверхсознание — второй. Вот почему к области сверхсознания одновременно относятся такие проявления психики, как неосознаваемые элементы творчества (научного, художественного) и нравственные императивы, отказ от которых ведет к прекращению развития, к деградации, к регрессу. «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

В свое время Зигмунд Фрейд открыл подсознательные «защитные механизмы» психики, которые позволяют субъекту избавиться от тягостных для него конфликтов. Характерный пример деятельности такого механизма приводит в одной из своих работ И. Кон. Я завидую успехам другого человека, но чувство зависти постыдно и унизительно для меня. И тогда я н е о с о з н а н н о начинаю искать в этом человеке пороки и недостатки, которые оправдали бы мое чувство антипатии. Можно предполагать, что в отличие от подсознания сверхсознание играет прямо противоположную роль: репрезентируя в индивидуальной психике исторические судьбы человечества, оно формирует те интуитивные критерии, те ориентиры, которые мы осознаем как голос совести, как не нуждающееся в обоснованиях чувство сострадания, побуждающее, рискуя жизнью, броситься на помощь л ю б о м у (может быть, очень скверному!) человеку.

Последний пример заслуживает особого внимания, поскольку он демонстрирует целесообразность именно неосознаваемого («сверхсознательного») механизма реализации некоторых форм поведения. Ведь сознание всегда оценивает обоснованность того или иного решения, требует его аргументации, сопоставления доводов за и против, прогнозирования целого ряда возможных последствий. Сверхсознание ориентировано не на ближайший выигрыш или проигрыш (несколько прекрасных людей отдали жизнь, спасая одного неизвестного, оказавшегося к тому же отъявленным негодяем), а на ценности, утрата которых привела бы к деформации самой сути человека как носителя возникшей на земле цивилизации.

Подчеркнем, что мы говорим не о страхе перед наказанием за неблаговидный поступок, не о помощи, базирующейся на расчете: «Я — другим, другие — мне». «Когда никто не увидит и никто не узнает, а я все-таки не сделаю,— вот что такое совесть!» (В. Короленко). К мысли о том, что совесть есть реальность, осознаваемая людьми, и вместе с тем первичная по отношению к сознанию, приходили многие. «Али есть в нас закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас»,— пишет в черновиках Достоевский о смысле сна, в котором Раскольников перед убийством видит себя мальчиком. «Мне кажется,— через сто лет продолжает ту же мысль теолог Клод Жефрэ,— что в человеческое сознание вписаны определенные недоказуемые ценности, которые человек ощущает и признает благом, даже если он не основывает мораль на религии»[2].

Действительно, многие ответственнейшие решения человек принимает интуитивно, как само собой разумеющееся, хотя обоснованность подобных решений может быть

---

[1] Подробнее см. П. С и м о н о в. Сознание, подсознание, сверхсознание. «Наука и жизнь» № 12, 1975, стр. 44—51.

[2] «Иностранная литература» № 12, 1974, стр. 213—219.

научно проанализирована и объяснена. Напомним ситуацию, описанную в повести Стругацких «Далекая радуга».

...Маленькой планете, на которой колония землян проводит научные исследования, угрожает неотвратимая катастрофа. В распоряжении колонии имеется единственный звездолет. Встает вопрос, кого эвакуировать: знаменитых ученых — цвет земной науки — или детей. Казалось бы, для общества в целом ученые представляют большую ценность, чем дети, из которых еще неизвестно что получится. Тем не менее преимущество отдается, разумеется, детям, и читателя это не удивляет. Почему? Да потому, что, если бы люди поступили иначе, все потеряло бы смысл: и наука, и ученые, и их никому не нужные великие открытия. Эту глубочайшую и самоочевидную истину Достоевский воплотил в знаменитом афоризме о прогрессе, не стоящем слезы ребенка.

Поместив высшие нравственные императивы в область сверхсознания, природа тем самым придала им колоссальную устойчивость. Вот почему, преследуя свои эгоистические классовые интересы, реакционеры всех мастей апеллируют либо к подсознанию (к сфере инстинктов, тенденций самосохранения, страха, беспомощности), либо к эгоистическому рационализму, к расчету, к заключениям типа «а что я могу сделать?», «сила солому ломит» и т. п. Сверхсознание наиболее трудно поддается манипулированию, настолько трудно, что приводит некоторых авторов к мысли о генетической обусловленности этики [1]. Именно неосознаваемость, интуитивность основополагающих нравственных принципов создает иллюзию их однозначно генетического происхождения.

Историческая обусловленность моральных норм не означает нравственного релятивизма. Классики марксизма неоднократно подчеркивали, что классовое (если речь идет о классах, представляющих прогрессивные тенденции исторического развития) не противоречит общечеловеческому, но совпадает с ним. Для коммунистов «идейный, нравственный рост каждого человека,— напоминает Л. И. Брежнев,— представляет еще и огромную самостоятельную ценность — ведь всестороннее и гармоничное развитие человеческой личности является нашей самой высокой целью» [2]

Нравственно и прекрасно то, что позволяет человеку и обществу сделать шаг вперед, обнаружить новые грани своих возможностей, своих творческих потенций, своих духовных и физических сил, не препятствуя, но содействуя достижению той же цели «самоосуществления» всеми другими людьми. Этот вывод — не ласкающая человеческое ухо декламация, но отражение объективной тенденции самодвижения и саморазвития мира живых существ на нашей планете.

Джоун Кук назвала свою книгу «В защиту Homo sapiens». Может быть, точнее эту книгу следовало бы назвать: «В защиту и с т и н ы о Homo sapiens», то есть в защиту подлинно научных, а не спекулятивных представлений о природе и сущности человека. Все, что мы сегодня действительно знаем о человеке, позволяет нам оптимистически смотреть в будущее. Это достойное человека будущее не наступит само собой: путь к нему идет через огромную работу, гигантские усилия, подобные тем, которые предпринимаются сегодня для предотвращения войны, голода, загрязнения окружающей среды. Нам было важно подчеркнуть, что в самом человеке наука находит свойства и качества, делающие его способным к преобразованию общества на разумных и справедливых началах, ибо... «История» не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения с в о и х целей История — н е ч т о и н о е, как деятельность преследующего свои цели человека» [3]. В сущности, марксистское учение о потребностях — потребностях индивидуума и потребностях общества — есть учение о целях, не сводимых к сытости, размножению и власти над себе подобными, как утверждают трубадуры мифа «человек — дурное животное». Их попыткам погрузить человека во «мрак и позор межлюдских отношений» противостоит «точная наука о самом человеке», в том числе «всемогущее естествознание» (И. П. Павлов).

Оптимизм марксистского «человековедения» не сводится к упованию на могущество интеллекта, «сознательности», разума, понимаемого в чисто рационалистическом плане. Достижения технологического гения в равной мере успешно служат весьма различным целям, например, избавлению человечества от некогда смертельных болезней и созданию бактериологического оружия. К сознанию апеллировали утописты всех времен, хотя еще Сократ был поражен человеком, который «знает, что хорошо, а делает то, что плохо». Не менее утопичны и надежды на генетическое усовершенствование человека. Допустим, что «генная инженерия» вооружила нас техникой конструирования «идеальной личности». Но кто же будет определять этот эталон? Ведь наши представления об идеале неизбежно носят исторически изменчивый, преходящий характер, мы не можем предугадать те качества и способности, которые потребуются от человека завтра. Возможность генетического конструирования «идеаль-

---

[1] В. Э ф р о и м с о н. Родословная альтруизма. «Новый мир» № 10, 1971, стр. 193—213.

[2] Л. И. Б р е ж н е в. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 3. М., Госполитиздат, 1972, стр. 349.

[3] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 2, стр. 102.

ного человека» (будь она осуществима) обернулась бы... прекращением развития, то есть гибелью цивилизации.

Реальное положение вещей состоит в том, что человек при рождении наделен потенциальной вероятностью стать и хорошим, и плохим. Даже в том случае, если врожденные предпосылки себялюбия, трусости, приспособленчества, бесстрашия, сочувствия, любознательности подобно музыкальной или изобразительной одаренности распределены неодинаково, их реализация находится в руках воспитания и социального отбора. В одних условиях и слабый росток сострадания может трансформироваться в энергию мужественного борца за справедливость. В других — эмбрион агрессивного эгоизма так и не выйдет из скрытого состояния, подобно тем вирусам, которые всю жизнь могут просуществовать в нашем теле, не вызывая болезни.

Путь к совершенствованию человека лежит через совершенствование условий его социальной жизни. Надо лишь помнить, что эти условия не сводятся к сумме материальных благ и что формируют эти условия не абстрактная «история», не отвлеченное «общество», но с а м и л ю д и, объединенные в общество и творящие исторический процесс. Может показаться, что здесь мы попадаем в своеобразное логическое «кольцо», в «дурную бесконечность»: люди зависят от условий, а условия создаются... людьми! Совершенно справедливое утверждение о том, что человек преобразует условия своей жизни, опираясь на познанные им законы исторического развития, само по себе не отвечает на вопрос о силах, п о б у ж д а ю щ и х человека п о л ь з о в а т ь с я открытыми им законами. Материалистически мыслящему уму остается один выход: признать, что объективные тенденции прогрессивного развития общества репрезентированы в индивидуальном поведении составляющих это общество личностей, которые таким образом становятся живыми носителями и реализаторами исторического прогресса. По мысли В. И. Ленина, «...идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей» [1].

Подведем итоги. Будучи основой и движущей силой человеческого поведения, потребности человека, потребности общества, к которому он принадлежит, получают отражение как в осознаваемых, так и в неосознаваемых проявлениях психической деятельности мозга. Сознание человека вооружает его знанием законов природы и общества, позволяет прогнозировать последствия своих действий. Что касается неосознаваемого психического, то его, по-видимому, следует разделить на две разновидности. Первая из них есть подсознание, связанное с тенденцией сохранения, защиты, с механизмами оборонительных реакций, которые нацелены не на преодоление конфликтов, а на уход от них. В сущности, именно этой стороне неосознаваемого психического посвящено учение З. Фрейда. Даже в высших творческих проявлениях человеческого духа фрейдизм усматривает лишь трансформацию все тех же охранительных тенденций.

Однако существует и вторая разновидность неосознанного психического, которую мы вслед за Станиславским условно обозначили как сверхсознание. В индивидуальной психике, в поведении личности сверхсознание репрезентирует тенденции творчества и развития, тенденции усложнения и совершенствования. Науке о человеке еще предстоит исследовать, каким образом насущные потребности общественного прогресса трансформируются в соответствующие этим потребностям стремления и интересы отдельных людей. Представление о прямом переходе потребностей общества в мотивацию индивидуального поведения его членов путем логического осознания этих потребностей вряд ли соответствует действительности. Здесь действуют более сложные и тонкие закономерности, чем процессы научения в том виде, в каком их описывает современная рефлексология. Ни психоанализ, ни бихевиоризм не коснулись механизмов сверхсознания, более этого, они даже не заметили его существования на пути «по ту сторону свободы и достоинства» (так назвал свою книгу бихевиорист Б. Скиннер).

Спор между авторами, с которыми воюет Джоун Кук, и авторами, на которых она опирается, не есть спор о том, хорош человек или плох, низок или благороден. Подобная постановка вопроса была бы нелепа по весьма простой причине: отдельный конкретный человек может быть и хорошим и плохим, и подлым и прекрасным. В своем кратком очерке мы стремились показать, что р е а л ь н ы е з н а н и я о природе человека гораздо богаче, разностороннее и, если хотите, оптимистичнее, чем концепции «скверного животного» или «дрессированного автомата», взятые на вооружение буржуазной пропагандой. Истина, в том числе истина о человеке, представляет единственную цель всякой подлинной науки. Постижение этой истины будет благом для человека, потому что объективно в конечном пункте «критерий истины сливается с критерием добра и красоты» (Гегель) [2].

---

[1] В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 159.

[2] Цит. по Б. Г. Кузнецову, «Вопросы философии» № 10, 1973, стр. 41.

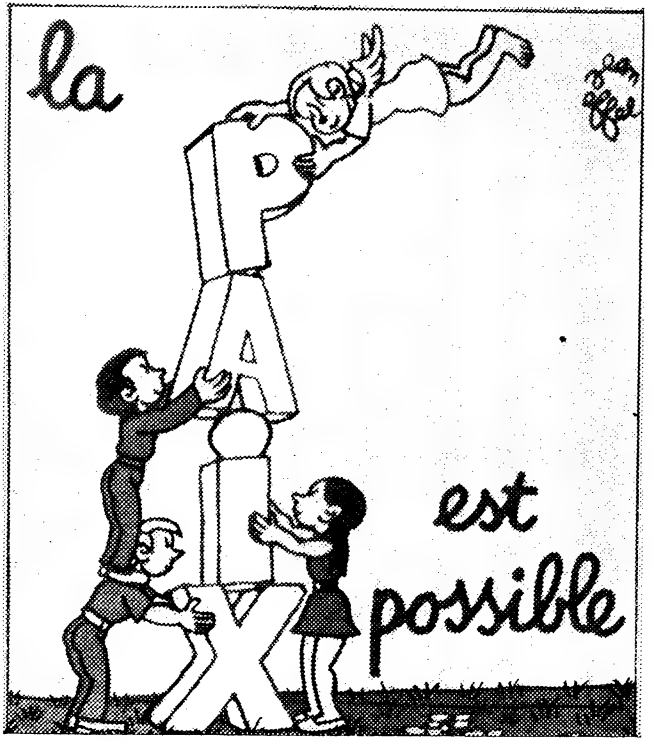
◆

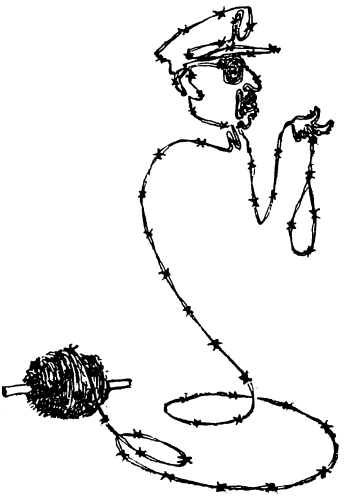
Антирубрика

«Сатира в борьбе за мир»

В этом году в Москве состоялась международная выставка «Сатира в борьбе за мир», в которой приняли участие прогрессивные художники из двадцати пяти стран. Мы публикуем несколько работ мастеров изобразительного искусства, выступающих за мир и сотрудничество между народами.

◀ **ХЕРЛУФ БИДСТРУП. Дания. Хельсинское совещание.**



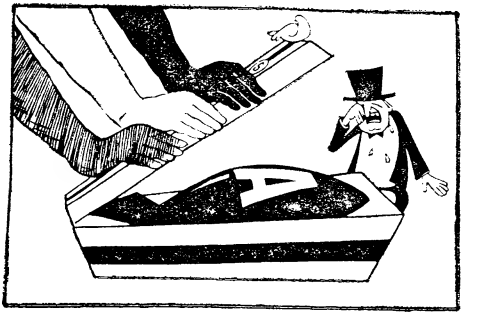


▲

АЛЬФРЕД БАЙЕР-РЕД.
Италия.
Роль Пиночета.

▲

ЖАН ЭФФЕЛЬ.
Франция.
Мир возможен.

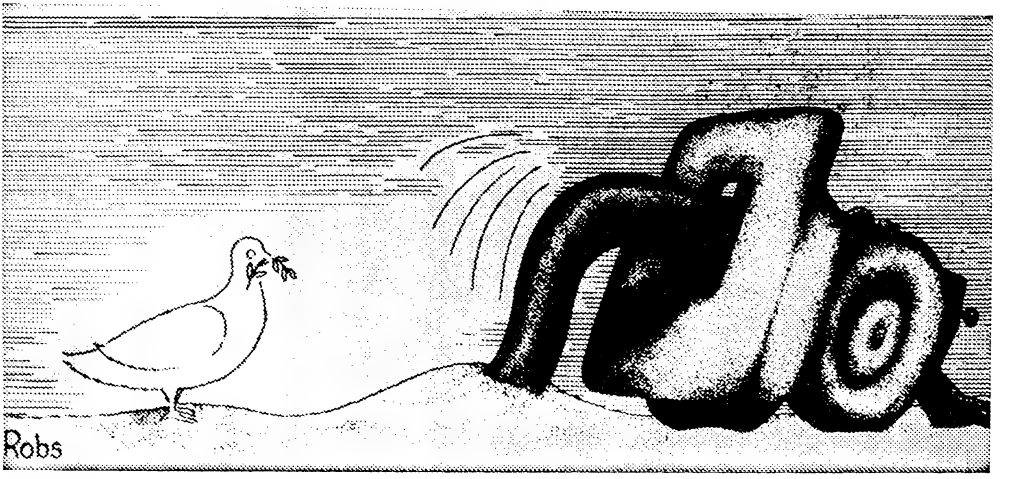


▶

Ц. БАЯНЗИЛ.
Монголия.
Без слов.

РОБЕРТ ШЕЦОВКА.
Польша.
Без слов.

▼



ДЖЕЙМС СТИВЕНСОН

Проект Билли

Перевод с английского АРКАДИЯ ГАВРИЛОВА

10 АПРЕЛЯ.— Дорогой, спроси у Билли, какие уроки им задали на сегодня,— сказала Долорес, как только я переступил порог.

— После того, как посмотрю Кронкайта [1],— ответил я, плюхаясь на диван. (Апрель — самый ужасный месяц на нашей фабрике.)

— Ты бы мог побольше проявлять интереса к учебе собственного сына,— сказала Долорес.

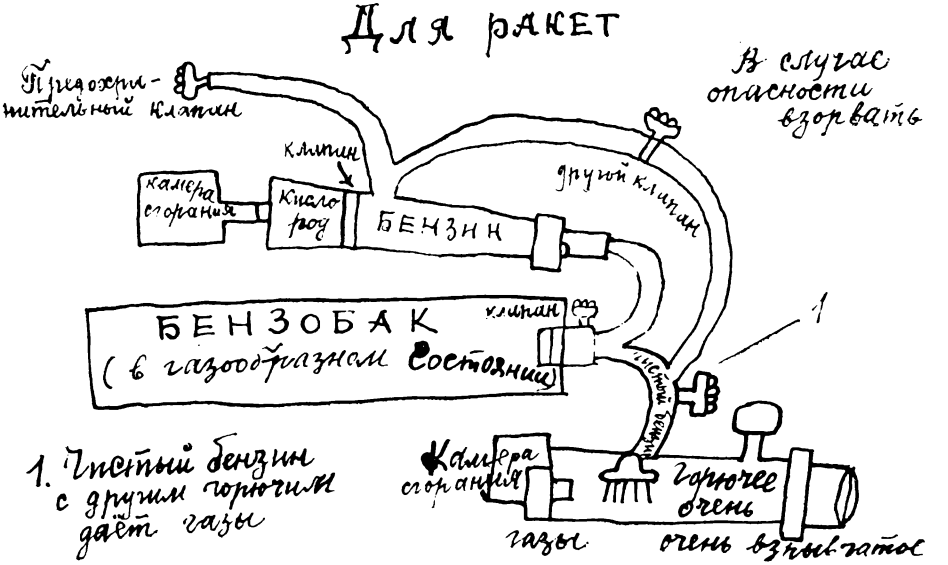
— Билли! — заорал я.

Прибежал Билли.

— Посмотри, папа,— сказал он, протягивая мне рисунок, который сделал на уроке рисования (см. рис.).

Я поздравил Билли и задал ему несколько вопросов (в частности, мне непонятно было то место, где «чистый бензин с другим горючим дает газы»), но Билли только пожал плечами. С большим трудом мы нашли, наконец, клейкую ленту и приклеили проект на большое зеркало в прихожей. Наконец, я смог спокойно посмотреть программу Кронкайта. Это было продолжение его серии «Дымок от револьвера».

13 АПРЕЛЯ. Сегодня молоко принес новый молочник. Не слышал, как он вошел, и обнаружил его в прихожей уставившимся



Это был проект какого-то невиданного доселе двигателя. Билли был страшно горд. Миссис Лаури, классная руководительница их третьего «Б», показывала его проект всем, даже заместителю директора школы.

на проект Билли. Показал ему, где кухня. Когда он ушел, я сказал Долорес:

— Какой-то странный молочник.

— Действительно,— сказала Долорес, изучая бутылки.— Он принес шесть бутылок кефира от 30 декабря.

— У-гу,— сказал я.

[1] Известный американский телекомментатор.

15 АПРЕЛЯ. Двое очень вежливых мужчин из ФБР пришли как раз к завтраку. Угостил их кофе с тостами. Разговор о том, о сем. Ушли через десять минут, оставив целый килограмм тянучек «для детишек». Примерно через полчаса Долорес спросила у меня:

— А где рисунок Билли?

Проект исчез.

17 АПРЕЛЯ. Мне прямо на фабрику позвонили из Министерства обороны. Звонивший назвался Джорджем — как его там дальше, забыл. Спрашивал о детях вообще и вдруг спросил:

— Кстати, ваш сын Билли когда-нибудь говорил с вами о «другом горючем»?

— Каком «другом горючем»?

— Не темните,— сказал Джордж,— о том, которое смешивается с «чистым бензином» и «дает газы».

Я ответил, что спрашивал Билли, но разговор этот не привел ни к чему.

— Приятно было побеседовать с вами. До встречи.

И повесил трубку.

18 АПРЕЛЯ. Мы устроили субботний обед на дворе. Пришли Рэккеры. Гарри, как обычно, хвастал, когда прямо на клумбу с бегониями опустился вертолет, разметав стаканы и ломтики ананаса буквально по всему двору. Из вертолета выпрыгнул Джордж.

— Где Билли? — спросил он.

Я ответил, что Билли занимается в авиамодельном кружке. Джордж сказал, что это хорошо, и попросил меня подписать какие-то бумаги. Затем он вручил мне чек для Билли на семьсот пятьдесят тысяч долларов.

— Это все, что мы можем сделать,— сказал он,— пока не получим заключения об осуществимости проекта и не начнем производство. О'кей?

— О'кей,— сказал я.

Джордж помахал рукой на прощанье, влез в вертолет и улетел.

На Гарри Рэккера — как он ни пытался скрыть свои эмоции — это произвело впечатление.

21 АПРЕЛЯ. Мы поспорили с Долорес. Она говорит, что Билли имеет право знать, что получил три четверти миллиона долларов; а я говорю, что мы должны открывать ему правду постепенно. В конце концов мы решили для начала повысить выдаваемую ему ежедневно сумму на карманные расходы до 35 центов, а потом уже, в зависимости от того, как он на это среагирует выбрать соответствующую линию поведения.

23 АПРЕЛЯ. Драка у наших дверей между представителем «Локхид» и представителем «Дженерал дайнэмикс». «Локхид» провел удачный захват и уже было повалил «Дженерал дайнэмикс» на клумбу с анютиными глазками, когда с двух сторон одновременно подъехали адмирал из военно-морского ведомства и сенатор из Южной Каролины. Пришлось всех пригласить на кофе с яблочными трубочками. Было очень мило. Сенатор прочитал наизусть какое-то трогательное стихотворение. Я пытался им объяснить, что не имею никакого отношения к интересующему их контракту, что работаю на фетровой фабрике, но тем не менее, когда они ушли, обнаружилось, что в частном порядке мне и Долорес они пообещали новый четырехдверный «кадиллак», кондиционер с дегидратором для гимнастического зала, комплект садового инвентаря с бесшумной газонокосилкой и бесплатное двухнедельное путешествие в Лас-Вегас.

25 АПРЕЛЯ. Делегация от Общества охраны природы. Очень шумная. Размахивали перед моим носом ксерокопиями проекта Билли и требовали, чтобы я рассказал им о том, как повлияет употребление «горючего» на окружающую среду. Особенно напирали на слова «очень горючее». Неожиданно вошел полковник, который до этого, как выяснилось, лежал в спальном мешке на заднем дворе. Полковник вежливо им объяснил, что «горючее» подпадает под категорию закрытой информации. Делегация, протестуя, ушла.

27 АПРЕЛЯ. Проект Билли получил официальное наименование ОСД — Р (Очень Секретный Двигатель — Ракетный). Его модифицировали таким образом, чтобы он мог нести шесть ядерных боеголовок одновременно. Билли приглашен в Вашингтон для встречи с президентом. Долорес в смятении. Можно ли ему появиться в Белом доме в шортах???

29 АПРЕЛЯ. Видели Билли в программе Кронкайта. Президент почему-то оказался не в фокусе, но Билли, стоявший рядом с секретарем Белого дома по вопросам печати, был очень хорошо виден.

4 МАЯ. Дебаты в конгрессе из-за ОСД — Р. Помощник президента по национальной безопасности, отвечая на вопросы специальной подкомиссии, сказал, что каждый американский город должен иметь как минимум шесть ОСД — Р, да еще нужно, естественно, обеспечить все страны, входящие в НАТО. Известный конгрессмен

сказал, что каждый город обязан иметь не меньше двенадцати ОСД — Р. Государственный секретарь колебался между двумя этими цифрами, а может, и не слышал дебаты. Вчера я получил еще один чек — на этот раз на семь миллионов долларов.

8 МАЯ. Билли все еще не вернулся. Сейчас он совершает весеннее турне по военным базам вместе с кардиналом Куком и известным нашим комиком Бобом Хоупом. Его портрет в «Лайфе» — выглядывает, улыбаясь, из-за левой ноги Боба Хоупа. Малыш прекрасно выглядит.

14 МАЯ. ОСД — Р увяз в болоте дебатов. Военно-морское ведомство хочет его заполучить целиком в свое распоряжение, и пока адмиралы его не получат, они будут блокировать любое другое предложение. Страшный кавардак. Один из начальников Объединенных штабов подал в отставку, сославшись на пошатнувшееся здоровье. Президент продлил свои каникулы на неделю.

20 МАЯ. О господи! Билли сказал какую-то чепуху телекомментатору Мерву Гриффину. Он вернулся из поездки, но не домой — сейчас живет в отеле «Уолдорф Астория», и все его расходы оплачивает Министерство обороны. (Он сказал, что президент окружен левыми, сочувствующими коммунистам, и что если бы этого не было, уже давно каждый американский город имел бы свои ОСД — Р, и что наши союзники за океаном... Уф-ф! Откуда только он набрался этого? Во всяком случае не от меня и Долорес. Мы делали все возможное для его воспитания.)

25 МАЯ. Вчера вечером звонил Билли. Хочет поехать в предвыборное турне с Джорджем Уоллесом. Я ему запретил даже думать об этом.

28 МАЯ. Как сообщает «Дэйли ньюс», президент уполномочил своего помощника побеседовать с нашим Билли с глазу на глаз. Вырезал из газеты фото, где они помещены вместе.

2 ИЮНЯ. О Билли ничего не слышно уже пять дней. Похоже, он сбежал от помощника президента, когда они играли в гольф. Национальная гвардия прочесала окружающий лес, но безрезультатно.

12 ИЮНЯ. Наконец-то! С Билли все в порядке. Вчера звонил из Вашингтона. Просил прислать одеяло Я его спросил, где он пропадал столько дней, но он ответил: «Это государственная тайна. Смотри Кронкайта».

16 ИЮНЯ. Билли выступал по телевидению в программе Кронкайта. Это было ужасно. Русские разведывательные центры в лесах Джорджии (красные при помощи электронной аппаратуры подслушивают все разговоры наших лидеров). Билли был схвачен. Пытались «промыть» ему мозги. Ничего не вышло, конечно. Он удрал. Спрятался в тележке с клюшками для гольфа. От его рассказов волосы вставали дыбом. Долорес, кстати, больше верила всему этому, чем я. «Пока я находился в плену, у меня было время подумать,— сказал он.— Мне все стало ясно. Я понял, что мы должны преодолеть наши внутренние противоречия и безоговорочно поддержать нашего президента. Он знает больше нас всех, поэтому мы должны следовать его решениям. Что касается ОСД — Р, то это только незначительная часть нашей оборонительной системы. Что бы ни решил президент, я с ним».

17 ИЮНЯ. В «Лайфе» телефото Билли на фоне виллы Бебе Рибозо в Кей Бискейн, сделанное как раз тогда, когда он предположительно находился в плену у русских. Билли изображен на пляже с аквалангом на спине и со стаканчиком мороженого в руке. Выглядит счастливым. Что бы там ни было, но он похож на себя. Долорес сказала: «Это Билли». А уж кому знать это, как не ей. Что касается меня, то я подумал, что эта фотография на сто процентов напоминает моего сына, но, чем черт не шутит, может, я и ошибаюсь. Я имею в виду, что президенту виднее. Рибозо заявляет совершенно определенно, что это не Билли. Рибозо недавно присоединился к организации «Большие братья» и считает Билли просто одним из адептов их движения.

22 ИЮНЯ. Торжественная церемония в Белом доме. Билли награжден медалью за выдающиеся заслуги и назначен помощником секретаря по вопросам здоровья и образования молодежи. Как сказал президент, Билли будет заниматься проблемой беспорядков в начальных школах и детских садах. Он будет рассматривать жалобы учащихся начальных классов и способствовать уменьшению случаев насилия на школьных площадках для игр. «Если мы достаточно рано найдем контакт с нашими детьми,— сказал президент,— то к окончанию средней школы они будут с нами».

24 ИЮНЯ. Долорес и я избраны Лучшими Родителями года! Ура! На следующей неделе мы приглашены в Кливленд на торжественное освящение первой базы ОСД — Р. Билли тоже будет присутствовать. Как мы будем рады увидеть наконец нашего мальчика! Прекрасный случай для Долорес похвастать своим париком. Я думаю, мне удастся раздобыть приглашение для Гарри Рэккера — чтобы только посмотреть, как он позеленеет от зависти.

ВУДИ АЛЛЕН

РАССКАЗЫ

Перевод с английского ЮРИЯ ЗАРАХОВИЧА

Торговцы интеллектом

Уметь доверять собственной интуиции — для частного сыщика первое дело. И зря я не обратил внимания на морозец, продравший меня по коже, когда трясущийся мешок жира по имени Уорд Бэбкок ввалился ко мне в приемную и выложил все как есть.

— Кайзер? — спросил он.— Кайзер Люповиц?

— По удостоверению так,— отыграл я.

— Помогите! Меня шантажируют! Умоляю!

Трясло его как солиста, поющего под джаз-банд. Я подвинул к нему стакан и бутылку хлебного, которую всегда держу под рукой для немедицинских надобностей.

— Успокойтесь и рассказывайте все по порядку.

— Вы... Вы не расскажете моей жене?

— Доверьтесь мне, Уорд, но обещать я ничего не могу.

Он попытался налить себе, но бутылка звякнула о стакан так, что слышно, наверное, было на противоположной стороне улицы. Виски струей хлынуло ему на штиблеты.

— Я человек трудящийся,— сказал Бэбкок.— Механик. Делаю и ремонтирую «звоночки радости». Никогда не видели? Маленькие такие забавные штучки, чтобы вызвать у человека шок при рукопожатии.

— И что с того?

— Среди ответственных работников пользуются большим спросом. Особенно на Уолл-стрит.

— Давайте ближе к делу.

— Мне приходится много ездить. Ну, вы же знаете, Кайзер, как оно бывает,— в разъездах так одиноко. Да нет, я вовсе не о том, что вы подумали. Я, видите ли, в глубине души интеллектуал. Оно, конечно, какую-нибудь образованную я себе всегда найду, но по-настоящему смекалистую не каждый день встретишь.

— Продолжайте.

— Ну вот, прослышал я, значит, об одной девушке. Восемнадцать лет, студентка Вассара [1]. За плату готова беседовать о чем угодно: хоть о Прусте, хоть об Йитсе, хоть об антропологии. Обмен мнениями. Соображаете, о чем я?

— Пока не очень.

— Не поймите меня превратно, Кайзер. Моя жена — потрясающая женщина. Но ни о Паунде, ни об Элиоте с ней не потолкуешь. Я это обнаружил только после свадьбы. Видите ли, Кайзер, мне нужна женщина, способная разжечь меня интеллектуально. За ценой не постою, но и длительного общения тоже не желаю. Ослепительный миг интеллектуального блаженства — и пусть катится. У меня ведь семья! И хорошая!

— И как долго все это продолжается?

— С полгода. Как только чувствую позыв — звоню Флосси. Она у них вроде «мадам». Автор диссертации по сравнительному литературоведению. Поставляет интеллектуалок для бесед. Ясно?

Яснее некуда. Мой клиент принадлежал к породе мужчин, питающих слабость к толковым женщинам. Мне стало жаль бедолагу. Немало, должно быть, их таких на свете, изголодавшихся хоть по минутке интеллектуального общения с противоположным полом и готовых ради этого на любые расходы.

— А теперь она угрожает сообщить обо всем жене, — тихо добавил он.

— Кто угрожает?

— Флосси. Они поставили «жучка» в мотеле и записали на пленку нашу беседу о «Бесплодной земле» [1] и о «Стилях радикальной воли» [2] Я там, по правде говоря, довольно далеко зашел. Теперь требуют десять тысяч, иначе перешлют пленки Карле. Вы должны помочь мне, Кайзер! Ведь Карла умрет, если узнает, что никогда не удовлетворяла меня интеллектуально!

Интеллектуалки-вымогательницы. Дело знакомое. Я слышал краем уха, что ребята из управления вышли на какую-то группу интеллигенток, но ничего конкретного пока не добились.

— Берите трубку и соедините меня с Флосси.

— Что?

— Я займусь вашим делом, Уорд. Но вам это будет стоить полсотни в день, плюс текущие расходы. Придется вам потрудиться и отремонтировать много своих аппаратиков.

— Но не на десять же тысяч,—улыбнулся Бэбкок, набирая номер. Я взял про-

[1] Привилегированный и дорогой женский колледж.

[1] Поэма Т. С. Элиота.

[2] Сборник статей Сьюзен Зонтаг.

АНТИРУБРИКА

тянутую им телефонную трубку и подмигнул ему. Клиент начинал мне нравиться.

Секунду спустя в трубке зажурчал шелковый голосок, и я без обиняков перешел к сути:

— Как я понимаю, вы можете устроить часок хорошей беседы.

— Конечно, голубчик, конечно. Какую желаете тему?

— Хотелось бы пройтись по Мелвилу.

— «Моби Дик» или короткие романы?

— В чем разница?

— В цене, любезный, в цене. За символизм берем отдельно.

— Во что мне это станет?

— «Моби Дик» идет по полсотни. Хотите сравнительный анализ: Мелвил и Готорн? За сотню можем устроить.

— Годится, — ответил я и назвал номер в гостинице «Плаца».

— Вам блондинку или брюнетку?

— А вы меня удивите. — Я повесил трубку.

Побрившись, я выпил черного кофе, копаясь одновременно в литературном справочнике. Не прошло и часа, как раздался стук в дверь. Передо мной стояла молодая рыжеволосая девушка, упакованная в брюки, как два больших брикета ванильного мороженого.

— Привет, меня зовут Шерри.

Да, свое дело они знают. Умеют производить эффект. Длинные прямые волосы, кожаная сумка, серебряные сережки, никакой косметики.

— Как это тебе удалось проскользнуть сюда в таком наряде? У детектива внутренней охраны на интеллигенток глаз наметан.

— Сунула ему пятерку.

— Начнем? — спросил я, показывая на кушетку.

Закурив, она понесла с места в карьер:

— Рассмотрим сперва взгляды на «Билли Бада» как на мелвиловскую концепцию взаимоотношений бога и человека, n'est-ce pas [1]?

— Занятно, однако совсем не в духе Мильтона.

Я блефовал. Хотел проверить, клюнет ли она на это.

— Н-да, в «Потерянном рае» недостает субструктуры пессимизма.

Клюнула!

— Верно, верно. Чертовски верно.

— Мне кажется, что в определенном смысле, в наивной, но в то же время своеобразно искушенной манере Мелвил утверждает достоинства невинности. Не так ли?

Я решил дать Шерри выговориться. Девушке еще не было девятнадцати, но в ней уже ясно чувствовалась закоренелость псевдоинтеллигентки. Мысли она излагала изящно, но механически-заученно. Стоило мне копнуть глубже, как она сразу же симулировала реакцию:

— О, да, да, Кайзер! Да, милый. Ах, как глубоко! Подумать только — платоническое восприятие христианства, а мне такая точка зрения и в голову никогда не приходила.

Проболтали мы около часа. Потом Шерри сказала, что должна идти. Я протянул ей сотенную.

— Спасибо, душка.

— Там, где я ее взял, есть еще.

— То есть?

Я так заинтриговал ее, что она снова села на кушетку.

— Я хотел бы устроить вечеринку,— начал я.

— Какого рода?

— Ну, скажем, я бы хотел, чтобы две девушки сразу объясняли мне теории Наума Хомского [1].

— Ух ты...

— Если тебе неприятно, забудь об этом...

— Надо спросить у Флосси. Но... удовольствие будет дорогое.

Вот теперь-то и настал момент показать зубы. Предъявив свой жетон частного сыщика, я объяснил ей, что игра окончена.

— Что?

— Я легаш, милочка, а дискутировать Мелвила за деньги — статья 802-я. Сядешь, как пить дать.

— Ах ты дрянь!

— Лучше колись начистоту, малышка. Если, конечно, не хочешь выложить свою историю в кабинете Альфреда Казина [2]. Но я не думаю, что она придется ему по вкусу.

Шерри разрыдалась.

— Не выдавай меня, Кайзер, не выдавай, пожалуйста,— всхлипывала она.— Мне нужны были деньги, чтобы закончить диссертацию. Мне дважды отказывали в стипендии. О мой боже!

Она не утаила ничего. Детство в районе западной части Центрального парка. Университет Брэндайс. Типичная девушка из тех, которые делают карандашные пометки на полях томика Канта: «Верно, очень верно». Только вот где-то когда-то она сбилась с пути.

— Я очень нуждалась. И подруга сказала, что знакома с парнем, любителем Блейка женатым на не очень культурной женщине. А подруга по части Блейка не тянула. Я сказала: «Разумеется, я побеседую о Блейке, если заплатит». Сначала я нервничала. Я ведь просто притворялась, что люблю Блейка но ему было наплевать. Потом подруга объяснила, что таких мужчин пруд пруди. Ну, конечно, я и раньше попадалась Однажды накололась, когда читала «Комментарии», сидя в машине на стоянке, а в другой раз меня задержали и обыскали на улице. Еще один раз — и у меня три привода.

— В таком случае веди меня к Флосси.

Прикусив губу, она взглянула на меня:

— Они прикрываются книжным магазином Хантер-колледжа.

— Да?

— Ну, вроде как тайные конторки букмекеров, которые для фасада содержат парикмахерские. Сам увидишь.

---

[1] Не так ли? *(франц.)*.

[1] Известный американский лингвист.

[2] Американский литературовед.

Я быстро позвонил в управление, затем повернулся к Шерри.

— Хорошо, милашка. Я тебя не выдам. Но из города не уезжай.

Она вскинула на меня благодарный взгляд:

— Хочешь, я тебе достану фотографию Дуайта Макдональда [1], читающего книгу?

— Как-нибудь в следующий раз.

В магазине ко мне сразу подошел продавец — молодой человек с интеллектуальным выражением лица.

— Чем могу служить? — спросил он.

— Ищу специальное издание «Объявлений для себя». Говорят, автор напечатал особым тиражом несколько тысяч экземпляров в золоченом переплете для своих друзей.

— Надо проверить,— ответил продавец.— У нас есть селекторная связь с Домом Мейлера.

Пристально посмотрев на него, я сказал:

— Я от Шерри.

— О, в таком случае прошу вас.

Он нажал кнопку, стена с книжными полками раздвинулась, и, как баран, я вошел в обитель кипучих наслаждений, известную под названием «заведение Флосси».

Красные матерчатые обои и викторианская мебель создавали соответствующую атмосферу. Нервные, бледные девушки, коротко стриженные и в роговых очках, лениво валялись на кушетках, соблазнительно перелистывая «пингвиновские» издания классиков. Мне подмигнула блондинка, улыбающаяся во весь рот, показала на лестницу, ведущую наверх, и сказала:

— Как насчет Уоллеса Стивенса?

Но торговали здесь не только интеллектуальными удовольствиями, эмоциональные тоже были в ходу. За полсотни, как я выяснил, предлагался сеанс «отношений без сближения». За сотню девушка могла дать вам на прокат свою коллекцию пластинок Бартока, поужинать вместе с вами, а потом закатить приступ взволнованности. Но главная их изюминка стоила целых три «бумаги» — худенькая брюнетка — еврейка разыгрывала целый спектакль: брала клиента на прикол в Музее современного искусства, потом позволяла читать свою диссертацию, потом провоцировала на участие в визгливой ссоре по поводу учения Фрейда о женщине, а потом имитировала самоубийство. Способ — по желанию заказчика. Некоторым парням подобные развлечения весьма по вкусу. Ничего себе занятьице. Великий город — Нью-Йорк.

— Что, нравится? — раздался голос за моей спиной.

Обернувшись, я вдруг обнаружил, что прямо мне в лицо смотрит деловая часть «кольта» 38-го калибра. Вообще-то желудок у меня крепкий, но на сей раз он крутнул обратное сальто. Флосси! Ее голос, точно, но... Флосси — мужчина!

Лицо его скрывала маска.

— Вряд ли вы мне поверите,— сказал «Флосси»,— но у меня даже диплома нет. Выставили из колледжа за неуспеваемость.

— Потому и маску носите?

— Я разработал изощренный план по захвату «Нью-Йорк ревью оф букс», но для его осуществления надо было походить на Лайонела Триллинга [1]. В Мексике нашелся хирург, который за хорошие деньги делает пластические операции. Но операция не удалась. Из больницы я вышел с внешностью Одена [2] и с голосом Мэри Маккарти. Вот тогда-то я и преступил закон.

Молниеносно, прежде чем он успел спустить курок, я метнулся вперед, резко ударил его локтем по челюсти и, уже у падающего, вырвал револьвер. «Флосси» шмякнулся об пол как тонна кирпича. Он все еще хныкал, когда ворвалась полиция.

— Отлично сработано, Кайзер,— сказал сержант Холмс.— После того как с этим парнем разберемся мы, с ним желает побеседовать ФБР Кое-какие делишки по части азартных игр и аннотированного экземпляра Дантова «Ада». Тащи его, ребята!

Позже тем же вечером я заглянул к одной своей старой знакомой по имени Глория. Блондинка. Диплом с отличием, но только по части физического воспитания. Мило провели время.

...Век учись

Я начал подозревать, что кто-то включил меня в списки рассылки литературы для недоучек, не дотянувших до выпускных экзаменов,— столько скапливается в моем почтовом ящике разных университетских программ и рекламок курсов повышения квалификации для взрослых. Да нет, я не жалуюсь — есть в них что-то такое пробуждающее во мне интерес, который раньше мог вызвать разве что каталог «Все для медового месяца в Гонконге», присланный мне как-то раз по ошибке. И теперь стоит мне только прочитать очередной бюллетень, как я немедленно начинаю строить планы все бросить и вернуться в лоно просвещения (меня выставили из колледжа много лет назад, когда я пал жертвой недоказанных

[1] Американский писатель и критик.

[1] Американский критик и литературовед.
[2] Американский поэт.

обвинений). Так что в настоящее время я и остался необразованным взрослым с неповышенной квалификацией, у которого развилась привычка размышлять на досуге о воображаемой, но прекрасно изданной учебной программе, более или менее типичной для всех, полученных мною.

Экономика:

Систематическое применение и практическое рассмотрение основных аналитических концепций экономических учений с особым упором на то, что такое деньги и чем они хороши. Программа первого семестра предусматривает изучение стабильных коэффициентов производственных функций, снабжения и кривых цен, а также причин их невыпрямляемости. Второй же семестр посвящен расходам, реформам и сохранению бумажниконабитости. Изучается система Федеральных Финансовых Резервов; для развитых студентов предусматривается спецкурс по заполнению депозитных бланков. В программу также включены инфляция, экономические кризисы и умение одеваться соответственно им, займы, проценты и как смыться, не заплатив долгов.

История европейской цивилизации:

Еще с момента обнаружения останков ископаемой лошади периода эоцена в мужском туалете «Сиддон-кафе» в Ист-Рузерфорде, штат Нью-Джерси, была выдвинута гипотеза, что когда-то Европа и Америка соединялись полоской суши, которая то ли затонула, то ли превратилась в Ист-Рузерфорд, штат Нью-Джерси, то ли и то и другое вместе. Эта гипотеза открывает новые возможности оценить формирование европейского общества и дает историкам почву для размышлений о причинах, заставивших его сформироваться на территории, из которой вышла бы гораздо лучшая Азия. Курс также предусматривает изучение вопроса, почему Возрождение решено было проводить в Италии.

Введение в психологию:

Бихевиоризм. Почему одни люди производят впечатление «симпатичных», а других всегда хочется ущипнуть? Существует ли разрыв между душой и телом и если да, то что из них полезней иметь? Обсуждаются также проблемы агрессии и мятежности. (Студентам, особенно заинтересованным в этих вопросах, рекомендуется один из следующих циклов зимнего семестра: «Введение во враждебность», «Промежуточная стадия враждебности», «Повышенный курс ненависти», «Теоретические обоснования отвращения».) Особое внимание уделяется сравнительному изучению сознательности и бессознательности, включающему много полезных рекомендаций, как всегда оставаться в сознании.

Психопатология:

Курс направлен на овладевание пониманием навязчивых идей и фобий, в том числе и страха быть внезапно схваченным и начиненным крабами, нежелания возвращать волейбольный пас, неспособности произнести слово «плоскодонка» в присутствии дам.

Философия:

Читается все. От Платона до Камю. С проработкой следующих вопросов:

Этика: Категорический императив и шесть способов извлечь из него пользу для себя.

Эстетика: Что можно увидеть в искусстве, если в него вглядеться?

Метафизика: Что становится с душой после смерти и как она обходится сама по себе?

Эпистемология: Познаваемо ли знание? Если нет, то откуда мы это знаем?

Абсурдизм: Почему человеческое существование зачастую рассматривается как «глупое», особенно существование мужчин, обутых в бело-коричневые башмаки?

Одинность и множность изучаются с точки зрения их отношения к всемуостальности. (Студенты, сдавшие одинность, будут допущены к двойности.)

Философия (продолжение):

Введение в божественное. Общение с Творцом вселенной посредством лекций со свободным посещением и выездами в поле.

Новейшая математика:

В свете недавнего открытия, доказавшего, что все эти годы мы писали цифру пять наоборот, стандартная математика явно выглядит устаревшей, что не могло не вызвать пересмотра взглядов на устный счет как на метод продвижения от одного до десяти. Студентов переучивают новой алгебре, а ранее неразрешимые уравнения решаются под угрозой наказания.

Фундаментальная астрономия:

Подробный обзор вселенной и ухода на ней. Поскольку Солнце, будучи изготовленным из газа, может взорваться в любой момент, отчего вся наша планетная система полетит вверх тормашками, студентам даются ценные советы, как вести себя в этом случае рядовому гражданину.

Быстрочтение:

Курс предусматривает постепенное увеличение скорости чтения с каждым днем, с тем чтобы к концу семестра студент был в состоянии осилить «Братьев Карамазовых» в пятнадцать минут. Метод состоит в

том, чтобы пробегать глазами страницу, опуская все, кроме местоимений. В скором времени опускаются и местоимения. Постепенно студента клонит в сон. Наступает весна. Люди женятся и умирают. Пинкертон не возвращается.

Воспитание музыкальной культуры:

Чтобы правильно «услышать» произведения великих композиторов, студент обязан: 1) знать, когда они родились; 2) уметь отличить рондо от скерцо и подтвердить теорию практикой. Важно научиться правильно держать себя. Улыбаться не принято, если только сам композитор не имел в виду, что его музыка смешна, как, например, в «Тиле Уленшпигеле», изобилующем музыкальными шутками (хотя партия тромбона и остается в нем самой сильной). Следует упражнять и ухо, поскольку из всех наших органов оно наиболее предрасположено к ошибкам и может принять музыку за шум, вызванный неудачным размещением стереодинамиков.

Драматургия:

Вся драма есть конфликт. Особенно важно развитие персонажей. Студент узнает, что длинные и скучные монологи не так действенны, как короткие и забавные. Изучается упрощенная психология зрителя: почему пьеса о милом добром старике по имени Грэмпс не вызывает в зале такого интереса, как созерцание головы впереди сидящего и попытки заставить ее повернуться в свою сторону.

Также изучаются и интересные аспекты истории театра. Например, до изобретения курсива ремарки часто принимались по ошибке за диалог. в результате чего великие артисты неожиданно говорили: «Джон встает и идет налево», что, безусловно, вызывало недоумение и, в некоторых случаях, нежелательные последствия. Студентов учат, как избежать подобных ошибок.

Обязательная литература к курсу: А. Ф. Шульт. Шекспир. Был ли он женщиной или даже четырьмя?

Введение в общественную деятельность:

Курс готовит будущего общественного деятеля к практической работе Освещаются следующие вопросы: как превратить уличную шайку в баскетбольную команду, и наоборот; спортплощадки как средство предотвращения преступности несовершеннолетних; дискриминация, и что делать, когда вас бьют велосипедной цепью.

Йитс и гигиена. Сравнительный анализ:

Поэзия Уильяма Батлера Йитса изучается на основе правильного ухода за зубами. (Прием студентов на этот курс ограничен.)

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПОЭЗИЯ В ДЕЙСТВИИ

Поэзия ЧССР. Переводы с чешского и словацкого. Составление, предисловие и справки об авторах С. Шерлаимовой. Примечания И. Ивановой. Москва, «Молодая гвардия», 1975.
Из современной чешской и словацкой поэзии. Перевод с чешского и словацкого под редакцией Е. Винокурова. Составитель и автор предисловия С. Шерлаимова. Москва, «Прогресс», 1975.

Поэзия социалистической Чехословакии давно нашла путь к советскому читателю. Ее масштабность и лиризм, чуткость к историческим процессам и миру человеческой души раскрылись в стихах и поэмах Витезслава Незвала и Лацо Новомеского, Вилема Завады и Франтишека Грубина, Иржи Тауфера, Андрея Плавки, Мирослава Валека и многих других поэтов, знакомство с которыми уже состоялось.

Два сборника, вышедшие в год тридцатилетия победы над фашизмом и освобождения Чехословакии, систематизируют и обогащают наши представления о современном поэтическом искусстве этой страны.

«Поэзия ЧССР», изданная в серии «Библиотека ЧССР»,— антология, включающая послевоенный период. В ней представлены произведения двадцати семи чешских и двадцати семи словацких поэтов. Обобщающая по своему характеру, она содержит много нового материала, дает возможность более основательно, чем это позволяли прежние сборники[1], познакомиться с целым рядом интересных художников, таких, например, как И. Скала, Д. Шайнер, Я. Пиларж, В. Райсел, В. Турчаны и другие. Она открывает нашему читателю имена, пока еще менее известные, среди них — В. Гонс, П. Койш[2], Й. Мигалкович, Я. Шиманович. Книга сочетает в себе основательность антологии, охватывающей материал большого периода, с оперативностью альманаха, призванного представить поэзию сегодняшнего дня.

Антология, посвященная послевоенному тридцатилетию, демонстрирует высокий творческий подъем и богатство современной поэзии Чехословакии, а также присущую ей внутреннюю логику, логику искусства, определившего свои позиции в современном мире.

Витезслав Незвал говорил: «Нет такой мысли, обстоятельства, нет такой вещи на свете, которые не могли бы стать предметом поэзии, ее темой и наполнением». И содержание антологии наглядно это подтверждает. Но какие-то мотивы и сюжеты, интонации и краски являются в ней доминирующими, придавая ей целостность и особый колорит.

В ней отчетливо проступают приметы места и времени, приметы той среды, в которой рождалась и рождается эта поэзия. 1944 год — Словацкое национальное восстание, кульминация антифашистской борьбы

[1] Антология чешской поэзии XIX—XX вв. в трех томах М., 1959. Антология словацкой поэзии XIX—XX вв М. 1964 Из словацкой поэзии. М., 1961. Из мрака к рассвету. М., 1975

[2] Стихи П. Койша опубликованы в «Иностранной литературе» № 3, 1977.

в Словакии; 5—9 мая 1945 года — восстание в Праге и освобождение ее Советской Армией; февраль 1948-го — победа над силами контрреволюции, пытавшимися реставрировать буржуазный режим,— вот те события и даты, к которым постоянно обращаются поэты, осмысляя их поворотное значение для судеб чешского и словацкого народа и вписывая в лирическую хронику нового исторического этапа («Знамена 9 мая» В. Незвала, «Чешская весна 1945» Ф. Шрамека, «Май, 1945», «Февраль, 1948» Ф. Краля, «Февраль, 1948» Я. Пиларжа, «На Верхнем Гроне, 1944» Й. Рыбака и т. д.).

Антология показала, какой могучий отклик получила в поэзии Чехословакии победа над фашизмом, вызвав к жизни одну из главных тем современного искусства. И как бы ни решали ее поэты, в стихах об Освобождении почти всегда есть мысль о стране, защитившей мир от фашизма:

Вы нам вернули радость бытия.
И, преклонясь пред памятью солдатской,
«Покойтесь с миром»,— говорю вам я,
Вам, павшим, но живым в краю
словацком.

(«На братиславских кладбищах», перевод Г. Фролова)

— написал Янко Есенский, открывающий словацкий раздел книги. Первый послевоенный год был последним годом жизни старого писателя. И стихи, которым суждено было стать заключительным аккордом его творчества, он посвятил советским солдатам, завещая хранить верность памяти погибших. И поэзия 70-х годов подтвердит свою верность этим заветам. Вспоминая незабываемый май далекого сорок пятого года, чешский поэт К. Беднарж скажет читателям:

Не забудьте
Вовек не забудьте
Тех дней
Когда дети далекой страны
Человечность спасали от смерти
Они жизней своих
Ради нас не жалели
И поныне их кровь
Загорается в наших долинах
То багряным цветком
То полоской заката похожей на бинт

(«Незабываемое время», 1971, перевод В. Кочеткова)

Поэзия Чехословакии чувствует и передает драматизм эпохи. Последовательный гуманизм, верность лучшим традициям отечественной и мировой культуры определяют ее гражданскую направленность, ее боевые качества. От нее исходит мобилизующий сигнал тревоги, призыв беречь планету от новых войн и фашистских мятежей. Читателю хорошо известна знаменитая «Песнь мира» (1950) В. Незвала. В антологии рядом с незваловскими строфами встали поэма Ф. Грубина «Хиросима» (1947) — одно из первых предостережений чешской поэзии против новых ядерных катастроф; стихотворение И. Скалы «Чили» (1973) — обвинение палачам свободолюбивого народа; стихи Л. Новомеского «Что такое мир...», где в подчеркнуто антипатетической манере, негромко и просто ведет автор почти житейский разговор с читателем, раскрывая, как прекрасен привычный в своей обыденности мир, как прекрасно естественное течение жизни, которое не должно быть нарушено. Перечисленные произведения уже публиковались на русском языке. Собрав их воедино, антология показала место этой темы в послевоенном искусстве. Опубликовав переводы стихотворений молодых поэтов — подчеркнула ее непреходящее значение для поэзии Чехословакии. Апеллируя к чувствам, к совести, к разуму людей, молодая поэзия продолжает отстаивать человечность и мир.

Жизнеутверждающий пафос чешской и словацкой поэзии, для которых так органична тема защиты мира, проявляется и в общем колорите книги, где доминируют краски весны и буйного лета, где много солнца и стихов о любви — к жизни, к людям, к родной земле.

Мирослав Флориан сказал о поэзии: «Ты в бытие влюблена, в жизнь городов и весей». И эта влюбленность в бытие наполняет и стихи антологии. В них вырисовываются отдельные приметы и целые ландшафты чешской и словацкой земли — горы, поросшие лесами, реки, текущие то стремительно, то плавно, развалины замков на зеленых холмах, хранящие в памяти сражения гуситов, и силуэты городов, приплывших в сегодняшний день из далекого средневековья.

Читая сборник, будто совершаешь путешествие по стране, то оглядывая ее с высоты птичьего полета, то ступая по ее дорогам («Панорама Словакии» П. Горова, «Шумавская ночь» Л. Стеглика, «Песня о родном крае» Я. Смрека и т. д.). Эта способность поэзии вызывать конкретные, чувственные представления, погружая читателя в тот мир, от которого неотделима она сама, характерна не только для пейзажной или патриотической лирики (а в поэзии эти понятия порой сливаются), но и для стихов самого разного плана. Каких бы сюжетов ни касалась поэзия, она избегает отвлеченных абстракций и наиболее часто опирается на предметные образы, взятые из наиболее близкого человеку жизненного пласта.

Обстоятельное предисловие С. Шерлаимовой не скрывает противоречий и сложностей развития послевоенного искусства, показывает те трудности, которые вставали на его пути в период кризиса 1968—1969 годов. Но облик и уровень поэзии Чехословакии, завоевавшей международное признание, определяло творчество поэтов социалистической направленности. Кризис не прервал поступательного развития поэзии. Попытки увести ее на путь формального эксперимента, выхолостив гуманистическое содержание, оторвав от человека, оказались несостоятельными. В ней живет мысль о несовместимости подлинного искусства с реакционными идеями. «Поэт, который по каким-либо мотивам пошел на службу к реакции, перестает быть поэтом, а его творчество поэзией»,— заметил в одной из своих недавних статей М. Флориан.

Сборник «Из современной чешской и словацкой поэзии» посвящен творчеству четырех авторов: словацких — Павола Горова (1914—1975), Милана Руфуса (род. в 1928) и чешских — Йозефа Кайнара (1917—1971) и Мирослава Флориана (род. в 1931). У них были свои разделы и в антологии, но здесь поэзия их представлена в более полном объеме. Подборка стихов в каждом из разделов передает творческую эволюцию и индивидуальное своеобразие поэтов, пользующихся у себя на родине заслуженной популярностью.

Павол Горов начал писать еще до войны. В его ранних сборниках нашла отражение трагедия чехословацкого народа, испытавшего мрак фашистского нашествия. Стихи поэта отвергали покорность, звали к сопротивлению, отражали героизм борьбы с захватчиками («День поминовения усопших», «Навеки проклят будь», «Дукла»). После войны горизонты поэзии Горова ширятся и светлеют, она приветствует перемены, происшедшие в судьбе страны (сборники «Солнце над нами», 1954, «Глубинная река», 1972 и другие). Творчество Горова отличается большим тематическим диапазоном, богатством поэтических форм, высокой культурой стиха. Техника письма подчас выдает его былую близость к словацким надреалистам, но по существу своему Горов, народный поэт Чехословакии,— представитель искусства реалистически полнокровного и содержательного.

Милан Руфус свободно чувствует себя в мире природы и крестьянского труда. И это помогает ему выразить представление об основах и началах жизни, подчеркнуть то подлинное, что есть в ней,— труд, любовь, упорство и мужество человека, преодолевающего невзгоды. Лирика Руфуса носит философский характер, но свои размышления и выводы он, как подмечают критики, часто облекает в форму притчи. Она придает ей наглядность и обнажает связь со стихией народного творчества. Поэзия Руфуса полна искреннего уважения к людям «в полотняных спецовках пролетария», кряжистым и грубым от нелегкой работы. С ними прочнейшими узами связали поэта детство в бедной словацкой деревне, память о родителях-бедняках:

Мы выросли с бедняцкой кровью отцов
в жилах.
Через пелену времени
Всматриваюсь туда, где пролегает
тяжелый путь отца.
Этим мрачным людям с побелевшими
головами,
с глазами, полными плебейских слез,
я ныне признаюсь в любви.

(«Признание в любви», перевод Е. Винокурова)

Йозеф Кайнар был известен нашим читателям как автор поэмы «Чешская мечта». Она полностью вошла и в новый сборник в прежнем переводе П. Железнова, а не А. Ладинского, как ошибочно указано в оглавлении. Поэму, восславившую время, когда осуществилась вековая мечта чешского народа «о свободе и счастье», автор написал в форме размышления над кроваткой сладко спящего малыша. В пользу новой Чехословакии он привел самый убедительный, с его точки зрения, аргумент — мир прекрасен, если в нем счастливы дети. В контексте других кайнаровских стихотворений стало очевидным, насколько закономерен для Кайнара именно такой аспект лирического решения гражданской темы. Стихи о детях — грустные, озорные, серьезные, написанные в разные периоды, богато представлены в книге («Горбатая девочка», «Письмо к больной», «Мальчика стригут наголо», «Котенок», «Мать»). В них обнажается гуманистическая суть кайнаровской поэзии, полностью оправдывающей признание, вынесенное автором на титульный лист одной из его книг: «Я страстно люблю человека».

Подборка произведений передает музыкальную одаренность Кайнара, сочинявшего не только стихи и поэмы, но и песни, блюзы — слова и музыку к ним. Она раскрывает обаяние творчества и личности человека, отдавшего много сил созданию нового Союза чешских писателей, призванного преодолеть последствия кризиса 1968—1969 годов в литературной среде. Жаль только, что в книгу не вошли остроумные стихотворные фельетоны на злобу дня из сборника «Радиорепортажи» (1971), в которых ярко проявился талант Кайнара-сатирика.

Мирослав Флориан ищет сюжеты и краски для своих стихов, как правило, в жизни большого города. Сопротивляясь патетической ноте, пишет «Самое будничное стихотворение» (1957), демонстративно пересаживается с крылатого Пегаса на кузнечика. Один из его сборников так и называется «Верхом на кузнечике» (1974). Но подобная будничность не имеет ничего общего с бескрылым эмпиризмом. Это скорее способность разглядеть поэзию там, где ее мало кто замечает, которая имеет свои традиции в чешской литературе. Еще в конце XIX века ею поражал своих современников поэт-реалист Й. С. Махар. Она была не чужда Волькеру, который делал героями своих стихотворений почтовый ящик, кухонную плиту, мебель в комнате. Ее защищал Незвал, воевавший с романтической выспренностью и экзальтацией. Именно такая будничность свойственна и Флориану. Она не ограничивает горизонты его искусства. В сборник вошло стихотворение «Кардиограмма» — своего рода манифест поэзии масштабной и глубокой, затрагивающей важные вопросы бытия:

Сердце мое,
доступное всем,
революцию мира и все континенты
вместило.
Говорит оно нежно на тысячу тем.
И только с хищниками — с позиции силы.

(Перевод П. Инова)

Произведения чешских и словацких поэтов, опубликованные в этих двух книгах, звучат в большинстве переводов легко и свободно, будто русский язык — их родная стихия.

Но есть и исключения. Так, вдруг начинает хромать, резать слух неправильными ударениями и даже утрачивать временами

смысл легкий и прозрачный стих М. Пуймановой в переводе А. Шестакова, который гораздо успешнее перевел стихотворения П. Койша. Разве эти строки не занижают уровень мастерства чешской поэтессы?

И ввысь по Замковым ступеням
в кудрях садов шагаешь, Прага, ты.
Твоим великим не было успенья
ни там на небе и ни где кресты.

Точный перевод всегда лучше, чем неточный,— это аксиома. Но иногда отступления от подлинника можно принять, если они предприняты в целях решения главной задачи — воссоздания смысла и духа подлинника, его ключевых образов, стилевого рисунка. Можно спорить, например, с переводами Вл. Солоухина, которые безупречно звучат по-русски, но не всегда «точны» в строгом смысле этого слова. Перевод стихотворения «Любовь» В. Завады можно отнести к числу «вольных», оно стало объемнее, слегка изменилась структура стиха. Однако характер и стиль поэзии Завады, поднимающейся до философских обобщений, но тесно связанной с землей, изъясняющейся на языке метафор, но прозрачной по мысли, переданы Солоухиным хорошо. В его переводах не пострадала творческая репутация Завады, репутация поэта большого и самобытного У Солоухина если и есть отступления от деталей подлинника, то нет отступлений от Поэзии.

Над книгами трудилась целая группа советских поэтов: Е. Винокуров, Вл. Солоухин, Ст. Куняев, П. Грушко, В. Британишский, И. Иванов (Инов) и другие. И антология и сборник отразили тенденцию, которую всячески стоит приветствовать: закрепление за автором или хотя бы за циклом его стихов «своего» переводчика. Это помогло лучше понять и точнее донести индивидуальное своеобразие чешских и словацких поэтов, сохранив и в переводах ту внутреннюю цельность, которая обычно свойственна творчеству настоящих художников.

Л. БУДАГОВА

АНГЛИЙСКИЕ КНИЖКИ И МОСКОВСКИЕ МАЛЬЧИШКИ

На выставке английской детской книги, состоявшейся во Всесоюзной Государственной библиотеке иностранной литературы

Как и многие, я пошел на эту выставку с сыном, мальчиком восьми лет. Он сразу сказал: «Подумаешь, Робинзон... Остров сокровищ. Маугли...— знаем мы их...» Но приходят наши дети на эту английскую выставку, и вот их уже не оторвешь от стола, на котором разложены все те же «Приключения Робинзона» и «Рассказы о Маугли», известные им насквозь.

Но пока сын занят книжками, можно походить и посмотреть всю выставку.

Я родился и вырос там, где Льюис Кэрролл заблудился, в Москве, на Страстной площади, которая сейчас называется Пушкинской. Выйдя из Страстного монастыря, он совершенно, как Алиса, не знал, куда идти, но ему было безразлично, куда идти— все было ново! А вскоре после того, как Льюис Кэрролл побывал в Москве, вышел первый русский перевод «Приключений Алисы». В письме к издателю Макмиллану Льюис Кэрролл сообщал, что книгу будет переводить «мисс Тимирязева», и если имеется в виду (как я думаю) двоюродная сестра профессора Тимирязева, почетного доктора Кембриджского университета, то это — человек пушкинского круга. Она просто получала книги в детстве от Пушкина и его друзей, и ее перевод-пересказ выдержан в пушкинской традиции — та самая, проложенная нашим национальным гением, нашим Шекспиром, дорога усвоения чужой культуры. Именно усвоения, когда английская книга становится вполне русской, оставаясь вместе с тем английской. Благодаря тому, что все наши лучшие переводчики следовали этой традиции, наши дети теперь и рассматривают Робинзона как «своего». Им, сидящим за этим столом, заваленным яркими книжками, возможно, и в голову не приходит, что это — английские книжки!

А вот Алиса все-таки иностранка для нас, хотя мы все знакомы с ней, конечно. Многие думают — игра слов, трудно передать. Но Корней Чуковский и Маршак справлялись с любой игрой слов. Да еще как! А она слишком англичанка, эта Алиса! И выражается это не в мудреных парадоксах, а в самых обычных словах и ситуациях. Понять все эти странные превращения можно и не так уж трудно подыскать русский эквивалент «кадрили с омарами». Но невозможно постичь безумие английского чаепития и нелегко понять нам всю важность (на английский взгляд) старательной оговорочности, когда хочет человек спросить всего лишь: «Ты так думаешь?» Нет ведь! Он спросит: «Ты думаешь, ты смогла бы найти подобающий ответ на этот вопрос?» «Чтобы перевести «Приключения Алисы», надо перевезти всю Англию»,— сказал один переводчик, изнемогший в борьбе с текстом.

Что-то я не увидел на выставке «Доктора Дулитла» Хью Лофтинга и даже не нашел его в каталогах издательств, а попробуйте представить себе выставку нашей детской книги без нашего Дулитла — без Айболита Чуковского. А Борис Заходер сумел познакомить наших ребят крепко и, как видно, надолго с Винни-Пухом. У нас про Винни-Пуха читают, у нас про него поют, он — «звезда экрана» в мультипликационных фильмах.

На выставке я встретил одного из редакторов нашего издательства «Детская литература». Редакторы приходят на выставку как на работу — посмотреть, что годится для перевода. Из новых книг, конечно. Нам уже

нечего было рассматривать множество раз переизданный «Остров сокровищ» или киплинговские «Сказки». И Элеанор Фарджон, и Траверс, и Биссет, и Толкейн — это все также освоено. Надо искать новые имена.

Не все нужно переводить. Но можно перенять самый тип некоторых изданий, например, «книжки с картинками» или детские энциклопедии вроде «Смотри и читай».

По этой выставке видно, что, несмотря на все разнообразие изданий и различие стилей в оформлении книг, английские издатели, авторы и иллюстраторы в одном почти единодушны — делают детские книги для детей. Ведь сейчас получила распространение еще и такая особая «детская» книга — для взрослых. Делается она обычно в духе детского примитива, но ведь ребенок самому себе вовсе примитивным не кажется. Рисует он каракули, но воспринимает их как настоящие картинки! Это прекрасно понимали лучшие английские писатели. Книга с детьми должна играть, а не заигрывать, тогда вот и видишь картину как на этой выставке: рассматривают наши дети «Робинзона», который был книгой детства и для Толстого...

Маленький мальчик (я случайно услышал), уходя с выставки, говорил матери:

— Слушай, мама, оказывается, у этих англичан тоже есть Винни-Пух.

Д. УРНОВ

Издано за рубежом

РОДОСЛОВНАЯ АЛЕКСА ХЕЙЛИ

Alex Haley. Roots. New York. Doubleday and company, Inc. 1976.

«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его... Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос...» Эти слова «от Матфея» приходят на ум, когда читаешь книгу Алекса Хейли «Корни. Сага об одной американской семье». Особенно ее заключительную часть, где сходство с евангельским текстом наиболее заметно. Когда после долгих поисков Хейли попадает в африканскую деревушку Джаффур, местный хранитель истории племени мандинго сообщает ему: «Кайраба Кунта Кинте взял в Джаффуре первую жену, девицу мандинго, чье имя было Сиренг. От нее он родил двух сыновей, и нарекли их Джаннет и Салум. Потом он взял вторую жену, по имени Яйса От Яйсы он родил сына Оморо... Оморо Кинте родил четырех сыновей — Кунта, Ламина, Сивада и Мади. Примерно в то время, когда пришли королевские солдаты, Кунта, старший из четырех сыновей, пошел в лес срубить дерево... и с тех пор его не видели».

Книга «Корни», стоившая автору двенадцати лет труда, представляет собой родословную американского негра, прослеженную на протяжении семи поколений и уходящую корнями в Африку. Но это не только родословная. Это история рабства, пересказанная самими рабами — героями саги. Причем говорят герои на характерном негритянском диалекте — введение в текст этого художественно-речевого приема придает ему, несомненно, большую выразительность и колоритность.

...Итак, в 1767 году в лесу, неподалеку от деревни Джаффур, в четырех днях плавания от устья реки Гамбия, на семнадцатилетнего Кунта Кинте напали работорговцы. Кунта отчаянно сопротивлялся, но, оглушенный дубинками, был связан, закован в кандалы и отправлен на невольничьей шхуне «Лорд Лигоньер» в Америку.

Через восемьдесят шесть дней плавания по бурным водам Атлантики судно прибыло наконец в порт Аннаполис. Из ста сорока чернокожих мужчин и женщин, находившихся на его борту, уцелело только девяносто восемь. Остальные погибли в пути, не выдержав тяжких условий в трюме, лишенном воздуха и загаженном экскрементами. В книге подробно описывается, каким истязаниям подвергались невольники, пытавшиеся бунтовать против своих поработителей.

Кунта Кинте выжил. Его привезли в штат Виргиния и продали белому плантатору — «масса Джону Уиллеру». Невольник обладал неукротимой волей и свободолюбием. Трижды он пытался бежать, и за каждую попытку его карали плетьми. А после четвертого раза, поймав, отрубили половину ступни.

Прошло тридцать лет. Кунта женился на хозяйской кухарке Белл. У них родилась дочь Киззи, воспитанию которой Кунта отдавал все свободное время. Объяснял ей значение разных африканских слов, рассказывал о родной деревне и о том, как попал в Америку. Он мечтал, что дочь его когда-нибудь будет свободной.

Когда Киззи исполнилось шестнадцать лет, хозяин продал ее мелкому плантатору из Северной Каролины. Что случилось после этого с ее родителями, мы не знаем. Их история в книге обрывается.

Том Ли, новый хозяин Киззи, овладел девушкой силой и сделал ее наложницей. От него она родила смуглолицего мальчика, которому дали имя Джордж. Но Том Ли не признал его своим сыном Мальчик жил с матерью, продолжавшей трудиться, как и все рабы, на плантации.

В те годы в Америке очень увлекались петушиными боями. Толпы праздных мужчин собирались на площадях городков и поселков, с азартом наблюдая, как бьются насмерть несчастные птицы. Делались высокие ставки, самые удачливые «петушатники» наживали состояния. Увлекался этим занятием и Том Лп. Петухи, которых ему помогал растить и дрессировать старый негр дядя Минго, часто побеждали, принося ему немалые доходы. Когда Джорджу исполнилось двенадцать лет, его приставили к дяде Минго учеником. Расторопный и смышленый, он быстро овладел тайнами ремесла и приобрел репутацию лучшего в округе дрессировщика.

В восемнадцать лет Джордж сошелся с тихой набожной девушкой Матильдой с соседней плантации. Пользуясь расположением хозяина, он упросил его купить Матильду и отдать ему в жены. От этого брака у них родилось восемь детей. Всякий раз, когда на свет появлялся очередной ребенок, отец собирал у себя в хижине все семейство и рассказывал историю их прадеда-африканца по имени Кунта.

Одного из сыновей Джорджа звали Том. Из него вышел отличный кузнец. Он женился на полукровке — индеанке Айрин. У них тоже родилось восемь детей, которым Том, по примеру отца, поведал историю Кинте.

Синтип, младшей дочери Тома и будущей бабушке писателя Алекса Хейли, было два года, когда кончилась Гражданская война Севера с Югом и отменили рабство. Вместе с остальными детьми ее посадили в фургон и отправили на Запад, в штат Теннесси, где были свободные земли. Там, в городке под названием Хеннинг, ее родители, как и многие другие бывшие невольники, занялись сельским хозяйством. Отец, кроме того, продолжал успешно заниматься кузнечным делом.

В Хеннинге Синтия выросла и вышла замуж за Уилла Палмера, отличавшегося деловой хваткой и ставшего впоследствии владельцем лесоторговой фирмы. После смерти Уилла фирма перешла к отцу Алекса, но тот не любил торговлю и скоро передал все дела бабушке Синтии. Сам же переселился в штат Алабама, где посвятил себя науке и стал профессором кафедры сельского хозяйства.

Мать Алекса умерла рано, и мальчик много времени проводил со старой Синтией, от которой и узнал передававшуюся из поколения в поколение историю своего рода.

Вторая мировая война застала Алекса Хейли семнадцатилетним студентом колледжа. Мечтая о морских приключениях, он пошел служить в береговую охрану. Много читал и пробовал сочинять сам. Долгое время его никто не хотел печатать, но он продолжал писать. Через восемь лет первый его морской рассказ все же появился в каком-то журнале. В 1959 году Хейли оставил службу и решил посвятить себя журналистике. Работал репортером, разъездным корреспондентом.

Однажды, находясь по делам редакции в Лондоне, он забрел в Британский музей. Внимание его привлек Розеттский камень[1]. Хейли отправился в музейную библиотеку, спросил нужную книгу и из нее вычитал, что французский ученый Шампольон, сопоставив греческий текст с египетским, сумел дешифровать иероглифы.

Возвращаясь на самолете домой, Хейли размышлял об открытии француза, и тут вдруг ему пришла мысль попытаться разыскать корни своего родословного древа по тем немногим «ключевым» словам, что запомнились ему из рассказов бабушки. Имя их предка было «Кин-те», гитару он называл «ко», а реку в штате Виргиния — «Камби болонго». Четко произносимые слова с преобладанием звука «к». Хейли не сомневался, что это характерная особенность звукового строя какого-то африканского языка. Но какого? И где на нем говорят? Мысль эта так захватила Хейли, что он, едва сойдя с самолета, принялся за поиски.

Длительная работа в архивах и библиотеках, беседы с учеными-африканистами, многократные поездки в Африку навели его наконец на след. Он узнал, что Кунта Кинте был родом из деревни Джаффур (Гамбия), где говорят на языке мандинго. Там и состоялась уже упоминавшаяся нами встреча Хейли с деревенским сказителем.

Таково вкратце содержание этой полудокументальной саги, составившей пятьсот восемьдесят семь страниц увлекательного текста. Книга, выход которой совпал с двухсотлетием Соединенных Штатов, широко рекламировалась в печати. Хвалебные отзывы о ней начали раздаваться еще до того, как она увидела свет. Издательство анонсировало беспрецедентный для такого рода произведений первый тираж — двести тысяч экземпляров в твердой обложке, книготорговцы же заказали — и уже распродали — миллионный тираж.

Облеченная в доступную художественную форму, книга и в самом деле привлекла множество читателей, мало знакомых с историей негритянского народа, которая, по признанию самих американских историков, до сих пор либо замалчивалась средствами массовой информации, либо сильно искажалась. Популярности книги, да и личности самого автора в немалой степени способствовал, без сомнения, снятый по мотивам «Корней» многосерийный телероман, о котором уже сообщалось в советской печати.

Фильм «Корни» обошелся телекомпании Эй-би-си в шесть миллионов долларов, но эти расходы, конечно, с лихвой окупились поступлениями от торговых фирм, уплативших за рекламу своих товаров баснословные суммы (по сто двадцать тысяч долларов за одну минуту).

---

[1] Плита из черного базальта, найденная в 1799 г. близ города Розетта с идентичными надписями на древнеегипетском языке, начертанными иероглифами и демотическим письмом, и на древнегреческом языке.

Хотя Алекс Хейли и не новичок в литературе — его перу принадлежат талантливые очерки, опубликованные в многотиражных журналах «Ридерс дайджест» и «Плейбой», а также нашумевшая в 1964 году книга «Автобиография Малколма Икс»[1],— настоящую известность ему принесли «Корни». В журнале «Ньюсуик» помещена фотография огромной, в несколько тысяч человек, очереди — белых и черных, стоящих у входа в книжный магазин Лос-Анджелеса, где Хейли раздавал автографы. Большинство негров, как свидетельствует американская пресса, с большим удовлетворением восприняло демонстрацию многосерийного телеромана. «Обычно по телевидению черных показывают,— заявила молодая негритянка Наледи Распберри одному из корреспондентов,— такими, какими их видят белые. Черный человек побеждает редко. В «Корнях» же он в конце концов побеждает». «После фильма «Корни» я смотрю на цветных людей совсем другими глазами»,— призналась шестидесятидвухлетняя белая женщина из штата Массачусетс Доротея Браун.

Особенным успехом Хейли пользуется в епископальных методических церквах, куда его, прославленного единоверца, часто приглашают выступить перед прихожанами. Речи его по обыкновению сопровождаются торжественными религиозными песнопениями и панегириками. Некоторые впечатлительные прихожане, по большей части женщины, сравнивают его чуть ли не с Мессией, посланным богом для уничтожения зла на земле. Сам Хейли в беседе с корреспондентом журнала «Плейбой» рассказал, как однажды — это было после его выступления в Лос-Анджелесе — к нему подошла молодая незнакомая негритянка, взяла за руку и упала на колени, бормоча слова благодарности. «Я не мог придумать ничего лучшего,— вспоминает Хейли,— как прервать ее и поставить на ноги Подобные выражения чувств не только смущают человека — они выбивают его из колеи. Эта женщина просто не поняла, что книга «Корни» рассчитана совсем на иную реакцию. Когда человек, особенно если он черный, узнает, кем он в действительности является, то он уже *ни перед кем не* должен становиться на колени». В этих словах писателя угадывается и усталость от рекламы, и привкус горечи.

Нужно сказать, что, несмотря на шумный успех саги, некоторые авторитетные американские критики, в том числе ученые-негры, усматривают в ней не только одни достоинства. Профессор Уилли Ли Роуз, например, сама являющаяся автором трудов по истории рабства, считает, что книгу «Корни» трудно отнести к историческому жанру, поскольку многие факты, на которые опирается писатель, недостоверны. В первых главах книги, рисующих жизнь в доколониальной Африке пасторальными красками, Хейли изображает деревню Джаффур такой, какой увидел ее сам два столетия спустя. В действительности же в середине XVIII века это был крупный торговый центр, главная резиденция Нданко Соно, могущественного короля государства Номи, установившего жесткий контроль за передвижением английских и французских судов вверх и вниз по течению реки Гамбия. Трудно предположить, отмечает Уилли Ли Роуз, чтобы европейские работорговцы могли проникнуть в глубь этой части Африки, не уплатив туземным властям соответствующей мзды. История подтверждает, что рабство в Африке процветало еще до расцвета европейской работорговли (кстати, и в книге Хейли упоминается, что в деревне Джаффур были рабы, только рабы эти будто бы мало чем отличались от свободных жителей — разве лишь тем, что не имели своей земли).

О войне между Севером и Югом мы узнаем в книге «Корни» только со слов рабов, живших в сравнительно «спокойных» поместьях и не принимавших участия в боях. Темные, неграмотные, они черпали сведения о политических и военных событиях в стране почти исключительно из случайно подслушанных разговоров белых господ, то есть людей предубежденных, враждебных аболиционистскому движению. А между тем, по данным американских справочников, на стороне Севера воевало около двухсот тысяч чернокожих солдат, из них тридцать восемь тысяч пало на поле боя, двадцать два человека были удостоены высшей награды — ордена Почета.

О выдающихся борцах за освобождение негров (Джон Браун, Нат Тэрнер и другие) в книге говорится либо мимоходом, либо не упоминается вовсе. А разве не стоило напомнить читателям о Гарриет Табмен, которая, будучи рабыней, в 1849 году бежала от своего хозяина и стала активным участником аболиционистского движения? В годы Гражданской войны она сражалась в армии северян, командовала ротой разведчиков и выполняла сложные и опасные поручения в тылу врага.

Нельзя также не согласиться с американскими критиками, которые обвиняют Хейли в «лакировке» того периода в жизни негров, который последовал за Гражданской войной. Хотел этого автор или нет, но у него получается так: рабовладельческий Юг потерпел поражение, негров объявили свободными, и история рабства на этом закончилась. Вряд ли можно допустить, чтобы Хейли не знал, как обстояло дело в действительности. Не зря же он столько лет провел в архивах и библиотеках, готовя свою документальную, как он ее называет, книгу.

Еще В. И. Ленин в одной из своих работ писал: «...американская буржуазия... не лучше буржуазии других стран. «Освободив» негров, она постаралась на почве «свободного» и республикански-демократического капитализма восстановить все возможное, сделать все возможное и невоз-

[1] Об этой книге см. в статье А. Зверева, опубликованной в «Иностранной литературе» № 3 за 1970 г.

можное для самого бесстыдного и подлого угнетения негров» [1].

Дед и отец Алекса Хейли «выбились в люди», сам автор «Корней» достиг богатства и славы, сделался почетным гражданином своего родного Хеннинга, его даже принимали в Белом доме; но разве это типично для подавляющего большинства черных американцев, каждодневно сталкивающихся с вопиющим беззаконием и социальной несправедливостью?

В 1931 году, то есть приблизительно в то время, когда отец Алекса переселился в Алабаму, именно в этом штате произошли события, о которых Горький в статье «Террор капиталистов против негритянских рабочих в Америке» писал: «Негритянские фермеры-испольщики в Теллэпузкаунти, Алабама, создали в этом году свою организацию. Она носит боевой характер и активно участвует в кампании в Скотсборо. Две недели назад она созвала в церкви собрание своих членов для протеста против дела в Скотсборо. Помещики мобилизовали 400 полицейских и вооруженных фашистов, которые и атаковали церковь. Во время нападения был тяжело ранен руководитель организации — Раф Грей, которого товарищи и отвели домой. Когда фашистская банда узнала, что Грей еще жив, она окружила его дом, ворвалась к нему и застрелила его в постели, как раз в тот момент, когда доктор осматривал его раны. Охотясь за ответственными работниками организации, фашисты разгромили много негритянских хижин. 4 негра были увезены в лес, где их линчевали. 55 арестованы по обвинению в «убийстве». 5 ответственных работников обвиняются в «попытке совершить убийство». Шериф Юнг, главарь фашистской банды, тяжело ранен во время самообороны героев».

Список преступлений против личности, элементарных нарушений прав человека, совершаемых в Соединенных Штатах и по сей день, можно было бы легко продолжить. Но автор саги ничего о них не говорит. Чем объяснить столь явное пренебрежение фактами истории? Ответ на этот вопрос следует, видимо, искать в мировоззрении Хейли, в его религиозных убеждениях, в его приверженности ненасильственным методам борьбы.

Впрочем, Алекс Хейли этого и не скрывает. В одном из своих интервью он сказал: «Все мы в определенные периоды жизни, в определенных обстоятельствах можем быть либо жертвами, либо угнетателями. Судьба капризна, и трудно предсказать, какая роль выпадает на долю каждого из нас на определенном отрезке времени... Мы должны научиться не только жить в мире друг с другом, но и любить друг друга. Этого можно достичь тогда, когда мы познаем самих себя и познаем свои деяния. И тогда мы простим себе и друг другу все — и безо всяких условий».

И все же «Сага об одной американской семье», при всех ее недостатках,— заметное явление в литературной и общественной жизни США. Значение ее, на наш взгляд, состоит прежде всего в том, что она развенчивает придуманное рабовладельцами и белыми расистами представление о негре как о «недочеловеке» и внушает глубокое уважение к трудолюбивому и талантливому народу, который несмотря ни на что сумел пронести через века свои культурные традиции, свою веру в свободу и социальную справедливость.

Ныне негритянский вопрос является неотъемлемой частью общественной жизни Соединенных Штатов — этим, очевидно, и объясняется тот факт, что книга и в особенности фильм «Корни» вызвали явный интерес как у черных, так и у белых граждан страны. Трагедия черных американцев есть трагедия всего американского народа. «Быть негром в Америке,— справедливо сказал в одном из своих интервью Ральф Эллисон, автор талантливого романа «Человек-невидимка»,— значит осознанно утверждать свою личность вопреки внешним воздействиям, значит отождествлять себя со всей группой только через то общее, что открывается в каждом индивидуальном сознании, а это сознание отвергает какой бы то ни было выход, покуда не восстановлены исконные американские идеалы социальной и политической справедливости».

Эта мысль проходит красной нитью через лучшие произведения и ряда других современных негритянских писателей.

К. ЧУГУНОВ

СТРОКОЮ МУЖЕСТВА

Juan Gonzalo Rose. Obra poética. Lima, Instituto Nacional de Cultura, 1974.

«Вот он — самобытный, прометеевский голос большого поэта»,— этими словами четверть века назад приветствовал Леон Фелипе выход в свет первого сборника стихов Хуана Гонсало Росе. Столь высокая оценка, которую дал начинающему поэту прославленный испанский литератор, показалась тогда перуанской критике если не малообоснованной, то, по крайней мере, преждевременной. Да это и понятно: в литературе, которая дала миру Х. Сантоса Чокано, Х. М. Эгурена и, наконец, Сесара Вальехо, заслужить репутацию «большого, самобытного поэта» было очень непросто. И все же Леон Фелипе не ошибся. В 1974 году в Лиме вышло в свет собрание произведений Гонсало Росе — итог двадцати пяти лет напряженного творчества,— и к этому времени ни у кого уже не вызывало сомнения, что поэту по праву принадлежит видное место среди латиноамериканских художников слова.

Лирическую поэзию Росе, поэзию патрио-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 141—142.

та, борца за социальную справедливость, знает и любит перуанский народ. Многие его стихи положены на музыку.

Хуан Гонсало Росе родился в 1928 году в городе Такна, столице самой южной провинции Перу. Окончив филологический факультет университета Сан-Маркос, Росе избирает профессию журналиста. Это поворотный момент в жизни молодого поэта — Гонсало Росе посвящает свое перо борьбе против реакции, против невежества и лицемерия буржуазной морали.

Репутация «политически неблагонадежного», приобретенная им вследствие участия в антиправительственных выступлениях, вынуждает Росе покинуть страну. Литературная известность приходит к Гонсало Росе в 1957 году, когда в мексиканской печати появляется первый цикл его стихов — «Песня издалека». Находясь в Мексике, поэт тяжело переживает разлуку с родиной, стихи его проникнуты ностальгией, и все-таки в них неизменно звучит вера в необходимость борьбы.

В стихах Гонсало Росе, начиная с первых поэтических опытов, обнаруживается преемственность лучших традиций латиноамериканской философской лирики. Поиски агитационно-политического стиха ведут его и к гражданской лирике Назыма Хикмета, и к идеалу выстраданной веры Маяковского:

Да, он был Мастером поэзии.
И это
он заслужил не за столом — в бою!
Он утверждал, что ремесло поэта —
вливать в сердца
стихами кровь свою.

(«Так пел Маяковский», перевод С. Гончаренко)

Сборники стихов Гонсало Росе — «Простая песня» (1960) и «Комарки» (1964), вышедшие уже после его возвращения на родину, — свидетельствуют о расширении поэтического диапазона и углублении фольклорных мотивов. Росе пользуется характерным для современной латиноамериканской поэзии свободным стихом, в котором рифма появляется лишь как элемент, подчеркивающий песенное начало. Поэзия Росе, в целом реалистическая, поражает причудливым сочетанием красок, неожиданностью ассоциативных сближений, изящной легкостью и ритмичностью. Эмоциональный строй его произведений разнообразен, а мягкая пластичность и проникновенность исповедальных интонаций сообщают стихам обаяние и задушевность.

В 1967 году Росе создает поэтический цикл «Доклад королю и другие тайные книги», в которых с наибольшей остротой звучит тема социального неравенства. Сатирические стихи и памфлеты этого цикла направлены против тирании и клерикалов. Его лирический герой — непримиримый враг дегуманизированной идеологии «общества потребления», идеологии, которая в конечном счете оборачивается проповедью насилия, расизма, антикоммунизма:

Мама мне говорила:
— Если ты бросишь камнем
в белую птицу, сын мой,—
тебя покарает господь.
. . . . . .
А ныне мне говорят:
— Если ты враг войны,
если не будешь
в день убивать по голубке —
тебя покарает господь.

Мне говорят:
— Бей черных,
учись ненавидеть красных,
иначе —
тебя покарает господь.

(«Вопрос» [1])

После прихода к власти в октябре 1968 года прогрессивных сил армии в стране началось осуществление социально-экономических преобразований, носящих четко выраженный антиолигархический, антиимпериалистический характер. Рабочий класс, широкие массы трудящихся Перу решительно выступили против попыток проимпериалистических кругов расколоть прогрессивные силы, затормозить выполнение программных реформ. Цикл стихов Росе под названием «Сорокалетие», вышедший в 1968 году в сложных условиях обострившейся классовой борьбы, был неоднородным (порой в нем звучали мотивы усталости и сомнений), но магистральными темами по-прежнему оставались служение народу, преданность демократическим идеалам, забота о будущем родины:

Я заменю лампады вам
и свечи
на свет, который ярче, чем заря!
Пускай слова как молнии горят,
Америку людей очеловечив!

(«Как надо сегодня», перевод С. Гончаренко)

Последний сборник стихов Хуана Гонсало Росе, столь тепло встреченный читателями и литературной критикой не только в Перу, но и в других странах Латинской Америки, свидетельствует о широком признании поэта, чье творчество обращено к людям:

Нет в сердце моем печали.
Вся кровь моя — в жилах строк.
А строки те песней стали,
струящейся вдоль дорог...

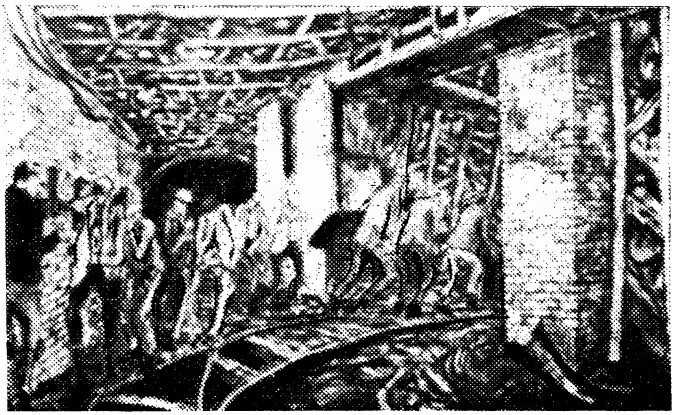
(«Шестая песня», перевод С. Гончаренко)

О. ОСТРОВСКИЙ

[1] Перевод автора статьи.

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ



В лондонской галерее «Брэмптон» выставлены работы художника Тома Макгиннеса, который проработал в шахте 33 года. Художнику-шахтеру не удалось получить необходимого образования, и потому, как пишет рецензент газеты «Морнинг стар» Эммануэль Купер при создании своих произведений Том Макгиннес руководствовался главным образом своей интуицией, эмоциональным восприятием и жизненной правдой.

Среди выставленных работ преобладает графика. Художник изображает шахтеров на работе и шахтерские поселки. Работы художника привлекают правдой изображения человека-труженика.

(Газета «Морнинг стар»)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1976 ГОДА

На ежегодный конкурс «Букер прайс» в прошлом году были представлены посмертно изданный роман Р. С. Хатчинсона «Восстание», «Жена профессора» Брайна Мура, «Сэвилл» Дэвида Стори и «Дети Динмаута» Уильяма Тревора.

Жюри в составе известного критика и литературоведа Уолтера Аллена, романиста Фрэнсиса Кинга и леди Уилсон единодушно, как сообщает обозреватель журнала «Букселлер», присудило премию 1976 года роману Дэвида Стори «Сэвилл».

Лучшим историческим романом минувшего года признана книга Э. Томсона «Пожнешь ветер», рассказывающая о жизни рабочих медных рудников в сороковых годах прошлого века.

Премия в области литературоведения присуждена монографии Уинифред Герин «Элизабет Гаскелл».

Премия за лучший первый роман была отдана молодой писательнице Кэролайн Блэквуд — автору камерного, сугубо психологического романа «Падчерица».

АРГЕНТИНА

СПАД «БУМА» АРГЕНТИНСКОГО КИНО

«Всякие разговоры о так называемом подъеме аргентинского кино стали похожими на скверную шутку»,— с грустью замечает обозреватель журнала «Крисис» Хорхе Карневале. Если в 1974 году в Аргентине было снято 38 картин (из них три—«Передышка», «Кебрачо», «Накрашенные губки» — были удостоены международных премий),

то в 1976 году такие крупнейшие кинорежиссеры страны, как Лаутаро Муруа, Родольфо Кун, Серхио Ренан, не сняли ни одного фильма. После бурного успеха «Кебрачо» Рикардо Уилигер выпустил совместно с американскими кинематографистами фильм ужасов «Дом теней». Эктор Оливейра, снискавший международное признание своими картинами «Восставшая Патагония» и «Мертвый», закончил документальную музыкальную ленту «Песня рассказывает свою историю». Старейший режиссер аргентинского кино Леопольдо Торре Нильсен покинул страну в знак протеста против запрета цензурой его последнего фильма «Свободный камень». Национальное кинопроизводство смогло предложить зрителю лишь легковесные комедии, сентиментальные драмы, дешевые вестерны в худших традициях Голливуда и «сексуальные» боевики вроде «Войны бюстгальтеров» и «Эротического профессора».

БОЛГАРИЯ

ЮБИЛЕЙ ЭМИЛИЯНА СТАНЕВА

Болгарская общественность отметила 70-летие Эмилияна Станева, «крупного писателя и общественного деятеля, вдохновенного летописца болгарской земли», как назвал его в своем приветственном письме первый секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии товарищ Тодор Живков.

«Ваше реалистическое творчество, достигшее высоких идейных и художественных вершин,— говорится в письме,— проникнутое глубоким патриотизмом и гуманизмом с присущим Вам мастерством рассказчика, художника слова, тонкого психолога человеческой души завоевало любовь и признание читателей в нашей стране и за границей. Книги Ваши о нашей современности и героическом прошлом, особенно о борьбе Болгарской коммунистической партии, так же как и Ваши произведения для детей,— истинные жемчужины нашей сегодняшней социалистической прозы, сотворенные щедрым талантом, отданным высокому идеалу строительства социализма и коммунизма в Болгарии».

В Софии состоялся торжественный вечер, на котором с докладом о творчестве юбиляра выступил председатель Союза болгарских писателей, академик Пантелей Зарев, проследивший творческий путь писателя от рассказов тридцатых годов до созданных в годы народной власти эпопеи «Иван Кондарев» и исторических романов «Легенда о Сибине, князе преславском», «Антихрист» — произведений, переводившихся и в Советском Союзе, и во многих других странах.

ВЕНГРИЯ

СТРАНИЦЫ ДОКУМЕНТОВ

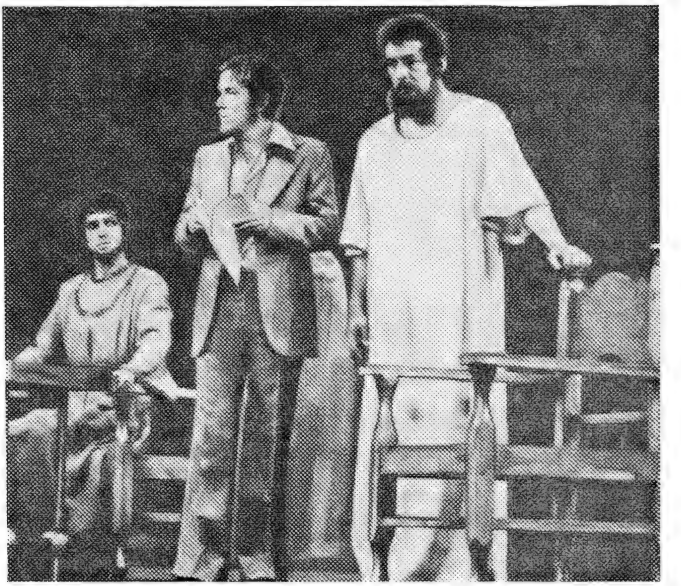
В Венгрии вышел двухтомник документов под общим заглавием «Русская литература глазами венгров», в подзаголовке которого значится: «Избранные документы об отношении в Венгрии к русской литературе 1820—1920 гг.».

«Даже из беглого обзора венгерской литературы XIX—XX веков становится ясным, какое глубокое влияние оказала русская литература на литературу венгерскую... какую роль сыграла она в зарождении дружбы между двумя народами»,— говорится на страницах газеты «Непсабадшаг» в связи с выходом в свет этого издания.

Будапештский театр «Талиа» обратился к роману известного венгерского писателя Лайоша Мештерхази «Загадка Прометея». По инициативе режиссера Кароя Казимира Л. Мештерхази создал по мотивам своего романа сценический вариант. В нем по свидетельству газеты «Мадьяр немзет», внимание сконцентрировано на философском аспекте произведения, на соотношении нравственных проблем эпохи древней Греции с сегодняшним днем, поэтому главными действующими лицами в спектакле являются Прометей (его играет актер Аттила Надь) и Писатель (актер Андраш Козак).

На снимке: сцена из спектакля «Загадка Прометея» в театре «Талиа».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)



Редактором и составителем двухтомника является преподаватель кафедры русского языка и литературы будапештского университета Жужа Зельдхейи. В течение многих лет вместе со своими студентами занималась она изучением русско-венгерских литературных связей и собрала большое количество интересных документов, свидетельствующих не только о восприятии читателями Венгрии русской литературы, но и о том, как вообще реагировали они на ход общественного развития в России, как чутко следили за становлением революционного движения, которое привело к Великой Октябрьской социалистической революции. Самое большое количество материалов охватывает период 1900—1920 годов — они составляют по сути половину второго тома.

Примечательно, подчеркивается на страницах газеты, что об общественных явлениях русской жизни и русской литературы писали наиболее признанные деятели и литераторы Венгрии. Достаточно упомянуть такие материалы, как очерк о русских декабристах известного общественного деятеля Иштвана Сечени; статью классика венгерской литературы Мора Йокаи, посвященную русским революционерам; эссе журналиста, поэта и прозаика Дюлы Ревицки об общественно-политическом развитии России; статью поэта Эндре Ади о наиболее интересных явлениях русской литературы.

Темой духовного влияния, которое оказывала русская общественная жизнь на прогрессивные течения Венгрии рубежа века, объединены вошедшие в двухтомник произведения писателей Дюлы Круди, Деже Костолани, Дюлы Юхаса.

Интересно, отмечает «Непсабадшаг», что в Венгрии с необычайной быстротой находили выражение общие черты, характерные, например, для мироощущения литераторов обеих стран: признание необходимости участия в общественной и национальной борьбе, а также признание завербованности, ангажированности литературы.

В газете выражается надежда, что Жужа Зельдхейи продолжит эту крайне нужную работу, поставив своей целью сбор аналогичных документов, которые составят содержание томов, охватывающих период с 1920 года по наши дни.

На снимке: кадр из фильма «Мама, я жив».

(Журнал «Фильмшпигель»)

ГДР

ИНТЕРВЬЮ С РУДИ ШТРАЛЕМ

Газета «Берлинер цайтунг» поместила интервью с писателем Руди Штралем (о нем см. «ИЛ» № 12, 1975).

Недавно издательство «Ойленшпигель» выпустило книгу Руди Штраля «От мгновения к мгновению». Книга сразу была раскуплена, и, как сообщил писатель, готовится второе издание.

«Мне очень приятно, что телевидение готовит несколько сценических миниатюр из этой книги,—сказал Руди Штраль.— Кроме того, сейчас продолжается работа над фильмом, снятым ДЕФА по моей пьесе «Обманчивый запах свежего сена». В Театре имени Максима Горького готовится постановка пьесы «Арно — принц фон Волькенштайн, или Кадры решают все».

О своих дальнейших творческих планах Р. Штраль сказал: «Я постепенно оставил надежду, что выпутаюсь из колдовских чар театра. Новая моя пьеса, конечно, тоже будет комедией. Трагедии мне никогда не удавались, да, по совести говоря, у меня к ним никогда и не лежала душа».

«МАМА, Я ЖИВ»

Так называется новый фильм, созданный Конрадом Вольфом и Вольфгангом Кольхаазе (студия ДЕФА). Это их третья совместная работа (зрителям ГДР хорошо известны фильмы «Мне было девятнадцать» и «Голый человек на стадионе»).

На экране снова оживают события второй мировой войны. «Сколько бы ни писали и ни рассказывали об этом времени,— указывает еженедельник «Зонтаг»,— всегда остается много нерассказанного...» История четырех немцев, попавших в советский плен и решивших идти воевать на стороне советских войск, во многом построена на личных воспоминаниях и переживаниях Конрада Вольфа.

Большую роль сыграли встречи и разговоры с людьми, участвовавшими в войне. Как рассказывает Вольфганг Кольхаазе, особенно помогли работе над фильмом встречи с советскими людьми во время съемок в СССР. «Я думаю, что без этих разговоров и встреч фильм наш мог и не получиться»,— сказал Кольхаазе в интервью корреспонденту «Берлинер цайтунг».

Отмечая удачную работу всего творческого коллектива, в том числе игру Донатаса Баниониса, Маргариты Тереховой и других советских актеров, рецензент газеты «Нойес Дойчланд» пишет: «Фильм очень правдиво передает драматизм времени. Он смотрится с неослабевающим интересом».

По мнению газеты «Берлинер цайтунг»,— это сильный, умный, реалистический фильм.

ха Киттнера, составленного по мотивам произведений выдающегося пролетарского поэта Эриха Вайнерта.

Эрих Вайнерт, пишет корреспондент газеты «Унзере цайт» Петер Вильке, всю жизнь выступал за дело рабочего класса. Так было и во времена Веймарской республики, когда поэт участвовал в многочисленных митингах, организованных коммунистами, и в годы гражданской войны в Испании, где он сражался в Интернациональной бригаде, и во время второй мировой войны, когда он, сражаясь в рядах Советской Армии, призывал своих немецких соотечественников покончить с гитлеровским варварством. Одна из фотографий, вмонтированных в ревю Киттнера, показывает Эриха Вайнерта в окопах на передовой вместе с Вальтером Ульбрихтом.

Произведения Вайнерта, говорится в статье, сохранили свою актуальность и в наши дни. Однако до сих пор они почти не известны западногерманскому читателю: здесь так и не издано ни одной книги поэта. И характерно, что книга стихов Вайнерта, выпущенная в ГДР и имевшаяся в некоторых ганноверских магазинах, разошлась сразу же после премьеры.

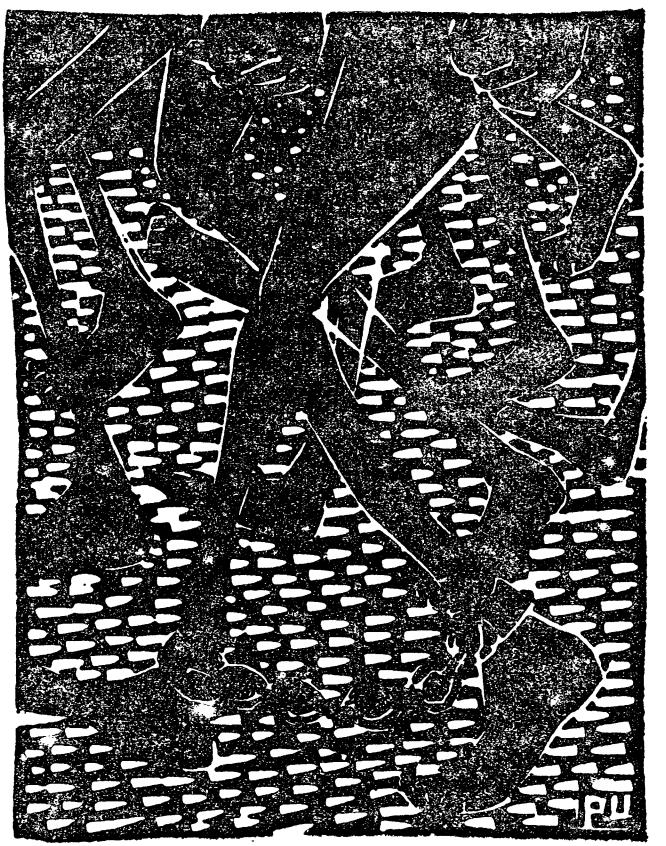
ДАНИЯ

СБОРНИК СТИХОВ АГОСТИНЬО НЕТО

Здесь под названием «Огонь и ритмы» вышел сборник стихов Агостиньо

На снимке: иллюстрация Пера Ульриха к книге стихов Агостиньо Нето.

(Газета «Ланд ог фольк»)



ФРГ

КОНЧИНА КАРЛА ЦУКМАЙЕРА

В возрасте восьмидесяти лет в швейцарском санатории скончался один из выдающихся немецких драматургов Карл Цукмайер. Реалистические народные комедии Цукмайера, пронизанные мягким юмором и лиризмом, пользуются до сих пор успехом и не сходят со сцены как в Германской Демократической Республике, так и в Федеративной Республике Германии. Он также автор обличительных произведений, направленных против германского фашизма. Творчество Цукмайера, отметил в своем выступлении Вальтер Йенс, президент западногерманского ПЕН-клуба, убеждает в том, что признанный классик может оставаться народным писателем, доступным и понятным простым людям.

ЭРИХ ВАЙНЕРТ СЕГОДНЯ

В ганноверском театре «На кочке» состоялась премьера нового ревю Диттри-

Нето, президента Народной Республики Анголы, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Перевод их, а также иллюстрации — гравюры на дереве — принадлежат Перу Ульриху.

Знакомство датских читателей с боевой и страстной поэзией Агостиньо Нето произошло уже более десяти лет назад. В 1964 году в датском журнале «Не ню верден» было опубликовано несколько стихотворении руководителя освободительного движения Анголы. Перевод с португальского принадлежит Уффе Хардеру, а год спустя Пер Ульрих подготовил и выпустил книгу поэзии Африки. В нее вошли стихотворения Агостиньо Нето, Фрэнка Кобины Паркса (Гана), американского негритянского поэта Ленгстона Хьюза.

На страницах этой книги, отмечает «Ланд ог фольк», предстала новая Африка, совершенно непохожая на ту, которую обычно изображают в буржуазных газетах и журналах и в кинофильмах. Совершенно неожиданно с читателем впрямую заговорили подлинные представители черного континента. Они доносят до сердца читателей все страдания и надежды народов своего континента, убеждают в необходимости проявлять солидарность с борьбой африканцев за их права.

Из предисловия к книге «Огонь и ритмы» читатель узнает о трудном жизненном пути Агостиньо Нето, родившегося в семье протестантского священника, прошедшего через трущобы Луанды, застенки португальской политической полиции ПИДЕ, возглавившего затем освободительное движение в Анголе.

По мнению рецензента газеты «Ланд ог фольк», переводы стихов Пера Ульриха великолепны; что касается гравюр, то они передают весь драматизм, всю ритмику стихов замечательного ангольского поэта.

ИСПАНИЯ

ЗАВЕЩАНИЕ ПИКАССО

«Директор нью-йоркского Музея современного искусства Уильям Рубин отказался вернуть Испании самую выдающуюся картину XX века» — под таким заголовком испанская газета «АБЦ» опубликовала сообщение о предпринятой недавно попытке перевезти из Нью-Йорка в Мадрид знаменитую «Гернику» Пабло Пикассо.

В 1943 году Пикассо организовал в США передвижную выставку своих произведений, сбор от которой предназначался для беженцев гражданской войны в Испании. Оставив одно из лучших своих творений, «Гернику», в Нью-Йорке, художник условился, что картина будет передана Испании после того, как в стране будет покончено с франкистским режимом.

ИЗДАНИЕ ТРЕХТОМНИКА ХУЛИО КОРТАСАРА

В мадридском издательстве «Альянса эдиториаль» вышел в свет трехтомник фантастических рассказов известного аргентинского писателя Хулио Кортасара. «Для меня писать — значит пытаться мечтать, пытаться разбить преграды,— сказал Кортасар в интервью испанскому журналу «Куадернос пара эль диалого».— И случается, что иногда окна в мир раскрываются».

Автор не считает рассказы, вошедшие в трехтомник, фантастическими с традиционной точки зрения. Фантастика, по его мнению, помогает писателю выразить себя и свое отношение к действительности. Она для него то из ряда вон выходящее, что происходит солнечным днем, в обыкновенном доме, на улице или в метро. Реалистичная атмосфера, обычные герои, но исключительные обстоятельства и ситуации — вот три основных компонента фантастических рассказов Х. Кортасара.

КУБА

КНИГА — НАРОДУ!

Двухсотой книгой — сборником рассказов Алехо Карпентьера — издательство «Искусство и литература» отпраздновало своеобразный юбилей серии «Урак».

Серия возникла в 1968 году. Издательство взяло на себя задачу — нести литературу в массы, сделать книгу доступной каждому кубинцу.

«Начинать было трудно,— рассказали корреспонденту журнала «Боэмия» в Кубинском институте книги,— печатать приходилось на газетной бумаге при помощи ротатора. Зато теперь — впервые в истории кубинской литературы — на каждого жителя страны приходится по три книги серии».

ПОЛЬША

ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА БРОНЕВСКОГО

Польская общественность отметила восьмидесятилетие со дня рождения и пятнадцатилетие со дня смерти выдающегося поэта Владислава Броневского.

Государственный Издательский институт готовит к выходу книгу очерков и воспоминаний о Броневском. «Это будет,— сказал составитель и автор вступительной статьи Станислав Витольд Балицкий,— сборник материалов, которые печатались при жизни поэта и после его смерти, а также новых очерков, написанных специально для книги. В числе авторов сборника Юлиан Тувим, Леон Кручковский, Юлиан Пшибось, Людвик Иероним Морстин, Станислав Гроховяк, Мельхиор Ванькович, Ярослав Ивашкевич, Войцех Жукровский, Станислав Рышард Добровольский, Мартин Пехаль и другие».

Кроме того, то же издательство выпустит новое издание «Стихотворения и

На снимке: исполнитель роли директора Беднажа Франциш Печка.

(Журнал «Фильм»)

поэмы», куда будут включены произведения, предложенные самим Броневским незадолго до смерти.

ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ КШИШТОФА КЕСЛЁВСКОГО

На экраны страны вышел художественный фильм Кшиштофа Кеслёвского «Шрам». Это первый художественный фильм режиссера, прежде выступавшего в жанре документального кино.

Рецензент газеты «Трибуна люду» считает фильм «Шрам» заметным явлением польской кинематографии. «В нем с драматической силой показано,— пишет он,— как новая жизнь вторгается в общественные отношения, преобразуя наше материальное и духовное бытие».

Герой фильма директор Беднаж — личность яркая. Это руководитель строительства крупного промышленного комплекса, благодаря возникновению которого преобразуется целый район страны. В распоряжении Беднажа огромные материальные и людские резервы. Он принимает решения, касающиеся десятков тысяч людей, оставаясь в то же время скромным, бескорыстным человеком, ничего не требующим для себя. Чувство ответственности за судьбу строительства целиком поглощает его, все его время заполнено работой, в результате чего рушится семья. Стройка закончена, Беднаж отдал ей восемь лет жизни, но бремя ответственности, чувство усталости надломили его, и он оставляет свой пост. Но для Беднажа уход с комбината не поражение, а только передышка, недаром рабочее название фильма было: «Если упал, встань!»

В еженедельнике «Жиче литерацке» о фильме «Шрам» пишет Т. Новак. По его мнению, первая проба Кшиштофа Кеслёвского удачна как с точки зрения проблематики, так и художественного решения и заслуживает всемерной поддержки.

Пресса единодушно отмечает блестящее исполнение роли главного героя актером Францишеком Печка, который известен советскому зрителю по многим фильмам, в частности по фильму «Четыре танкиста и собака».

США

ОБВИНЯЕТСЯ МАККАРТИЗМ

Недавно в Миннеаполисе состоялась премьера спектакля «В соответствии с регламентом заседания». В основе сюжета лежат события начала 50-х годов, время печально известной кампании «по борьбе с антиамериканской деятельностью», которую возглавил сенатор Маккарти. «Эта пьеса дает полное представление о том, что такое маккартизм,— отмечает газета «Дейли уорлд»,— так как она написана на материале подлинных документов маккартистской «Комиссии по расследованию».

Газета отмечает, что постановщику спектакля Филиппу Рейхеру удалось воссоздать всю мрачную атмосферу этого «длившегося около десяти лет судебного процесса» против Коммунистической партии США, против всех прогрессивных сил Америки. Театральная сцена, по словам «Дейли уорлд», превратилась в зал заседаний комиссии, куда приглашались «свидетели» — прогрессивные общественные деятели страны, деятели культуры, писатели, профсоюзные лидеры. Кульминацией спектакля является, пишет «Дейли уорлд», сцена допроса Поля Робсона (его роль исполняет молодой негритянский актер Рэгленд Купер), который в 1956 г. предстал перед маккартистами. «И вновь прогремели замечательные слова Робсона,— пишет газета,— заставившие его обвинителей оказаться в положении обвиняемых: «Я знаю: меня обвиняют в том, что я борюсь за равноправие моего народа, за независимость народов Африки. Я знаю, что нахожусь здесь только потому, что считаю комитеты подобного рода неофашистскими организациями. Это не мы, а вы занимаетесь антиамериканской деятельностью!»

По ходу действия спектакля, как отмечает «Дейли уорлд», зрителям были розданы копии письма Лилли-

ан Хеллман, в котором она отказывалась прийти на заседание «Комиссии по расследованию» и быть причастной к провокационным обвинениям честных граждан Америки.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — ПОЭТ

Вышли в свет «Избранные стихотворения» Р. П. Уоррена — итог полувековой поэтической работы писателя, широко известного в нашей стране романами «Вся королевская рать» и «Приди в зеленый дол». В беседе с критиком Б. Демоттом, помещенной в «Нью-Йорк таймс бук ревью», Уоррен отметил: «Я начинал как поэт. Поначалу мне казалось, что роман—это жанр, который не заслуживает даже презрения... Теперь я вижу, что никакого барьера между прозой и поэзией нет. И там и здесь для меня важнейшим является этический фактор. Мои стихи рождаются из такого переживания, которое могло бы воплотиться и в стихотворение, и в рассказ. Все начинается с того, что какое-то явление жизни привлекает мой интерес, а вслед за тем приходит пора поисков проблемы, этической или драматической коллизии, которую таит в себе это явление. В романах — то же самое...» Рецензент «Избранных стихотворений» Х. Крамер пишет, что от читателя Уоррена требуется особое свойство, которое критик называет «нравственным воображением». Речь идет о ярко выраженном в поэзии Уоррена тяготении к анализу всех конфликтов человеческого бытия в свете высоких этических требований, которые предъявляет личности нестареющая традиция гуманистической духовной ориентации. Мастерство Уоррена, актуальность и масштабность привлекающей его проблематики, художественный вкус и поэтический арсенал, по мнению критиков, делают «Избранные стихотворения» событием в современной американской литературе.

УРУГВАЙ

ЛИТЕРАТУРА В ЗАСТЕНКАХ

О преследовании прогрессивных деятелей культуры на его родине рассказал видный уругвайский прозаик и поэт Марио Бенедетти в интервью кубинскому журналу «Боэмия».

До реакционного военного переворота 1973 г. уругвайская литература занимала достойное место среди литератур других стран континента. Имена таких крупных писателей и поэтов, как Хуан Карлос Онетти, Либер Фалько, Марио Арреги, Эдуардо Галеано, Идеа Вилариньо, были известны далеко за пределами Уругвая. Воцарившаяся ныне реакция рассматривает национальную культуру как одного из своих противников. Страна, где уровень грамотности населения был одним из самых высоких в Латинской Америке, где книги издавались 10-тысячными тиражами, а посмотреть театральные спектакли зрители приезжали даже из других стран, скатилась в бездну обскурантизма. Кроме учебников, практически никаких книг не издается. В кино и театре царит жесточайшая цензура, произволу которой нет предела: недавно вся труппа знаменитого столичного театра «Эль Гальпон» была брошена в тюрьму... за постановку пьесы Шекспира «Юлий Цезарь». Многие деятели культуры покидают страну, другие, оставаясь на родине, продолжают бороться и творить, хотя знают, что в Уругвае их произведения не увидят свет. К первым принадлежит М. Бенедетти, недавно закончивший новеллу в стихах «День рождения Хуана Анхеля» и поэтический сборник «Стихи других».

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН НАТАЛИ САРРОТ

Вышла в свет еще одна книга Натали Саррот, известной писательницы, представительницы французского «нового романа». По свидетельству прессы — рецензии на роман «Так говорят глупцы» опубликованы во многих органах печати,— Натали Саррот в своей последней работе осталась верна литературной концепции, сформулированной ею более двадцати лет назад. По-прежнему интерес писательницы сосредоточен на процессах, происходящих в глубинах человеческой психики, на той «подспудной невидимой реальности, — по выражению литературного обозревателя газеты «Монд» Пуаро-Дельпеша,— суть которой составляют едва уловимые импульсы и движения в недрах человеческого сознания... Чтобы проникнуть под покров видимого,— пишет Пуаро-Дельпеш,— автору достаточно незначительной детали меблировки (в романе — канапе, обитое голубым бархатом), обычной житейской картинки (милая бабушка, окруженная любящими родными) и банальной фразы, выступающей в качестве «тайной отмычки». Читатель попадает далее в систему перекрещивающихся внутренних монологов, психологический процесс дробится на мириады неуловимых импульсов... обычный разговор за завтраком оборачивается яростными противоречиями, глухой борьбой, скрытой за обыденными словами».

Однако, по мнению рецензента «Кензен литтерер» Лилиан Форрестер, ценность романа не исчерпывается мастерским умением писательницы «выразить несказуемое». Это роман не только «о слабости слов, но и об их власти». Стоит кому-то из окружения старой дамы высказать сомнение отиосительно ее достоинств, как тут же начинает меняться облик очаровательной старушки в глазах остальных членов семьи — «перед нами отталкивающее существо, растрепанная ведьма, кандидат в дом престарелых».

Сама Натали Саррот в интервью, опубликованном в еженедельнике «Леттр нувель», говорит о том, что персонажи в романе «Так

На снимке: Эва Трейтнарова в роли Терезы Долейшовой в фильме «Время любви и надежд».

(Журнал «Чехословенски фильм»)

говорят глупцы» существуют лишь такими, какими их создает воображение окружающих, и меняются в зависимости от того, какими глазами их видят другие. Одно слово способно перевернуть представление о человеке, но при условии, что оно исходит от «авторитетного лица». (В романе «авторитетное лицо» — некий Марк, сноб и эстет, единственный персонаж, обладающий именем.) «Я выступаю, — пишет Н. Саррот,— против аргумента «авторитетности», который используется для подавления свободных и правильных суждений под предлогом, что «так говорят глупцы».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ВРЕМЯ ЛЮБВИ И НАДЕЖД»

Так называется новый цветной чешский фильм, созданный по мотивам романа Антонина Запотоцкого «Рассвет».

Фильм переносит зрителей на сто лет назад — к зарождению рабочего движения в Чехии и представляет собой как бы предысторию событий, показанных А. Запотоцким в его широко известном цикле — «Встанут новые бойцы», «Бурный 1905 год», «Красное зарево над Кладно».

В центре фильма судьба женщины-пролетарки Терезы Долейшовой, которая, подобно Ниловне М. Горького, пройдя долгий путь труда и лишений, становится сознательной участницей борьбы чешского пролетариата.

Прообразом Терезы Долейшовой была бабушка А. Запотоцкого. Процесс ее духовного роста, убедительно раскрытый писателем в романе «Рассвет», бережно донесли до зрителей сценарист Павел Тодра и режиссер Станислав Стрнад.

Роль Терезы исполняет Эва Трейтнарова. Оценивая игру молодой актрисы, режиссер Стрнад писал: «В ее исполнении Тереза — одна из тех женщин, которые были надежной опорой рабочего движения. Ей пришлось проделать долгий и сложный путь, пока она поняла, где ее настоящее место, где настоящее место ее детей и всех ее близких. Показ того, как это происходило в жизни, и составляет содержание нашего фильма».

ЧИЛИ

КНИГА О ЧИЛИЙСКОМ ПРОЛЕТАРИАТЕ

Еще одним выражением братской солидарности кубинского народа с борющимся народом Чили стал выпуск в свет книги чилийского писателя Диего Муньоса «Уголь», опубликованной гаванским издательством «Искусство и литература» к 55-летию Коммунистической партии Чили.

Книга Д. Муньоса рассказывает о жизни чилийских шахтеров в начале XX века. В суровой реалистической манере автор повествует о первых шагах чилийского пролетариата, в тяжелой борьбе пробивавшего свой путь к освобождению. В романе действуют чилийские коммунисты во главе с основателем Коммунистической партии Чили Луисом Эмилио Рекабарреном — они были первыми пропагандистами марксизма-ленинизма в Чили, горячими сторонниками Великой Октябрьской социалистической революции в России.

В предисловии к первому изданию романа, написанном Пабло Нерудой в 1953 году, есть следующие слова, посвященные Рекабаррену: «Со дня рождения он был рядом с шахтерами — и на трудовом фронте, и в их ветхих жилищах, пронизываемых холодным антарктическим ветром. Он рос рядом с забастовщиками, рядом с движением, показывавшим чудеса сопротивления. Он прекрасен, как прекрасны уверенные шаги, как прекрасны победы, отвоеванные плечом к плечу,— благодаря героическому самопожертвованию, суровости пролетарской организации и непокоренному духу его сплоченной и великодушной Партии».

Авторы этого номера

КРИСТИАН Н. БАРНАРД — CHRISTIAAN NEETHLING BARNARD (род. в 1922 г.).

Южноафриканский хирург, получивший мировую известность своими операциями по пересадке сердца. Почетный доктор Кейптаунского университета, член Африканского колледжа хирургов, Американского колледжа кардиологов, доктор философии. Помимо научных публикаций К. Барнарду принадлежит автобиографическая повесть в соавторстве с К. Б. Пеппером «История одной жизни» («One Life». Autobiography with C. B. Pepper, 1970).

(Подробнее о нем см. вступление А. Давидсона.).

В этом номере мы начинаем публиковать в журнальном варианте роман «Нежелательные элементы», написанный К. Барнардом совместно с З. Стэндером (Christiaan Barnard in collaboration with Siegfried Stander. «The Unwanted». Cape Town, Taffelberg, 1974). Полностью роман выйдет в издательстве «Прогресс».

ЗИГФРИД СТЭНДЕР — SIEGFRIED STANDER.

Южноафриканский писатель. Родился в в той же провинции, что и Барнард — Капской провинции Южной Африки. До 1961 г. занимался журналистикой. Автор романов «Это пустынное место» («This Desert Place», 1961) и «Конная рать» («The Horse», 1968). Оба романа удостоены литературных премий. Работу над романом «Нежелательные элементы» начал с К. Барнардом в 1972 г.

КЛЫШКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский филолог, переводчик. Автор ряда статей по проблемам литератур стран Азии и Африки.

ДЖОН МОРРИСОН — JOHN MORRISON (род. в 1904 г.).

Австралийский писатель. Родился в английской рабочей семье. С 1923 г. живет в Австралии. Был докером, фабричным рабочим, садовником. Печатается с 1936 г. Автор многих сборников рассказов, в том числе: «Морякам место на кораблях» («Sailors Belong to Ships», 1974), «Черный груз» («The Black Cargo», 1955), «Двадцать три» («Twenty-three», 1962) и др. Его перу принадлежат также романы «Подкрадывающийся город» («The Creeping city», 1949) и «Порт назначения» («Port of Call», 1950).

Его рассказы, переведенные на русский язык, вошли в сборники «Австралийские рассказы», «Билет и другие рассказы», а также печатались в периодических изданиях.

Рассказ «Писатель и свэгмен» взят из сборника «Австралиец по собственному выбору» («Australian by Choice». Sydney, Rigby, 1973).

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ (род. в 1920 г.).

Болгарский поэт, драматург; заслуженный деятель культуры, лауреат Димитровской премии.

Получил медицинское образование. Первые стихотворения были опубликованы в периодике в 1936 г. В последующие годы выпустил несколько сборников стихов, в том числе «Стихотворения» (1949), «Дни, в которые мы живем» («Дните, които живеем», 1952), «Поэмы» (1962), «Дождь идет — солнце светит» («Дъжд вали — слънце грее», 1967), «В шутку» («На смях» 1970) и др. В 1970—1976 гг. вышли в свет пять томов его переводов Шекспира.

На русском языке издана книга В. Петрова «Поэмы», его стихи печатались также в антологиях и периодических изданиях. В «Иностранной литературе» публиковались отрывки из поэмы «Ясной осенью» (№ 9, 1964) и главы из книги путевых заметок «Африканский блокнот» (№ 11—12, 1966).

Предлагаемые в этом номере стихи взяты из книги «Поэзия» («Поезия». София, Български писател, 1973).

ПЕТРОВЫХ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Советский поэт и переводчик. Начала печататься в 1935 г. в журналах и альманахах. Выпустила книгу стихов «Дальнее дерево» (1968). Много переводила советских поэтов, преимущественно армянских и литовских, а также поэтов славянских стран: П. Славейкова, П. Яворова (Болгария), Б. Лесьмяна, Ю. Тувима, К. И. Галчинского (Польша), Ф. Прешерна, М. Крлежи, Ст. Раичковича (Югославия) и других. В 1974 г. в ее переводе вышла книга стихов болгарского поэта А. Далчева «Избранное».

ДОРИС ЛЕССИНГ — DORIS LESSING.

Английская писательница. Родилась в 1919 г. в семье английского чиновника. Много лет прожила в Африке (Южная Родезия). В 1949 г. переселилась в Англию, где вышел ее первый роман о расовом неравенстве «Трава поет» («The Grass is Singing», 1950), принесшие ей известность сборник рассказов «Это была страна старого вождя» («This Was the Old Chief's Country», 1951) и «Пять повестей» («Five Short Novels», 1953) о нравах колониальных кругов Южной Африки.

Перу Д. Лессинг принадлежит также пятитомная эпопея «Дети насилия» («Children of Violence»), романы «Золотой дневник» («The Golden Notebook», 1962), «Инструкция к спуску в ад» («Briefing for a Descent into Hell», 1971), «Мемуары выжившего» («The Memoirs of a Survivor», 1974).

На русский язык переведены роман «Марта Квест», повесть «Муравейник» («ИЛ» № 6, 1955), другие повести и рассказы.

Мы знакомим читателя с одним из ее новых романов «Лето перед закатом» («The Summer Before the Dark». London, Cape, 1973), который начинаем публиковать в этом номере в журнальном варианте.

ЯКУШИНА ИНЕССА ДМИТРИЕВНА

Советский переводчик английской и американской прозы. В ее переводах вышли романы «Ваш покорный слуга» Шерли Грэхем (США), «Смерть под парусом» английского писателя Ч. П. Сноу и др.

АННЕТА ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСГОФ — ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF (1797—1848).

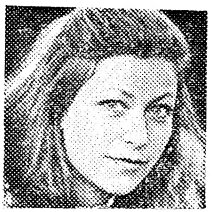
Немецкая поэтесса. Родилась и большую часть жизни прожила под Мюнстером, в Вестфалии. При жизни опубликовала два сборника стихов (в 1838 г. и дополненный в 1844 г.), новеллу «Бук иудеев» («Die Judenbuche», 1842). Остальные ее произведения — поэтический цикл «Духовный год» («Das geistliche Jahr»), очерки «Вестфальские зарисовки» («Bilder aus Westfalen»), сборник «Последние дары» («Letzte Gaben») и дру-

гие произведения увидели свет уже посмертно.

(Подробнее о ней и ее творчестве см. вступление М. Рудницкого.)

Предлагаемая читателю подборка стихотворений Аннеты фон Дросте-Гюльсгоф подготовлена по изданию: Annette von Droste-Hülshoff, Werke in einem Band, Hamburg, Hoffman und Campe Verlag, 1959.

■



ГРИЦКОВА ИРИНА ЛЬВОВНА

Советская поэтесса, переводчик. В ее переводах публиковались стихи поэтов немецкого Возрождения, стихи И. В. Гёте, Л. Уланда, А. Шамиссо, произведения немецких и австрийских поэтов XX века — И. Бехера, Ингеборг Бахман, Эвы Штриттматтер и др.

■

ЗЛОБИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ

(род. в 1927 г.).

Советский литературный критик, переводчик, редактор. Пишет по проблемам зарубежной литературы, в частности по литературе США. В 1976 г. опубликовал в книжных изданиях работы «Эдгар По — романтик и рационалист», «Пограничье Эдварда Олби», а также статьи и обзоры в «Литературной газете», в журналах «Советская литература» (на иностранных языках), «Литературное обозрение», «Иностранная литература».

■

ДЖОУН МАРБЛ КУК — JOAN MARBLE COOK

Американская журналистка. Окончила колледж в 1941 г. Начинала свою журналистскую деятельность в качестве репортера. Была корреспондентом агентства ЮПИ в Вашингтоне.

Мы предлагаем вниманию читателя главы из ее книги «В защиту Homo sapiens» («In Defense of Homo Sapiens». New York, Farrar, Straus and Giroux, 1975).

■

ВОРОНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

(род. в 1931 г.).

Советский переводчик с английского. Книги в его переводах печатали издательства «Прогресс», «Искусство». «Иностранная литература» публиковала в его переводах фрагменты из книг Фарли Моуэта «Лодка, не желавшая плавать» (№ 5, 1972), Тома Вулфа «Раскрашенное слово» (№ 5, 1976), Дж. С. Магрудера «Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту» (№ 1, 1977) и др.

■

СИМОНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

(род. в 1926 г.).

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии эмоций Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Академии наук СССР. Автор книг: «Метод К. С. Станиславского и физиология эмоций» (1962) «Теория отражения и психофизиология эмоций» (1970), «Высшая нервная деятельность человека: мотивационно-эмоциональные аспекты» (1975). Две последние книги переведены на немецкий и английский языки в ГДР и США.

■

ДЖЕЙМС СТИВЕНСОН — JAMES STEVENSON.

Молодой американский писатель-юморист и карикатурист. В последние годы постоянно сотрудничает в журнале «Нью-Йоркер», откуда взят и публикуемый рассказ «Проект Билли» («Billy's Design», «The New Yorker», 1971).

ВУДИ АЛЛЕН — WOODY ALLEN (род. в 1935 г.).

Один из популярных американских писателей-сатириков комический актер и режиссер. Поставил несколько фильмов, в которых он — автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли. Его юмористические рассказы и пародии регулярно публикуются в журнале «Нью-Йоркер».

В недавно вышедшем фильме «Подставной», рассказывающем об антикоммунистической истерии в годы «холодной войны», В. Аллен исполняет главную роль — «подставного» автора, который за определенную плату выдает за свои телевизионные сценарии, написанные писателями, чьи имена числятся в «черном списке».

Предлагаемые читателю рассказы взяты из сборников юмористических рассказов Вуди Аллена «Сводя счеты» («Getting Even», 1966) и «Без перьев» («Without Feathers», 1972).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/IV 1977 г. А 10507. Подписано к печати 5/V 1977 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л = 18 п. л. (25,2) усл. печ. Уч.-изд. л. 27,41.

Тираж 600.000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.). Зак. 1110.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.